

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
ОТДЕЛ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ОБЩЕСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

СЕРИЯ  
ОБРАЗЫ ИСТОРИИ



А К В И Л О Н

# **INTELLECTUALS AND POWER IN CONFLICTS OF TURNING EPOCHS**

EDITED BY  
Lorina REPINA

## **CONTRIBUTORS**

Karine AMBARTSUMYAN, Egor ANTONOV  
Sergey ARTAMOSHIN, Mikhail BASHKIROV, Mikhail BELOV  
Zinaida CHEKANTSEVA, Svetlana MALYSHEVA  
Maya PETROVA, Lorina REPINA, Ekaterina ROMANOVA  
Alla SALNIKOVA, Nadezhda SELUNSKAYA  
Anastasia SHABUNINA, Antonina SHAROVA, Dmitry SHMELEV  
Konstantin SHNEIDER, Lena STEPANOVA  
Elena SUSLOPAROVA, Inna YURGANOVA

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И ВЛАСТЬ**  
**В КОНФЛИКТАХ ПЕРЕЛОМНЫХ ЭПОХ**  
КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ  
Л.П. РЕПИНОЙ

**АВТОРЫ**

К.Р. АМБАРЦУМЯН, Е.П. АНТОНОВ  
С.В. АРТАМОШИН, М.Б. БАШКИРОВ, М.В. БЕЛОВ  
С.Ю. МАЛЫШЕВА, М.С. ПЕТРОВА, Л.П. РЕПИНА  
Е.Н. РОМАНОВА, А.А. САЛЬНИКОВА  
Н.А. СЕЛУНСКАЯ, Л.Б. СТЕПАНОВА  
Е.А. СУСЛОПАРОВА, З.А. ЧЕКАНЦЕВА  
А.К. ШАБУНИНА, А.В. ШАРОВА  
Д.В. ШМЕЛЕВ, К.И. ШНЕЙДЕР, И.И. ЮРГАНОВА

ББК 63.3  
УДК 9 / 94  
И 73

*Рецензенты*

доктор исторических наук Г.П. Мягков  
доктор исторических наук А.А. Щелчков

Интеллектуалы и власть в конфликтах переломных эпох  
(коллективная монография) / Под общ. ред. Л.П. Репиной. –  
М.: Аквилон, 2023. – 336 с.

Роль интеллектуалов в конфликтах переломных эпох является предметом как истории идей и интеллектуальной культуры, так и социально-политической истории. Многие из крупных социальных конфликтов на каждой развилке в истории разных стран были бы невозможны без критической, творческой и общественной активности интеллектуалов. Авторы монографии сосредоточили усилия на проблемах взаимодействия интеллектуалов и власти (как сотрудничества, так и противостояния). В книге представлены результаты разработки важных аспектов темы на материале истории России (в разные ее периоды) и отдельных стран Европы с различными траекториями развития, формирования общественного сознания и политической культуры, в условиях конкуренции проектов будущего и разных форм идентичности (региональной, этнической, конфессиональной, партийной и др.).

Intellectuals and Power in Conflicts of Turning Epochs /  
Ed. by Lorina Repina. – Moscow: Aquilo, 2023. — 336 p.

The role of intellectuals in the conflicts of critical eras is the subject of both the history of ideas and intellectual culture, and socio-political history. Many of the major social conflicts at every fork in the history of different countries would not have been possible without the critical, creative and social activity of intellectuals. The authors of the monograph focused their efforts on the problems of interaction between intellectuals and authorities (both cooperation and confrontation). The book presents the results of developing important aspects of the topic based on the history of Russia (in different periods) and individual European countries with different trajectories of development, the formation of public consciousness and political culture, in the context of competition between projects for the future and different forms of identity (regional, ethnic, confessional, party, etc.).

*Научное издание*

- © Л. П. Репина, общая редакция, составление, 2023
- © Коллектив авторов, 2023
- © Институт всеобщей истории РАН, 2023
- © Издательство «Аквилон», 2023

ISBN 978–5–6050283–3–8

*Репродуцирование (воспроизведение) данного издания или его части любым способом без письменного соглашения с издателем запрещается*

## ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

### ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ КАК ИСТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ ИЛИ КАК ИСТОРИЯ ВООБЩЕ?

Предлагаемая читателю книга посвящена проблемам, занимающим центральное место в современной интеллектуальной истории.

Сегодня представляется важным, с учетом изменяющихся тенденций в историческом и шире – социально-гуманитарном знании, прояснить имеющиеся перспективы интеллектуальной истории после ряда пережитых ею «поворотов», прежде всего о повороте от традиционной истории идей великих мыслителей<sup>1</sup> к «истории интеллектуалов» и «социальной истории идей», в которых акцентировалась роль социального контекста. «Социальная история идей» сыграла решающую роль в радикальном расширении предметного поля интеллектуальной истории, за пределы «великих идей», включив в него все идеи, бывшие в ходу в конкретный период или в конкретном обществе. К сожалению, «история интеллектуалов», получившая оформление в середине 1980-х гг., в созданной во Франции междисциплинарной «Группе по изучению истории интеллектуалов» (в нее входили историки, политологи, социологи, литературоведы), предпочитала дистанцироваться и от истории идей, и от культурной истории<sup>2</sup>. Тем не менее, впоследствии, уже в антропологически ориентированном направлении центральное место заняло изучение роли интеллектуалов в конструировании национальной идентичности и проблемы символической самореализации интеллектуала в политическом поле<sup>3</sup>.

В связи с этой предысторией, наблюдаемое уверенное выдвижение интеллектуальной истории на авансцену историографии нынешнего столетия может показаться неожиданным. Между тем интеллектуальная история стала набирать силу более четверти века

---

<sup>1</sup> Ряд ведущих аналитиков уже на рубеже 1970-х и 1980-х годов констатировали полную деградацию традиционной истории идей, решительно отвечали «нет» на вопрос о возможности «автономии» интеллектуальной истории и, тем более, о ее амбициозных претензиях на постижение «духа эпохи». См.: Bowsma W.J. From History of Ideas to History of Meaning // Journal of Interdisciplinary History. 1981. Vol. XII. № 2. P. 279-291; Colton J. The Case for Defense // Ibid. P. 293-298.

<sup>2</sup> Trebitsch M. Le Groupe de Recherche sur l'Histoire des Intellectuels // Intellectual News. 1997. № 2. P. 55-59.

<sup>3</sup> См. прежде всего: Шарль, Кристоф. Интеллектуалы во Франции: Вторая половина XIX века. М.: Новое издательство, 2005. 328 с.

назад, в процессе той глубокой внутренней трансформации, которую переживала вся историческая наука в последнем десятилетии XX в. С одной стороны, возрождение интеллектуальной истории произошло во многом благодаря как раз тому «лингвистическому повороту», который вверг историографию в очередной кризис. Самые острые научные дебаты по поводу «постмодернистского вызова», имели прямой выход на обсуждение насущных проблем интеллектуальной истории<sup>4</sup>, пусть даже речь шла о становлении «другого рода интеллектуальной истории», «истории, занимающейся изучением не мертвых авторов, а живых книг, не погружением писателей прошлого в их исторические контексты, а прочтением старых произведений в новых и неожиданных контекстах...»<sup>5</sup>. Что касается «живых авторов» этих «живых книг», то их человеческие истории отписывались по ведомству исторической антропологии.

У сторонников «новой интеллектуальной истории» название «интеллектуальная история», которое первоначально определялось в основном именем проблемного поля, выбранного для изучения, приобрело новое значение: оно стало означать общий подход, опирающийся на признание активной роли языка, текста и нарративных структур в конструировании исторической реальности, и соответственно – на анализ дискурсивной практики. В целом, акцент на прочтение и восприятие текстов, оказался весьма продуктивным, существенно расширив поле исследования. Хотя процесс выработки новой парадигмы истории, отказавшейся от классического детерминизма и попыток видеть мир сквозь призму всеобщих закономерностей, оказался чрезвычайно противоречивым, ее ориентация уже на раннем этапе стала очевидной – во главу угла во всех направлениях социально-гуманитарного знания была поставлена интегрирующая категория культуры в ее антропологическом понимании. В конечном счете именно «культурный поворот» создал необходимые условия для всеобъемлющего преобразования интеллектуальной истории.

Таким образом, «ренессанс» интеллектуальной истории на рубеже XX–XXI вв. оказался связан с общими процессами обновления исторического знания, которые привели к переосмыслению предмета исследования на эпистемологических и методологических принципах современного социокультурного подхода, усвоившего уроки постмодернистской критики, однако в более долговременной пер-

---

<sup>4</sup> Toews J. Intellectual History after the Linguistic Turn // American Historical Review. 1987. Vol. 92. № 4. P. 879-907.

<sup>5</sup> Harlan D. Intellectual History and the Return of Literature // American Historical Review. 1989. Vol. 94. № 3. P. 581-609 (P. 609).

спективе разработка ее теоретических оснований потребовала значительных усилий, направленных главным образом на осознание неразрывной связи между историей идей, с одной стороны, и историей условий и форм интеллектуальной деятельности, с другой. Возможности реализации программы исследования движения идей в связи с изменениями исторических условий их порождения и бытования открылись в проекте “новой культурно-интеллектуальной истории”, предложившем рассмотрение «великих идей и текстов» и интеллектуальной деятельности, как и всех ментальных процессов прошлого, в их конкретно-исторических социокультурных контекстах.

“Новая культурно-интеллектуальная история” отвергла сложившуюся в историографии 1970–1980-х гг. бинарную модель культурных форм, основанную на дихотомии народной и ученой культуры, производства и потребления, создания и присвоения культурных смыслов и ценностей. Базовая интегральная установка нового подхода четко была идентифицирована уже в его самоназвании<sup>6</sup>, стимулировав в конце 1990-х предложения соответствующих концепций интеллектуальной истории в среде ее ведущих представителей. Свое максималистское выражение такая концепция нашла в определении задач современной интеллектуальной истории, которое было предложено известным американским историком Дональдом Келли (в то время он был главным редактором журнала “Journal of the History of Ideas”): «Интеллектуальная история – это скорее не раздел истории, а способ (или способы) целостного рассмотрения прошлого человечества... задача интеллектуального историка – изучить все области человеческого прошлого, в которых сохранились его поддающиеся расшифровке следы (как правило, письменные и изобразительные), и придать им современный смысл средствами языка»<sup>7</sup>. Такое толкование исследовательского поля интеллектуальной истории фактически простирает сферу ее компетенции на весь исторический домен. В более умеренных версиях, представленных в дискуссии по этому предмету, организованной Международным обществом интеллектуальной истории в 1996 г. подчеркивалось, что интеллектуальная история должна сохранять свою специфику в том, что касается ее ориентации на изучение человеческого интеллекта и интеллектуальной деятельности, а также в особом внимании к выдающимся умам про-

---

<sup>6</sup> Chartier R. Intellectual or Sociocultural History? The French Trajectories // Modern European Intellectual History: Reappraisals and New Perspectives / Ed. by D. LaCapra, S.L. Kaplan. Ithaca, 1982. P.34.

<sup>7</sup> Kelley D.R. Prolegomena to the Study of Intellectual History // Intellectual News. 1996. № 1. P. 13-14.

шлого и к текстам «высокой культуры». В числе важнейших задач интеллектуальной истории были отмечены: анализ дискурсивной практики, роли языка и нарративных структур; раскрытие того интеллектуального контекста, на почве которого выросли «великие тексты» и в трансформацию которого они внесли свой вклад; выявление исторических изменений фундаментальных принципов, категорий, методов и содержания познания, стиля мышления. Одновременно была подчеркнута необходимость сочетать биографический подход, играющий важную роль в разных областях интеллектуальной истории (прежде всего в жанре интеллектуальных биографий выдающихся мыслителей), с перспективой историко-антропологических исследований, изучающих разнородный интеллектуальный ландшафт того или иного исторического периода (их иногда называют «интеллектуальной историей снизу») <sup>8</sup>.

В 1990-е годы вопрос о предмете интеллектуальной истории решался уже в совершенно новом интердисциплинарном контексте, а в 1994 г. состоялось институциональное самоопределение – было организовано Международное общество интеллектуальной истории (ISIH) со своим журналом и ежегодными конференциями. За прошедшие с тех пор три десятилетия в регулярных обстоятельных обзорах были представлены оценки состояния исследований и перспектив дальнейшего развития в оптике текущего момента. Сама частота подведения итогов свидетельствует как об интенсивности этой рефлексии, так и о ее полемическом характере. Ограничимся здесь характеристикой некоторых важных этапов.

Неслучайно именно в 2002 г. был опубликован важный развернутый обзор, в котором проанализированы все конкурентные на тот момент методологические позиции <sup>9</sup>. Было отмечено сближение новой культурной истории и истории мысли и поставлен вопрос об их предстоящем слиянии, хотя такая программа и сама формулировка «новая культурно-интеллектуальная история» были предложены Роже Шартье еще в начале 1980-х гг. <sup>10</sup> Тем не менее, никакого единства в реализации намеченной программы не обнаружилось, и обозреватели про-

---

<sup>8</sup> Подробнее обо всех позициях см.: Репина Л.П. Что такое интеллектуальная история? // Диалог со временем. 1999. Вып. 1. С. 5-12.

<sup>9</sup> Brett, Annabel. What is intellectual history? // What is Intellectual History now? / Ed. by D. Cannadine. L.: Palgrave Macmillan, 2002. P. 113-131.

<sup>10</sup> Chartier R. Intellectual History or Sociocultural History? The French Trajectories // Modern European Intellectual History. Reappraisals and New Perspectives. Ithaca; L., 1982. См. также: The New Cultural History / Ed. L. Hunt. Berkeley, 1989.



должали констатировать две линии в развитии интеллектуальной истории: а) через изучение языка и дискурсов и б) через концепцию репрезентаций, или множественности способов, которыми люди представляют свой мир и себя в этом мире. Фундаментальной проблемой оставалось определение и моделирование отношений между текстом и контекстом, между словами и действиями. Дилемма между «внутренним» и «внешним», «содержанием (текстом)» и контекстом является не только ключевым, но подлинно вечным вопросом теоретиков истории идей и интеллектуальной истории. Эту проблему более полувека назад в своей известной критической статье обозначил как центральную для истории идей Квентин Скиннер, посвятив несколько десятков страниц разбору тех ошибок, к которым приводит концентрация внимания на тексте при недостаточном исследовании контекста. В свою очередь, противоположная практика – контекстуальное исследование, обращенное лишь к «фону» мысли, – грешит превращением случайного в закономерное. Вывод Скиннера был неутешителен: обе стратегии ведут к грубым ошибкам, и выход состоит в том, чтобы научиться понимать их ограничения. Однако Скиннер, признавая необходимость восстановления того, что он называл «лингвистическим» контекстом, оставил за рамками своих рассуждений то, что касается конкретных обстоятельств создания текста, жизненной ситуации его автора, которая нуждается в тщательной реконструкции<sup>11</sup>.

В начале 2000-х гг. развернулись оживленные дискуссии о месте и задачах интеллектуальной истории и истории идей в эпоху глобализации, в которых рефреном звучала мысль о том, что в условиях радикального ускорения коммуникаций и расхождения между технологическими процессами и идеями, которые движут людьми, особенно остро ощущается необходимость переосмысления теоретических, критических и аксиологических оснований интеллектуальной истории. Тогда же проявилась тенденция к акцентированию интегративной функции интеллектуальной истории и предельной экспансии ее исследовательского пространства<sup>12</sup>, а в статье американского историка Джозефа Ливайна получило развернутое обосно-

<sup>11</sup> Skinner Q. Meaning and Understanding in the History of Ideas // History and Theory. 1969. Vol. 8. № 1. [P. 3-53]. P. 48-53.

<sup>12</sup> См.: Репина Л.П. От личного до глобального: еще раз о пространстве интеллектуальной истории // Диалог со временем. Вып. 14. М., 2005. С. 5-10. Так, например, китайский историк Чен Синь настаивал на том, что интеллектуальная история «должна стремиться обнаружить общие интересы человечества и опереться на них при конструировании глобальной идентичности». – Чен Синь. Интеллектуальная история в контексте глобализации // Там же. С. 36.

вание (и реализацию на материале конкретного события и текста) расширение предметного поля интеллектуальной истории вплоть до его совмещения с «историей вообще». Ливайн видел главной задачей «помещение мысли в контекст времени и установление связей с тем, что было до нее, и что пришло после» (ибо «историк всегда интересуется мыслительным процессом, а не только выводами») <sup>13</sup>.

Эту линию размышлений можно было бы продолжить, ведь речь, по сути, шла о понимании социального контекста интеллектуальной деятельности как культурно-исторической ситуации, которая задает не только условия, но также острые (экзистенциальные) проблемы, требующие своего разрешения, а значит – о порождении идеи как реакции мыслителя на вызов контекста. Если исследователь отдаст себе отчет в том, что его работа должна представлять не просто феномены интеллектуальной коммуникации на уровне концепций или идей, но также наделять их различным смыслом, чтобы ответить на вопросы, которые, как он полагает, возникают именно в этом контексте, тогда в идеале интеллектуальная история объединит внутренние и внешние аспекты исследования и интегрирует содержание и контекст. Однако, когда в 2006 г. появляется новый обзор состояния исследований, мы не видим продвижения в том направлении, которое было спрогнозировано. Эксперты, описывая текущую практику интеллектуальной истории, систематизировали её в своей собственной логике по рубрикам: литературная и интеллектуальная история; интеллектуальная история и история искусства; интеллектуальная история и медиэвистика; интеллектуальная история и история политической мысли; интеллектуальная история и история науки; медицина и интеллектуальная история; интеллектуальная история и социокультурная история; феминизм и интеллектуальная история <sup>14</sup>. То есть были просто рядоположены и поглавно рассмотрены частные области исследований. Кажущийся парадокс состоял в том, что наряду с этим был сделан иронический прогноз о возможном превращении «интеллектуальных историков» в «историков культурных» <sup>15</sup>.

В 2009 г. члены Международного Общества интеллектуальной истории, все еще дискутируя по поводу того, можно ли считать ин-

<sup>13</sup> Ливайн Дж.М. Интеллектуальная история как история // Диалог со временем. Вып. 14. М., 2005. С. 37-51.

<sup>14</sup> См.: Palgrave Advances in Intellectual History / Ed. by R. Whatmore and B. Young. Houndmills: Palgrave, 2006; Kelley, Donald. What is Happening to the History of Ideas? // Journal of the History of Ideas. 1990. Vol. 51. No. 1. P. 11.

<sup>15</sup> Cowan, Brian. Ideas in Context: From the Social to the Cultural History of Ideas // Palgrave Advances in Intellectual History... [P. 171-188] P. 183.

теллектуальную историю субдисциплиной, но, вновь констатируя ее междисциплинарную природу, предпочитали презентировать свое сообщество как «зонтичную организацию», объединяющую историков философии, науки, теологии, образования, университетов и др., таким образом, демонстрируя все тот же фрагментарный подход<sup>16</sup>. А в 2012 г. было в очередной раз подчеркнуто, что интеллектуальная история – «дисциплина, эклектичная как по методу, так и по предмету», и историки «расходятся в мнениях относительно самых фундаментальных предпосылок того, что они делают»<sup>17</sup>.

Новые мотивы зазвучали в 2015 году: целью интеллектуальной истории было провозглашено понимание прошлых мыслей, того, как они возникли, и почему разное решение исторических проблем имеет смысл, а также понимание ограничений любого вида человеческой деятельности – не только социальными условиями, но также идеологическими рамками, в которых она осуществлялась. Помимо прочего, оптимистические прогнозы связывались с освобождением от доминирования истории политической мысли и с еще большей открытостью к междисциплинарным контактам<sup>18</sup>. Наконец, в 2017–2018 гг. перед нами уже «глобальная интеллектуальная история» (с одноименным специальным журналом), хотя и в этом широчайшем поле желаемого консенсуса не сложилось. Приговор экспертов был однозначным: приходится «рассматривать интеллектуальную историю как внутренне гетерогенную дисциплину»<sup>19</sup>. Однако «гетерогенная дисциплина» – всего лишь оксюморон. Интеллектуальная история – это, по самой своей сути, область полидисциплинарная.

Как видим, нежелание ограничивать спектр возможных перспектив является устойчивой и осознанной позицией, при очевидном несоответствии практики конкретных исследований прокламируемым теоретическим программам. При этом одни варианты определения

---

<sup>16</sup> Bavaj, Riccardo. Intellectual History, Version 1.0 // Docupedia-Zeitgeschichte: Begriffe, Methoden und Debatten der zeithistorischen Forschung. 13.9.2010. – [http://docupedia.de/zg/Intellectual\\_History](http://docupedia.de/zg/Intellectual_History) (ноябрь, 2023).

<sup>17</sup> Gordon P. What is Intellectual History? A frankly partisan introduction to a frequently misunderstood field // The Harvard Colloquium, March 2012. – [https://scholar.harvard.edu/files/pgordon/files/what\\_is\\_intell\\_history\\_pgordon\\_pdf](https://scholar.harvard.edu/files/pgordon/files/what_is_intell_history_pgordon_pdf) (ноябрь, 2023).

<sup>18</sup> Collini, Stefan. The Identity of Intellectual History // A Companion to Intellectual History / Ed. by R. Whatmore and B. Young. N.Y.: Wiley-Blackwell, 2015. P. 7-17; Whatmore, Richard. What is Intellectual History? Polity, 2015. 160 p.

<sup>19</sup> Mulso, Martin. New Perspectives on Global Intellectual History // Global Intellectual History. 2017. Vol. 2. № 1. P. 1-2. См. также: Thompson, Ann. Global Intellectual History: Some Reflections on Recent Publications // Cromohs (Cyber Review of Modern Historiography). Vol. 21. 2017–2018. P. 134-138.

предмета интеллектуальной истории оказываются слишком узкими (вроде «истории интеллектуалов»), другие чересчур расплывчатыми. В некоторых версиях обнаруживается упрощенное представление о возможности сконструировать интеллектуальную историю, как складывают мозаику: из истории науки, истории политической мысли, истории философии, литературы и пр., с проецированием в прошлое структуры современного интеллектуального пространства. Существует явный диссонанс между тем состоянием, которое давно обрела история науки (она как раз отказалась от проецирования в прошлое структуры современного научного знания), и формулировкой предмета интеллектуальной истории, которая казалась приемлемой в это время.

Специфика предметного поля интеллектуальной истории состоит не в его постоянном расширении, а в интегративной природе концептуализации этого поля. Здесь происходит не приращение всё новых участков, а вариации ракурса, уровня, масштаба исследования, смена точек стыковки разнонаправленных линий анализа. По такому пути пошли российские историки, поставив во главу угла анализ явлений интеллектуальной сферы в широком контексте социального опыта, общих процессов духовной жизни общества и изменений в ценностных ориентирах, наиболее яркими выразителями которых становятся, как правило, крупные мыслители.

Рассматривая развитие интеллектуальной истории в современной России, стоит обратить внимание на интегративный потенциал концепции культурно-интеллектуальной истории в ее интерпретации исследователями, которые группируются вокруг журнала «Диалог со временем» и ориентируются на программу развития интеллектуальной истории как истории всех видов творческой деятельности человека, её условий, форм и результатов<sup>20</sup>. Теоретическая модель опирается на интегральную концепцию интеллектуальной культуры. Интеллектуальная культура каждой эпохи многослойна: это и элитарная / профессиональная культура интеллектуалов, и идеи, разлитые в обществе (на самых разных его уровнях). Изучение истории интеллектуальной культуры включает как анализ текстов, навыков мышления, субъективности «интеллектуалов» разных уровней, так и форм, средств, институтов (формальных и неформальных) интеллектуального общения в их социально-культурном контексте и все более усложняющихся взаимоотношениях с властью и «внешним» миром культуры<sup>21</sup>. Интел-

---

<sup>20</sup> Подробно об этом см.: Репина Л.П. Интеллектуальная история сегодня: проблемы и перспективы // Диалог со временем. 2000. Вып. 2. С. 5-13.

<sup>21</sup> Репина Л.П. Культурный поворот в интеллектуальной истории // Выбор метода: изучение культуры в России 1990-х годов. М.: РГГУ, 2001. С. 28-36.

лектуальная коммуникация с помощью корпуса циркулирующих внутри нее текстов, имеющих форму переписки, книг и статей, публичных выступлений или частных разговоров, не только передает информацию, но и поддерживает некое интеллектуальное сообщество, формируя общепринятый язык, тип поведения, систему ценностей, организуя сетевую структуру. Интеллектуалы и интеллектуальные сообщества (независимо от их конкретной формы или типа) выступают в качестве создателей, хранителей, интерпретаторов и трансляторов той или иной интеллектуальной традиции. Среди условий интеллектуального творчества структура и функционирование формальных и неформальных сообществ интеллектуалов занимают центральное место, поскольку речь идет о разных аспектах взаимодействия субъектов: контакты, основанные на общих интересах, обмен информацией и культурным капиталом, использование организационных и когнитивных ресурсов, обсуждение, заимствование и распространение идей, взаимная поддержка, создание интеллектуальных репутаций и проч. По существу, в исторических реконструкциях интеллектуальной культуры скрещиваются перспективы «истории вообще», истории ментальностей и исторической антропологии, исторической когнитивистики, социальной истории и социологии науки, «автономных» дисциплинарных историй, исторической биографики.

Наиболее продуктивно когнитивный потенциал избранной модели реализуется в проектах, ориентированных на исследование интеллектуальных сообществ разных типов, на изучение роли интеллектуалов в формировании общественного сознания, новых ценностей и новых коллективных стереотипов, а также на исторический анализ всех форм, средств и институтов интеллектуального общения, включая отношения интеллектуалов и власти. Коллектив авторов настоящей книги сосредоточил свои усилия на исследованиях, в которых проблематика взаимодействия интеллектуалов и власти в конфликтах переломных эпох переплетается с комплексом ключевых вопросов истории интеллектуальной культуры. Авторы монографии стремились разработать важнейшие аспекты темы на материале истории России (в разные периоды и на разных уровнях) и отдельных стран Европы с существенно различающимися траекториями развития, формирования общественного сознания и политической культуры, в условиях конкуренции различных моделей исторического проектирования будущего и разных форм коллективной идентичности (региональной, этнической, конфессиональной, партийной и др.).

Разработанные авторами сюжеты сгруппированы в три части настоящей монографии. В первой части «Феноменология конфлик-

тов в исторической перспективе» рассматриваются теоретические аспекты темы, анализируются модели поведения, роли интеллектуалов в ситуации формирования конфликта и их влияние на динамику противостояния в конфликте. Специальное внимание уделено историческим контекстам актуализации конфликтов, включая вопрос об условиях становления и развития публичной сферы.

Во второй части «Индивидуальные стратегии интеллектуалов в конфликте» представлены публичные позиции и критическая деятельность интеллектуалов разных стран, модели взаимоотношений с властью и переживания социально-политических конфликтов переломных эпох на примере личных судеб британского социалиста и историка Ричарда Тоуни, французского философа-томиста Этьена Жильсона, немецкого консервативного мыслителя и писателя Эрнста Юнгера, якутского этнографа, фольклориста, историка Г.В. Ксенофонтова и представителя провинциальной интеллигенции священника Ф.Г. Сивцева в контексте революционных событий и гражданской войны, а также жизненные перипетии выдающегося российского и советского историка Р.Ю. Виппера и осмысление личного опыта в автобиоисторикографическом нарративе советского интеллигента В.Т. Звиревича.

В третьей части «Конфликт интеллектуалов и власти в специфике локуса» речь идет как об активной просветительской деятельности интеллектуальных сообществ и практике формирования коллективной памяти, отражающей стремление интеллигенции отстоять перед властью свою самостоятельность в локальном функциональном пространстве (на примере якутских национально-культурных обществ 1920-х гг. и вековой истории Казанского университета). На примере кавказской эмиграции, сформировавшейся после полной победы большевизма в России, показан неудачный опыт использования общей исторической травмы для консолидации в условиях виктимизации прошлого отдельных народов. Недостаточность для консолидации опыта коллективной травмы обнаруживается также в линиях размежевания политико-идеологической ориентации интеллектуалов стран-наследниц бывшей Югославии и в моделях дискурсивного конструирования позиций «Первой» и «Второй Сербии».

В настоящей книге мы представляем лишь некоторые результаты проведенных в последние годы исследований. Полномасштабное компаративное изучение исторических стратегий взаимодействия интеллектуалов и власти в разнообразных контекстах времени и места потребует усилий гораздо более широкого круга специалистов.

*Л.П. Ретина*

# ЧАСТЬ I. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КОНФЛИКТОВ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

## 1.1. КОНФЛИКТ И “ИДЕЯ ИСТОРИИ” В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ XXI ВЕКА

На пороге XXI века историческое знание в стремительно меняющемся мире оказалось в конфликтной ситуации со множеством акторов (историки, философы, лингвисты, антропологи, социологи, интеллектуалы, читатели и др.) и институций (академические институты, исследовательские лаборатории, государственные структуры, учебные заведения, издательства и проч.).

Можно выделить несколько уровней или аспектов в этой ситуации. Прежде всего, это внутридисциплинарный конфликт между традиционными историками и их критиками. Первые руководствуются преимущественно нормативными установками исторического ремесла, основы которого были заложены в XIX веке. Вторые настаивают на необходимости пересмотреть устоявшиеся правила, расширить междисциплинарное сотрудничество и продуктивные контакты с философией и исторической теорией. На междисциплинарном уровне разногласия вызывают проблемы историописания, связанные с формированием «мемориальной парадигмы», или «мнемо-истории»<sup>2</sup>, и культурным поворотом, наряду с которым «работают» как уже свершившиеся, так и продолжающиеся когнитивные повороты, сближающие историю с социально-гуманитарным познанием и науками о жизни, а также с философией: лингвистический, дискурсивный, биографический, пространственный, мнемонический, культурный, глобальный, имперский, перформативный, исторический, визуальный, эпистемологический, цифровой, экологический, архивный, материальный, аффективный, реляционный, этический, видовой, темпоральный и проч. Еще один аспект конфликта – это взаимоотно-

---

<sup>1</sup> Репина Л.П. Память и наследие в «крестовом походе» против истории, или рождение «мемориальной парадигмы» // Уральский исторический вестник. 2021. № 2. С. 6-16. DOI: 10.30759/1728-9718-2021-2(71)-6-16

<sup>2</sup> Afterlife of Events. Perspectives on Mnemohistory / Ed. by M. Tamm. Tallinn University, 2015.

шения историков и истории с государственной исторической политической, сферой преподавания и социумом.

Особенно сложные отношения в этой ситуации у историков и философов. Впрочем, они никогда не были простыми. Фернан Бродель в этой связи говорил о «диалоге глухих». Мишель Фуко иронично заметил: «философы по большей части весьма невежественны во всех дисциплинах, кроме своей... Для них история – это своего рода огромная и обширная непрерывность, где перемешаны свобода индивидов и экономические или социальные детерминации»<sup>3</sup>. О том же писал А.Я. Гуревич: «Наши философы давно оторвались от историков и едва ли себе представляют те новые тенденции, которые намечились в области исторического знания... Философия истории... всегда диктует некую схему, поневоле упрощающую бесконечно красочную и разнообразную действительность»<sup>4</sup>. Философы до сих пор обвиняют историков в теоретической наивности, а также в том, что они не думают, когда исследуют и пишут. Так, Эва Даманска, в статье с говорящим названием «Патерналистское освобождение истории теорией» вновь обратила внимание теоретиков истории на необходимость «зарыть топор войны» между философами и историками для того, чтобы преодолеть, наконец, длительную напряженность между этими двумя «племенами»<sup>5</sup>.

Основой такой коммуникативной напряженности является конфликт устоявшихся способов работы историка с другими представлениями о природе истории, ее отношениях со временем и роли в восприятии жизни. Содержательно он выражается, прежде всего, в недооценке или неприятии исторической теории и теоретических новаций в производстве исторических текстов, что проявляется в квалификационных исследованиях, в практике научной экспертизы, в работе редакций журналов и издательств, в учебном процессе и т.п. Это даже не кризис традиционной дисциплинарной истории: такой кризис историческое сообщество более или менее успешно преодолело на рубеже XX–XXI вв.<sup>6</sup> Речь идет не только об идентичности исторической дисциплины и профессии историка, но о кризисе исторического мышления, знания и понимания в контексте набирающей силу трансдисципли-

<sup>3</sup> Фуко М. Воля к истине. М., 1996. С. 350.

<sup>4</sup> Гуревич А.Я. Теория формаций и реальность истории // Вопросы философии. 1990. № 11. С. 20.

<sup>5</sup> Domanska E. The paternalistic liberation of history by theory // Caminhos da História. 2022. Vol. 27. No. 2.

<sup>6</sup> Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М.: Наука, 2011.



лиарности. Вероятно, можно говорить о кризисе *историчности*, с которой интеллектуалы связывают наличие исторического измерения в философии и во всех науках без исключения. История, полагает Жак Рансьер, «это не просто дисциплина, это фигура мысли, которая в определенный момент устанавливает смысл *историчности*, доминирующий в качестве общей основы для схватывания объектов». Темпоральная составляющая историчности предопределяет ее изменчивость и зависимость от состояния исторического знания<sup>7</sup>.

И все же, вынесенная в название главы метафора *идея истории*, которую английский ученый Робин Джордж Коллингвуд (1883–1943) сделал знаменитой, удачнее, на мой взгляд, определяет предмет обсуждения. История не бывает бесспорной: становление *истории истории* как сложного знания всегда сопровождалось дискуссиями как по поводу конкретных результатов труда историков, так и по базовым вопросам исторической науки (проблема источника, факта, истины, объективности, верификации и проч.). Однако никогда в ходе дебатов о природе *исторического* и его роли в настоящем столь радикально не ставился вопрос о том, что у истории как *объективной науки о прошлом* нет будущего<sup>8</sup>. Кроме того, явно падает престиж исторической науки. Ее вытесняет «прошлое», потому что людей интересует «прошлое» и память о нем, но нарративам историков они уже не очень доверяют.

Робин Джордж Коллингвуд известен прежде всего, как философ. Но он был также археологом и историком древней Британии, а его книга «Идея истории»<sup>9</sup> остается классикой по историографии для студентов старших курсов. Однако, самое оригинальное в ней – дискурс профессионального историка о своей практике и ее теоретической специфике. По сути это то, что теперь называют *эпистемологией историка*<sup>10</sup>. Майкл Оукшот в рецензии на «Идею истории» писал, что автор этой книги достоин того, чтобы его назвали Кантом в историческом мышлении, а «последние сто страниц книги доста-

---

<sup>7</sup> Чеканцева З.А. Историчность и история в интеллектуальной культуре XXI века // Диалог со временем. 2018. Вып. 65. С. 6-20.

<sup>8</sup> Lorenz Ch. Unstuck in Time. Or: the sudden presence of the past // Karin Tilmans, Frank van Vree and Jay Winter (eds.), *Performing the Past. Memory, History and Identity in Modern Europe*. Amsterdam, 2010. P. 67-105.

<sup>9</sup> Коллингвуд Р.Дж. *Идея истории. Автобиография*. Москва. Наука. 1980.

<sup>10</sup> Gorman J. *Historical Judgement: The Limits of Historiographical Choice*. Montreal; Kingston: McGill Queen's Uni-ty Press, 2008; Чеканцева З.А. Мир историка и антропологизация историографии в XXI веке // Мир историка: историографический сборник / Отв. ред. В.П. Корзун. Омск, 2018. Вып. 12. С. 242-263.

точные для того, чтобы поместить Коллингвуда на вершину любого списка работ по истории»<sup>11</sup>. Это мнение разделяли Хейден Уайт, Фрэнк Анкерсмит и многие другие ученые.

Опираясь на свой исследовательский опыт археолога / историка и знание историографии Коллингвуд создал собственный канон понимания *исторического*, в котором определяющую роль в практике историка играет историческое мышление и воображение. Самое сложное в эпистемологии историка, по мнению Коллингвуд, это *понимание как акт сознания*. Речь идет о сознании конкретного исследователя, неотделимом от его индивидуального опыта. Можно сказать, что Коллингвуд в числе первых реабилитировал субъектность историка в познании. Философ Марина Кукарцева называет рефлексивную практику историков *историологией*. В предложенной ею типологии таких практик позиция Робина Коллингвуда определена как *идеалистская историология*. Однако, Коллингвуд не всегда последовательно выражал свой идеализм. Он работал в 1920–1930-е годы, когда ученые впервые обнаружили наличие в мире тотальной неопределённости и ему чужды были дихотомические установки. «Идеальное и реальное не являются взаимоисключающими, – писал ученый. – Вещь может быть одновременно идеальной и реальной»<sup>12</sup>.

В своей инаугурационной речи в связи с избранием в Коллеж де Франс Фуко представил культуру как пространство дискурсов<sup>13</sup>. Среди всего, что говорится, *дискурсом* является множество высказываний, которые при определенных условиях могут вызывать некоторые эффекты власти. Даже «в тюрьмах люди говорят, но это речь без голоса», просто «проговариваемые вещи». По словам Фуко, у массы в этом мире есть лишь сила крика, то, что он называл «шепотом безумия», но порядок дискурса зависит от интеллектуалов, дискурс которых работает вместе, против, наряду с высказываниями, которые хотя и произносились, но не имели отношения к дискурсу. Фуко писал, что в его время интеллектуалов конституировала «озабоченность совре-

<sup>11</sup> Цит. по Кукарцева М.А. Философия истории и историческая наука. М., 2018. С. 63.

<sup>12</sup> Collingwood R.G. Some perplexities about time: with an attempted solution // Proceedings of the Aristotelian Society. Vol. 26. 1925-1926. P. 135-150 (p. 150). Цит. по: Gorman J. Collingwood and historical time // Paper delivered 24<sup>th</sup> March 2011 to University of London Institute of Historical Research. Research Seminar in Philosophy of History. P. 11.

<sup>13</sup> Фуко М. Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. С. 47-96. Считается, что термин *дискурс* в научный оборот ввел бельгийский ученый Э. Бюссанс в работе «Язык и дискурс» (1943).

менностью»<sup>14</sup>. При этом они старались «говорить о тюрьме, не говоря вместо нее». По мнению Фуко, для этого надо было скрестить дискурсы, чтобы ни один из них не был привилегированным.

Интеллектуалы 1960-х – 1970-х годов были явно политически ангажированы. Сегодня такая ангажированность стоит в повестке дня, но историю в политических целях использует главным образом государство. Историческое знание не столько производится (это интересно только беспокойных интеллектуалов), сколько наследуется и используется в целях поддержания политической стабильности. Транснациональный опыт использования истории для легитимации статус-кво хорошо изучен<sup>15</sup>. Власти и политики понимают историческое знание как некий музей, выполняющий задачи патриотического воспитания<sup>16</sup>. Историки по разным причинам, как правило, уклоняются от интервенций, хотя отдают себе отчет в том, что инструментализация истории, в том числе публичные коммеморации, обеспеченные финансированием, поддержкой СМИ, официальной пропагандой, способны затемнять сложность исторического опыта.

В то же время исторический дискурс остается духовной пищей всех, кто хочет понять свое настоящее, собственный дискурс о прошедшем и связь первого со вторым. В историческом знании такое понимание во многом облегчает интеллектуальная история. Вызовы XXI века делают социально-гуманитарную мысль в целом и интеллектуалов в особенности более активными. В числе таких активистов немало ученых, философов, писателей, художников, которые работают и ведут себя как интеллектуалы в современном понимании, то есть хорошо делают свое дело и выносят в публичное пространство противоречивые смыслы, проясняя ситуацию и учитывая возможности для вмешательства<sup>17</sup>.

Осознание теоретичности дискурсивного мира историков происходит на наших глазах. Аналитики отмечают взрывное «обобщение историографии эпистемологией», проявляющееся во многих разделах истории. Речь идет о формировании в русле исто-

---

<sup>14</sup> Фуко, Мишель. Озабоченность современностью // Неприкосновенный запас. 2013. № 2 (88). – <http://www.nlobooks.ru/node/3417> (ноябрь, 2023).

<sup>15</sup> Историческая политика в XXI в.: Сборник статей / Под ред. А. Миллера, М. Липман. М., 2012; Малинова О. Актуальное прошлое: Символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности. М., 2015.

<sup>16</sup> См., например: Калинин И. Бои за историю: прошлое как ограниченный ресурс // Неприкосновенный запас. 2011. № 4(78). С. 330-339.

<sup>17</sup> Фадеева Л.А. Дискуссии об интеллектуалах в контексте политической истории Запада // Диалог со временем. 2012. Вып. 41. С. 108-138.

рической дисциплины на стыке историографии и эпистемологии новой субдисциплины под названием «эпистемология историков»<sup>18</sup>. Эрнст Кассирер рассматривал науку как символическую форму, понимание которой предполагает ее включение в историю культуры<sup>19</sup>. Историчность приглашает философа и историка исследовать формы бытования науки, ее практики, структуру и механизмы развития. Однако эпистемология истории, практикуемая философами и эпистемология историков – это, по словам П. Рикера, «два мира очень разных дискурсов». Впрочем, в философии нового тысячелетия на смену классической эпистемологии идет неклассическая, формируются разные варианты культурно-исторической эпистемологии, в которой познавательная норма предстает не как стандарт, а как инструмент познания, обретающий смысл только в ходе конкретного исследования, где ученый использует ее лишь как ориентир<sup>20</sup>.

В отличие от методологии науки, предписывающей как следует думать ученому, эпистемология историков направлена на понимание историографического дискурса о производстве исторического знания, осмысление форм и способов его существования. За последние тридцать лет издано немало книг и статей, в которых анализируются не только историографические достижения по тем или иным проблемам, но и исследовательские практики с характерным набором процедур, вопросов, риторических стратегий и аргументов. Пересматриваются устоявшиеся стереотипы и предрассудки исторического мышления, анализируются дискуссионные проблемы на стыке историографии и эпистемологии. Историки обсуждают и изобретательно исследуют в материале такие темы как время, пространство, причинность, объективность, темпоральная дистанция, нарратив, язык историка и множество других, которые раньше практически не осмысливались. В ходе бесчисленных дебатов стало ясно, в частности, что метод, как писал еще Г. Башляр, превращаясь в привычку, утрачивает свои достоинства. Историческое знание не сводится к ремеслу, которое используют для того, чтобы изучать прошлое. Не сводимо оно и к «практическому смыслу», «габитусу» или «знанию–

---

<sup>18</sup> Чеканцева З.А. Мир историка и антропологизация историографии в XXI веке // Мир историка: историографический сборник / Отв. ред. В.П. Корзун. Омск, 2018. Вып. 12. С. 242-263.

<sup>19</sup> Микешина Л.А. «Философия Просвещения» Э. Кассирера в свете культурно-исторической эпистемологии // Вопросы философии. 2014. № 12. С. 14.

<sup>20</sup> Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М.: УРСС, 2001; Микешина Л.А. Современная эпистемология гуманитарного знания: междисциплинарные синтезы. М.: РОССПЭН. 2016.

как». Слово историка, его мышление не менее важно, чем то, что он делает. Поэтому для понимания историографии как культурной практики большой интерес представляет то, что историки говорят и пишут о своем деле. Высказывается, впрочем, справедливое суждение, что изучение эпистемологии историографии вряд ли является наилучшим путем для понимания состояния исторической дисциплины, уже потому, что историографический и теоретический дискурсы не прозрачны. В эпистемологии историков проявляется скорее идеал, некий горизонт, который историки формулируют в диалоге со своими коллегами предшественниками и современниками, но этот дискурс не просто обогащает исследовательскую практику, но во многом ее конституирует. Можно сказать, что эпистемология историков – это стратегический медиум, с помощью которого выражается позиция специалиста по поводу различных вопросов исторического знания и, в конечном счете, складывается представление о дисциплинарной идентичности<sup>21</sup>.

Кроме того, такой дискурс является важным познавательным ресурсом, с помощью которого формируется идея истории, репрезентируется то, что на минимальном уровне объединяет всех историков. Выясняется, в частности, что это не только источник и исследовательская техника. Вот что пишет в этой связи Войцех Вжосек: «Культивирование нашего отношения к прошлому (истории как онтологического процесса) происходит в нас самих. Только в нас самих помыслы об источниках и источниковых данных. Они играют в нашем мышлении роль, какую мы им сегодня припишем. Они сами ничего нам не сообщают, если мы не захотим их спросить и не втянем в порядок конкретных дискурсов». Становятся ли исторические документы для нас «провокацией для стихийного испытания прошлого» или систематической его обработки в ходе историографической операции, зависит от выбора дискурса. «Именно избираемый нами дискурс определяет какие элементы мыслительного наследства утвердят нас в вере, что мы имеем дело с реальностью как таковой, несмотря на то, что ее нет»<sup>22</sup>. Эти размышления польского историка, актуализирующие историческую эпистемологию Коллингвуда, направлены на преодоление накопившихся в историческом познании апорий, утверждение эпистемологической честности ученого как

---

<sup>21</sup> Noël P.M. *Épistémologie, histoire et historiens: considérations conceptuelles, méthodologiques et empiriques autour du discours que les historiens tiennent sur leur savoir*. Thèse. Doctorat en histoire. Québec, 2014.

<sup>22</sup> Вжосек В. Исторический источник как реалистическое алиби историка // Мир историка. Выпуск 6. С. 294.

профессиональной нормы и пересекаются с похожими идеями в международной науке.

В историографии основополагающей является мысль о ее документальной основе. Сегодня укорененное в исследовательской и образовательной практике убеждение в том, что история пишется по следам, проблематизируется и в профессиональной среде. Приведу только один пример. Французский медиевист Ж. Морсель на основе большого лексического и историографического материала показал, что метафора следа является отнюдь не истиной, но соглашением, основанным на общей вере<sup>23</sup>. Изучив, как понятие следа было внедрено в язык историка, Морсель обнаруживает весьма активное использование синтагмы «исторический след» или «след прошлого» еще до Французской революции и анализирует эпистемологические последствия ее широкого распространения. Одним из таких последствий является восприятие истории как науки о прошлом. Морсель полагает, что «прошлое» как объект историка, ценное само по себе или как способ понимания современности, представляется весьма проблематичным. В таком качестве этот объект блокирует трансформации, скрывает конструктивистский характер исторического дискурса, составляет основу телеологического подхода<sup>24</sup> и нередко используется для легитимации настоящего. Восприятие документа-следа как отпечатка неотделимо от надежд возродить прошлое: след работает как присутствующий в настоящем знак того, что отсутствует и как способ реконструкции прошлого в настоящем.

Метафорическая натурализация потока времени и упрощенное понимание процесса изменения, обеспечивается по мнению историка широким использованием термина «источники»<sup>25</sup>. Это привело к утверждению мысли о том, что историк работает с обществами, которых больше нет. Но если учесть историчность истории, то историк изучает общества, которые *трансформировались*. В таком случае «прошлое» можно интерпретировать как «совокупность проблематичных трансформаций» (*l'ensemble des transformations en question*),

<sup>23</sup> Morsel J. Traces ? Quelles traces ? Réflexions pour une histoire non passésiste // *Revue historique* 2016 / 4 (N° 680), p. 813-868. DOI 10.3917/rhis.164.0813

<sup>24</sup> Антуан Корбен недавно убедительно показал на конкретных исторических примерах, насколько телеологическое прочтение истории связано с риском неосознанного искажения прошедшего знанием того, что случилось *после*. – Corbin A. Le risque, pour l'historien désireux de comprendre le passé, de savoir ce qui est advenu après la période qu'il étudie // *Sociétés & Représentations*. 2015 / 2 (40). P. 337-342.

<sup>25</sup> Morsel J. Op. cit. P. 847.

хотя его как правило представляют, как «некое прошлое состояние» (état passé), статичное и завершенное<sup>26</sup>.

У документа-следа, полагает Морсель, нет возможности воскрешать вещи, которые некогда были конкретными, видимыми и включенными в событийную жизнь, но сегодня их нет и об их существовании говорят лишь воспоминания в виде слов и изображений<sup>27</sup>. Материальность документа сама по себе позволяет прояснить то, что хотел сказать автор только магическим или символическим образом. Документ-след, его форма и содержание возвращает не к автору, а главным образом в породившую этот документ социальную систему, в которой он был создан, и которая сегодня окаменела. Историчность, а не «знание по следам» поддерживает историю в ее отношении к прошлому, которое само по себе ничего не дает для объяснения социального изменения и даже мешает или по крайней мере делает очень сложным его включение в социальные науки<sup>28</sup>.

Несмотря на известный консерватизм исторической дисциплины на пороге третьего тысячелетия именно историки, работающие в контакте с философией и другими социальными науками, многое сделали для обновления исторического мышления и понимания. Среди французских историков назову интеллектуального историка и биографа Франсуа Досса, который в своих книгах убедительно показал связь истории с миром социально-гуманитарных наук и философии<sup>29</sup>, историка античности Франсуа Артога, отважившегося изучать неуловимую историчность<sup>30</sup>, медиевиста Джерома Баше, написавшего блестящую книгу о том как нам преодолеть тиранию настоящего и отыскать подступы к будущему<sup>31</sup>, новиста Эрика Баратая, который показал, что возможна не только история взаимоотношения людей и животных, но также история животных, написанная «с точки зрения животных»<sup>32</sup>. Таких историков немало не только во Франции. О внимательном отношении историков к современной повестке со-

---

<sup>26</sup> Morsel J. Op. cit. P. 847-848.

<sup>27</sup> Morsel J. Op. cit. P. 863.

<sup>28</sup> Morsel J. Op. cit. P. 864.

<sup>29</sup> Doss F. L'Empire du sens. L'humanisation des sciences humaines, Paris, La Découverte, 1995.

<sup>30</sup> Hartog F. Regimes d'historicité. Presentisme et Experiences du temps. Paris: Seuil, 2003.

<sup>31</sup> Bachet J. Défaire la tyrannie du présent. Temporalités émergentes et future inédits. Paris: La Découverte, 2018.

<sup>32</sup> Éric Baratay Biographies animales. Des vies retrouvées, Paris, Seuil, 2017; Éric Baratay (dir.), Croiser les sciences pour lire les animaux, Éditions de la Sorbonne, coll. «Homme et société», Octobre 2020.

циальных наук наряду с конкретно-историческими исследованиями, свидетельствуют манифесты, призывающие к укреплению критической составляющей в историческом знании, а также их участие в трансдисциплинарных издательских проектах и дебатах об истории и ее будущем<sup>33</sup>. Самостоятельной исследовательской задачей стало переосмысление историографии как способа самопознания историков<sup>34</sup>. Идея истории, представленная в интеллектуальной истории, оказалась в центре современной интеллектуальной культуры.

Когда в 1975 г. у Мишеля Фуко спросили, на какие мысли его наводит слово *кризис*, он сказал, что «это просто словечко, которое знаменует неспособность интеллектуалов уловить их настоящее»<sup>35</sup>. Это не значит, что кризисов не было в истории, уточняет Фуко, напротив, «в современной западной истории не было ни одной эпохи, когда отсутствовало бы чрезвычайно тяжелое осознание глубоко переживаемого кризиса, такого кризиса, который люди чувствовали бы своей собственной кожей»<sup>36</sup>. Философ объяснял отсутствие эпистемологической значимости слова *кризис* телеологическим пониманием истории, в которой настоящее исключалось из изучения. Кроме того, важен и статус интеллектуала в обществе. «Он все время маргинален, все время находится в стороне. Всегда есть некоторое расстояние, иногда малое, а иной раз и огромное, благодаря которому происходит так, что все, что он пишет, способно быть только описательным». В конце концов в настоящем есть лишь одна речь – это речь приказа, распоряжения»<sup>37</sup>, то есть язык власти. О том же в 1975 г. писал французский историк и философ Мишель де Серто, творчество которого даже во Франции до 2002 г. было мало известно. Впрочем, в XXI веке понимание кризиса изменилось: теперь сло-

---

<sup>33</sup> Савельева И.М. Историческая наука в XXI веке. Ключевые слова // Диалог со временем. 2017. Вып. 58 С. 5-24; Микешина Л.А. Современные тенденции развития социально-гуманитарных наук в контексте междисциплинарности // Социальные и гуманитарные исследования. 2017. Т. 3. Вып. 1; Rethinking Historical Time: New Approaches to Presentism / Ed. by L. Olivier, M. Tamm. L., N.Y.: Bloomsbury Academic, 2019; Ewa Domanska, Posthumanist History // Debating New Approaches to History / Ed. by P. Burke and M. Tamm. London, 2018. P. 327-352.

<sup>34</sup> Попова Т.Н. Пути и перепутья историографии, или как не заблудиться в «дорожных картах» // Мир историка. Вып. 11. 2017. С. 122-157.

<sup>35</sup> Фуко М. Интеллектуалы и власть. Избранные политические статьи, выступления и интервью. Часть I. М., Праксис. 2002. С. 148.

<sup>36</sup> Там же.

<sup>37</sup> Там же. С. 149.



во *кризис* часто заменяет слово *прогресс*. Аналитики связывают это с изменением режима историчности и утратой веры в историю<sup>38</sup>.

**Темпоральный поворот и новые тренды  
в исторической культуре**

На рубеже веков были проблематизированы и переосмыслены едва ли не все устоявшиеся в историческом познании установки, что связано не только с изменением внешних условий, но и с профессиональной деятельностью историков. Все это уже обстоятельно изучено в контексте историографической революции последней трети XX века<sup>39</sup>. Но теперь все чаще говорят об интеллектуальной революции, ключевой проблемой которой стало *историческое время*. Связь времени с историей осознана давно. Но, по мнению Мишеля де Серто, историческое время как явление остается неосмысленным, присутствуя в историографии главным образом в виде хронологии. Многие историки до сих пор, вслед за Мишле, отождествляют время, историю и историческое изменение, воспринимая время как реальное и абсолютное. Именно так понимал его Исаак Ньютон. Хотя на протяжении прошлого века многие философы и ученые гуманитарии (Жорж Зиммель, Жорж Гурвич, Абу Варбург, Вальтер Беньямин, Эрнст Гуссерль, Мартин Хайдеггер, Марк Блок, Люсьен Февр, Фернан Бродель, Кшиштоф Помян, Франклин Рудольф Анкерсмит, Жак Ле Гофф, Поль Рикер и др.) предложили немало идей, позволяющих в материале показать *историческую* относительность времени. В 2008 г. тему времени актуализировала Линн Хант, процитировав «Физику» Аристотеля: «Во-первых, относится ли время к классу вещей, которые существуют или к тем вещам, которые не существуют? И, во-вторых, какова его природа?»<sup>40</sup>.

В последнее десятилетие историки вместе с философами, социологами, антропологами, географами и лингвистами интенсивно обсуждают принципиально важные эпистемологические вопросы, связанные с темой исторического времени. Каким образом взаимодействуют «порядок времени» и историческая реальность? Из каких темпоральностей сотканы хорошо известные и новые модели всемирной истории: национальная, универсальная, глобальная? Какие ритмы, наполняют пространственные масштабы этих моделей? Каким образом

---

<sup>38</sup> Hartog F. Croire en l'histoire. Paris. Flammarion 2013.

<sup>39</sup> Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века: курс лекций. Вып. 3. Историографическая революция. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2008.

<sup>40</sup> Hunt L. Measuring Time, Making History. Budapest: Central European University Press, 2008. P. 4.

в разнообразных культурах различают привычные для нас модусы времени: прошлое, настоящее и будущее? Как осмысление темпоральной проблематики в междисциплинарном режиме трансформирует историю как науку и профессиональную идентичность историка?

В поисках ответов на эти и подобные вопросы выполнено не-обозримое число индивидуальных исследований, коллективных проектов, многие из которых воплощены в опубликованных трудах, созданных авторитетными специалистами из разных областей знания<sup>41</sup>. В этих трудах убедительно показано, что в историческом познании на смену концепции линейного и прогрессивного исторического времени приходит понимание многомерности темпоральных процессов. В линейном времени прошлое, настоящее и будущее отделены друг от друга, а их принципиальная закрытость является основой таких институтов модерности (Modernity) как архивы, музеи, автономная историческая дисциплина. Но сегодня в трансдисциплинарном дискурсе утверждается концепция множества времен, в которой основные модусы времени и конкретно-исторические темпоральности, свойственные различным феноменам и процессам, предстают как реляционные категории, содержание которых формируется в практиках. Исследуется тесная взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего, их историческая изменчивость, а также гетерогенность каждого из них<sup>42</sup>.

В XXI веке на смену детерминистскому историзму, стержнем которого остается при всех нюансах самоценность «прошлого», приходит мультитемпоральный подход, основанный на идее подвижности границ между основными модусами времени и их постоянном взаимодействии. Включенность прошлого в настоящее меняет представление о предмете исторической науки, о соотношении истории и памяти, о материальных и аффективных формах этого взаимодействия. Новое ощущение времени проявляется не только в исследовательской практике историков, антропологов, социологов, лингвистов, философов и искусствоведов, но и в реальной жизни: в коммеморативных практиках, в музейных экспозициях и выставках, в политических движениях и властных проявлениях реальной политики. Все это изучается в трансдисциплинарном режиме, где ключевыми являются

---

<sup>41</sup> Lorenz C., Bevernage B. (eds.) *Breaking up Time: Negotiating the Borders between Present, Past and Future*. Göttingen: Vandenhoeck 2013; Helgesson St., Svenungsson J. (eds.). *The Ethos of History: Time and Responsibility*. New York: Berghahn Books, 2018; *Rethinking Historical Time. New Approaches to Presentism* / Ed. by M. Tamm and L. Olivier. L.: Bloomsbury Academic, 2019.

<sup>42</sup> Подробнее об этом см.: Чеканцева З.А. *Время и история в интеллектуальной культуре антропоцена // Диалог со временем*. 2021. Вып. 75. С. 1-15.

понятие *исторического опыта*, обновленный концепт *историчность* и многочисленные темпоральности. Международные исследовательские проекты и конференции, научные мероприятия и программы, направленные на поиск принципиально новых теоретических и методологических инструментов, позволяющих «включить сложность в наше понимание *sensemaking* процессов прошлого, настоящего и будущего», поток литературы и масштабность дебатов позволяют говорить о *темпоральном повороте* и формировании трансдисциплинарного исследовательского поля *time studies*, где одной из ключевых проблем остается преодоление понимания *исторического времени*, сложившегося в Европе эпохи модерности.

Теоретические рассуждения ученых в рамках такого поворота – не только рефлексия исследователя в русле интеллектуальной истории, но и своего рода тестирование модусов работы с прошлым в нашем настоящем. Стремительно формирующийся дискурс множественных темпоральностей тесно связан с современным мировым порядком и сложными проблемами актуальной политики памяти и политики времени<sup>43</sup>. Российские философы с базовым историческим образованием полагают, что темпоральный поворот в теории истории и дискуссии о мультитемпоральности являются более важными и продуктивными, чем изучение памяти. Прежде всего «они связывают историю современных сообществ с экологией и историей человечества в целом». Такое расширение предмета важно не само по себе, но как ревизия дисциплинарной политики, нацеленности на академическую замкнутость и научную сегрегацию. Оно позволяет пересмотреть границы между историей, антропологией, политэкономией и географией, до сих пор поддерживающие неолиберальную модель управления.

Кроме того, «темпоральный поворот» проблематизирует наше понимание политического, выводит его за рамки конструктивистской оптики, работающей, в том числе, в дискуссиях о политике памяти. «В-третьих, отказ от соматизации и метонимии (типичных для *memory studies*) возвращает обсуждение к истории *других*, что ослабляет неолиберальную ориентацию на прагматику и эффективность. Наконец, самое главное, – мультитемпоральность признает разрывы и сложные отношения времен, включая *будущее*, во многом нивелированное в исследованиях памяти и приватизированное неолиберальной политэкономией. Речь идет о новой философии времени (и истории), а не о возвращении к модернистскому (утопическому) визионерству. Эта

---

<sup>43</sup> Николай Ф.В., Олейников А.А. Темпоральный поворот в теории исторического знания на рубеже XX–XXI веков. Препринт. РАНХИГС. М. 2020.

новая философия / политика времени пытается перекодировать темпоральную неопределенность, чтобы изменить хрононормативность неолиберализма, который синхронизирует гетерогенные календари и ритмы ради извлечения прибыли, использует кризисы для укрепления своих позиций за счет других, боится риски богатых за счет бедных, укрепляет центр мир-системы за счет периферии»<sup>44</sup>.

Важнейшим инструментом политики времени в истории является хронология, которую нередко отождествляют с периодизацией. «Хронология, пересмотренная в русле таксономического порядка вещей, становится алиби времени, способом его бездумного использования», – эту фразу Мишеля де Серто историк-японист Стефан Танака сделал эпиграфом к своей статье с провокативным названием «История без хронологии»<sup>45</sup>, а через несколько лет опубликовал книгу, в которой обстоятельно обосновал мнение Мишеля де Серто и высказал конкретные предложения, направленные на изменение ситуации и возвращение исторического времени в историографию<sup>46</sup>. При этом Танака не отрицает хронологию как один из инструментов измерения времени, но объясняет необходимость историзировать эту древнюю практику, чтобы она не упрощала историческое изменение, связывая его с политикой, но помогала понять сложность исторической динамики, в которой помимо календарного хронологического времени присутствует бесконечное множество разнообразных ритмов, возвратов, повторов, пересечений, воплощенных в бесчисленном количестве разнородных темпоральностей.

Междисциплинарное обсуждение вопроса о датировке и периодизации эпохи антропоцена свидетельствует, что на историю человечества влияет не только теология, но и науки о Земле, и это влияние во многом проявляется в вопросах, относящихся к содержанию хронологии (датировка, периодизация, измерение времени эпохи антропоцена). Хельге Йордхейм предлагает использовать хронологию для переосмысления самой идеи длительности. Кроме того, «возвращение к хронологии» означает возвращение к историографической практике, которая позволяет думать о темпоральных масштабах и периодизациях во множественном числе, учитывать разные длительности, структуры и ритмы в сравнении, отображать сходства и различия, их синхронность или несинхронность<sup>47</sup>.

<sup>44</sup> Там же. С. 16.

<sup>45</sup> Tanaka S. History without Chronology // Public Culture 2015. Vol. 28. No. 1.

<sup>46</sup> Tanaka S. History without Chronology. Lever Press. 2019.

<sup>47</sup> Rethinking Historical Time: New Approaches to Presentism / Eds. L. Olivier, M. Tamm. L., N.Y.: Bloomsbury Academic, 2019.

По мысли Криса Лоренца идея «текущего линейного времени» лежала в основе традиционной идеи «объективности» в истории и с этим связано длительное весьма скромное место в дисциплинарной истории так называемой истории современности<sup>48</sup>. Однако в XXI веке, по мнению аналитиков, в разных странах резко возросло число студентов и магистрантов, предпочитающих специализироваться по «современной истории». Объясняют это изменением режима историчности и новым восприятием времени. Действительно, историк не только исследует «прошлое» (past), имплицитно или конвенционально воспринимаемое как один из модусов времени. Его труд представляет собой интеллектуальную деятельность, которая «одновременно является поэтической, научной и философской» (Х. Уайт). Поэтому историческое исследование предполагает то или иное представление о природе интеллектуального изменения. Современные теоретики истории объясняют, что только основательно изучив природу таких изменений, можно будет ответить на вопрос, что такое историческое время<sup>49</sup>. Хейден Уайт писал, что «историческое знание менее детерминировано прошлым, чем литературным, эпистемологическим и идеологическим выбором историка: форма определяет содержание». Скрытому историческому характеру прошлого статус истории придает историк, работающий в настоящем<sup>50</sup>. Таким образом, именно *присутствие* истории придает ей *историчность*.

Любопытно, что Робин Коллингвуд полагал, что «прошлое и будущее нереальны», для него скорее «реальное – это настоящее, задуманное не как математическая точка между настоящим и прошлым, а как союз настоящего и прошлого в длительности или постоянстве, которые в то же время изменяются». Таким образом, «прошлое как прошлое и будущее как будущее вообще не существуют, но являются чисто идеальными; прошлое как живущее в настоящем, а будущее как прорастающее в настоящем вполне реальны и действительно являются самим настоящим. Именно из-за присутствия этих двух элементов в настоящем... настоящее представляет собой конкретную и меняющуюся реальность, а не пустую математическую точку»<sup>51</sup>.

<sup>48</sup> Lorenz, Chris. Unstuck in Time. Or: the Sudden Presence of the Past // Karin Tilmans, Frank van Vree and Jay Winter (eds.), *Performing the Past. Memory, History and Identity in Modern Europe*. Amsterdam, 2010. P. 67-105.

<sup>49</sup> См.: Морфино, Витторио. Чесать марксистскую традицию против шерсти // Логос. 2021. № 4 (143).

<sup>50</sup> Rüsen J. *History, Narration, Interpretation, Orientation*. New York; Oxford: Berghahn Books, 2005. P. 82.

<sup>51</sup> Цит. по Gorman J. Op. cit. P. 39.

За последние полвека интеллектуалы научились лучше изучать настоящее не только с помощью социальных и гуманитарных наук, но и с помощью истории. Уже в годы Первой мировой войны интерес к настоящему резко вырос в историческом знании. Но только в конце «эпохи крайностей» (1914–1991) появились специальные кафедры и институты такой истории. Хотя споры о ней продолжаются до сих пор<sup>52</sup>. Эпистемологическим стержнем легитимации истории настоящего времени, на мой взгляд, является переход от истории современности к «историческому настоящему» (*présent historique*). Важным вкладом в понимание такой траектории является «история настоящего» Мишеля Фуко, представленная в ряде его исторических работ, а также большое количество конкретно-исторических и историографических исследований, созданных в русле истории настоящего времени. «Современная история, как известно, долгое время считалась невозможной... – писал П. Нора. – Это привело, как мы тоже знаем, к фактическому запрету современной истории в учебных заведениях, в частности в Сорбонне или в Hautes Études, а современная история укрылась скорее в параллельных учреждениях, таких как Свободная школа, затем Институт политических исследований, где Рене Ремон, учениками которого мы все здесь являемся, установил связь между современной историей и политологией»<sup>53</sup>. Молодые историки настоящего времени, размышляя о современном статусе этой субдисциплины, доказывают, что она больше не нуждается в особом положении, поскольку в течение полувека утвердилась как полноценная составляющая исторической науки<sup>54</sup>. Аргументируя возможность отказаться от выделения такой специальной области исторического знания, они призывают обеспечить формирование «*истории как социальной науки настоящего*».

Соприсутствие множества темпоральностей делает современность<sup>55</sup> в разных ее проявлениях предельно гетерогенной, что затруд-

<sup>52</sup> Чеканцева З.А. История настоящего времени во Франции // Историки об историках. К юбилею профессора Г.П. Мягкова / Под общ. ред. Л.П. Репиной и Н.И. Недашковской. М.: Аквилон, 2022. С. 268-280.

<sup>53</sup> Nora P. De l'histoire contemporaine au présent historique // *Ecrire l'histoire du temps présent : en hommage à François Bedarida*, Paris, CNRS éditions, 1992, p. 43-44.

<sup>54</sup> Droit E., Reichherzer F. La fin de l'histoire du temps présent telle que nous l'avons connue. Plaidoyer franco-allemand pour l'abandon d'une singularité historiographique // *Vingtième Siècle. Revue d'histoire*. 2013 / 2 (N° 118). P. 121-145. DOI: 10.3917/ving.118.0121

<sup>55</sup> В русском языке слово *современность* обозначает как исторический период – *модерность* (Modernity), так и *настоящее время, актуальный момент*. Сложность понятия *современность* объясняет бесконечную путаницу в переводах.

няет возможность ее адекватного постижения значительной частью живущих в этой современности людей. Ее переосмысление в трансдисциплинарном режиме ведет не только к новому понимаю общественной значимости истории, но и способствует пересмотру устоявшегося разделения наук на естественные и социальные / гуманитарные.

Такая наука может родиться в результате переосмысления предметности исторического знания, выбора иных научно-исследовательских объектов и включения настоящего времени в изучение множества темпоральностей. С укоренением так понимаемой *социальной истории настоящего времени* в пейзаже социальных наук современность станет исследовательским полем с очень высокой конкуренцией, поскольку с ней будут работать историки, этнологи, социологи, экономисты, политологи, географы, философы, лингвисты, специалисты по литературе и т.д. Отличие от привычного подхода заключается во взгляде на настоящее, в способах его изучения, схватывания и объяснения. Такая история способна вернуть в социальное познание интерес к объяснению, который во многом был утрачен в последние десятилетия. Для историков это может послужить основанием для выявления *историчности* практик, институтов, групп акторов и проч. При этом главная забота авторов этой статьи заключается в том, чтобы связать более естественно и активно историописание и социальные науки (антропология, социология, политология, лингвистика, право).

Очевидно, что речь идет об учете в исследовательской практике историков *историчности*, понимаемой как метаморфоза / трансформация, в которой исследователь может уловить феномен, некогда существовавший в прошлом, но изменившийся в современности. То, что изучаемое явление вызывает вопросы в настоящем – главное свидетельство его *историчности*. На мой взгляд, эти аргументы представляют значительный интерес для переопределения не только научного статуса истории, но также роли науки и трансдисциплинарного познания в целом. Хотя их осмысление определено потребует времени.

Философ Золтан Болтизар Симон предлагает отнестись серьезно не только к множественности темпоральностей, учитывая разнообразие скорости и ритмы процессуальных изменений, но также осмыслить различные переходные отношения между прошлым и *будущим* в практиках, воплощающих модальности «исторического будущего». Поскольку нашу жизнь одновременно формируют множество конфигураций отношений между прошлым, настоящим и будущим, современный режим историчности «делает возможным множественность *историчностей* в различных сферах жизни, социальных практик, природных явлений и их сложных взаимосвязей. Нужно только найти способы признать эту *плюриисторичность*, не

пытаясь привычно вписывать возможные *иные* исторические переходы в процессуальную модель исторического времени, унаследованную нами от западной модерности»<sup>56</sup>.

Необычайная острота и многоликость проблем эпохи антропоцена, возникающих перед конкретными людьми, группами индивидов и сообществами, требует синергии знаний, технических и эпистемологических приемов анализа. Но синергия плохо совмещается с аналитической рациональностью отдельных научных дисциплин. Вот почему столь актуально сегодня осмысление возможностей интегративных подходов к реальности в русле междисциплинарных, полидисциплинарных и трансдисциплинарных подходов.

Основные понятия, лежащие в основе классической концепции мира, себя исчерпали<sup>57</sup>. Французский социолог и философ Эдгар Морен ввел в науку понятие *сложная мысль* еще в 1982 году<sup>58</sup>. Поворот к сложному видению знания, предполагающий больше внимания к взаимозависимостям, контекстам, разрывам, неопределенностям, означает также заботу о формах мысли. Это приводит к необходимости переосмысления аксиом, лежащих в основе представлений о рациональном познании, сформулированных еще О. Контом. Содержание методологического поиска, считает Морен, состоит не в том, чтобы найти унитарный принцип для познания, а в том, чтобы показать рождение сложной мысли, которая не сводится ни к философии, ни к науке, но способна обеспечить их непрерывное диалогическое взаимодействие. «Сложность, – пишет Морен, – возникает как трудность, как неуверенность, а не как ясность и ответ. Проблема в том, существует ли сегодня возможность ответить на вызов неопределенности и трудности?»<sup>59</sup>. Интеллектуальная мысль нашего времени интенсивно ищет ответ на этот вопрос.

---

<sup>56</sup> Zoltan B Simon Domesticating the future through history// Time & Society 2021, Vol. 30. No. 4. P. 494-510.

<sup>57</sup> Prigogine I. et Stengers I. La nouvelle alliance: métamorphose de la science. Gallimard. 1979.

<sup>58</sup> Morin E. Science avec conscience. Paris: Fayard, 1982.

<sup>59</sup> Morin E. La défi de la complexité. P 1. См. La complexité d'Edgar Morin // Sciences Humaines, hors-série, spécial № 18 mai-juin 2013, в котором обсуждается главный труд мыслителя «Метод» в 6 томах (2000 страниц). Vers un renouveau de la rationalité [Электронный ресурс]. На русском языке уже есть первый том этого труда: Морен Э. Метод. Природа Природы. М., 2005. Философы активно осваивают сложные лабиринты его новаторской мысли, трудной, но обновляющей: Морен приглашает по-новому взглянуть на понятия, которые составляют основу научного познания: причина, система, организация, порядок, беспорядок, автономия и проч., открывая путь к новой рациональности.



Наша планета, как становится ясно теперь, слишком маленькая и хрупкая для того, чтобы отдельные общности и территориальные образования продолжали самоутверждаться в бесконечных конфликтах со своими близкими и дальними соседями. Конечно, сделать мир более спокойным, уравновесить бесчисленные проявления неравенства и несправедливости в современных условиях очень трудно. Но в противном случае конфликтогенность национальных нарративов представляется непреодолимой. Согласительные комиссии, созданные в разных странах, как показал Бербер Бевернаж, плохо справляются с поставленной задачей<sup>60</sup>.

Более того, историки в этой ситуации предстают как «пограничники» – хранители границ между прошлым и настоящим, якобы в принципе неспособные принять новые реалии и перестроить устоявшиеся исследовательские подходы и процедуры. Отчасти такие обвинения справедливы, но лишь отчасти. Приведу один пример. Сегодня идентичности, как и память, не изучает только ленивый. Причем значительная часть таких текстов представляет собой слегка аннотированную библиографию опубликованных статей и книг. Концептуально ничего подобные тексты не меняют. Мысль о том, что идентичность как индивидуальная, так и коллективная укоренена в истории, представляется общим местом, как в научном дискурсе, так и в мире повседневности. Однако в последнее время философы и специалисты в разных областях науки, в том числе историки, все чаще ставят под сомнение такую постановку вопроса<sup>61</sup>. «Страстный поиск идентичности противоречит самой идее истории», – полагает известный французский историк Патрик Бушерон. – История – это «наука о социальных изменениях, которая рассказывает, как мужчины и женщины в обществе становятся хозяевами своей судьбы. Вопреки тому, что утверждают апостолы национальной идентичности, история не провиденциальна: ничего не написано заранее. Когда история оказывается запертой в ловушке идентичности, она ограничивается тем, что “уже написано”, она согласна с этой теологией неизбежной катастрофы, которая грядет. История продолжается, потому что она постоянно открыта. Она не удовлетворена тем, что уже было, но остается восприимчивой к его будущему. Пожалуй, единственный возможный урок истории заключается

---

<sup>60</sup> Бевернаж Б. Время, присутствие и историческая несправедливость / Гефтер. 17.08.2012. – <http://gefeter.ru/archive/5835> (ноябрь, 2023).

<sup>61</sup> См.: Чеканцева З. А. Историческое измерение идентичности. Размышления о магическом призраке // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2017. Т. 8. Вып. 9 (63). DOI: 10.18254/S0002011-1-1

в уверенности, что в каждый новый момент изобретается что-то такое, чего никогда не было. Однако мы живем во времена интеллектуального конформизма, когда сторонники упрощенного мышления абсолютно преобладают. В этом контексте мощный политический заказ требует от историков разных стран: докажите нашу уникальность, нашу древность и закрытость нашей идентичности»<sup>62</sup>. «Что может противопоставить историческая наука этому современному яду?», – спрашивает Бушерон. И отвечает: «она должна расширить свои дисциплинарные границы, твердо отказаться от всякого компромисса с этим идеологическим проектом, способным погрузить общество в ностальгию по мифическому прошлому».

Глобализация, антропоцен, дигитализации и многократное увеличение информационного потока, темпоральный поворот в исторической теории радикально меняют условия, в которых работают ученые. Утрата веры в историю, дисциплинарная зависимость историографии от государства, шаткость исторической истины, конфликтогенность национальных историй, низкая эффективность работы различных согласительных комиссий, непрозрачность для читателя академических исторических исследований – все это вместе негативно влияет на авторитет исторического знания. Однако потребность в *историчности* возрастает как в мире интеллекта, так и в повседневной жизни.

«Историческая культура не имеет практического применения, которого от нее можно было бы ожидать, например, в случае оправдания в конфликте. Ее значение состоит скорее в том, что она обостряет наше восприятие инаковости, различий, легитимирует несогласие с тем, что в силе, облегчает ориентировку в сложных жизненных обстоятельствах. Она учит нас, что никто не хотел своей истории, даже если чувствует себя в ней хорошо. Уже поэтому мы не обязаны оправдываться перед кем бы то ни было за то, что мы представляем собой исторически»<sup>63</sup>. Важнейшей задачей современности является формирование умения жить вместе, и история при определенных условиях может стать школой мысли для каждого конкретного человека, помогая активизировать процесс самопознания, формируя критическое восприятие жизни и культуры в широком антропологическом смысле.

<sup>62</sup> Boucheron P. La recherche de l'identité est contraire à l'idée même d'histoire // Le Monde. MONDE Culture et idées. 24.09.2015.

<sup>63</sup> Innerarity D. L'histoire comme expérience de la contingence // Bouton C., Bégout V. Penser l'histoire. De Karl Marx aux siècles des catastrophes. Paris, 2011. P. 270-278.

На пороге XXI века человечество нуждается в знании, которое способствовало бы не только просвещению, но и выживанию. Трансдисциплинарные дискуссии последних лет об антропоцене, историческом времени, этосе истории, исторической теории свидетельствуют о том, что все большее значение в этой связи приобретает наша способность не просто изучать прошлое в тесном переплетении с настоящим, но и думать о будущем, возможно даже изобретать его, учитывая весь известный опыт не только человечества, но и всего, что нас окружает, включая материальный мир вещей и все разновидности живых существ. А для этого необходима не только база знаний, но прежде всего развитое историческое мышление и воображение.

## 1.2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛ В ПРЕДКОНФЛИКТЕ РОЛЬ И МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК

Модернизация и связанная с ней социальная трансформация порождают множество конфликтов, преодоление которых, несмотря на болезненность этой фазы для общества, позволяет ему ускорить переход на качественно новый этап своего развития. Переломные эпохи актуализируют для исследователей не только вопросы, связанные с его преодолением в прошлом, но и помещают в фокус исследовательского интереса проблемы участия в конфликте отдельных социальных групп и страт. В свою очередь, ретроспективный анализ социального противостояния обращает внимание на причины развертывания конфликта, степень его радикализации и скорость эскалации, способствует пересмотру роли и оценки участия отдельных лиц в моменте формирования конфликта. Интеллектуалы могут быть помещены в центр внимания как объект не только истории идей. В исследовании социальных практик они предстают значимыми акторами социально-политической эволюции общества. «Дремлющий» интеллектуал выступает на авансцену особенно ярко в ситуации конфликта и предконфликта. «Мыслитель», в силу специфики своей деятельности, способен увидеть и проанализировать быстрее иных социальных групп предтечу формирования противоречий.

Методологическая трансформация интеллектуальной истории и воспринятые ей глобальные тренды на интер- и трансдисциплинарность имеют следствием включение в предметные поля «конфликт» и «конфликт – компромисс» вопросов влияния идей и их создателей на развитие социального противостояния. Как подчеркивает Л.П. Репина, «сегодня можно говорить о новом состоянии интеллектуальной истории, для которого характерно максимальное расширение исследовательского пространства, интенсификация междисциплинарного взаимодействия, предельный методологический плюрализм и принципиальная толерантность в отношении конкурирующих научных парадигм»<sup>1</sup>. Внедрение в изучение истории

---

<sup>1</sup> Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М.: Кругъ, 2011. С. 334.

социальных практик интеллектуалов современного принципа интердисциплинарности означает более широкое приобщение знаний социологии, культурологии, социальной философии, политологии, психологии и других гуманитарных дисциплин. Речь идет, прежде всего, как о дисциплинарном сотрудничестве в инструментально-методологической плоскости синтезирования научных методов, так и об интерполяции философско-социологических моделей при анализе социального выбора интеллектуалов прошлого.

Наиболее результативным оказывается применение полидисциплинарных исследовательских моделей в анализе многофакторных процессов и прецедентов. Такими перекрестками социальных и культурных напластований, их сломом и диалектическим формированием нового выступают конфликты, которые зачастую возникают в моментах ускорения развития и трансформации общества. Конфликт, как наиболее острый способ разрешения социальных противоречий, в своем развитии может проходить разное, вариативное количество стадий. Однако общей для любого открытого противостояния становится ситуация, которая скрыто оформляет столкновение интересов отдельных групп. Первая, латентная или доконфликтная стадия – предконфликт – характеризуется наличием противоречий, которые, однако, не идентифицируются современниками как конфликтные и проявляются преимущественно в виде выраженной рефлексии о несоответствии приемлемым ценностям поведения или социального выбора будущей «противоположной стороны» противоборства. Рефлексия, критика, рассуждения выступают ведущими социальными практиками этой латентной стадии, задают тон будущего развития противостояния и формируют ценностно-смысловой контекст развертывания конфликта.

### *Роль интеллектуала в предконflikте*

Социальная роль интеллектуала при статичном состоянии культурных сфер всегда двояка. Пьер Бурдьё подчеркивал, что «интеллектуалы – это подчинённая часть доминирующего класса. Будучи доминирующими в качестве обладателей власти и привилегий, которые даёт владение культурным капиталом... являются подчинёнными в своих отношениях с обладателями политической и экономической власти»<sup>2</sup>. Однако не только само обладание знанием создает предпосылки для оппозиции интеллектуального меньшинства к власти, но и их профессиональная деятельность выдвигает кри-

---

<sup>2</sup> Бурдьё П. Поле интеллектуальной деятельности как особый мир // Начала. Сборник текстов. М.: Socio-Logos, 1994. С. 215.

тику как основной способ интерпретации окружающей картины мира. В ситуации предконфликта для интеллектуала формируется ситуация перекрестья профессионального и гражданского, где на него, как на эксперта-специалиста, социум возлагает роль «оценщика» социальной реальности.

Однако акторы-интеллектуалы, которые по мнению С. Пластрика «обычно обладают широкими культурными и интеллектуальными интересами... в ряде случаев как таковые были полностью оторваны от политической жизни»<sup>3</sup>. Они меняют свое социальное поведение в ситуации обострения противоречий. Специфика интеллектуалов «воспринимающих реальность критически уже в силу своей профессиональной принадлежности и функциональной обязанности познавать»<sup>4</sup> становится основой для формирования протеста, выражение которого приходится на ситуацию собственно конфликта и его первых стадий. Интеллектуал, в отличие от обывателя, не только находится в ситуации предконфликта – он способен его прогнозировать заранее. Субсообщество интеллектуалов тесно связано с национальным сообществом и «переживает судьбу своей страны в особо острой форме»<sup>5</sup>, что, помноженное на испытываемую ими социальную тревогу и формирование ресентимента к конфликту, может приводить к трансляции идей, контрнаправленных по отношению к общественному порядку.

По первым косвенным признакам, еще неочевидным для других социальных групп, интеллектуал через анализ и критику формирует для себя и единомышленников *пред-предконфликтную* диспозицию, когда конфликт, сконструированный в картине мира узкого круга интеллектуалов, уже существует и становится видимым для анализа и рефлексии. В то время как для всего социума ситуация предконфликта только начинает формироваться, и может выражаться в категориях: социальной тревоги, опасений, предчувствий и тд.

В ситуации нарастания латентного формирования противостояния для широких общественных групп модель социального выбора интеллектуала может оставаться немотивированной, но критика, выраженная в виде идеи, остается в социальной ткани социума и может проявиться поколениями позже – сначала среди интеллектуалов, затем быть воспринятой крупными общественными стратами.

<sup>3</sup> Plastrik S. Intellectuals and Government // India International Centre Quarterly. 1979. Vol. 5. № 2. P. 62.

<sup>4</sup> Панько А.Г. Власть и интеллектуалы: суть оппозиции // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2011. № 6. С. 198.

<sup>5</sup> Арон Р. Опиум интеллектуалов // Логос. 2005. № 6. С. 192.

Находясь в конфликте и принимая контрапозицию, интеллект-уал привлекает при выборе модели поведения привычные ему профессиональные категории. Легитимность власти начинает соотноситься с критерием «истины», что, по М. Фуко, для интеллектуала, отстаивающего истинность, делает первостепенным анализ текущего политического, экономического и институционального контекста принятия властных решений. В конфликте оценивается вероятность и правильность установления «новой политики истины»<sup>6</sup>. Старое и новое проходят критику через фильтр культуркапитала (в трактовке П. Бурдьё) сообщества интеллектуалов, выступающее для социальной группы средством понимания механизма господства.

Категория истинности, а вернее то, что благодаря интеллектуалам будет считаться одобряемым и правильным, выступает основной латентной социальной власти «мыслителей». Значительный теоретический вклад в анализ рассматриваемой проблематики внесли социолог Л.П. Эдвардс и специалист по истории идей К.К. Бринтон. Исследователи подчеркивают связь «философа и революционера»<sup>7</sup>, соглашаясь с тезисом, что «революция против правящего класса не может быть успешной, пока его члены уверены в себе и в деле, которое они защищают. Важно обратить внимание на способ, которым публицисты разрушают их убеждения и веру в себя. Ведь репрессивные не меньше, чем репрессивуемые, зависят от интеллектуалов и их идей. Интеллектуалы являются профессиональными кураторами образования, морали и религии. Их работа состоит в том, чтобы создавать и разрушать представления об истинном и ложном, добре и зле, порочности и добродетели, моральном и аморальном, благородстве и разврате, ортодоксии и ереси, смысле и бессмыслице. В выполнении этой великой миссии они ограничены состоянием экономического развития данного общества и масштабами социальных волнений, возникающих по той или иной причине в данное время. Но в пределах этих ограничений они могут сделать многое, добываясь желаемого тяжелым и длительным трудом. Публицисты поддержат репрессивуемый класс не раньше, чем выдвинут и популяризуют посредством дискуссии новую систему знаний и моральных кодов, включающих новые стандарты мудрости и глупости»<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Фуко М. Интеллектуалы и власть // Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2002. С. 208.

<sup>7</sup> Brinton C. French Revolutionary Legislation on Illegitimacy, 1789–1804. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1936. P. 4–6.

<sup>8</sup> Эдвардс Л. Естественная история революции // Социологический журнал. 2005. № 5. С. 130.

Социальная функция интеллектуала многогранна и уникальна. Он – тот актер, который критикует существующий порядок и, в то же время, обосновывает новые постконфликтные нормы, предлагая проекты реформ и преобразований. Роль акторов-мыслителей в ситуации ускорения модернизации, которая может считаться позитивной стороной конфликта, кроется в создании концептов, вызывающих доверие больших социальных групп. Потребность в таком знании существенно возрастает в эпохи перемен и потрясений, когда особенно остро ощущается социальная растерянность. Подобными экспертными продуктами могут выступать концепты, разрабатываемые интеллектуалами на основе отдельных идей и доктрин.

Выработанные до конфликта новые теоретико-идеологические основания зачастую находят свой отклик уже в ситуации конфликта, поскольку с их помощью можно оценить соответствие происходящих процессов как идеальному социальному порядку, так и универсальным ценностям, которые отражены в традициях. Принимая активное участие в производстве обновленной картины мира, интеллектуалы внедряют в традиционную иерархию ценностей новые культурные образцы. Они могут проявляться в нормах, морали, институтах и внедряться в аксиологическую структуру общества. Все это создает основания для культурной трансформации, стремящейся войти в баланс с социальной трансформацией переломной эпохи.

Не только сами мыслители как акторы, но и транслируемое ими восприятие идеи формирует контекст социального взаимодействия, где имманентно присутствующие идеи способны косвенно влиять на формирование поколений интеллектуалов. Г. Лукач в своей работе «Ответственность интеллектуалов» следующим образом иллюстрирует эту особенность: «поскольку интеллигенция никогда объективно не сможет одинаково чувствовать себя как дома во всех областях науки, каждая эпоха выдвигает определенные науки, определенные отрасли знания, определенных авторов, которых считают классическими, на первый план. Так, в восемнадцатом столетии ньютоновская физика играла серьезную прогрессивную роль при освобождении французской интеллигенции от старых теологических предрассудков и от монархически-абсолютистской идеологии, ими опосредованной; в то время во Франции она стала идеологическим импульсом для подготовки великой революции»<sup>9</sup>. Подобную логику, но с разнонаправленным вектором можно наблюдать и в анализе межпоколенческих настроений английских интеллектуалов. В част-

<sup>9</sup> Лукач Г. Об ответственности интеллектуалов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2004. № 1. С. 95.



ности, «...позиция таких публицистов, как Элиот, Пим и Хэмпден, предвещала приход Кромвеля и простоллюдинов. В 1700 году публицисты с самым выдающимся характером и способностями, такие как Босуэ и Фенелон, отстаивали доктрину божественного права королей. Два поколения спустя не осталось ни одного интеллектуала в королевстве, кто не нападал на это учение как на ложное»<sup>10</sup>.

Если интерпретировать конфликт как фактор ускоренной модернизации общества, то в ситуации противостояния и предконфликта интеллектуал выступает актором-триггером, предвестником будущих изменений. Для историка в определении динамики конфликтной ситуации, исходящей из ситуации предконфликта, становится необходимым анализ самоопределения интеллектуалов. Оно выступает для субсообщества характерной поведенческой чертой в начальной стадии противостояния. В свою очередь выражаемые на этом этапе идеи и их дискурс прямо влияют на развитие социального недовольства.

Опираясь на работу С.Ф. Хантингтона «Политический порядок в меняющихся обществах», можно выделить две основные предпосылки революции как конфликта. Первая – неспособность политических институтов выступать каналами входа в политику новых социально-политических сил и элит. Вторая – мобилизация и участие в политике прежде отчужденных групп. Исследователь подчеркивает, что «подлинно революционным классом в большинстве модернизирующихся обществ является, конечно же, средний класс. В нем заключен главный источник городской оппозиции правительству»<sup>11</sup>. Рассматривая роль интеллектуалов в конфликтах через призму теории среднего класса, можно заключить что именно мыслители становятся связующим звеном между оформленной традицией и будущей постконфликтной культурой, ценности которой становятся предметом анализа уже в ситуации формирования противостояния. Вместе с тем небольшое число интеллектуалов в обществе не позволяет им оказать непосредственное влияние на социальную трансформацию и помещает их в ситуацию сотрудничества или выстраивания соподчиненных отношений с иными социальными стратами. Зачастую интеллектуалы находят первичную поддержку в среде представителей среднего класса, через которую латентно влияют и связывают в единое движение «откликнувшиеся» социальные слои,

---

<sup>10</sup> Edwards L.P. The natural history of revolution. Chicago: University of Chicago Press, 1927. P. 42.

<sup>11</sup> Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. М.: Прогресс-Традиция, 2004. С. 293.

группы, сообщества. Способность интеллектуалов критиковать и мотивировать на протест становится ведущим потенциалом конфликта. В связи с этим Хантингтон замечал: «город – это центр оппозиции внутри страны; средний класс – средоточие оппозиции в городе; интеллектуалы – самая активная оппозиционная группа внутри среднего класса»<sup>12</sup>.

Для эскалации конфликта оказывается принципиальным «смещение лояльности интеллектуалов» («transfer of the allegiance of the intellectuals», Л.П. Эдвардс), которое заключается в том, что социальная группа «призванная воспроизводить “картину мира”, артикулировать социальный порядок и осуществлять его трансмиссию будущим поколениям, заражается духом революционной неустрашенности, начинает сочувствовать угнетенным и теряет веру в идеалы власти». В первую очередь разочарование интеллектуалов вызывает критику отдельных представителей власти и чиновничьего аппарата. Частой становится практика призывов к обновлению властной элиты, ее очищению на основании социально одобряемых моральных норм, реформированию властных институций.

Р. Арон выделяет три типа критики интеллектуалами: техническую, моральную и идеологическую<sup>13</sup>. Техническая критика связана с восприятием мыслителем роли управленца и предложением им способов разрешения социального зла, допускает инструментальное сотрудничество интеллектуала и власти. Предлагаемые при этом проекты преобразований не всегда выступают основой разрушения политического порядка и могут носить, в том числе, консервативный характер, как, к примеру, предложения русских мыслителей К.Н. Леонтьева, К.П. Победоносцева, Л.А. Тихомирова и др.

Второй тип – моральная критика, направленная на противопоставление угнетенных и угнетателей, соседство в одном локусе роскоши и крайней нищеты, разоблачение жестокости колониализма и т.п. В этом случае интеллектуал не предлагает или не имеет оформленного представления о выходе из кризиса, но, ведомый внутренним моральным императивом, высказывает свое мнение, привлекая внимание властной элиты и общественности. Примером здесь могут служить многотомные работы ранних английских социологов рубежа XIX–XX вв. – Ч. Бута<sup>14</sup> и С. Раунтри<sup>15</sup>, где авторы

<sup>12</sup> Там же... С. 294.

<sup>13</sup> Арон Р. Опиум интеллектуалов...

<sup>14</sup> Изданный в двух томах «Жизнь и труд людей в Лондоне» (1889; 1891) и семнадцатитомный труд «Жизнь и труд людей в Лондоне» (1902–1903).

детально описывали быт и нравы бедняков на фоне имперских достижений Британской империи. В связи с этим необходимо отметить, что заслуживает особого внимания та моральная критика, которая в большей степени свободна от индивидуалистичных и личных предпочтений актора. Н.А. Дмитриева и Е.С. Чичин подчеркивают: «критерий критичности и, как следствие, оппозиционности является необходимым для определения интеллигенции и не зависит от политической ситуации и культурно-исторической эпохи, с изменением которых меняется и сам феномен интеллигенции (сравним, например, французских просветителей XVIII в., русских революционных демократов XIX в. и итальянских социалистов начала XX в.). Однако этот критерий хотя и необходим, но недостаточен, поскольку без учета еще одного – морального... интеллигенцию образует только та оппозиция, которая выражает интересы угнетаемых классов, а не та, в основе которой лежит собственный частный интерес»<sup>16</sup>.

Третий тип критики – идеологический или исторический. Она «направлена против существующего общества во имя общества будущего»<sup>17</sup> и отличается большим радикализмом, обличает несправедливость существующего социально-политического порядка. Формируемый здесь дискурс предлагает пути к обновлению социальной структуры и ведет к развитию конфликта по радикальной экспоненте.

Можно сказать, что характерной чертой габитуса (по П. Бурдьё) мыслителя выступает ориентация на экспертизу окружающего пространства, прежде всего социума. Тогда как *основная социальная роль интеллектуала в предконфликте – критика и ее трансляция*.

Влияние социальной культуры на интеллектуала формирует определенный гражданский этос мыслителя. В нем синтезируется профессиональное с теми обязанностями, которые возлагает на интеллектуала общество. Это становится особенно заметным в среде представителей гуманитарного знания. Так, Ж. Деррида подчеркивал, что работа в данных областях способствует анализу происходящих современных процессов и размышлений о политических условиях<sup>18</sup>.

<sup>15</sup> «Бедность, исследование городской жизни» (1901), «Ставки и азартные игры: национальное зло» (1905), «Безработица» (1911), «Как живет рабочий, исследование проблемы сельского труда» (1913), «Лекции о жилье» (1914) и др.

<sup>16</sup> Дмитриева Н.А., Чичин Е.С. Интеллигенция или интеллектуалы? Систематическое значение понятия «Gli intellettuali» в философии Антонио Грамши // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2013. Vol. 2. № 2. С. 44.

<sup>17</sup> Арон Р. Опий интеллектуалов... С. 188.

<sup>18</sup> Шувалова М.В. Жак Деррида об ответственности интеллектуалов // Перспективы науки. 2011. № 6 (21). С. 108.

Интеллектуал проводит своеобразную экспертизу окружающего его социокультурного пространства, транслируя результаты которой, выражает свою политическую позицию.

Р. Арон, представитель социально-философского подхода в вопросе взаимодействия интеллектуалов и власти, подчеркивает, что модернизация общества расширяет горизонты социальных ролей интеллектуалов. Они, обновляя концептуальное поле идей, осмыслиют собственную жизнь и окружающее их социальное пространство. В свою очередь, для современников обладает значимым авторитетом выраженное мнение интеллектуала «как человека идей и человека науки, который разделяет веру в человека и разум»<sup>19</sup>, что влияет на рецепцию повседневности современниками и наделяет «мыслящее сообщество» определенным культурным суверенитетом. Вместе с тем способность быстрее других социальных групп фиксировать проявления предконфликта предлагает заранее интеллектуалу выбрать ту или иную из противоборствующих сторон, оформить и выразить контрмнение в противостоянии, стать выразителем идей охранения или разрушения социального строя. В терминологии Л.П. Эдвардса, представителя чикагской социологической школы, интеллектуалы, разделяющие подобную модель в конфликте, именуется «публицистами». Название объясняется тем, что «люди слова» – писатели, проповедники, лекторы и журналисты, начинают оформлять и выражать волю народа, тем самым наделяя себя властными полномочиями, которыми их косвенно наделяет социум.

При этом на основных стадиях конфликта интеллектуал может остаться в тени происходящих событий. Это актуализирует вопрос его социальной ответственности, которая традиционно возлагается на политические элиты. Как подчеркивает Т.И. Пороховская, складывается парадоксальная ситуация: «С одной стороны, ответственность за будущее общества, человечества не может быть вменена в обязанность, она возлагается интеллектуалами на себя добровольно: этот долг относится к категории “сверхдолжного”... С другой стороны, в случае негативных последствий политического выбора общество возлагает ответственность за этот выбор не только на политиков, но и на интеллектуалов. Таким образом, ретроспективная ответственность – ответственность за то, что сделал или чего не сделал, – активизирует проспективную ответственность – ответственность за прогнозы, принимаемые решения, за социальные цели»<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> Арон Р. Опиум интеллектуалов... С. 187.

<sup>20</sup> Пороховская Т.И. Ответственность интеллектуалов // Ценности и смыслы. 2017. № 1 (47). С. 91.

Примером здесь может служить ситуация вокруг «манифеста девяности трёх», написанного немецкими интеллектуалами в период «августовского воодушевления» («augusterlebnis») 1914 года – начала войны. В документе выражалось одобрение немецким войскам, участвующим в Лёвенской трагедии, оцененной позже как проявление «тевтонского варварства». Но уже в 1916 г. ряд подписантов под влиянием трансформации общественного мнения и очевидных проблем Германии на фронтах отказываются от текста, выступая с начала 1920-х гг. с публичными покаяниями.

Устоявшейся в историографии является характеристика интеллектуалов как субъектов, склонных к критике в своих социальных практиках. Этот тезис нашел отражение в фундаментальных работах Р. Арона, Ю. Хабермаса, Й. Шумпетера, М. Уолцера, был широко поддержан в работах российских авторов – таких как А.А. Бутина, В.Н. Мартыянов, Ю.М. Резник и др. Оригинальный взгляд предложен М. Уолцером, который полагает, что в традиционных обществах интеллектуал-критик всегда прямо или косвенно обращается к власти, тогда как основным адресом становится народная масса. И здесь для человека, занятого умственным трудом, открываются две основные перспективы. Первая, интерпретируя социальные низы как инструмент критики, создает направление для бунтующего духа толпы. Вторая связывается с включением и участием в гражданские практики, которые могут как способствовать эскалации конфликта, так и сводить его к компромиссу. М. Уолцер относит к таким критикам общественную деятельность А. Камю, Ж.П. Сартра, М. Фуко и др. Исследователь наделяет эту модель социального поведения следующими инструментами воздействия: «политическое осуждение, моральное обвинение, скептическое вопрошание, сатирический комментарий, гневное пророчество, утопические спекуляции»<sup>21</sup> и т.п.

Рассматривая ситуацию предконфликта и модели поведения в ней интеллектуалов, следует отметить ряд факторов. Первое, в обществе, где его члены ощущают себя притесненными, члены малочисленных стихийно организованных локальных групп испытывают социальное сочувствие друг к другу благодаря общему опыту переживания угнетения. Второе, интеллектуалы, критикуя окружающее пространство, начинают чувствовать необходимость перемен, и это ощущение может перерасти в критику самих институциональных основ властных элементов. Третье, постоянная критика, реализуемая мыслителями, приводит к выявлению делинквентных властных ин-

---

<sup>21</sup> Уолцер М. Компания критиков: социальная критика и политические пристрастия XX века. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 28.

ституты, которыми могут выступать как отдельные лица, так и группы или социальный слой. В этой ситуации интеллектуалы, наделенные властными полномочиями в информационно-мировоззренческой сфере, могут начинать публичную критику. Ее основным инструментом на этапе предконфликта становится стратегия «популяризации скандала». Речи, памфлеты, проповеди, статьи, поэмы, диалоги, пьесы и другие литературные сочинения начинают адресно направляться на представителей власти. Несмотря на то, что авторство обличительных текстов в ряде случаев может оказаться неочевидным, как, к примеру, «Великая ремонстрация» (1641) или «Трактаты Марпрелата»<sup>22</sup> (1588–1589).

В свою очередь, для общества выражение протестного мнения интеллектуалами порождает множество дискуссий, которые поддерживаются не только среди круга мыслителей. Происходит трансфер критического диалога в массы и на улицы, но здесь еще не возникает разделение и оформление противоборствующих сторон социального конфликта. Противоречие все еще находится в своей предконфликтной стадии. Вместе с тем «по мере развертывания дискуссии и выявления различных точек зрения люди, придерживающиеся наиболее крайних взглядов, иногда выходят за рамки вербального конфликта. Начинает проявляться социальный и экономический антагонизм. Разрываются дружеские отношения. Бойкоты в деловой сфере становятся институционализированными. Встречаются даже случаи распада семей. Репрессирующий класс и его сторонники становятся объектами разных форм социального давления, вплоть до остракизма»<sup>23</sup>. Все это готовит почву для второй стадии противостояния. Если происходит обострение и нарастание противоречия, то начинает формироваться конфликт, наличие которого уже осознает социум – разграничиваются группы, участвующие в противоборстве, осознается недовольство, фиксируются требования сторон, могут происходить первые столкновения.

### *Модели социальных практик интеллектуалов в предконфликте*

Обобщение и систематизация вариативности поведения интеллектуалов в предконфликте позволяет говорить о «типизации» поведения, которое находит свое отражение в социальном выборе акторов прошлого. Короткий XX век, наполненный конфликтами и

---

<sup>22</sup> Серия подписанных псевдонимом Мартин Марпрелат сатирических памфлетов, направленных против англиканских епископов и архиепископа Кентерберийского Уитгифта.

<sup>23</sup> Эдвард Л. Естественная история революции... С. 122.

различными типами противостояний, оформил ряд теоретических подходов к анализу моделей и ролей интеллектуалов в моменты кризисов, политической нестабильности, периодов т. н. «переломных эпох», «характеризуемых аналогичной констелляцией кризисных тенденций, социальными конфликтами, переживанием радикальных трансформаций, влекущих за собой ломку сложившейся системы базовых структур общественной жизни, социальных норм, идеалов и ценностей»<sup>24</sup>. Можно выделить *не менее* пяти подходов, утвердившихся в отечественной и мировой исследовательской практике, междисциплинарного изучения моделей поведения интеллектуала в социальном конфликте.

«*Интеллектуал-комментатор*». Модель связывается с научными спорами второй половины XX в. и разработкой теории «публичного интеллектуала»<sup>25</sup> (Ч. Миллс, Л. Козер, Р. Познер, Р. Рорти). В этой модели интеллектуал становится своеобразным буфером и «сглаживающим» транслятором социального недовольства. Публичный интеллектуал, как носитель «морального сознания общества»<sup>26</sup>, производит постоянную критику власти на публике. Это демонстрирует восприимчивость власти к демократическому предложению и готовность к диалогу. Фактически, такая роль интеллектуала в предконflikте ведет не к постепенному переходу конфликта к эскалации и спаду, а нивелирует его.

Модель проявляется в хронотопах, где наличествует кризис при слабой радикализации социальных страт. Здесь, снижая градус общественного напряжения сглаживается социальное противостояние, что способствует трансформации конфликта в компромисс. Подчеркивая значимость «интеллектуала-комментатора», Р. Рорти постулирует утверждение «что нет никакой инстанции, к которой можно было бы апеллировать выше, чем демократический консенсус»<sup>27</sup>. При этом, по мнению Л. Козера, деятельность публичного интеллектуала (автор вводит еще один термин – «интеллектуал знаменитость» (*celebrity intellectuals*)), выступает «обезболивающим,

---

<sup>24</sup> Репина Л.П. Опыт социальных кризисов в исторической памяти // Кризисы переломных эпох в исторической памяти / Под ред. Л.П. Репиной. М.: ИВИ РАН, 2012. С. 8.

<sup>25</sup> Возникает как переосмысление французского тезиса XIX века об «ангажированном интеллектуале».

<sup>26</sup> Mills C.W. On knowledge and power // *Public intellectuals, an endangered species?* / ed. by A. Etzioni and A. Bowditch. N.Y.: Rowman & Littlefield, 2006. P. 257.

<sup>27</sup> Диалог с Ричардом Рорти. *Atlantic Monthly*, 23 Апрель, 1998. – [http://www.vavilon.ru/textonly/issue1/ort\\_int.htm](http://www.vavilon.ru/textonly/issue1/ort_int.htm) (ноябрь, 2023).

лекарством снятия напряжения»<sup>28</sup>, адресованным «публике, лишенной экспертного знания и изысканного вкуса»<sup>29</sup>.

Резюмируя исследования американской школы социологов, Р.А. Познер выдвигает ряд социальных практик, доступных для публичных интеллектуалов: комментирование событийности «здесь и сейчас»; политическое и социальное прогнозирование; социальная и моральная критика; критика, исходящая от профессиональных знаний и методов обработки информации интеллектуалом (профессиональная критика); экспертные оценки и, наконец, самопрезентация и самопопуляризация<sup>30</sup>. Последний аспект модели был заложен Джоном Стюартом Миллем, который первый в модерной истории связал свои научные изыскания и популярность как общественного деятеля.

Примеры реализации описанной социальной практики демонстрируют биографии таких публичных интеллектуалов, связанных с внеакадемической общественностью, как: И. Бентам, А. Токвиль, К. Маркс, Р. Эмерсон, Г. Спенсер, Ф. Ницше и др.

Практика «*Интеллектуала-еретика*» связана с моделью поведения обобщенных групп внутри конфликта. Концепция нашла свое отражение в работах Р. Михельса и Л. Козера. Применительно к предконфликту, на фоне радикализации и нарастания противоречия внутри интеллектуального сообщества формируются так называемые «еретики». Эта модель поведения актора не означает перехода на противоположную сторону, эта критика направлена внутри субсообщества интеллектуалов, группы, образованного ими социального движения. Такая критика способна сгладить общий конфликт хронотопа власти и общества. Однако она не локализует его, а смещает противостояние в социальный диалог отдельных лиц или групп, что, в свою очередь, может ослабить протестное движение, поддержанное интеллектуалами, с последующим осуждением «критиков-еретиков» и обвинением их как ренегатов. При этом, как подчеркивает Л. Козер, «реакция на еретика еще более враждебна, чем на отступника. Если последний покидает группу, чтобы перейти на сторону врага, то еретик являет собой скрытую опасность: сохраняя верность главным ценностям и целям, он угрожает расколоть группу на фракции, различающиеся по выбору путей достижения этих целей... Еретик предлагает альтернативы там, где группа исключает их

---

<sup>28</sup> Coser L. The Intellectual as Celebrity // Public intellectuals, an endangered species? P. 231.

<sup>29</sup> Ibid. P. 227.

<sup>30</sup> Posner R.A. Public intellectuals: a study of decline. Massachusetts: Harvard University Press, 2001.



существование вообще»<sup>31</sup>. К таким идейным фракциям, возникающим на фоне противостояния власти и общества, можно причислить ряд размежеваний в левых и революционных движениях. В частности, применительно к эпизодам эволюции движения народолюбцев, «Земля и воля» (1861–1864; 1876–1879) после раскола породила «Народную волю» (1879–1881). Аналогичный процесс можно наблюдать и в коммуникации отдельных лиц. Где примером, подробно описанным Р. Михельсом, становится противостояние В.И. Ленина с социал-демократическим публицистом и политиком К. Каутским.

«Интеллектуал-анархист» и «интеллектуал-фабианец» – две роли интеллектуала в концепции социолога И. Хоу, где два термина выступают абсолютами в пространстве крайних точек между социальной критикой и защитой демократических институтов. Примеры полного соответствия роли встречаются в мировой истории крайне редко. Для большинства исторических примеров участия интеллектуалов в предконflikте можно выделять разнообразные смещенные формы «от анархиста к фабианцу». При этом обе роли создают единую систему, находясь друг от друга в динамической зависимости, на которую оказывает влияние событийность, внешние культурные факторы, сложившиеся интеллектуальные традиции.

В рамках парадигмы Хоу, интеллектуал выбирает или путь «отстранения», или реформы (роль «фабианца»), действуя, во втором случае, через инструменты мягкой силы как наставник в коммуникации власти и общества. На основе социокультурной практики медиации выстраивается консенсусный тип диалога. Он способен разгорающийся конфликт перевести в поле компромисса и договоренности между социальными низами и властной элитой. Фабианец оказывает явное влияние на политическую жизнь, однако сам не проявляет деятельного участия в принятии властного решения. Оптимальные условия для утверждения подобной роли создаются, во-первых, в случае либерального отношения власти к подобной «критике» интеллектуалов, во-вторых, в случае готовности элиты идти на компромисс, то есть выступить участником конструктивной коммуникации, стороной конфликта, обратной протестным силам. Примером может выступать Дж.С. Милль, который в условиях готовности средневикторианского общества к диалогу обосновал социально-экономические условия формирования практики компромисса<sup>32</sup>. Факти-

<sup>31</sup> Козер Л. Функции социального конфликта. М.: Идея-Пресс, 2000. С. 93-94.

<sup>32</sup> См.: Шабунина А.К. Общественный компромисс в викторианской Англии в исследовательском поле новой социальной истории // Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки. 2022. Т. 164. Кн. 6. С. 167-179.

чески, в условиях демократизации социального диалога, экономического либерализм Милля выступил проектом формирования будущего государства «всеобщего благоденствия», а затем и проекта социального государства.

Противоположная роль «анархиста» не предполагает политического участия интеллектуала, поскольку оно связывается с негативными коннотациями и воспринимается как недостойное занятие. Такой тип поведения актора сосредотачивается на критике, и, как поясняет Хоу: «его заботы не связаны с властью, а распространяются на оказываемое влияние, в меньшей степени – влияние на социум, и больше – на влияние в сообществе таких же интеллектуалов»<sup>33</sup>. Абсолютизируя в себе критика, интеллигент замыкается в своем субсообществе, лишь косвенно влияя на событийность и динамику конфликта. Что, однако, не означает слабости этой «косвенной» роли. Так, например, П.Я. Чаадаев после публикации своего первого «Философского письма» был признан властью умалишенным и ограничен в передвижениях. Несмотря на это, он смог сохранить значительное влияние на «образованное» сообщество николаевской России и, продолжив свою критическую и литературную деятельность без возможности открытых прижизненных публикаций, внес значительный вклад в развитие спора между «западниками» и «славянофилами», повлиял на развитие теорий цивилизаций и русской историсософии рубежа XIX и XX вв.

Проблема соотношения «интеллектуала-критика» и «интеллектуала-организатора» выступает одной из ведущих в социологических теориях, посвященных взаимоотношению власти и интеллигенции. Исследования косвенно касаются ситуации возникновения и нарастания противоречий в обществе, где ведущим фактором становилась вовлеченность интеллектуала в предконфликт, а в работах А. Грамши и Н. Бобио социальная роль мыслителя рассматривалась в контексте эволюции фона дискуссии по поводу отношений между политикой и культурой. При этом участие интеллектуалов в конфликте выражалось через прямое политическое участие в организационном / партийном / революционном движениях.

Следующие два типа касаются роли интеллектуала в конфликте, который развивается по динамическому вектору из доконфликтной диспозиции к эскалации и последующему пику конфликта.

*«Интеллектуал-революционер»* или модель «интеллектуально-го авангарда» сформировалась главным образом под влиянием работ

<sup>33</sup> Howe I. Intellectuals, Dissent and Bureaucrats // Public intellectuals, an endangered species... P. 78-79.

В.И. Ленина<sup>34</sup>. Позже была поддержана и развита в работах К. Бринтона, С. Хантингтона, М. Уолцера. Согласно этой концепции, основная роль интеллектуала в предконflikте заключается в популяризации идей социальной трансформации среди революционного класса, что может быть связано не только с социокультурными предпосылками, но также, по мнению М. Уолцера, с социально-психологической установкой интеллектуалов – «каким-то образом вышедших из-под ограничений старого порядка или освободивших от него себя самостоятельно. Эти люди, обычно молодые, отвечают на распад своего мира посредством его отвержения. Они отбрасывают общепринятые образы существования, традиционные семьи и формы занятости»<sup>35</sup>.

Несмотря на ряд концептуальных различий, в подходах указанных исследований имеется общее основание. Их роднит тезис о том, что, в результате принятия на себя роли авангарда, происходит трансфер лояльности в сторону поддержки массового недовольства и активизации наиболее радикальных слоев общества.

При этом сам интеллектуал не становится выразителем массового недовольства. Критикуя существующий порядок, он создает и переосмысляет концепты, которые затем транслирует вне своей социальной группы. Но хотя сам интеллектуал может не принимать деятельного участия в событийности конфликта, его роль оказывается крайне заметной в предконflikте, несмотря на возможную последующую смену его политических взглядов. Так, сторонник республиканских взглядов Жан-Франсуа де Лагарп, французский философ и просветитель второй половины XVIII века, был активным сторонником революции, выступая главным редактором популярного протестного журнала «Le Mercure», но, пройдя заключение в тюрьме в период террора, уже с 1794 г. начал демонстрировать умеренность и консервативность во взглядах. Тогда как тексты автора продолжали нести импульс для эскалации социального противостояния.

Вторая роль интеллектуала в уже развернувшемся конфликте – «*Интеллектуал-транслятор*», который выражает интересы социальной группы. В основе этой модели – концепция «органических интеллектуалов» Антонио Грамши, согласно которой для успешного конструирования революционной стратегии становится ведущим считывание настроений «gli intellettuali». Согласно Грамши, «решающее значение имела проблема интеллектуальной и культурной

---

<sup>34</sup> См.: Ленин В.И. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения // Полное собрание сочинений. 5 изд. М.: Политиздат, 1963. Т. 6. С. 6-27.

<sup>35</sup> Уолцер М. Интеллектуалы, социальные классы и революции // Логос. 2012. № 2 (86). С. 98.

гегемонии, проводниками которой выступают отдельные группы интеллектуалов»<sup>36</sup>. Группа «органических» интеллектуалов занимает активную роль на всем протяжении конфликта. Эта модель противоположна предыдущему типу. А Грамши подчеркивал: «деятельность интеллигента не может сводиться к ораторству, внешнему и кратковременному возбудителю чувств и страстей, она должна заключаться в активном слиянии с практической жизнью в качестве строителя, организатора, непрерывно убеждающего делом, а не только ораторствующего»<sup>37</sup>. Вместе с тем ведущей ролью в пред- и постконфликте по Грамши становится утверждение интеллектуалами культурных ценностей, которые выражают новое культурно-историческое содержание. Фактически речь идет о создании и популяризации обновленного социального идеала, олицетворяющего «новое» постконфликтное общее крупных социальных групп.

Анализируя исключительно стадию предконфликта, отмечу, что в содержании «Тюремных тетрадей» Грамши встречается термин «новый интеллектуал», где «новый» подразумевает, прежде всего, «другой» / «иной». Группа «новых интеллектуалов» связывается с категорией «гениальности», поскольку соответствуют «не тому времени, в которое они действительно живут, а времени, в которое они живут “идеально”»<sup>38</sup>, одновременно сражаясь с окружающей их социальной действительностью. Грамши отмечает, что борьба начинается с размышления и напряженной мыслительной критики, «сначала у отдельных людей, а затем и у всего класса в целом»<sup>39</sup>. Радикализация социальных низов выступает как процесс приобщения к критической культуре, которую транслирует сообщество «новых интеллектуалов», что становится неотъемлемой подготовкой «людей и общественных институтов к необходимости нововведений»<sup>40</sup>. Принципиальная позиция А. Грамши заключается в том, что описываемый порядок свойственен и предшествует любой революции. Автор иллюстрирует свой тезис примером с эпохой Просвещения, которая создала основу для Французской революции. Просвещение Грамши оценивает как на-

---

<sup>36</sup> Дмитриев Т.А. Антонио Грамши // История и теория интеллигенции и интеллектуалов / Под ред. В. Куренного. М.: НКФ «Наследие Евразии», 2009. (Серия «Мыслящая Россия»). С. 210.

<sup>37</sup> Грамши А. Тюремные тетради: в 3 ч. Ч. 1. М.: Политиздат, 1991. С. 344.

<sup>38</sup> Там же. С. 384.

<sup>39</sup> Грамши А. Социализм и культура // Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века / Под ред. Л.Г. Андреева. М.: Прогресс, 1986. С. 169.

<sup>40</sup> Там же. С. 170.

стоящую пассивную революцию, поскольку благодаря критической деятельности ее «гениев», «отдельных людей», «новых интеллектуалов», в данном случае – просветителей, «вся Европа как бы прониклась единым сознанием, стала неким буржуазным духовным интернационалом, в равной мере сопричастным общим бедам и невзгодам»<sup>41</sup>.

Граммши подчеркивает значимость моральной критики, так как именно она позволяет с позиции культурно-исторических ценностей, оценить степень социальной справедливости в окружающем интеллектуала обществе. В свою очередь, аксиологическая оценка и саморефлексия позволяет актору «постичь свое собственное место в жизни, свое в ней предназначение, свои права и обязанности»<sup>42</sup>, создав культурные и моральные основания для разворачивания конфликта во благо концептов, которые принимаются новыми интеллектуалами за ценностные ориентиры будущего идеального общества.

\*\*\*

Таким образом, можно выделить ряд практик поведения интеллектуала по отношению к власти в ситуации предконфликта. Оформленная исследователями палитра социокультурного выбора от «теневых» и компромиссных форм участия до роли лидера и революционера показывает вариативность социальных практик интеллектуалов. Отмечу, что приведенные выше модели редко встречаются в своей «чистой» форме. Можно говорить о диффузии поведенческих паттернов, которая выражается в смешении моделей при выборе социальной практики самими акторами-интеллектуалами, исходя из окружающих их действительности и свойственной ей традициями, культурными нормами и практиками.

Интеллектуал, замечая конфликт ранее других групп, предлагает обществу варианты, придает русло полемики социального диалога. Именно обладание и производство нового знания, в том числе критического, определяет значимую роль интеллигенции на этапе формирования конфликта. Широкий горизонт моделей поведения, который оказывает прямое влияние на радикальность и динамику противостояния, расширяет понимание роли интеллектуала как актора социальной эволюции, что для научного знания подчеркивает необходимость изучать историю интеллектуалов в контексте социальной эволюции общества, которая сопровождается пересмотром картины мира, формированием новых ценностных ориентаций и социальных культур постпереломных эпох.

---

<sup>41</sup> Там же... С. 169.

<sup>42</sup> Там же.

### 1.3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И ВЛАСТЬ В РОССИИ В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА КОНФЛИКТЫ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ «ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ»

«Целый вечер смотрел я на это изображение человека, который дал нам право на историю и едва ли не один заявил наше историческое призвание»<sup>1</sup>, – восторженно писал в своем письме о Петре I известный историк, мыслитель и «западник» Т.Н. Грановский в середине XIX столетия. Прижизненная и посмертная слава Петра Великого, «Отца Отечества» и, одновременно, Антихриста, лже-царя формирует амбивалентные образы отечественной традиции эпохи Раннего модерна. В век европейского Просвещения Россия пережила как минимум две «волны европеизации».

Первая – «петровская» – превратила «Московию» в имперское государство, дав безальтернативный ответ на цивилизационный вызов конца XVII века. Создание «регулярного государства» имперского типа стало «первой волной» европеизации, имевшей, в основном, внешнеполитические характеристики. Именно в этой сфере были сосредоточены главные усилия верховной власти как на военно-дипломатическом уровне, так и в ходе прямой рецепции западного опыта социального управления. Иначе говоря, Петр Великий сделал «молодую» империю полноправным участником решения европейских дел, превратив ее в деятельного актора международной политики.

Реформы российского самодержавия первой четверти XVIII в. обеспечили успех внешнеполитической программе имперского строительства, полностью и жестко подчиняясь логике и потребностям ее осуществления. Практически все состоявшиеся в этот период преобразования были напрямую или опосредованно детерминированы главной заявленной целью. Вместе с тем, «первая волна» европеизации России имплицитно формировала самостоятельный заказ на ее внутреннее обустройство по европейским «лекалам», когда во главу угла ставилась проблема адаптации «чужого» опыта существования.

---

<sup>1</sup> Т.Н. Грановский и его переписка. М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1897. Т. II. С. 453.

Если во внешней политике преемники Петра I сохранили верность прежнему курсу и стремились расширить географию покоренных территорий, то в самой империи уже в середине XVIII в. началась ревизия петровских централизаторских усилий с акцентом на постепенное ограничение прерогатив верховной власти через ее подчинение закону. В первую очередь это было связано с практиками формирования сословных привилегий дворянства, которое уже в период аннинского царствования получило целый ряд законодательно закрепленных гарантий (ограничение срока службы, упразднение указа о единонаследии и т.д.). В период «дворцовых переворотов» самодержавный режим устоял (хотя подвергся немалым испытаниям во время придворных заговоров и проявлений дворянской фронды), но верховная власть по собственной инициативе последовательно шла на переформатирование взаимоотношений с аристократией. На данном этапе, при всех оговорках, дворянство приобрело свободу от обязательной службы (1762 г.), широкие права владения крепостными крестьянами (1760 г. и др.), возможности деятельного участия во внутривластном процессе («институт фаворитизма» и т.д.).

«Вторая волна» европеизации России в полной мере обозначилась в царствование Екатерины II и в концентрированном виде была представлена политикой «просвещенного абсолютизма» (возможно более удачным в российском контексте является термин «просвещенное самодержавие»). Несмотря на впечатляющие внешнеполитические успехи екатерининского периода («империя на марше») наиболее содержательные изменения коснулись именно внутривластной сферы. При интеллектуальном влиянии европейского Просвещения в России происходила трансформация дискурса «божественной природы» монаршей власти в пользу концептуального обоснования законных прав и предпочтений главы государства. Центральным стал концепт «верховенства закона», предполагавший, в том числе, существенное ограничение царских привилегий. Например, «Жалованная грамота дворянству» (1785 г.) не просто даровала широкие права ведущему сословию в России, но и гарантировала их властью закона, который отныне не мог нарушать никто, даже император. Конструировалась управленческая модель, где верховная власть оставляла за собой возможность отклонить тот или иной законопроект, но после его одобрения закон становился высшим авторитетом, обязательным к исполнению для всех сверху до низу.

Вообще политика «просвещенного самодержавия» Екатерины Великой вводила принципиально новый стандарт государственного управления. В соответствии с положениями концепции «истинной

монархии» Ш. Монтескье происходила секуляризация монаршего статуса и формирование иной иерархии господства, опиравшейся на силу закона. Тем самым монархический режим по собственной инициативе заявил о своем стремлении трансформировать прежнюю традицию неограниченной верховной власти самодержца в более современную функциональную модель авторитета закона. Логическим продолжением движения в данном направлении в перспективе могла бы стать реализация идеи разделения властей в процессе превращения России в конституционную монархию.

Следует отметить очевидную преемственность в проведении политики «просвещенного самодержавия», начиная с Екатерины II до Александра II, венцом которой явились Великие реформы 1860-х и 1870-х гг. Попытки «романтика на престоле» Павла I пересмотреть «правила игры» не могли увенчаться успехом и закончились новым дворцовым переворотом (1801), подтвердившим устойчивость и целесообразность ранее выбранного курса на внутреннюю европеизацию России. «Просвещенное самодержавие», верховенство закона, «истинная монархия», десакрализация и самоограничение власти инструментализировали трансфер европейских ценностей в Россию. Благодаря политике «просвещенного самодержавия» в России появилась модель эволюционной трансформации общества «сверху» с краткосрочной перспективой конституционных преобразований.

Во второй половине XVIII века начало «внутренней европеизации» инициировало многие политические и социокультурные изменения в социуме, происходившие в режиме «контролируемой темпоральности». В частности, рецепция просвещенческой аксиологии постепенно формировала очень узкий круг интеллектуально продвинутых критиков местных порядков и адептов западнической исторической альтернативы. Публичная сфера современного типа «развивается в поле напряжений между государством и обществом, но оставаясь элементом частного пространства. Принципиальное разделение первых двух сфер, лежащее в основе публичной сферы, на первых порах подразумевает лишь разъединение моментов общественного воспроизводства и политической власти...»<sup>2</sup>.

Следует заметить, что, в отличие от Западной Европы, в екатерининской России не было достаточных условий для появления публичности и публичной сферы как таковой. Проводимая императрицей политика «просвещенного самодержавия», в конечном итоге, опиралась на идею безусловного сохранения неограниченной вер-

<sup>2</sup> Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: исследования относительно категории буржуазного общества. М.: Весь мир, 2016. С. 208.



ховной власти монарха, жестко пресекающего любые проявления вольнодумства и независимости.

Вместе с тем, можно говорить об образовании весьма специфического пространства, «карликового» по размерам, аристократического по статусу и придворного по положению, которое стало насыщаться новыми идеями, пришедшими с Запада. Это были микросообщества избранных императрицей «дискутаторов», способных вольнодумствовать в обозначенных границах. В данном случае, феномен Просвещения нужно понимать не только абстрактно-теоретически, но и как «особый социокультурный феномен, типологически связанный с появлением в обществах Старого порядка 1) новой институциональной реальности – “public sphere” и 2) новой общественной силы и авторитета – “public opinion”. В такой методологической перспективе конституирующим элементом Просвещения следует считать появление "публики" как особой социальной группы»<sup>3</sup>.

Одновременно, политизация общественных отношений в Европе, вызванная Французской революцией, напугала просвещенную, но все же самодержавную российскую власть. Очевидно, что в короткое время в конце царствования Екатерины II весьма скромные практики интеллектуальных дискуссий были уничтожены, а некоторые участники даже сурово наказаны. В данном случае, решающую роль на этапе длительного формирования публичного пространства в России играло политическое поведение верховной власти, способной своим давлением и репрессивными мерами радикально корректировать общественные процессы.

Социальная история России второй половины XVIII века характеризуется знаковыми структурными трансформациями. Политика «просвещенного самодержавия» как базовое содержательное наполнение «внутренней европеизации» страны завершила процесс формирования сословий, среди которых только дворянство могло претендовать на относительно автономный статус. Государство добровольно, по собственной инициативе, законодательно обеспечило дворянские свободы, осуществив тем самым курс на самоограничение своих властных полномочий по отношению к этой привилегированной группе. Верховная власть санкционировала и сопровождала генезис частноправовой организации дворянского сословия, что предполагало в перспективе репрезентацию его публичности.

---

<sup>3</sup> Публичное пространство, гражданское общество и власть: Опыт развития и взаимодействия. М.: Российская ассоциация политической науки (РАПН); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. С. 334-335.

Императрица Екатерина II декларировала и практически осуществляла просвещенческий принцип верховенства закона в условиях политического доминирования самодержавного режима. Любой проект мог превратиться в законодательную норму исключительно по воле монарха, однако после одобрения высшей инстанцией закон приобретал статус безусловного авторитета в обществе. Нарушения или попытки его пересмотра могли иметь очень серьезные негативные последствия лично для самодержца, что особенно ярко продемонстрировала история Павла I в начале XIX в. Скорее всего, именно с внутренних реформ Екатерины Великой можно начинать отсчет политической практики разграничения государственного и общественного пространства в России. Этот процесс во второй половине XVIII в. был слабо различимым следствием преобразовательных усилий императрицы, особенно в конце ее царствования, однако богатая на события история российского дворянства первой четверти следующего века все же позволяет делать подобное предположение.

Совсем не случайно, например, генезис российской либеральной традиции принято связывать с екатерининской эпохой как временем модных увлечений вольнодумством и европейскими идеями в среде просвещенного дворянства. Несмотря на отсутствие каких-либо явных социально-экономических или политических индикаторов современного транзита России в данный период, привилегированный статус первого сословия создавал правовые и социокультурные условия для обустройства частной сферы. Очевидной особенностью описываемого процесса можно считать инициативную роль государства, выступавшего в роли триггера приживления на отечественной почве престижных для просвещенной власти европейских новаций. Добровольная десакрализация монаршего института неизбежно модернизировала характер социально-политической коммуникации в высших эшелонах. В постепенно обновляющейся переходной реальности самодержавие нуждалось в формировании и воспитании своего самого близкого союзника в лице дворянства как единственной потенциально лояльной к режиму силы.

Приватная автономия российского просвещенного дворянства в конце XVIII века опиралась на безусловное владение частной собственностью, правовой сословный статус, образовательный ценз с обязательной модой на чтение современной иностранной литературы и т.д. Дарованные «сверху» привилегии не разрывали, но увеличивали дистанцию между властью и дворянской элитой, запуская в действие механизм ее самоидентификации, с трудом преодолевавшей традицию политического патернализма. Главным в повестке

дня первого российского сословия становилось удержание приобретенного положения, прежде всего от весьма изменчивых интенций императорского двора. Для этого использовались разнообразные методы – от заговора и цареубийства до содержательных просветительских усилий близкого монаршего окружения.

В любом случае политическое и социокультурное движение российского общества во второй половине XVIII столетия резко увеличило шансы на появление незаадминистрированного пространства «дворянской публичности», которое бы идейно насыщалось европейской просветительской аксиологией и создавало условия для будущей интеллектуальной рецепции принципов либерального правового государства уже в следующем веке. Обособление дворянства, ставшее результатом правовых гарантий государства, имущественная независимость и образовательный ценз в совокупности с внешнеполитическими событиями первых двух десятилетий XIX века вывели часть представителей сословной элиты в публичную сферу.

Кроме того, для понимания «антропологической специфики публичной гражданской культуры, складывающейся в России с конца XVIII в., важно учитывать специфику сферы частной жизни, быта и культуры российского образованного дворянства этой эпохи»<sup>4</sup>. В этот период дворяне вышли из интимного семейного и частного корпоративного круга и предъявили свои мировоззренческие принципы российскому социуму.

В первой четверти XIX века, в эпоху правления императора Александра I, дворянская публичная сфера формировалась параллельно по двум направлениям. Во-первых, это появление авторитетного публичного мнения (*public opinion*) при дворе в окружении монарха. Деятельность Негласного комитета и особенно М.М. Сперанского (несмотря на происхождение из духовного сословия) делало возможным не только практику воздействия на самодержца посредством убеждения, но и подготовку, обсуждение и реализацию некоторых важных реформаторских проектов. Более того, в этом пространстве активно развивалась конкуренция, продиктованная традиционной борьбой за влияние и, не в меньшей степени, содержанием представляемых суждений. В роли эрзац-публики выступали придворные сановники и высокие чины, вынужденные участвовать в полемических спорах о насущных проблемах преобразований.

Во-вторых, история тайных организаций декабристов и открытые выступления в публичном пространстве манифестировали

---

<sup>4</sup> Публичное пространство, гражданское общество и власть... С. 342.

наличие статусно-правовой и интеллектуальной дворянской автономии от верховной самодержавной власти. Известные декабристские программы свидетельствовали об активной рецепции европейских либеральных ценностей, пока еще в значительной степени механической, без «приживления» их на российской почве. В целом, феномен декабризма развивал и подтверждал идущий в России процесс разграничения государства и общественной сферы, в которой представители первого сословия заняли доминирующие позиции. Все эти события не выходили за рамки традиционной формы публичности с исключением низших слоев, где «народ образует кулисы, перед которыми господствующие сословия – дворяне, церковные иерархи, короли и т.д. – представляют самих себя и собственный статус»<sup>5</sup>.

После декабристов в течение следующей четверти века в образованной части российского общества происходили разнонаправленные процессы саморефлексии и поиска новой версии национального обновления. Политическая элита продолжала успешно эксплуатировать екатерининский курс «просвещенного самодержавия» посредством реформаторских усилий, законотворческой деятельности и активных идеологических посылов, направленных на удержание за собой ведущих позиций в модернизационном движении. Даже после европейских и польских событий начала 1830-х гг. режим императора Николая I не полностью отказался от преобразовательной политики, сосредоточившись, в основном, на подготовке будущих изменений. Следует учитывать появление в это время нового законодательства и меры, предпринятые в решении крестьянской проблемы на рубеже 1830-х – 1840-х гг., которые будут востребованы в период проведения Великих реформ.

Одновременно Николаевское тридцатилетие стало временем идеологического обновления образа российского самодержавия. Появление знаменитой триады С.С. Уварова «православие – самодержавие – народность», метко названной А.Н. Пыпиным «теорией официальной народности», подтверждало стремление власти контролировать начавшиеся процессы национального строительства. При этом императорская власть в данной концепции легитимирована «не божественной санкцией, но “положением”, “нуждами” и “желаниями” страны, то есть представляет собой по преимуществу “русскую власть”, так же, как и православие интерпретируется, прежде всего, как русская вера. Тем самым два первых члена триады выступают в качестве своего рода атрибутов национального бытия и

<sup>5</sup> Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы... С. 14.

национальной истории и оказываются укоренены в третьем – пресловутой народности»<sup>6</sup>.

Начавшиеся еще в эпоху Екатерины Великой процессы секуляризации образа монарха, десакрализации (самоограничения) верховной власти, персонифицированные попытки фрондирования по отношению к престолу формировали содержательную повестку внутренней европеизации России. Например, в общественном сознании второй половины XVIII века «постепенно складывалась иная, альтернативная официальной трактовка слова *гражданин*, в котором высшая политическая элита дворянства начинала видеть человека, защищенного законом от своеволия самодержца и его личных высочайших пристрастий»<sup>7</sup>. Эта слабая тенденция была существенно усилена декабристами и стала важным объектом рефлексии в образованной части российского общества в Николаевскую эпоху.

«Декабристская история» явилась очевидным триггером долгосрочного процесса формирования официальной публичной сферы в российском интеллектуальном и политическом пространстве. Хабермас настаивал, что политическая публичность вырастает из «литературной публичной сферы», в которой генезис общественного мнения детерминирован актуальными дискуссиями в печатных изданиях. В данном случае важным «критерием *публики и публичного* является уход от опеки государства и церкви: механизмы публичной сферы предполагают наличие открытой дискуссии (дебата), критики государственно-властной линии, а также источника общественного мнения»<sup>8</sup>. В результате, в краткой временной перспективе появляются публичные интеллектуалы, способные в силу своего образовательного уровня профессионально пользоваться печатным словом и не только влиять, но и создавать аттрактивное публичное пространство в обществе.

Существующие в историографии концептуальные размышления о разных режимах публичности включают в себя идею о «сильной» и «слабой» публике, которая артикулирует способность / не-

---

<sup>6</sup> Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла... Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 362.

<sup>7</sup> Марасинова Е.Н. «Закон» и «гражданин» в России второй половины XVIII века: очерки истории общественного сознания. М.: Новое литературное обозрение, 2017. С. 408.

<sup>8</sup> Несовершенная публичная сфера. История режимов публичности в России: сб. стат. / Сост. Т. Атнашев, Т. Вайзер, М. Велижев. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 228.

способность влиять на принимаемые властью решения. Эта теоретическая конструкция имеет значительный функциональный потенциал при описании российских реалий XIX столетия. Методологически важно то, «что слабая публика, когда она возникает, уже создает определенную коммуникативную власть, пусть и слабую. Мы здесь видим скорее историческую эволюцию форм от слабых публик к сильным, в которой российский контекст лучше описывают именно возникающие слабые публики»<sup>9</sup>.

Институционально публичная сфера опирается на «1) разного рода негосударственные организации и институты (салоны, литературные и дружеские общества, кофейни и чайные дома, клубы, масонские ложи и т.д.), обеспечивающие выработку новых форм социальности; 2) газеты, журналы, книги, циркуляция которых обеспечивает коммуникацию внутри публичной сферы»<sup>10</sup>.

В отечественной весьма своеобразной публичной сфере рождались яркие личности, имевшие прочную репутацию, готовые предлагать к обсуждению актуальную общественно-политическую повестку. Среди них невозможно пройти мимо видных представителей русского западничества и славянофильства, сторонников теории «официальной народности», известных литераторов и публицистов, печатавшихся на страницах периодики во второй четверти XIX века. Кружки, салоны, литературные общества, журналы стали площадками для публичных дискуссий, в которых формировалось общественное мнение.

Дополнительным аргументом в пользу вывода о формировании в данный период пространства публичной сферы в России служит появление феномена «селебрити» (знаменитость), по поводу которого концептуальная дискуссия может вестись в рамках известной теории современного французского специалиста А. Лилти. Он выделяет три «формы признания» в обществе: «репутация», «знаменитость» и «слава»<sup>11</sup>. В этой иерархичной конструкции нижнюю ступень занимает «репутация», складывающаяся посредством «социализации мнений» ближнего к человеку круга общения: личного, профессионального, общественного, случайного и т.д. Иными словами, репутация возникает из персональной формальной и неформальной коммуникации и является обязательным атрибутом личностной характеристики любого индивида, своеобразной коллектив-

<sup>9</sup> Там же. С. 74.

<sup>10</sup> Публичное пространство... С. 339.

<sup>11</sup> Лилти А. Публичные фигуры: изобретение знаменитости (1750–1850). СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2018. 496 с.

ной оценкой его теми, кто был знаком или пересекался с ним лицом к лицу (face to face). Таким образом, речь идет, с одной стороны, о прижизненном темпоральном, а, с другой, ограниченном пространственном измерении. Репутация, как правило, не «передается по наследству» и не распространяется за границы достаточно узкого коммуникационного поля.

Понятие «слава», занимающее верхнюю строчку на иерархическом пьедестале, напротив, имеет принципиально иные коннотации. Оно относится к «героям, святым, выдающимся личностям, ко всем тем фигурам, чье прославление всегда играло существенную роль в западной культуре, а в Новое время вылилось в появление образа “великого человека”, столь милого сердцу философов-просветителей...”<sup>12</sup>. Достижение славы почти всегда сопряжено с незаурядными действиями, поступками, творениями, позволяющими создать соответствующий ореол конкретной личности. Традиционно, подобный статус приобретается посмертно при единодушном (или подавляющем) одобрении в коллективном сознании потомков и является эксклюзивным. Список людей, удостоенных славы, по определению, не может быть длинным. Ее коммеморативность детерминирует длительный процесс укоренения той или иной фигуры в героическом каноне великих исторических персонажей. Вместе с тем совершенно не исключено, что со временем в него будут внесены самые неожиданные коррективы.

Между «репутацией» (reputation) и «славой» (glory) Лилти размещает категорию «знаменитость» (celebrity). Генезис феномена «селебрити» автор относит к XVIII веку и считает это результатом трансформации публичного пространства и первоначальных попыток коммерциализации развлечений. Отграничивая знаменитость от смежных понятий, Лилти утверждает, что знаменитая личность «знакома тем, у кого нет ни малейших причин иметь о ней какое-либо мнение, кто прямо никак не заинтересован в вынесении собственных суждений о ее личных качествах и профессиональных навыках»<sup>13</sup>.

С одной стороны, «селебрити» имеет дело не с узким кругом людей, а с публикой, которая не коммуницирует непосредственно со знаменитостью. Быть известным и знаменитым в публичном пространстве значит обязательно вызывать общественное любопытство, эмоционально окрашенное в разные тона – от восхищения до полного неприятия. С другой стороны, неременным условием является поддержание интереса к себе, так как речь в данном случае идет

---

<sup>12</sup> Лилти А. Публичные фигуры... С. 11.

<sup>13</sup> Там же. С. 12.

о публичном персонаже. Это объясняется темпоральной природой знаменитости, которая существует «здесь и сейчас», чужда всякой коммеморативности и слабо связана с какой-либо профессиональной деятельностью. Не столь важно, чем занимается тот ли иной знаменитый человек, важно насколько он способен будоражить общественное мнение. «Селебрити» целиком становится объектом публичного внимания с очевидным акцентом на частную невидимую жизнь новоявленного кумира. Возникает сильная эмоциональная привязанность к знаменитости, воплощающаяся в фигуре фаната.

В современной литературе предлагается типология режимов публичности в России, согласно которой период 1830–1850-х гг. попадает в границы режима «Пропаганды и ограничения», где присутствуют фазы ограничения публичных дебатов, активизация централизованной пропаганды, введение элементов цензуры и репрессий против критиков существующих институтов<sup>14</sup>. Подтверждением и интересной интерпретацией данной версии является экспертное мнение, согласно которому прошлая модель гражданской культуры, ориентированная на «античные и республиканские образцы» радикально трансформировалась. Соответственно, введение «жесткой цензуры и полицейского контроля над общественной жизнью быстро приводят к упадку и вырождению публичной политики»<sup>15</sup>. Впоследствии возрождение публичной сферы происходило в новых условиях и формах.

Несмотря на очевидные сложности властного политического реагирования, в 1850–1860-е гг. в отечественной общественной мысли завершился процесс формирования основных течений, перманентными практиками стали публичные выступления (академические лекции и дискуссии, значимые дебаты по острой социальной тематике, рефлексия по поводу национального прошлого и настоящего, литературные и художественные споры и т.д.), существенно расширилось пространство интеллектуальной и развлекательной печатной продукции. Развитие «печатного капитализма»<sup>16</sup> в России оживило издательскую деятельность и способствовало увеличению количества газет и журналов с соответствующим ростом их тиражной популярности. В 1860 г. объем выпуска «толстых» журналов достиг цифры 30 тысяч экземпляров и до конца века возрос втрое<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> Несовершенная публичная сфера... С. 69.

<sup>15</sup> Публичное пространство... С. 345.

<sup>16</sup> Anderson B. *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism*. London: Verso, 1983.

<sup>17</sup> Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 23.



В столицах (Санкт-Петербург и Москва) существовали несколько ежедневных и более трех десятков публиковавшихся не столь регулярно газет<sup>18</sup>, а тиражи ведущих изданий могли достигать 5–7 тысяч.

Менялся не только языковой, но и исторический контекст публичного высказывания. Накануне и во время Великих реформ давление центральной власти ослабевает и, по мнению некоторых экспертов, в России сформировался новый «режим публичности» – «режим закипания» (1860–1881), который характеризовался сочетанием вынужденной либерализации «сверху», активных публичных дискуссий и массового недовольства или даже террора «снизу»<sup>19</sup>. К этому следует добавить очевидный факт поляризации в пространстве журнальной периодики, сопровождавшийся порой радикальной сменой политической ориентации ряда популярных изданий.

В конечном счете, самые разнообразные процессы первой половины XIX в. – от распространения романтизма в России и внешнеполитических событий отечественной военной истории (формировавших образ(ы) «героя(ев)», сильную и привлекательную личность), развития «печатного капитализма» (генерировавшего газетную и журнальную «революцию», появление публичных интеллектуалов и соответствующей среды их обитания), начала нациестроительства (актуализировавшего тематику «нации», «народности» и национализма)<sup>20</sup> до возникновения новых литературных жанров (фельетон), специализированной журнальной продукции (театральной, художественной, развлекательной) и публичного интереса к сфере искусства (оперные примы, знаменитые актеры, гастрольная деятельность) – детерминировали исторические особенности утверждения и развития феномена публичной сферы в России.

---

<sup>18</sup> McReynolds L. *The News under Russia's Old Regime: The Development of a Mass-Circulation Press*. Princeton: Princeton University Press, 1991. Table I.

<sup>19</sup> Несовершенная публичная сфера... С. 69.

<sup>20</sup> Миллер А.И. *Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования*. М.: Новое литературное обозрение, 2010.

#### **1.4. АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНФЛИКТА В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ**

**ИСТОРИКИ П.М. БИЦИЛЛИ, В.Н. ЗАБУГИН И ИХ ГЕРОИ**

В настоящем исследовании нас интересует, в первую очередь, тема развития конфликта в историческом контексте Средневековья и Возрождения, представленная в дискурсе ученых дореволюционной школы итальянистики П.М. Бицилли и В.Н. Забугина. Акцентирование аспектов конфликта и разрешения конфликта в истории во многом определялось особенностями интеллектуальной культуры историков, спектром исследовательских интересов ученых-итальянистов сто лет тому назад, стремлением придать актуальность исследованию сюжетов истории Средневековья и Ренессанса. В этом свете анализируется роль конфликта в биографии интеллектуалов и в сюжетах их работ, о чем свидетельствует переключка интеллектуальных биографий авторов с историями героев их исследований.

Речь идет о переломном периоде истории, периоде изменения культурного ландшафта, времени добровольной или вынужденной эмиграции. В это драматичное кризисное время историков не могли не интересовать сюжеты конфликтов, практика их разрешения в истории, а также значение в процессе реконструкции интеллектуальных биографий ученых. Историки адресовались к «своему» читателю, к аудитории, способной воспринимать исторические сюжеты и отзываться на те вызовы, проблемы и конфликты, которые раскрывались в них. Образ прошлого как образ Другого должен был нести элементы узнаваемого и важного для читателя. Возможна и зеркальная логика: конфликты изучаемых интеллектуалами эпох, в процессе исследования, накладывают свой отпечаток на дальнейшую биографию историка, который погружается в атмосферу кризисов и конфликтов, происходивших в иные эпохи и в других краях, обретая особый исторический опыт. Кроме того, возникает вопрос о роли поколенческого аспекта в восприятии и интерпретации темы конфликта в истории. Надо отметить, что названные ученые принадлежали к одному поколению интеллектуалов, изначально – к общей интеллектуальной традиции с едиными авторитетами, хотя затем их биографии стали развиваться по несходным траекториям.

В.Н. Забугин, сразу после студенческой скамьи (в 1903 г.) покинул Российскую империю, первоначально благодаря предоставленной государством заграничной стажировке, а затем с согласия семьи и на фамильные средства. Он смог построить свою дальнейшую жизнь в Италии, пропустив таким образом время нарастания конфликта власти и общества, от имени которого выступали (или пытались выступать) интеллектуалы. В начальный период жизни Забугина в Италии работа над диссертацией складывалась удачно. Тема диссертации молодого ученого, сформулированная еще в России на университетской скамье, могла реализоваться в плодотворный труд именно в Италии, на родине героев исследования.

Бицилли, напротив, по ряду жизненных обстоятельств долго не мог сделать необходимых шагов по карьерной лестнице, с перерывами работал над диссертацией, находясь к тому же под негласным надзором полиции за либеральные взгляды. Период Первой мировой войны, при всех его сложностях, оставался для него научно-плодотворным, судя по его трудам о средневековой европейской истории и культуре, которые оценил по достоинству и его коллега Забугин, стремившийся в момент мирового конфликта к наведению мостов между европейской и российской наукой. Решение об эмиграции было принято Бицилли в условиях все более беспощадной и кровопролитной гражданской войны. Переезд Бицилли не дал приближения к европейским центрам университетской культуры и архивам, что повлияло на изменение специализации ученого, сформировавшегося в качестве итальяниста. Итальянистика не могла быть актуальным направлением преподавания и исследования для русского эмигранта на Балканах, здесь явный конфликт интересов ученого эмигранта и запроса общества и работодателя. Итальянистика как специализация и изучение итальянского Ренессанса иностранцем – тоже представляли собой вызов и несли в то время потенциальный конфликт.

Нас интересуют не просто истории из жизни интеллектуалов, подробности их *curriculum vitae*, но и поле политики, поле социального напряжения, которое окружало историков прошлого и предлагало вопросы, актуальные для своего века. В сфере внимания интеллектуальной истории должен быть не один центр притяжения, наоборот, непременное условие работы метода – анализ одних и тех же аспектов в разных контекстах. Особенности исследовательской работы ученого-гуманитария прошлого, как и штрихи к его бытовому портрету, помогают современному историку понять особенности исторического момента, в котором осуществлялось формирование текста, высказывания, стиля историков, в том числе той эпохи, кото-

рую сам Бицилли определил позднее как «Новое Средневековье». Представляется важным проследить проявления идентичности интеллектуала, представителя классического гуманитарного знания не только в рамках собственно академической активности, не столько в плане совершенствования успехов в своей исторической дисциплине, но в более обширной сфере деятельности.

Можно постараться увидеть не просто интеллектуала, владеющего спектром смежных гуманитарных компетенций и познаний, например, в области исторических дисциплин и филологических наук, хотя нет сомнений, что и В.Н. Забугин, и П.М. Бицилли были таковыми, но носителей особой идеи, особого дискурса, представления о времени и о себе. Эту идею кажется вполне возможным найти не в декларациях, даже не в личных свидетельствах, в эпистолярном наследии интеллектуала-историка, но в самих научных работах. Причем сюжет, который выглядит, на первый взгляд, как маргинальный для исследователя, оказывается эффективным инструментом интерпретации склада историка, его умения и желания выделять вопросы истории близкие его современникам и читателям.

Интеллектуальная биография существует не только в рамках собственно академической активности, но в различных полях деятельности, в разных жизненных обстоятельствах и социально-политических контекстах, однако фокусирует при этом идейное наследие, пути людей прослеживает как пути трансляции идей. В данном случае, важно увидеть интеллектуала в кризисные моменты эпохи, перед лицом грозных исторических событий, в качестве отзывчивого свидетеля времени. Время войн и революций в России и Европе – это десятилетия поисков выхода из исторического кризиса, и создания новой идентичности. Историки откликнулись на вызовы истории – от предчувствия кризиса до видения его последствий.

В этом отношении XX век демонстрирует чудеса: академические, дабы не сказать аутичные, сконцентрированные на тонкостях изучения давних архивных материалов историки становятся очевидцами и невольными участниками небывалых социальных катаклизмов, предчувствие которых порождает конфликты в обществе еще до свершения эпохальных событий. Историки испытывают это давление эпохи, что реализуется в разных проявлениях: интеллектуалы конфликтуют с жесткими дисциплинарными рамками, с императивами власти или вкусами толпы, обращаются к истории, пытаясь найти переключку эпох, подсказки и предостережения прошлого. Иногда в период исторического конфликта они пишут «в стол» не имея надежды донести до читателя свой опус, иногда же именно в эти кризисные моменты

историки начинают работать для максимально широкой аудитории, легко переключаются не только на новые сюжеты в рамках исторической дисциплины, но выходят в иные сферы деятельности, например, занимаясь литературоведением и публицистикой.

Петр Михайлович Бицилли на протяжении жизни работал как педагог, публицист, литературный критик, но также и как исследователь: италянист и славист. Именно историческая италянистика, (в особенности медиевистика) дала базу для становления Бицилли как исследователя-гуманитария широкого профиля. История конфликта этого интеллектуала с властью известна и отмечается биографами. П.М. Бицилли с юности занимали вопросы политических перемен либерального характера, социальные идеалы молодого интеллектуала достаточно резко контрастировали с теми рамками, которые предписывались укладом последней декады Российской империи, но кабинетный ученый и педагог не боролся с существующим строем. После крушения Империи разрыв между мечтами и реальностью не сгладился.

Смена власти не привела к снятию напряжения и конфликта между приверженцем интеллектуальной свободы и новыми рамками, насаждаемыми господствующей властью. Идеалы ученого контрастировали и с реалиями послереволюционной России. Последовало решение об эмиграции, которое, возможно, воспринималось сначала как временный выход, но стало основной линией жизни Бицилли и его научно-педагогической деятельности. Эмиграция произошла на Балканы, а не в Италию или Францию, историю которых изучал и преподавал Бицилли в начале своей научной карьеры. Первый краткий этап был связан с преподаванием в Скопье, затем начался долгий период работы в Университете Софии, где Бицилли стал профессором по возобновляемому контракту на срок с 1924 по 1948 г. Подданства Болгарии ученый не получил. Послевоенные перемены в жизни страны печально отразились на карьере ученого столько сил отдавшего трудам на ниве образования в Болгарии. Новые власти страны, не испытывая никакой благодарности к многолетней службе Бицилли, вычеркнули его имя из списка педагогов и даже не обеспечили ученого пенсией. Нельзя сказать, что ученый и власть пришли в ситуацию конфликта, скорее речь идет о драматическом непонимании со стороны власти и глубоком этическом контрасте и стилистическом несоответствии заслуженного ученого новым реалиям, как это случалось прежде и на родине, в России.

Эти биографические аспекты и сюжеты жизни в эмиграции достаточно подробно изучались в отечественной науке, а также ис-

следователями, происходящими из тех стран, где получил пристанище и возможность педагогической деятельности Бицилли. Деятельность эта более касалась его работы в области славистики<sup>1</sup>. Здесь речь пойдет о тех проекциях социальных конфликтов, которые Бицилли рассматривал в своих работах по истории Средневековья, которые отличаются и от его ранних публикаций по темам античности, и от трудов по итальянскому гуманизму и ренессансной культуре. Именно специализация по всеобщей истории, медиевистика, как и ориентированность на итальянистику и средиземноморские исследования, дали заложили прочные основы для всей академической и педагогической деятельности Бицилли: широкий горизонт приобретенных знаний позволил менять направления работы, варьировать возможности преподавания, научных изысканий<sup>2</sup>.

В работе ученого можно выделить поле исследований истории и культуры Италии, а также две временные арки и сферы интересов: Средневековье и Ренессанс. Традиции исследования жизни средневековых общин и дискурсы изучения и преподавания истории ренессансной культуры гуманизма в академическом мире времени становления и творчества Бицилли были разными, даже противопоставленными (такими эти традиции остаются до сих пор). Ранние исследования Бицилли (первый этап работы как самостоятельного исследователя и педагога) были выполнены в основном на материале средневековых источников, хотя, несомненно, имели ценность и публикации 1912–1914 гг. по истории Античности, а также изучение

---

<sup>1</sup> Бирман М.А. П.М. Бицилли (1879–1953). Жизнь и творчество. М.: Водолей, 2018; Васильева М. А. Путь интуиции // Бицилли П.М. Трагедия русской культуры: Исследования, статьи, рецензии. М.: Русский путь, 2000. С. 5-28; Васильева М.А. П.М. Бицилли: уход от медиевистики // Зарубежная Россия 1917-1945. Кн.3 / Гл. ред. В.Ю. Черняев. СПб.: Лики России, 2004. С. 197-204; Вишленкова С.Г., Мариниченко А.И. Возможности биографического подхода в историко-педагогическом изучении наследия русской эмиграции // Педагогика и просвещение. 2020. № 3; Галчева Т.Н. П.М. Бицилли – опыт возвращения // Бицилли П.М. Избранное. Историко-культурологические работы. София: Издательство на Министерството на отбраната «Св. Георги Победоносец»; Университетское издательство «Марин Дринов». 1993. С. 7-40. – <http://savedarchives.net/ru/article/pmbicilli-opyt-vozvrashteniia> (ноябрь, 2023); Галчева Т.Н., Голубович И.В. «Понемногу приспосаблиюсь к «независящим обстоятельствам». П.М. Бицилли и семья Флоровских в первые годы эмиграции. София: Изд-во Солнце, 2015.

<sup>2</sup> Фигура Бицилли как медиевиста раскрыта в целом в исследованиях отечественных специалистов, но именно в общих чертах, в то время как отдельные сюжеты заслуживают не меньшего внимания. См., напр.: Клюев А.И., Свешников А.В. П.М. Бицилли и петербургская школа медиевистики (вместо предисловия) // Средние века. 2014. Т. 75. № 3-4. С. 387-394.

Бицилли вопроса о западном влиянии на Руси и проблеме летописания<sup>3</sup>. В 1912 г. Бицилли опубликовал очерк «К вопросу об источниках “Афинской политики”»<sup>4</sup>, а также миниатюрный, но яркий обзор «Тацит и римский империализм», в 1913 г. вышла его статья по римской истории колоната, а к 1914 г. Бицилли подготовил и издал в Одессе публикацию по теме «Западное влияние на Руси и начальная летопись», что можно считать попыткой переключения на изучение культурно-исторического развития славянского мира.

Тогда же, на ранних этапах творчества Бицилли продемонстрировал вкус к историко-теоретической работе особого толка: аналитический подход, который не подразумевал абстрагирования или обобщения высокого порядка. Работа уже получившего опыт педагога и исследователя архивов, но все еще малоизвестного вне стен *Alma Mater*, опубликованная под заглавием «Общественные движения в изображении средневековых историков» в Журнале Министерства народного просвещения (далее — ЖМНП), весьма примечательна. Содержательная и обширная статья, на первый взгляд, кажется разбором ряда казусов, но, по существу, является работой историко-теоретического плана, вскрывающей проблемы изучения и описания социального конфликта, при этом, разумеется, не только в обществе Средневековья. Именно эту работу будет здесь проанализирована подробно, а более известные публикации, в частности, «Элементы средневековой культуры» и монография на основе диссертационного исследования о Салимбене<sup>4</sup>, будут привлечены для сравнения.

Исследование было выполнено в качестве магистерской диссертации, представленной Бицилли на историко-филологическом факультете Императорского Санкт-Петербургского университета уже в следующем, революционном году. В столице России, на самом закате прежнего мира, в лучах того времени, что позже получит имя Нового Средневековья, была осуществлена мечта медиевиста о признании его научным сообществом: 22 мая 1917 года состоялась процедура защи-

---

<sup>3</sup> Бицилли П.М. *Colonus et conductor* в свете новейших исследований // ЖМНП. 1913. 8. С. 358-379; Его же. Западное влияние на Руси и начальная летопись. – <http://relig-library.pstu.ru/modules.php?name=1815> (ноябрь, 2023).

<sup>4</sup> Монография «Салимбене: (Очерки итальянской жизни XIII века)», которая была опубликована в 1916 г. в Одессе в «Записках Историко-филологического факультета Императорского Новороссийского университета» (Вып. 12), несомненно, требует особого анализа, не относящегося прямо к задачам настоящего исследования. Диссертация Бицилли рассматривалась отечественными историками науки в свете развития дисциплины и университетской культуры начала века, но требует также детального анализа медиевистов, специалистов в области историографии истории Средневековья.

ты, по итогам которой соискателю была присвоена ученая степень магистра всеобщей истории). Официальными оппонентами выступили профессора И.М. Гревс и Д.К. Петров, в числе принимавших участие в дискуссии по диссертации был Л.П. Карсавин, ученик Гревса, к тому времени довольно радикально разошедшийся во взглядах и методологических установках со своим бывшим профессором. Таким образом, диссертант невольно попал в центр академического и поколенческого конфликта. Тем не менее, оппонентов и рецензентов при всем различии их научных подходов объединили положительные оценки диссертационного исследования, а высказывание профессора Гревса было наиболее благожелательным.

Диссертационное исследование лежало в основе работы Бицилли-медиевиста этого периода. Тема конфликта в городе была поставлена и в диссертационном труде, но статья в ЖМНП – не простой скопированный фрагмент диссертации и вышедшей в 1916 г. книги о Салимбене, а совершенно самостоятельное и самодостаточное высказывание-исследование. Рассказчик, построивший нарратив для публикации в ЖМНП, диссертант с работой о Салимбене и его времени, автор книги «Элементы средневековой культуры» имели разные цели высказывания, и масштаб здесь не определяет различия. В качестве автора исследования о средневековых общественных движениях Бицилли знакомит читателей не только с единичными случаями социальных конфликтов в городе, со второстепенными событиями средневековой истории или избранными цитатами из малоизвестных хроник эпохи, но со сложной проблемой верификации нарративов, с менталитетом и стереотипами работы хрониста. В то же время Бицилли здесь избегает обобщений и даже демонстрации иерархий, интерес к которым питает его более поздние исследования. Это – не просто несколько иной модус построений, чем тот, к которому Бицилли приучал читателя в «Элементах средневековой культуры» или в «Очерках теории исторической науки», но иная задача. Хотя эти труды имеют связь с предшествующими исследованиями, подход и метод, который вырабатывал Бицилли в «Элементах», несомненно, плод многолетней собственной работы и многолетнего взаимодействия с другими представителями сообщества русских итальянистов.

В «Элементах средневековой культуры», несмотря на декларируемое автором «невольное присутствие Карсавина»<sup>5</sup>, влияние коллеги считывается, пожалуй, только в таком пункте, как желание Бицилли ограничить справочный аппарат. В «Элементах» структу-

---

<sup>5</sup> Бицилли.П. Элементы средневековой культуры. Одесса. МСМХІХ. С. I-II.



рирование текста происходит достаточно сложно, система построения посылок является разнообразной, описание авторской идеи иногда дается тезисно и максимально обобщенно, но чаще – достаточно казуально, как было в статьях и диссертации Бицилли. В «Элементах», как и в упомянутом очерке для ЖМНП, Бицилли, не скрывая авторского высказывания за чередой исторических примеров, обходится без жестких схем и обобщений, указывая, что многое здесь есть результат его собственной прежней работы «над некоторыми частичными проблемами истории средневековой культуры»<sup>6</sup>. Публикация 1917 года также предлагала не создание схем и обобщений, а нечто противоположное: анализ стереотипов, общих риторических мест, используемых авторами средневековых текстов, служащих историку источником. И все же это не деконструкция, но вариант реконструирования нарратива и его сложной темпоральности, изучение мировосприятия средневековых авторов хроник, или, используя более поздний термин исторической науки, «ментальности».

Исследуя средневековые нарративы и создавая свой собственный увлекательный рассказ, Бицилли встречается с проблемой авторской интерпретации. Можно было бы сказать иначе, по принятой формуле: историк-медиевист имеет дело с проблемой достоверности и репрезентативности средневековых источников, которая была и остается острой и актуальной для исследователей всех эпох. Но, как мы увидим, трактовка Бицилли мирозерцания авторов хроник и принятых ими клише – более современная, чем этого можно было ожидать в научной работе, написанной более сотни лет назад. Явно выступает намерение Бицилли-медиевиста понять особенности менталитета средневековых хронистов и оценить их умение отвечать на запросы своего времени. Постановленные Бицилли вопросы касаются не только очистки текста от поздних наслоений.

С понятием актуальности следует, разумеется, быть очень осторожными: здесь речь идет об особом случае «попадания» актуальных проблем современной автору эпохи в поле исследования медиевиста. Бицилли пишет в 1919 г. в «Элементах»: «Только по окончании его труда автору удалось уяснить близкое отношение затронутых им вопросов к текущей современности»<sup>7</sup>. Именно так, дело обстояло и с работой 1917 года по теме конфликта в средневековом городе и его описания хронистами. Видимо, уже завершив цикл диссертационных исследований и подготовку работ по истории Пьяченцы и средневековой сецессии простолудинов, а также движения

---

<sup>6</sup> Там же.

<sup>7</sup> Бицилли.П. Элементы средневековой культуры. С. I.

«пастушков», Бицилли смог оформить свою позицию, которая, уже прорывается в исследовании, но как бы пунктиром.

В «Предисловии», т.е. во введении к «Элементам», Бицилли задается вопросом о восприятии образа прошлого, размышляя о том, почему произведения средневекового искусства выглядят для нас именно так, а не иначе. А было ли сохранено и передано до наших дней оригинальное понимание идеи? И постижимо ли для нас средневековое своеобразие в изображении мира, адекватно ли наше видение восприятию реалий с точки зрения авторов-художников? Как обещает Бицилли читателю в заключительных фразах, сильный ответ дают его «Элементы средневековой культуры». Те же вопросы, хотя и несколько иные модусы ответа, даны исследователем и в более ранней публикации, только в 1917 г. акцентируются частные моменты нелинейного восприятия и воспроизведения хода времени и истории.

Вопросы, которыми интересовался Бицилли, изучая произведения средневековых хронистов, находились в особом поле исследования: исторической психологии и специфики менталитета, а не только в плоскости верификации фактов, дат или выявления намеренных искажений датировок событий автором средневекового текста. Бицилли ясно представляет себе автора нарратива, для которого точность датировки события и его исключительность были гораздо менее важным делом, чем возможность найти адекватный риторический прием, дабы обозначить символическую ценность истории. Проиллюстрировать принцип социального согласия, пусть и искусственной вставкой в повествование хроники, представлялось более ценным, чем сохранение буквального свидетельства.

Публикация Бицилли в ЖМНП должна была, видимо, дать возможность учителю или преподавателю университета провести полноценный семинар по проблеме использования анналов и хроник Средневековья. Основой работы исследователя становится не попытка прочесть и изложить содержание источника, но попытка объяснения позиции автора источника. Бицилли ставит вопросы и задачи, которые мы бы сейчас определили как попытки реконструировать менталитет средневековых авторов-хронистов: «Когда в Европе стала складываться общественная жизнь, когда начались общественные движения, регистраторы текущей действительности, хронисты, оказались в затруднительном положении. Их историческое понимание формировалось в условиях полной пассивности “народов”; в их поле зрения попадали долгое время только “князья” и святые с их подвигами и чудесами. Восстания в городских общинах, великие религиозно-общественные движения застали хронистов

врасплох. Историческая жизнь предстала перед ними более сложной и многообразной, чем она казалась им до сих пор»<sup>8</sup>.

Стоит ли говорить, что и жизнь Империи на закате, история России в год двух революций, представляла перед учеными-историками, представителями традиции гуманитарной мысли, более сложной и многообразной, чем она могла казаться до той поры: гораздо более загадочной и с трудом поддающейся описанию. Не может быть случайным, что именно в 1917 г. на излете Серебряного века русской культуры в статусном правительственном издании ЖМНП Бицилли опубликовал свою рафинированную работу под названием «Общественные движения в изображении средневековых историков». Заключение к этой работе кажется прологом к теме исследования: «Если мы узнаем в каком-либо комплексе явлений “революцию”, “реформацию”, “реакцию”, у нас невольно является склонность отыскивать в нем черты нам известных уже ранее “революций” и так далее. Но в средние века это делалось грубее и наивнее». Разобраться с этой «наивностью» мог только блестяще подготовленный ученый, историк и латинист. Это очень сложная источниковедческая работа.

Однако, еще более важным представляется то, что Бицилли видел конечным результатом и смыслом своей работы не саму техническую сторону перевода латинского источника или текста на *volgare*, (чем мог бы ограничиться начинающий исследователь и педагог в статье для образовательного журнала). Техническая работа вовсе не вызывает у Бицилли желания заострять внимание на этом черновом этапе осмысления источника. Развернутый комментарий появляется там, где простодушное желание и умение «просто прочесть» ощущается совершенно недостаточным. Важным вопросом, который заботит Бицилли и при работе над «Общественными движениями», и в «Элементах» был такой: «Мы мыслим, а, следовательно, и говорим существенно иначе»<sup>9</sup>, чем люди Средневековья. Отсюда авторское опасение бессильности «дать перевод, приближающийся к оригиналу». Но в «Элементах» декларируется, что цитаты будут минимальны, а в «Общественных движениях» эти полнокровные цитирования подлинника и строки перевода занимают иной раз гораздо более половины страницы. Текст хроник, который приводится и в латинском подлиннике, и в переводе ярк и красочен сам по себе, но эта живописность не притупляет инстинкт исследователя и переводчика. В таком нарративе теоретические построения

---

<sup>8</sup> Бицилли. С. 87.

<sup>9</sup> Бицилли. Элементы. С. II.

кажутся излишними, но заключительный анализ только раскрывает полноту нарратива, а не снижает впечатление.

Чем-то рассказ Бицилли о конфликте средневековых итальянских горожан напоминает простодушное начало «Трех мушкетеров», любимой книги детства многих поколений. Обратимся к тексту:

«В феврале месяце 1090 года между народом и рыцарями Пьяченцы вспыхнула великая распря вследствие драки, происшедшей в это время на пустыре между церковью Св. Марии Храмовой и дорогой, ведущей к замку. *Случилось ненароком*, что некий рыцарь с явным перевесом сражался с неким пешим, так что они не могли расцепиться. Простолюдины, наблюдавшие за этой борьбой, заметили, что пехотинец не может сопротивляться рыцарю, и стали бросать в последнего камни и грязь. Бывшие там рыцари, в свою очередь, избили и отхлестали пехотинца. Поднялся всеобщий переполох, все городские рыцари собрались в одном месте, а пешие – в другом, и между ними завязался жестокий бой...»<sup>10</sup>.

Бицилли поясняет: «О событиях этого времени повествуется в так называемой гвельфской летописи, автор которой по характеристике Пертца (предисл. к изд. *Annales Placent. Guelfi* в MGSS, XVII) был прекрасно осведомлен о событиях, ему современных (XIII в.), раннюю же часть своего повествования заимствовал из не дошедшей до нас старой городской летописи (1012–1194). Собственно, и эту раннюю часть, где помещен рассказ об интересующих меня событиях (1090 г.), можно разбить на две части. С 1154 г. летописные заметки становятся подробнее, переходят подчас в обстоятельные рассказы. До 54 г. на каждый год приходится одна-две строчки; нередко такие заметки: 1085 – «был сильный голод»; 1091 – “Пьяченца горела в св. Субботу”. Повествование о событиях 1090 г. составляет явное исключение: оно изобилует подробностями...»<sup>11</sup>.

Бицилли рассматривает средневековые анонимные анналы и авторские медиевальные нарративы как произведения искусства, имеющие собственные отличительные и типичные черты «Художественная критика знает примеры произведений искусства, напр. живописи, относительно которых возникают сомнения: принадлежат ли они кисти мастера или его “школе”. Ученик зачастую так точно воспроизводит “манеру” мастера, что по внешним признакам (колорит, рисунок, способ накладывать краски, мотив, типы и проч.) ни о чем судить нельзя. Остается только один критерий: органичности

<sup>10</sup> Бицилли П.М. Общественные движения в изображении средневековых историков. ЖМНП. 1917. № 6. С. 86.

<sup>11</sup> Там же. С. 85.

художественного произведения. Подражатель непременно выдаст себя наличием “белых” мест, отсутствием внутренней согласованности, что, как следствие, влечет за собою утрировку приемов того, кому он подражает; ибо этим подражатель как бы инстинктивно стремится сделать для чужих глаз незаметным свое бессилие возвыситься до усвоения художественной идеи своего образца»<sup>12</sup>.

Так пишет Бицилли, сравнивая три средневековых текста и приходя к выводу о том, что в одном из, казалось бы, простых и не вызывающих вопросов мест анналов кроется подвох, многослойность, заимствование. Бицилли логично и смело заключает, что средневековый автор легко становился манипулятором, применяя выгодный риторический прием как раз там, где историк ждет от анналиста, повествующего о конфликте, достоверных сведений. Бицилли пишет, что пришел к окончательному выводу. «Анализируемое место пьачентинских анналов стоит в соответствующей части совершенно особняком. Это – очевидно позднейшая вставка в летопись». Более того, Бицилли производит реконструкцию и полагает, что на этом месте «в первоначальной городской летописи, вероятно, читалось летописно-сжатое сообщение о столкновении рыцарей и “пеших”, заключавшее в себе некоторые хронологические и топографические данные, которых не мог же выдумать автор вставки. Но весь этот материал был им переработан и развит по образцам, которые доставили ему миланские хроники. Что он легко мог быть с ними знаком, само собою понятно: Пьяченца и Милан были в постоянных сношениях...»<sup>13</sup>.

Вопрос о том, какой из трех пересекающихся текстов является первичным, источником заимствования, начальной воспроизводимой матрицей был далеко не прост, а вывод Бицилли вполне остроумен. Изменен в угоду складывающейся почти литературной схеме был некий примитивный и основанный на реальных событиях сецессии источник. Фактура стала служить элементом уже прочерченной схемы. Бицилли указывает: «тем самым, что мы предполагаем эту двойную зависимость, вероятность нашего предположения возрастет: именно то, что схема, которую мы старались вскрыть из анализа трех отрывков трех хронистов, оказывается у двух налицо в частях, а у третьего в целом, является решающим доводом в пользу предположения, что у двух первых она находится *in statu nascendi*, третий же воспользовался ею в готовом виде»<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Там же. С. 87.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Там же.

При всем том, разумеется, речь не идет о примитивной фальсификации источника рукой более позднего автора, о нарративном дискурсе и особом ощущении хода времени и событий. Бицилли прекрасно чувствует разницу, хотя и не сразу постулирует это. Средневековое восприятие времени по умолчанию не сводится к линейности и строгой последовательности событий, скорее, такая линейность воспринимается как исключение. Нет у Средневековья и страха перед возможностями модернизации и реактуализации событий прошлого, нет и жестких границ авторского права, все, что накоплено в текстах к данному историческому моменту и известно автору может «пойти в дело». Та тема темпоральности, которую вольно или невольно открывает Бицилли по мере исследования, опубликованного в 1917 г., созвучна гораздо более современным изысканиям в поле исследования истории идей и концептов. Так, Рейнхард Козеллек, рассуждая о «семантике исторического времени», одновременно пытался показать корреляции между социальной историей и историей концептов. Размышляя над вопросом о человеческих возможностях «вершить историю», Козеллек писал и о том, как менялось восприятие истории. Представление о линейной истории, видение истории как единого процесса формируется лишь в эпоху Просвещения. До того поток истории в сознании свидетелей своего времени, как ученых летописцев, так и обывателей, распадался на частные «истории», которые мыслились как примеры, используемые в богословии, юриспруденции и философии или как истории специально обозначаемых субъектов, например, стран и народов, империй, или же учений и догматов<sup>15</sup>.

Подобная многослойность ткани времени сохраняется и передается в Новое и Новейшее время уже не в исторических нарративах, но в литературных произведениях. Пользуясь удачными определениями, это «приемы изображения событийной синхронии, допускающие технику коллажа», сочетание мифотворческой интерпретации с документальными свидетельствами, «расширенная временная перспектива, т.е. диахронический аспект событийности»<sup>16</sup>. Именно такой

<sup>15</sup> Koselleck R. *Le futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques*. Paris, 1990. P. 99-118; Он же. Можем ли мы распоряжаться историей? (Из книги «Прошедшее будущее. К вопросу о семантике исторического времени») // Отечественные записки. 2004. № 5. Такое же одновременное использование исторически несинхронных моментов отражает и сохраняет в едином поле житийная икона с клеймами.

<sup>16</sup> Поляков Ф.Б. «В розовом блеске» Алексея Ремизова: память культуры и ритуал поминовения // *From Medieval Russian Culture to Modernism. Studies in Honor of Ronald Vroon / Lazar Fleishman, Aleksandr Ospovat, and Fedor Poljakov (eds.)*, Frankfurt am Main [et al.] (Russian Culture in Europe, 8). 2012. P. 151: «...мифо-

элемент игры с историей, сочетание воображаемого с историческим демонстрируется хронистами Средневековья, опыт которых разъяснял Бицилли сто лет тому назад.

Весьма ценна работа Бицилли-текстолога, его анализ способов построения исторического нарратива и восприятия времени на примере хронистов Средневековья, но актуальность работе в момент ее написания придавал выбор в качестве объекта изучения именно времени перемен – периода роста итальянских средневековых коммун и борьбы между элитой и «народом». В названии статьи фокусируется тема противоборства и народных движений, когда акторами становились те, кого называли чернью, низами, маленькими людьми. Но когда Бицилли сам становится рассказчиком, внимание заостряется на проблеме времени и передачи хода этого времени. Интересно то, как интерпретация времени и события осуществлялась средневековыми авторами и самим Бицилли, интеллектуалом новой эпохи, свидетелем событий 1917 года<sup>17</sup>.

Стремление проследить заимствования-вставки, «мемы» и бродячие сюжеты средневекового нарратива – первый уровень рефлексии. Но для Бицилли-медиевиста совершенно естественным стал переход к актуализации исторического материала. Работая на фоне судьбоносных исторических событий, историк чувствовал исторические параллели, оставлял подсказки и намеки читателю. Бицилли высказывался на ту же тему, что и Н.А. Бердяев, философ-проповедник идеи наступления Нового Средневековья, но историк работает с этим понятием особым образом: конкретизирует идею, сверяясь с историческими источниками, задумываясь об особенностях менталитета их создателей, оттеняя восприятие современности историческим экскурсом. Медиевист обращался к конкретным историческим примерам (хотя и тщательно отобранным), препарировал идею и образ Средневековья иначе, чем это делал философ, богослов или литератор-романтик. Именно в силу исторической конкретики образа, такой концепт Нового Средневековья, отчеканенный медиевистом, не мог стать распространенным стереотипом. Примечательно, однако, то, что в первой трети прошлого столетия, как сейчас, почти век спустя, концепт «Нового Средневековья» – в большой моде.

---

поэтически претворенный материал зачастую содержит отсылки к именам, образам или событиям, в которых прослеживается иная, расширенная временная перспектива, т.е. диахронический аспект событийности, ее исторический ритм».

<sup>17</sup> Другие аспекты были затронуты ранее в статье, подготовленной в год столетнего юбилея русской революции и работы Бицилли о социальном кризисе в средневековье. См.: Селунская Н.А. «Новое Средневековье» – русская идея?..

В работе Бицилли 1917 года проблемы восприятия средневековья и его реактуализации, как и тема революции и реакции, отразились при разборе казусов социальных переворотов и общественных движений, а также способов их изложения средневековыми хронистами. Такого рода специализированная работа с углубленным вниманием к материалу средневековых латинских источников не могла (да и не сможет никогда!) стать популярной или хотя бы легко цитируемой достаточно широким кругом читателей. Тем не менее, очевидно, что, пусть и не в явной лобовой манере сравнения, но медиевист в 1917 г. проводит для себя самого и своего читателя исторические параллели. В единый контекст, в общее поле зрения историка этих лет попадали и источники по истории Средневековья, повествующие о социальных кризисах (о крестовом походе детей, возмущении простолюдинов от поборов на Крестовый поход) и кризис современной ученому социальной системы.

Работа, опубликованная в 1917 г., к великому сожалению, не привлекла в тот момент достойного внимания. Произошло это не в связи с качеством самой работы, но в силу исторических обстоятельств и по тем причинам, по которым она кажется любопытной сейчас. Даже по такому нейтральному периодическому изданию, как Журнал Министерства народного просвещения, можно понять в какой напряженной политической обстановке происходили публикации (манифест об отречении, приказы и распоряжения временного правительства печатались тут же с пояснениями о причинах задержки очередного выпуска, но журнал продолжал выходить). Сам журнал – знаковый для образования и науки России, выходил с 1834 по 1917 год и являлся официальным периодическим изданием, которое было призвано информировать об успехах образования и исследований в России, а также и о мировом опыте в этих сферах. Гуманитарные науки в эту эпоху играли большую роль и основное место отводилось публикациям по историко-филологическим сюжетам (классический Древний мир, Средневековье и Возрождение на западе и на востоке Европы). Издатели журнала не зря убеждали читателя в том, что именно из этого источника можно почерпнуть представления об актуальном образе наук, хотя первые страницы неизменно отводились министерским циркулярам и извещениям о наградах. В большом познавательном значении издания, однако, легко убедиться, листая его подшивки, что в данный момент возможно даже и в электронной форме, хотя официальная концепция журнала заключалась в назидательной и нравоучительной формуле, закреплявшей главенствующую роль власти и правительства в деле правильного образо-



вания для настоящих нужд Отечества. Тем не менее, статью Бицилли, в которой говорится о народном гневе, восстании и обсуждается идея революции, пусть речь идет о революционных изменениях далекой средневековой эпохи, с трудом можно отнести к этому официальному правительственному дискурсу. Однако в год двух русских революций такая статья и могла служить делу истинного народного образования, повышению интереса к истории у читающей публики.

Бицилли суммирует элементы средневековой культуры и стереотипы описания динамики этой культуры в своей совсем немонументальной работе, как будет делать и в дальнейшем. Медиевист анализирует замкнутый круг идей, который регулировал описания средневековыми хронистами событий, обнаруживая при этом конфликт интересов хронистов разных периодов. В «Элементах», наиболее известной работе Бицилли, вышедшей в свет в 1919 г., автор касается вопроса о конфликте и единстве, в частности, в книге есть пассаж о единстве идейного круга, о гармонии, разрешающей конфликт между реальностью и ее изображением. Бицилли пишет: «Таким образом замыкается идейный круг: начали с конструирования небесной иерархии, имеющей символическое значение, воспроизводящей в знакомых символах, “наподобие земной иерархии”, порядок метафизического мира; затем приписали этой символической картине реальное существование, и уже она – небесная иерархия – становится прообразом земной, которая раньше была ее прообразом. Отношение между обеими “иерархиями” обращается: символизируемое, облекшись в плоть и кровь символа, начинает жить его вещественной, плотской, материальной жизнью. Мир только выигрывает в стройности и целостности, достигает максимальной степени единства»<sup>18</sup>.

В работе 1917 г. по истории конфликтов, бунтов, религиозных движений, тоже анализируется обманчивая, сконструированная целостность и стройность картины мира. Кажется, игра смыслов и понятий тут сходная. Да, в книге преобладает демонстрация символической целостности, ступеней и степеней иерархии, а в статье автору была важнее деконструкция, но, в любом случае, изучаются символические ценности миропорядка. Разумеется, есть в этой работе и перекличка с более поздними теоретическими построениями, с разработкой идеи Нового Средневековья. Возможно, Бицилли угадал, пусть и не в подробностях, эпоху будущих массовых движений, думая о природе социальных эволюционных и революционных изменений прошлых веков. В любом случае, ясно, что историк видел динамику, измен-

---

<sup>18</sup> Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. Ч. 2. С. 62.

чивость, а вовсе не ту статичную картину, оплот надежной неподвижности и стабильности, которая служит предметом ностальгии современных поклонников средневековья. Средневековье для Бицилли – не расхожий стереотип, неопределенный образ давно минувшего, который любой журналист или читатель может наполнить своими смутными представлениями, как заполняли фотографии прошлого трафарет чередой позирующих клиентов. Средневековье Бицилли – хрупкая, хотя и поражающая воображение историческая ткань, которая бесконечно разворачивается перед удивленным зрителем, массовому читателю просто невозможно иметь дело с такой тонкой материей, невозможно выкроить из нее собственное изделие.

Медиевист обращался к конкретным историческим (хотя и тщательно отобранным) примерам, сам же и создавая казус описания, препарировав идею и образ Средневековья иначе, чем философ, богослов или романтик. Именно в силу исторической конкретности образа, такой концепт «Нового Средневековья», отечаненный медиевистом, не мог стать распространенным стереотипом. Однако примечательно, что идея «Нового Средневековья» и штудии по медиевистике могут исходить от одного автора.

Не менее интересны попытки медиевиста работать рассказчиком, как бы раскрывая идею *fiction in the archives*, акцентируя не только то, что исторический источник может быть живым и интересным повествованием, но и просчитывая алгоритм создания средневекового нарратива. Главным мотивом является особое чувство времени и возможности повествования о нем, в таком диахроническом аспекте событийности, который был естественным для средневекового сознания. В любом случае, прием описания истории или историй, сочетающий наслоение подлинных исторических подробностей и свидетельств с заимствованиями, с элементами мифотворчества в качестве стержня нарратива – не вызывал вопросов или отрицания, которые этот прием неизбежно порождает у современных профессиональных историков-исследователей.

Необходимо подчеркнуть и то очевидное для Бицилли обстоятельство, что идея, объяснительная система может применяться без оглядки на индивидуальное авторство (которое вообще не релевантно для средневекового сознания) и первичные обстоятельства возникновения схемы интерпретации. Видимо, можно сказать, что и концепт Нового Средневековья, основное звено в цепи интерпретации новой исторической реальности, наступившей столетие назад, также имеет право на существование не в одной единственной авторской интерпретации, а во множестве вариаций. «Первородство» идеи, первенство

в употреблении термина – здесь не главное, главное же – поиск нового языка описания: та проблема, с которой сталкивались средневековые хронисты в описании истории средневековой коммуны. Ведь поиск метафор, языка описания для характеристики текущей реальности, осуществлялся и самим Бицилли, и другими русскими мыслителями его поколения, современниками эпохи войн и революций. Да, имя должно было быть найдено, но эта идея потом начинается множиться, восприниматься в разных контекстах и присваиваться той или иной средой, включая среду русской культуры в изгнании. Историческая реальность, стоящая за этой ментальной конструкцией, за словами «Эпоха Нового Средневековья», потребовала объяснений и нового языка повествования от современных ей наблюдателей и рассказчиков, но параллели нашлись в достаточно отдаленном прошлом.

Бицилли – историк эпохи Нового Средневековья, как и изучаемый им хронист классического Средневековья, был внезапно застигнут новой реальностью, новым течением жизни, и теперь должен был блуждать и теряться в поисках (если не выхода, то новой объяснительной схемы). Как и матрица средневекового нарратива, система описания новой реальности и нормальности, наступившей столетие назад, создавалась усилиями ряда авторов (и затем заимствовалась друг у друга), но речь не о том, кому принадлежит первое использование словосочетания «Новое Средневековье». Важно, что новый дискурс потребовался и философу, и историку, как и любому свидетелю истории, в момент кризиса, судьбоносных, резких, но не заканчивающихся одномоментно перемен, как требовалась новизна описания авторам средневековых анналов и хроник (разным по совершенству стиля и изобретательности), но равным образом застигнутых врасплох временем перемен.

Изучая интеллектуальные биографии русских историков начала бурного двадцатого столетия, времени Великой Войны и революций, можно также выделить имя яркого, талантливого исследователя, рано ушедшего из жизни, Владимира Николаевича Забугина (1880–1923). Забугин, наследник русской культуры Серебряного века и исследователь культуры итальянского Возрождения, историк и филолог, религиозный деятель, стал чужеземцем на родине, и постепенно, вероятно, даже стал отрицать влияние той школы, которую прошел в Петербурге, и которую олицетворял собой профессор Гревс, многое сделавший для становления студента и молодого коллеги.

Забугин оказался в центре исторического конфликта 1917 года, не будучи изгнанником революцией, беженцем, как многие другие русские интеллектуалы эпохи. Совсем молодым человеком и

начинающим историком он оставил Россию накануне эпохальных перемен, и затем выбрал для временного возвращения в Россию критический период между двумя революциями – февраля и октября, дабы оказаться свидетелем исторических событий и конфликтов невероятной силы. Забугин как личность и интеллектуал – это не осколок сокрушенной Империи, подхваченный волной истории и выброшенный на чужой берег, но человек, сознательно выбравший Италию в качестве второй родины еще до начала мировой войны и череды революционных событий в России. И этот выбор места определился под влиянием религиозного и интеллектуального выбора. Нельзя просто сказать, что Забугин избрал конфессию, идею соединения церквей, он самостоятельно сформировал свою новую религиозную и интеллектуальную идентичность, а одновременно избрал и спектр исследовательских интересов, в которые входило изучение Возрождения античности и этики гуманистов Ренессанса в Италии и Европе, в особенности его интересовало сочетание христианского чувства и античной мысли в творчестве гуманистов.

Собственные религиозно-этические воззрения Забугина и деятельность, направленная на преодоление исторического конфликта западной и восточной ветвей христианства, привлекали к нему внимание интеллектуалов и религиозных деятелей эпохи, интересуют они и современных исследователей<sup>19</sup>. При этом тема столкновения интеллектуальных сил и власти, тема конфликта и одновременного притяжения светского и сакрального начал, ренессансного гуманизма и религии находилась в сфере интересов Забугина как ученого. Именно такое сочетание сюжетов исследования характеризует не только последние труды ученого, которые обычно связывают с созданием концепции религиозного Ренессанса, но и раннее творчество Забугина. Эта тема присутствует в его диссертационном исследовании, опубликованном на итальянском языке и получившем отклики современных ему итальянских ученых<sup>20</sup>, а также в исследовании ренессансных комментариев к античным авторам<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Giovanardi A. Pensare il confine. Vladimiro Zabughin tra Oriente e Occidente. Roma, 2021.

<sup>20</sup> Zabughin V. Giulio Pomponio Leto: saggio critico. Vol. 1-2. Roma: La vita letteraria; Grottaferrata: Tip. Italo-orientale S. Nilo. 1909-1912. См., напр.: Molteni G. La «Storia del Rinascimento Cristiano in Italia» di Vladimiro Zabughin Rivista di letture: Bollettino della federazione Italiana delle biblioteche cattoliche, 1924. no. 5, pp. 124-134.

<sup>21</sup> Надзаро А. A bono in bonum. В.Н. Забугин, от «Судьбы Вергилия» до «Христианского Возрождения в Италии» // Россия – Италия: культурные и религиозные связи в XVIII–XX вв. СПб.: Алетейя, 2014. С. 205-224.

Еще ярче обозначается тема конфликта, когда Забугин конструирует для читателя на родине публикацию биографии Помпония Лэта на русском языке. Нас в первую очередь будет интересовать именно этот русскоязычный труд, созданный в судьбоносный исторический момент, непосредственно перед началом Первой мировой войны<sup>22</sup>. В русскоязычной книге Забугина, как и вообще в его штудиях по истории первой римской ренессансной академии, речь идет о нравственных установках гуманистов, их восприятии Античности и попытках примирить христианство с языческим наследием античной культуры. Темой древней римской культуры занимаются гуманисты Ренессанса и основной герой Забугина, Помпоний Лэт, та же проблема рецепции стоит и перед самим Забугиным. Можно сказать, что это утраченное и обретенное наследие античности, традиция, прошедшая сквозь призму ренессансного восприятия, увиденная взглядом интеллектуала начала двадцатого столетия, из эпохи кризиса и крушения всего миропорядка. Тема конфликта неизбежна для рефлексии историков, живущих в эту эпоху, как и для их героев.

Гуманист эпохи Ренессанса Помпоний и его сотоварищи, основатели первой академии Рима, оказались втянуты в конфликт с римской курией и папой, но из того же источника получили покровительство. Подобно этому историческому опыту, хоть и в менее драматичной форме формировался опыт Забугина как религиозного деятеля и исследователя истории мысли: Забугин в качестве наследника гуманистов Ренессанса, стремился к открытию древних корней единства церкви. Забугин, несомненно, испытывал проблемы и противоречия с официальной точкой зрения (как православной, так и католической церкви), хотя получал и поддержку от католического Рима, и сочувственное отношение представителей восточной традиции и обряда.

Тема конфликта гуманиста и власти, преследования свободолюбивого, своенравного и гедонистически настроенного интеллектуала, не только со стороны папской власти в Риме, но и со стороны светских властей Венеции – это ключевой момент биографии Помпония и рассказа о нем, который подготовил историк Забугин.

Конфликты эпохи в биографии русского историка Забугина, как и в биографии его исторического героя, гуманиста Юлия Помпония Лэта, проявились с неизбежностью. В основе исканий обоих интеллектуалов – идеи гуманитарного образования и религиозного возрождения. Столкновения с авторитарными структурами и патриархальными взглядами на историческую науку и историческое на-

---

<sup>22</sup> Забугин В.Н. Юлий Помпоний Лэт: Крит. исследование // Историческое обозрение: Сб. Ист. общества при С.-Петербур. ун-те. Т. 18. СПб., 1913.

следие такой дух интеллектуального поиска не мог избежать. Символическая преемственность и общность наследия двух интеллектуалов раскрывалась особенно ярко в буквальном смысле в едином пространстве – и реальном, и символическом, а именно, в Вечном Городе Рима. И тот, и другой ученый обращались к прошлому, разумеется, сквозь призму собственной оптики, сообразуясь и с вопросами далекой истории, и с запросами современности.

В предисловии к своему русскоязычному труду по теме итальянского Возрождения и наследия Юлия Помпония Лэта Забугин описывал свои исследовательские интересы так: «Объемистый труд, издаваемый в Италии, дает, по мере возможности исчерпывающий анализ источников, по каким возможно судить о жизни и деятельности главы римской Академии и учеников его. Первый том посвящен почти исключительно разбору фактов, из которых слагается запутанная история разгрома первой академии и процессов 1468-69 г., второй исследует сохранившиеся труды и памятники университетского преподавания Лэта... Третий будет посвящен второй Академии»<sup>23</sup>. Академический квалификационный труд, подготовленный Забугиным, интересен для исследователей истории науки, но для раскрытия нашей темы более интересна версия исследования, которую ученый подготовил несколько позже для русского читателя.

Публикация на русском языке должна была воплотиться в гораздо меньшем объеме, что предусматривало отбор тем изложения, но не снижения уровня научного труда. Книга также должна была вместить и вновь обнаруженные материалы, касающиеся юридической стороны дела академиков и описания «Скифии». В этом труде особенно выделены элементы, связанные с обликом Вечного города и рецепцией античности, а также с вопросами средневековой и ренессансной городской культуры. Забугин готов отдать долг Помпонию как отважному путешественнику, посетившему земли, вошедшие затем в границы Российской империи. Но вначале историк знакомит читателя со своим героем, еще не достигшим ни Скифии, ни Рима, намечая основы своего стиля, повествования-исследования.

Разумеется, диссертация Забугина на итальянском языке послужила основой для нового русского текста, но этот якобы вторичный текст заслуживает особого внимания. Автор сам называет русский вариант публикации исследования о Помпонии схематичным, но с этим определением трудно согласиться. Забугин создал особый нарратив, менее нейтральный и отстраненный: это все еще академический текст,

<sup>23</sup> Забугин В.Н. Юлий Помпоний Лэт... С. V-VI.

а не адаптация, но именно рассказ, в котором этические и нравственные вопросы играют важную роль. Забугин создает, в некотором смысле, роман нравов двух эпох: эпохи Ренессанса и своей собственной. Актуализация исторического материала здесь, вольная или невольная, но очевидная. И начинается интересное повествование почти сразу с конфликтной ситуации.

Конфликт потенциально возник, как только появился на свет герой этого романа: отпрыск знатного отца, но бастард, принятый из милости в дом, где мог бы быть хозяином и наследником, но никогда им не будет. Вместо воинской службы и занятий, обычных для законных отпрысков местной знати, Юлий Помпоний Лэт увлекся наукой, прежде всего, чтением классиков, гуманитарным образованием, и это пристрастие определило всю его жизнь. После смерти родителя юный приверженец гуманитарных наук вскоре покинул дом, опасаясь злости мачехи – законной супруги своего отца, а также и всей ее могущественной родни<sup>24</sup>. Переселение в Рим соответствовало натуре и пожеланиям юного гуманиста, но разрыв с родней не означал разрыва с малой родиной. Помпоний, как подчеркивал Забугин, всегда поддерживал связь с неаполитанскими гуманистами и интересовался древностями юга, причем не только классическими, античными, но и средневековыми<sup>25</sup>. Однако в документе, датированном 1479 годом, Юлий Помпоний назван именно гражданином и жителем Рима<sup>26</sup>, думается, к такому статусу любитель римских древностей стремился всей душой, однако, путь его не был легким.

В Риме имя гуманиста оказалось связано с созданием, согласно духу эпохи, интеллектуальных сообществ, вольных собраний ученых-гуманистов. Назывались эти сообщества академиями, такое интеллектуальное братство возникло и в Городе. Ученики и последователи появились у гуманиста благодаря живой манере Помпония читать лекции и комментировать классических авторов в Римской Сапиенце, готовности давать частные уроки любознательному юношеству. Неудивительно, что Помпоний, еще недавно чужак в Городе, стал большим авторитетом среди гуманистов и почитателей древности, а затем и главой объединения интеллектуалов Рима, которое имело высоких покровителей, хотя и отличалось большим свободомыслием. Покровительство сильных мира сего, возможно, сослужило плохую службу академикам, как и их уверенность в собственной безопасности. После превращения академии из узкого кружка в более широкое и известное

---

<sup>24</sup> Там же. С. 4-5.

<sup>25</sup> Там же. С. 12-13.

<sup>26</sup> Там же. С.13. примеч. 59.

объединение, в сообществе возникли неизбежные конфликты. Затем академия и встречи ее участников стали причиной подозрений, конфликта с властью и гонений, против гуманиста и его сотоварищей было заведено дело и учинено строгое дознание. В 1468 г. Помпоний был обвинен в самых серьезных проступках: в преступном свободомыслии относительно поста, пороках и непослушании церкви, даже в заговоре и покушении на папу римского<sup>27</sup>.

Пункты обвинения «академического дела» Ренессанса и процесса 1468–69 г., фигурантами которого были именитые интеллектуалы своего времени, этапы их ареста, допросов, реакции реконструируются Забугиным со всей научной тщательностью, но, пожалуй, отдельные абзацы и страницы могут сравниться с элементами захватывающего детектива, другие же страницы книги представляют собой описание путешествий, в которые отправлялись гуманисты, надеясь найти лучшую долю и избежать неприятностей. В русскоязычном труде Забугина в биографии Помпония ярко обозначена тема «охоты к перемене мест» и приключенческого рассказа: уроженец юга, уже освоившийся в Риме, но не получивший твердого достатка в Вечном городе, решил отправиться дальше на север и восток итальянских земель, где находилась Светлейшая Республика Венеция, Серениссима, которая со стороны ему казалась оплотом свободолюбия и учености.

Если использовать манеру изложения Забугина, то можно очертить такую линию сюжета жизни гуманиста. В Риме не сбываются некоторые надежды и формируются досадные конфликты, от которых Помпоний собирается укрыться где-то, предприняв путешествие, цель которого еще не до конца ясна самому академику. После отбытия из Рима в Светлейшую Республику, как нам известно, дела у Помпония пошли хорошо: он свел знакомства с лучшими венецианскими семействами, был принят в благородных домах и получил выгодные частные уроки. Гуманист поэтому и оставил первоначальный план греческого путешествия и наслаждался тем, как прекрасна Серениссима, и как благоволит здесь к нему фортуна. На освоение нового социального пространства, местных нравов и обычаев, опыты по воспитанию наследников венецианской знати ушло более двух лет, которые сам Помпоний считал благодатными.

Затем, в Венецию Помпонию стали приходить письма от друга, свидетельствующие о том, что в Риме бушует папский гнев против круга гуманистов. Незамечаемая гуманистом неизбежность кон-

---

<sup>27</sup> Обвинения касались того, что академики «ели мясо Великим постом, по пятницам и субботам, никогда не ходили к обедне, говорили, что Св. Франциск был ханжей, издевались над другими святыми». Там же. С. 51–52.



фликта с папской курией стала неотвратимой. Забугин указывал, что это, видимо, изумило Помпония, ведь он был уверен, что ничем не повинен ни перед папой, ни перед папским окружением, состоявшим из могущественных кардиналов, и считал, что опасаться ему нечего. Как пишет Забугин: «Гуманист, все-таки, еще не представлял себе всей серьезности положения, и “в сердцах” ответил своему корреспонденту, что он-де в свободной стране, дружит со знатью, и что “венецианцы терпеть не могут попов”»<sup>28</sup>. Этот отзыв скрыть не удалось, и такие слова гуманиста, разумеется, оказались на руку его обвинителям. Теперь даже и свободолюбие Светлейшей республики не спасет ученого от папского гнева и немилости. Далее наш проводник по миру Возрождения Забугин передает историю Помпония так: «Пока шла эта переписка, и пока Помпоний был во власти злобы, Павел II отправил в Венецию бреве, прося выдать римскому правительству Помпония-римлянина»<sup>29</sup>. Вместе с бреве папы «Совету Десяти было прочитано письмо венецианского посла при Св. Престоле Петра Морозини, находившегося в Риме». Далее, Забугин указывает, что «Морозини поддерживал со своей стороны просьбу папы, и что сам Павел II, кроме бреве, послал письмо (обвинявшее Помпония в порочной жизни). Когда Совету Десяти было доложено об этом деле, Помпоний оказался в тюрьме Св. Марка. Забугин указывает, что «венецианское правительство» вело свое расследование на основании отобранных у гуманиста записей и «непристойной» книги, писанной его собственной рукой»<sup>30</sup>. При таких обстоятельствах даже выдача папскому суду была не самым страшным исходом.

Арестованного морским путем отправили в Папскую область, через Анкону. Помпоний следовал в Рим под стражей, на этапирование отпустили довольно значимые деньги, а сопровождал обвиняемого человек из числа сочувствующих академии. И, хотя этот страж добросовестно выполнил приказ, но не причинил зла Помпонию, даже не развеял сомнений гуманиста в серьезности того, что ожидает его в Риме. И вот Юлий Помпоний Лэт снова в Вечном городе, но не в Сапиенце, не в кругу знатоков классических текстов, а в страшном и неприступном замке Св. Ангела, (бывшем античном Мавзолее Адриана, хотя вряд ли несчастный ученый размышлял в тот момент о судьбах наследия Поздней Античности). Далее в повествовании снова голос исследователя начала прошлого века накладывается на голос из более отдаленного прошлого. В книге Забугина вообще часто как бы прямой

---

<sup>28</sup> Там же. С. 36.

<sup>29</sup> Там же.

<sup>30</sup> Там же. С. 36-41.

речью цитируются гуманисты, прежде всего, сам Помпоний, но также и другие академики. И при этом мы должны понять, что имеем дело не с прямой цитатой из источника времен Ренессанса, а с авторским построением, с нарративом, созданным историком XX столетия.

Читатели оказываются захваченными изложением коллизии, сценой в пространстве исторического действия, исторического конфликта интеллектуалов и власти. Поражают читателя пугающие подробности, которые излагаются как бы от первого лица, от имени гуманиста на допросе. То Помпоний, будущий постоянный и почтенный профессор Сапиенцы, то Платина, будущий библиотекарь Сикста IV говорят с нами из темницы. Забугин повествует от имени своих героев о всех злоключениях так, что читатель как бы становится свидетелем истории подозреваемых в заговоре ученых мужей, которых подвергают допросу и истязаниям. То один, то другой из гуманистов раскрывают страшные подробности следствия<sup>31</sup>. Допросы продолжаются долго, наконец, обвинения в заговоре против папы снимаются с большинства академиков. Изнуренного подследственного, Помпония, отпускают даже с некоторой денежной компенсацией: освобожденный получает в награду и положение, о котором давно мечтал. Забугин указывает, что Помпоний «к общему удовольствию» получил постоянное место с приличным содержанием в римской Сапиенце, которого так долго и безрезультатно добивался, и получив эту милость, сохранял кафедру около двадцати восьми лет.

Итак, конфликт интеллектуала и власти, который назревал долго, в конце концов достиг высшей точки напряжения и драматизма, но разрешился достаточно быстро. Все этапы развития конфликта были пройдены с сохранением инициативы и давления власти, если гуманисты и предпринимали собственные шаги, то лишь на самом начальном отрезке истории, пытаясь уклониться и бежать из Рима. Условно счастливый конец драмы, то есть то положение, которое получили и Помпоний, и Платина после завершения следствия, произошло благодаря папской милости, по инициативе наследника власти Св. Петра. Такой финал закрывал тему возможной независимости академии и интеллектуальной деятельности академиков Ренессанса без оглядки на церковные авторитеты. Напомним, что цитируемое сочинение адресовалось именно русскому читателю, будучи достаточно вольной вариацией труда на итальянском языке. Нет сомнений, что оно и прочитывалось русским читателем тех лет, накануне Первой мировой войны и революции, сквозь призму актуализации, памятью о гонениях

<sup>31</sup> «...палачи готовятся к делу и приводят в порядок свои орудия. Меня раздевают, истязают и мучают, как разбойника с большой дороги». Там же. С. 44.

на университетских интеллектуалов, отстранения педагогов и студентов от учебного процесса и т.п. Для читателя постсоветского времени, те же строки не могут не актуализировать память и знание о репрессиях в СССР, в том числе и об академическом деле в северной столице. Так или иначе, речь шла об опыте жесткого и тотального подавления свободомыслия и инакомыслия, которое в редких случаях могло дополниться помилованием и даже некоторой протекцией со стороны представителей властей.

По контрасту, история конфликта с властью автора повествования, самого Забугина, давала больше простора для проявления личности интеллектуала, его позиция оставалась более активной, чем у его героя, ученого эпохи Ренессанса Помпония. Забугин, получив на первых порах государственную поддержку, позволившую молодому исследователю отправиться в Италию, затем предпринял шаги, позволившие ему оставаться там дольше положенного по регламенту срока. Возвращение Забугина в Россию было кратким и произошло уже тогда, когда его положение в новой стране проживания стало прочным и дающим определенные гарантии. От некоторых опасностей конфликта с властью на родине Забугину удалось уклониться в юности, благодаря переезду, назревающие конфликты интеллектуальной культуры и фашистского режима в Италии не задели историка в силу раннего его ухода из жизни, в 1923 году. Но социальный кризис и конфликт, свидетелем которого Забугин стал осенью 1917 года, захватил его целиком и заставил отразить увиденное в резонансной публикации под красноречивым названием «Безумный исполин».

После крушения династии Романовых, Забугин, в ранге официального уполномоченного итальянского правительства прибыл в Россию для контактов с Временным правительством. За время визита ученого, действовавшего в статусе дипломата, исторические события на его исторической родине развивались настолько быстро, что Забугин застал и октябрьский переворот, приход к власти большевиков и начавшуюся гражданскую войну, буквально оказавшись в эпицентре социальной бури. По горячим следам ученый свидетель истории создал книгу документально-публицистического характера, запечатлевшую и портреты основных деятелей, и сведения по социально-экономической истории, и соотношение сил сторон конфликта, а также ход боевых действий. При этом дискурс историка явно был сформирован так, как этого требовали цели и задачи повествования о событиях не для русского читателя, а для европейского современника. Позиция историка достаточно отстраненная, это взгляд извне, почти взгляд чужестранца на конфликт и трагические потря-

сения, которые происходят на родине автора книги «Безумный исполин». Позиция по отношению к происходящему у Забугина была однозначной и непримиримой, полемики с восставшими и победившими силами и властями ученый практически не предпринимает. Созданный им яркий образ безумного исполина относится не к власти, а ко всему народу, впавшему как бы в необъяснимое коллективное безумие. Многим строки книги Забугина перекликаются с размышлениями Ивана Бунина в те же «окаянные дни», но писатель находится внутри ситуации и боль его, пусть и смешиваясь с ненавистью, остается внутренней трагедией и собственной болью. Для Забугина же на фоне того цивилизационного разлома, который он фиксирует как бы извне, происходит полный разрыв с исторической родиной. Авторская позиция Забугина в «Безумном исполине» – это новая идентичность и самосознание историка. Адресность, обращение исключительно к западному, европейскому читателю и сам язык повествования, не являющийся для автора родным – усиливает это впечатление чужеродности происходящего для историка.

Разумеется, выход такого сочинения ставил Забугина не просто под удар конфликта с новыми властями России, но и перечеркивал возможность сохранить для русского читателя хотя бы прежние, уже опубликованные на родине работы. Сами названия академических трудов вычеркивались из каталогов библиотек и даже комментарии и предисловия чисто научного свойства цензурировались, а имя исследователя табуировалось. Таким образом, именно в интеллектуальной биографии достаточно аполитичного первоначально интеллектуала конфликт с властью занял центральное положение.

\*\*\*

Темы и сюжеты истории конфликта как в интеллектуальной биографии В.Н. Забугина, так и в интеллектуальной биографии П.М. Бицилли, интересны и в плане историографической значимости, и как фактор личной истории. Проекция конфликтов в творчестве того и другого историка, представителей одного поколения, взятые в сравнении, весьма интересны для рассмотрения.

У Забугина в академическом труде преобладает внимание к теме отношений власти и интеллектуала с его свободой мысли и творчества, акцентируется волнующая историческая деталь – значение рамок, навязываемых со стороны контролирующей власти интеллектуальному сообществу в виде ограничения индивидуального начала, а иногда и в форме протекции. Это внимание к элитарной культуре, к отношениям внутри слоя элит, в мире привилегий, без

которых трудно существовать возвышенной интеллектуальной культуре. У Бицилли восприятие конфликта в истории имеет более демократический характер, историка явно интересовали общие вопросы социальной справедливости, борьбы за нее и возможности волевого разрешения конфликта. Хотя смысл работы Бицилли 1917 года заключался не только и не столько в реконструкции конфликта внутри средневекового города, а в остроумном умозаключении о наличии «бродячего сюжета» и намеренной морализаторской вставки в текст первоначального источника, но все же внимание историка к острой социальной драме Средневековья кажется неподдельным. Здесь, скорее, тонкий научный вывод, приводимый в конце исследования, может восприниматься и как удачный предлог пройти вместе с читателем все ступени развития конфликта, дать опыт переживания как самого конфликта, так и его счастливого разрешения.

## ЧАСТЬ II. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ В КОНФЛИКТЕ

### 2.1. РИЧАРД ГЕНРИ ТОУНИ

#### СУДЬБА БРИТАНСКОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛА В ЭПОХУ ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ

Британский историк, публицист Ричард Генри Тоуни прожил интересную, наполненную событиями жизнь. Его наследие весьма разнообразно, среди работ выделяются публикации исторического жанра: «Аграрная проблема в XVI веке» (1912), «Религия и подъем капитализма» (1926), «Торговля и политика при Якове I» (1958). Статья «Возвышение джентри, 1558–1649» в журнале «Экономик истори ревью» за 1941 г. стала одним из самых известных исторических трудов Тоуни, спровоцировала знаковую для британской историографии дискуссию «о джентри» и высоко ценилась в советской науке. Достоинством публикации принято было считать акцент Тоуни на социальную основу гражданских войн в Англии середины XVII в., в противовес широко распространенной прежде политической и религиозной трактовке<sup>1</sup>. Тем не менее Тоуни был не столь близок к марксизму, как могло показаться на первый взгляд. Он не разделял утверждение о неумолимости исторического развития, концепцию смены общественно-экономических формаций с неизбежным социализмом в конце пути. Автор полагал, что при определенных обстоятельствах, если люди утратят нужный настрой, дорога могла вести в обратном направлении, «под уклон»<sup>2</sup>. Скорее, Тоуни был близок социализм как образ жизни, некая система ценностей, в большей степени созвучная взглядам известного теоретика искусства и писателя Уильяма Морриса, нежели Карлу Марксу. К тому же Тоуни не раз позволял себе откровенные выпады в адрес марксизма как учения антирелигиозного и даже корыстного, поскольку Маркса,

---

<sup>1</sup> На эту тему см. подробнее: Шарифжанов И.И. Современная английская историография буржуазных революций XVII века. М., 1982. С. 24-54.

<sup>2</sup> Tawney R.H. The Radical Tradition: Twelve Essays on Politics, Education and Literature. Harmondsworth, 1966. P. 178.

с его точки зрения, беспокоила прежде всего банальная проблема материального благополучия, но уже не капиталиста, а рабочего<sup>3</sup>.

В этой связи не менее значимой является другая сторона наследия Р. Тоуни. Его принято считать одним из самых ярких британских выразителей концепции этического социализма. В работах «Стяжательское общество» (1920), «Равенство» (1931) Тоуни бросил вызов современному ему миру алчности, наживы, безжалостной погони за обогащением, не знающей ни компромиссов, ни пощады к окружающим. В результате Тоуни довелось стать после завершения Первой мировой войны фактически ведущим теоретиком лейбористской партии, заложившим прочный нравственный фундамент под пропагандируемые ею лозунги реформирования общества. Один из биографов Тоуни приводит красочный пример, как благовоспитанная дама из торийской семьи, наткнувшись случайно на книгу «Стяжательское общество», оказалась настолько поражена представленной там аргументацией, что всю оставшуюся жизнь неизменно голосовала за социалистов<sup>4</sup>.

В британской историографии Р. Тоуни посвящены работы таких авторов, как Р. Террилл, Э. Райт, Н. Дэннис, А. Хэлси, Г. Армстронг, Т. Грэй, Л. Голдмен<sup>5</sup>. Ключевая оценка Тоуни, присутствующая на страницах многих исследований, как XX, так и XXI века, состоит в том, что он сумел предложить уникальную по своей универсальности интерпретацию социализма, приемлемую для представителей различных направлений социалистического движения на самых разных этапах его развития<sup>6</sup>. Современные авторы до сих пор настаивают, что Р. Тоуни остается одним из наиболее влиятельных британских социалистических философов. «“Старые левые”, “старые правые”, “центристы”, “новые левые”, “новые лейбористы” – все сни-

---

<sup>3</sup> R.H. Tawney's *Commonplace Book*. Ed. by J.M. Winter, D.M. Joslin. Cambridge, 1972. P. 69.

<sup>4</sup> Terrill R. *Tawney and His Times: Socialism as Fellowship*. Cambridge, 1975. P. 53.

<sup>5</sup> Terrill R. *Op. cit.*; Wright A. R.H. Tawney. Manchester, 1987; Dennis N., Halsey A.H. *English Ethical Socialism: Thomas More to R.H. Tawney*. Oxford, 1988; Armstrong G., Gray T. *The Authentic Tawney: A New Interpretation of the Political Thought of R.H. Tawney*. Exeter, 2011; Goldman L. *The Life of R.H. Tawney: Socialism and History*. London, 2014. Подробнее о социалистических воззрениях Тоуни см.: Сулопарова Е.А. Ричард Тоуни (1880–1962): лейбористский идеолог этического социализма и ученый историк // Новая и новейшая история. 2012. № 2. С. 158–177.

<sup>6</sup> См., например: Terrill R. *Op. cit.* P. P. 277; Foote G. *The Labour Party's Political Thought. A History*. L., 1985. P. 72.

мают шляпу перед Тоуни», – пишут историки М. Бич и К. Хиксон<sup>7</sup>. В британской историографии Тоуни называют «социалистом на все времена», шагнувшим далеко за рамки своего времени<sup>8</sup>.

Здесь, опираясь на публицистическое наследие Тоуни, хотелось бы заострить внимание на том, как он, свидетель двух войн, а также взлетов и падений близкой ему лейбористской партии, воспринимал переломные события своего времени, от чего пытался предостеречь современников, желал ли власти сам и испытывал ли разочарование в деятельности тех, кто ею обладал.

По своему происхождению Тоуни принадлежал к благополучному среднему классу. Он родился в Калькутте в 1880 году в семье специалиста по санскриту, возглавлявшего местный колледж. Вернувшись из Индии, родители отдали Гарри, как принято было называть Тоуни в близком кругу, в престижную частную школу-интернат Рагби. Там среди учеников он обрел друга на всю свою жизнь – У. Темпла, будущего архиепископа Кентерберийского. Историки до сих пор размышляют над тем, кто из двоих в большей степени повлиял на другого. Однозначно ответить сложно, процесс, очевидно, был обоюдный. Тоуни всю жизнь оставался верующим христианином, полагавшим, что жизнь человека ни при каких обстоятельствах не должна быть разменной монетой в жестокой погоне за материальным благополучием.

В Оксфорде, куда Тоуни поступил в 1899 г., его главными наставниками стали шотландский философ Э. Кэд и известный теолог англиканской церкви Ч. Гор. Последнему Тоуни в 1920-е гг. посвятил книгу «Религия и подъем капитализма». Кэд характеризовал образ мыслей молодого оксфордского выпускника как «хаос великого ума» несмотря на то, что в студенческие годы Тоуни не блистал среди сверстников<sup>9</sup>.

После университета Тоуни впервые воочию увидел нищету, начав работать в университетском благотворительном учреждении – Тойнби-холле, расположенном в беднейшей части Лондона, Ист-Энде. Цель этой организации состояла в обеспечении образования и досуга для самых неимущих жителей британской столицы. Тоуни познакомился там с еще одной знаковой фигурой своей жизни – молодым У. Бевериджем, будущим блестящим экономистом, директо-

<sup>7</sup> Beech M., Hickson K. Labour's Thinkers. The Intellectual Roots of Labour from Tawney to Gordon Brown. L., N.Y., 2007. P. 18.

<sup>8</sup> Terrill R. Op. cit. P. 280; Dennis N., Halsey A.H. Op. cit. P. 183.

<sup>9</sup> Ashton T.S. Richard Henry Tawney 1880–1962 // Proceedings of the British Academy. 1962. Vol. 48. P. 462.



ром Лондонской школы экономики и политической науки (ЛШЭ). Позднее Тоуни женился на его сестре.

В 1906 г. Тоуни переехал в университет Глазго, где начал преподавать экономику. Принято считать, что именно там он сблизился с человеком, который, наряду с уже имевшимися высокими идеалами, привил ему интерес к реальной политике. Этой фигурой стал Т. Джонс, в дальнейшем многие годы занимавший высокие посты в аппарате британского кабинета министров<sup>10</sup>. Однако все же ключевую роль в приобретении Тоуни жизненного опыта и знаний сыграла Рабочая учебная ассоциация. Эта благотворительная организация брала начало с 1903 г. и в 1905 г. обрела упомянутое выше название. Ее цель состояла в том, чтобы дать возможность взрослым рабочим получить недостающее образование. С 1908 г. ассоциацию возглавил У. Темпл, а Тоуни приступил к преподаванию в ней, без устали путешествуя на поезде по различным населенным пунктам, где его ждали благодарные ученики, заметно превосходившие по возрасту своего учителя. «Если бы меня спросили, где я получил наилучшее образование, – писал Тоуни впоследствии, – я бы ответил, что это было... в те дни, когда я являлся молодым, неопытным и самодовольным учителем в этих классах»<sup>11</sup>. Последняя характеристика, однако, представляется излишне самокритичной. Тоуни был напроць лишен высокомерия и самодовольства. Именно отсутствие этих сомнительных качеств вызывало у рабочих-учеников глубокое доверие и симпатию к учителю. Ассоциация без преувеличения стала делом жизни Тоуни, в 1928–1944 гг. он был ее председателем, а после смерти завещал ей все свои сбережения.

Перед Первой мировой войной Тоуни, несмотря на занятость, сумел также начать академическую карьеру, приняв участие в подготовке масштабной публикации исторических документов по английской истории со времен Вильгельма Завоевателя вплоть до XIX века, а также издав свою первую книгу по аграрным отношениям XVI века. В 1912–1913 гг. Тоуни вел дневник, который проливает свет на его общественные воззрения тех лет. В целом этот многостраничный документ, опубликованный посмертно в 1972 г., свидетельствует о том, что базовые этические представления Тоуни сформировались уже в молодые годы. Взгляды автора не претерпели на протяжении последующей жизни заметной эволюции. Тоуни до старости был привержен своим идеалам, христианской этике, братству

---

<sup>10</sup> Эту точку зрения высказывает биограф Р. Террилл. – Terrill R. Op. cit. P. 35-36.

<sup>11</sup> Tawney R.H. The Radical Tradition. P. 86.

как самому мощному чувству, объединяющему людей, близких по духу, бесконечной вере в значимость каждого конкретного индивида. Редакторы дневника Дж. Уинтер и Д. Джослин полагали, что эта рукопись прежде всего являла собой попытку автора вести разговор «с собственной совестью», опираясь на принципы христианской морали<sup>12</sup>. В те же годы Тоуни приобщился к лейбористскому движению, в 1906 г. он стал членом Фабианского общества, в 1909 г. вошел в состав Независимой рабочей партии (НРП), входившей в ряды лейбористской организации.

Многие активисты Независимой рабочей партии, придерживавшиеся пацифистских взглядов, крайне негативно восприняли начало Первой мировой войны. Среди них – будущий лейбористский премьер-министр Р. Макдональд, а также К. Гарди, Ф. Сноуден, Ф. Джоуэтт, Ф. Брокуэй, К. Аллен. На страницах издававшейся НРП газеты «Лейбор лидер» в августе 1914 г. был размещен лозунг: «Долой войну»<sup>13</sup>. Осенью 1914 г. по инициативе Брокуэя и Аллена образовано «Антиконскрипционное братство». Антивоенная пропаганда велась в других социалистических изданиях, редактируемых активистами НРП, среди них были и те, кто вскоре попал в тюрьму за призывы воспрепятствовать войне. Тоуни, напротив, практически сразу пошел воевать добровольцем и оказался в окопах на территории Франции. Этот шаг был продиктован тем, что, несмотря на приверженность высоким идеалам, он не разделял пацифистские убеждения и не допускал, что его страна могла быть повержена милитаристской Германией.

К началу боевых действий Тоуни было 34 года. Для англичанина, окончившего Оксфордский университет, никогда не помышлявшего о военной карьере, «окопная» война стала суровым испытанием. Тоуни не был изнеженным человеком, в университетские годы активно занимался спортом. Однако кишасие крысами траншеи, снарядные обстрелы, смерть товарищей, скука в периоды затишья были крайне далеки от имиджа героической войны, насаждавшегося в 1914 г. правительственной пропагандой ради пополнения рядов добровольцев. Вскоре Тоуни был произведен в сержанты. Будущий лидер лейбористской партии Х. Гейтскелл вспоминал позднее, что в послевоенные годы Тоуни неизменно носил дома старый потрёпанный сержантский китель времен войны<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Winter J.M., Joslin D.M. Introduction // R.H. Tawney's *Commonplace Book*. P. XIV.

<sup>13</sup> *Labour Leader*. 1914. 6 August.

<sup>14</sup> Gaitskell H. *Postscript* // Tawney R.H. *The Radical Tradition*. P. 221.

Тоуни находился на фронте до середины 1916 г. Он был тяжело ранен в сражении на реке Сомме и отправлен на лечение обратно в Англию<sup>15</sup>. В том же году Тоуни опубликовал два эссе, посвященных войне. Первое из них, «Атака», было напечатано в либеральной «Вестминстер гзетт», второе, «Некоторые размышления солдата», в журнале «Нэйшн». Эссе, несмотря на драматизм поднятой там проблематики, местами были написаны с известной долей иронии. В целом Тоуни считал немцев, воевавших по другую линию фронта, жертвой той же «катастрофы», что и сами британцы, и отдавал им дань уважения как смелому, сильному и решительному противнику. Эссе были полностью лишены героического пафоса и ненависти к врагу. Автор считал, что именно уничтожение врага из ненависти превращает солдат в «убийц» в то время, как в действительности они всего лишь «палачи», выполняющие приказы<sup>16</sup>.

В этих публикациях Тоуни удалось очень ярко и достоверно передать «нереальность» трагедии, развернувшейся на Сомме. «Погода была столь прекрасна... – вспоминал он, – что сама мысль о смерти... казалась полным абсурдом». Тоуни, много часов пролежавший на поле боя в ожидании медицинской помощи, нашел описание Л.Н. Толстым ранения князя Андрея в «Войне и мире» вполне достоверным, «хотя, – продолжал автор, – я даже не могу представить, как он мог знать, если сам не переживал подобного»<sup>17</sup>.

В своих военных публикациях Тоуни стремился изобличить лживую правительственную пропаганду войны, распространяемую посредством печати. Он настаивал, что его соотечественники, находившиеся вдали от боевых действий, предпочли создать себе некий иллюзорный «имидж войны», красочную гляцевую картинку, которая должна воодушевлять людей, заставлять их восхищаться войной. Тоуни полагал, что многие британцы предпочли этот «имидж», поскольку правда о войне пришлась бы им не по душе, а многие просто не смогли бы ее вынести. «Вы боитесь того, – писал он в эссе «Некоторые размышления солдата», – что может случиться с вашими душами, если вы подвергните их... сомнениям, замешательству, которые лежат под поверхностью вещей»<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Воспоминания Тоуни о войне см.: Сулопарова Е.А. Размышления солдата: британский историк Р.Г. Тоуни о Первой мировой войне // Личность и общество в историческом процессе. Сборник статей международной научно-практической конференции. Рязань, 2020. С. 596-603.

<sup>16</sup> Tawney R.H. The Attack and other Papers. Nottingham, 1981. P. 27.

<sup>17</sup> Ibid. P. 17-18.

<sup>18</sup> Ibid. P. 24.

В военных эссе Тоуни неоднократно обращался к некоему символическому собирательному образу британского солдата – Томми Аткинсону. Этот героический образ «с ярким блеском сражения в глазах», пропагандируемый правительством Д. Ллойд Джорджа, казался Тоуни глубоко лживым. Автор настаивал, что в Британии был фактически придуман тип солдата, веселого, получающего удовольствие от сражений, с радостью готового ввязаться в любую потасовку, легко «выгоняющего немцев из их убежищ подобно терьеру, охотящемуся за крысами». Такой образ легче всего было воспринимать «под кофе с мармеладом», иронизировал Тоуни<sup>19</sup>.

Со своей стороны, автор настаивал, что люди в окопах испытывали широкий спектр эмоций, в том числе страх. «Солдаты не такие глупые, не такие храбрые и не такие злобные, как механические куклы, которые скалят зубы и убивают», – писал он. После первой же зимы в окопах уже никто из солдат, на его взгляд, не рассматривал войну как «приключение»<sup>20</sup>. Размышления Тоуни в целом были созвучны воспоминаниям многих других современников, переживших опыт страшной войны, в частности комментариям британского солдата Э. Стэплтона, также добровольца, писавшего, насколько быстро солдаты, столкнувшись с трудностями, теряли парадный блеск<sup>21</sup>.

Тоуни полагал, что все жертвы и лишения времен войны должны были окупиться созданием после ее завершения обновленной Британии. Вышедшая на первые послевоенные выборы в декабре 1918 г. коалиция консерваторов и части либералов, сторонников премьер-министра Ллойд Джорджа, пафосно обещала сделать страну «достойной ее героев», возвращавшихся с полей сражений. Один из лейбористских кандидатов в парламент впоследствии с юмором называл этот лозунг премьер-министра «новой Утопией»<sup>22</sup>.

На практике послевоенный девиз Ллойд Джорджа так и не был реализован. Уровень жизни рабочих оставался в межвоенные годы весьма низким. С 1917 г. Тоуни начал преподавать в Лондонской школе экономики, а в 1919 г. вошел в состав известной комиссии лорда Сэнки, назначенной для изучения проблем находившейся в тяжелейшем состоянии угольной отрасли и разработки рекомендаций по ее реформированию. Примерно половина комиссии, в том числе Тоуни, поддержала национализацию шахт. Однако в итоге

---

<sup>19</sup> Ibid. P. 25.

<sup>20</sup> Ibid. P. 26.

<sup>21</sup> Подробнее см.: Ткаченко Д.С. Первая мировая война глазами британских солдат // Новая и новейшая история. 2014. № 6. С. 65.

<sup>22</sup> Shinwell E. Conflict Without Malice. L., 1955. P. 59.

предложение было отвергнуто правительством Ллойд Джорджа, что стало для шахтеров большим разочарованием.

Тоуни выступал против правительственной коалиции. В качестве кандидата от лейбористской партии он боролся на парламентских выборах 1918 г., а также в дальнейшем в 1922 и 1924 гг. Во всех случаях его попытки пройти в палату общин были неудачными. В целом в эти годы на фоне послевоенного расширения избирательного права и стремительного роста профсоюзов лейбористская партия смогла заметно укрепить свои позиции, прежде всего в индустриальных, шахтерских районах. С 1922 года она стала второй по численности партией парламента, впервые обогнав по числу депутатов обе группировки расколотой либеральной партии, а в 1924 г. сформировала собственный кабинет во главе с Р. Макдональдом. Тем не менее Тоуни так никогда и не попал в палату общин. Представляется, что, несмотря на широкую эрудицию и преподавательский опыт, ему все же не хватало пропагандистского напора, столь необходимого парламентскому кандидату.

Тоуни был в большей степени «кабинетным ученым», «человеком пера». Он сам признавал, что проигрывал «заслуженно». Театральность и позерство были ему глубоко чужды, вспоминал Х. Гейтскелл, как оратор Тоуни никогда не стремился произвести впечатление на публику и всегда старался быть естественным<sup>23</sup>.

Едва ли Тоуни желал власти для себя лично и намеревался делать серьезную политическую карьеру. Его участие в предвыборных кампаниях скорее было данью тому, что лейбористы активно в эти годы продвигали в своих рядах образованных представителей среднего класса, способных укрепить их парламентскую фракцию. Много лет спустя партия предложила Тоуни на выборах 1935 года «беспрюитный» округ, но он отказался, посчитав, что уже поздно начинать парламентскую карьеру. Более того, в 1933 г. Макдональд предложил Тоуни место в верхней палате парламента вместе с титулом лорда. Он также ответил отказом<sup>24</sup>.

В то же время, находясь за стенами Вестминстера, Тоуни внес не меньший вклад в дело популяризации лейбористской партии и критики властей, нежели его левые коллеги-парламентарии. Книгу Тоуни «Стяжательское общество» последующие поколения лейбористов оценивали как своего рода «социалистическую Библию»<sup>25</sup>. Как

---

<sup>23</sup> Gaitskell H. Op. cit. P. 222.

<sup>24</sup> Terrill R. Op. cit. P. 6.

<sup>25</sup> См. комментарии известного политика Р. Кроссмэна (Crossman R. The Charm of Politics. L., 1958. P. 140).

пишут британские исследователи М. Бич и К. Хиксон, своими двумя главными социалистическими книгами, «Стяжательским обществом» и «Равенством», Тоуни буквально «снабдил» развивающуюся лейбористскую партию как моральными, так и экономическими установками<sup>26</sup>. В первой из книг были представлены в значительной мере вневременные обвинения капитализма, погрязшего в алчности. В «стяжательском обществе» определяющими являлись такие понятия, как жадность, бездушие, эгоизм. Тоуни полагал, что бесконечное обогащение людей, превращающееся в самоцель, никогда не даст возможности достичь гармонии во взаимоотношениях между ними. Вслед за писателем Джоном Раскиным он выступал с критикой индустриализма, наращивания производства любыми средствами и пренебрежения всем, что этому не способствует. Тем, кто кричит «Производите! Производите!», необходимо задать вопрос: «Производите что?» – настаивал автор<sup>27</sup>. С его точки зрения, изготовление предметов роскоши, продающихся по баснословным ценам в то время, как беднякам не хватало самого необходимого, было неприемлемо.

В качестве альтернативы «стяжательскому обществу» Тоуни предлагал общество «функциональное». В нем права людей должны были напрямую соотноситься с выполнением функций – деятельности на благо общества, несущей в себе не корыстную, а общественную цель<sup>28</sup>. Вне зависимости от уровня экономического прогресса Тоуни рассматривал капитализм как морально несостоятельную цивилизацию. В результате его критика «стяжательского общества» оказалась гораздо шире и масштабнее, нежели разоблачение пороков конкретного правительства, властей и послевоенной Британии в целом.

В те годы лейбористская пропаганда была сконцентрирована главным образом на критике капитализма и поддерживавших его партий. Знаковым событием в этом плане стали уникальные в своем роде дебаты «о капитализме», состоявшиеся в палате общин в 1923 г. В них приняли участие практически все известные депутаты социалисты. Основные обвинения против капитализма, которые выдвигала партия, состояли в том, что этот строй неэффективен, порождает несправедливое распределение национального богатства, сопровождается огромной безработицей, а также стачками и забастовками, засильем в экономике трестов и корпораций, перечеркнувших собой все бывшие достоинства свободной рыночной конкуренции. Особый упор был сделан на то, что рабочие полностью лишены

<sup>26</sup> Beech M., Hickson K. Op. cit. P. 29.

<sup>27</sup> Tawney R.H. *Acquisitive Society*. L., 1921. P. 42.

<sup>28</sup> Ibid. P. 9.

в условиях капитализма возможности участвовать в управлении производством<sup>29</sup>.

Тоуни были близки практически все представленные аргументы за исключением, пожалуй, первого. Эффективность либо ее отсутствие никогда не являлась для него ключевым обвинением в адрес капитализма, поскольку даже в случае высокой производительности труда, рационализации и внедрения новейших технологий общество по-прежнему могло оставаться стязательским и лишенным нравственных ориентиров.

Лейбористская публицистика 1920-х годов, наряду с Тоуни, была представлена такими знаковыми именами как Р. Макдональд, Ф. Сноуден и рядом других. Первые двое имели относительно простой и понятный для рабочей аудитории авторский стиль и скорее могли рассматриваться не столько как глубокие теоретики, сколько умелые пропагандисты, писавшие на злобу дня. Когда читаешь сегодня их работы, они кажутся весьма далекими от нынешних реалий. Ключевым посылом их публикаций было убедить современников в том, что социализм вовсе не страшен и наступит со временем путем постепенных реформ, не допускающих революционного насилия и покушения на демократию<sup>30</sup>.

В отличие от них, Тоуни, во-первых, имел неповторимый авторский стиль, довольно сложный для восприятия. Его работы были усыпаны цитатами на французском, латыни, он никогда не считал нужным писать специально для рабочей аудитории. Во-вторых, он никогда не убеждал читателя, что социализм не страшен, поскольку для него это было слишком очевидно. Социалистическое общество, о котором мечтал Тоуни, должно было строиться на высоких нравственных основах, позволяющих индивиду раскрыться в полной мере. Ключевыми понятиями в его концепции выступали ценности равенства, свободы и братства между людьми.

Представления людей о равенстве, с его точки зрения, всегда были обусловлены определенной исторической эпохой. Наиболее подробно он рассматривал эту тему в своей книге с одноименным названием. Тоуни не был ни противником частной собственности в целом, ни сторонником жесткого материального равенства. Кон-

---

<sup>29</sup> На эту тему см. подробнее: Суслопарова Е.А. Дебаты «о капитализме» в британском парламенте в 1923 г. // Вестник Московского университета. Серия 8: История. 2014. № 6. С. 3-17.

<sup>30</sup> См., например: Macdonald J. R. *Parliament and Revolution*. L., Manchester, 1919; Idem. *Parliament and Democracy*. L., Manchester, 1920. Snowden P. *Labour and the New World*. L., N.Y., 1924; Idem. *Twenty Objections to Socialism*. L., 1920.

цепция равных возможностей, гипотетически предоставляющая любому человеку шанс подняться по общественной лестнице, также казалась ему непривлекательной. Тоуни называл ее «насмешкой». «Рабство, – писал он, – не стало более сносным явлением лишь из-за того, что некоторые рабы оказались освобождены и сами стали рабовладельцами»<sup>31</sup>. Тоуни полагал, что каждый индивид, независимо от социальной ступени, на которую ему удалось взобраться, должен иметь право на достойную жизнь без нищеты, лишений, а также возможность получить образование, то есть соприкоснуться с богатыми знаниями, накопленными человечеством.

Из всех социальных проблем наиболее пристальное внимание Тоуни было приковано к образованию, поскольку равенство в доступе к нему он считал великой объединяющей людей основой. В 1920-е гг. он активно выступал за создание в стране единой демократичной универсальной системы образования, открытой для всех. Этой теме были посвящены его известные работы «Среднее образование для всех», «Образование. Социалистическая политика»<sup>32</sup>.

Что касается свободы, то, с точки зрения Тоуни, равенство было несовместимо лишь с определенным ее толкованием – правом человека делать все, что ему заблагорассудится в ущерб другим. Равенство в представлении Тоуни вполне могло сочетаться со свободой, которая наряду с гражданскими, политическими правами, гарантировала бы защиту экономически слабых от произвола экономически сильных<sup>33</sup>.

Братство же во многом и было для Тоуни, олицетворением социализма. Не случайно историк Р. Террилл употребляет термин «социализм как братство» в заголовке своей работы, характеризующей взгляды Р. Тоуни. Ведь к понятию братства Тоуни апеллировал еще в военных эссе, проникнутых воспоминаниями о фронтовом товариществе. Война, писал он, это не только армейские будни, но и «братство во имя нравственной идеи или цели»<sup>34</sup>. Будучи верующим человеком, Тоуни полагал, что люди смогут создать более совершенный общественный порядок, только если почувствуют свою родственность перед лицом высшей божественной силы. Еще в своем довоенном дневнике он писал: чтобы «уверовать в бесконечную значимость каждого отдельного человека и в то, что никакие

<sup>31</sup> Tawney R.H. Equality. L., 1931. P. 150-151.

<sup>32</sup> Tawney R.H. Secondary Education for All. L., 1922; Idem. Education. The Socialist Policy. L., 1924.

<sup>33</sup> Tawney R.H. Equality. P. 244.

<sup>34</sup> Tawney R.H. The Attack and Other Papers. P. 27.



соображения выгоды не могут оправдать притеснения одного другим», необходимо поверить в Бога, «отношения человека к ближнему будут лишены смысла, если над ними обоими не существует некоей высшей силы»<sup>35</sup>. Без ценностей христианского братства строительство нового общества, на его взгляд, теряло идейный ориентир. Известная представительница британских социал-демократов 1980-х годов Ш. Уильямс впоследствии писала, что социализм Тоуни являл собой прежде всего «братство, общность и соучастие»<sup>36</sup>.

Лейбористы с большим воодушевлением встретили Февральскую революцию 1917 года в России. «Над Европой зажглась новая звезда надежды», – писала по горячим следам рабочая газета «Геральд»<sup>37</sup>. Что касается октябрьских событий, то они вызвали весьма настороженную реакцию и даже критику в рядах партии. Обстановка в России была названа в лейбористской печати «трагической», В.И. Ленин и его соратники даже удостоились эпитета «экстремисты»<sup>38</sup>. Ф. Сноуден позднее писал в работе «Лейбористы и новый мир», что «русские коммунисты нанесли огромный вред социалистическому движению, дискредитировав истинный социализм»<sup>39</sup>. В своих послевоенных работах ведущие лейбористские публицисты неизменно подчеркивали, что революционный сценарий трансформации общества, подобный тому, что случилось в Петрограде, категорически не подходит для Великобритании. «Ворота в небеса нельзя открыть силой, – писал Макдональд в 1919 г.<sup>40</sup>

В целом подобный подход был близок Тоуни. Он был против насилия, полагая, что ценности демократии не должны быть принесены в жертву даже во имя высокой благородной цели. Х. Гейтскелл в воспоминаниях, опубликованных постскрипtum к посмертному сборнику работ Тоуни, называл его «демократическим социалистом par excellence»<sup>41</sup>. Аналогичную формулировку употребляют и другие исследователи, обращавшиеся к авторскому наследию Тоуни. «Он был демократическим социалистом, – пишет Р. Террилл, – поскольку его социализм был гуманистическим, а не просто потому, что демократия казалась подходящей тактикой или способом втиснуться... между коммунизмом и капитализмом»<sup>42</sup>. Демократический социа-

---

<sup>35</sup> R.H. Tawney's *Commonplace Book*. P. 67.

<sup>36</sup> Williams S. *Politics is for People*. L., 1981. P. 24.

<sup>37</sup> *Herald*. 1917. 24 March.

<sup>38</sup> См., например: *Labour Leader*. 1917. 15 November.

<sup>39</sup> Snowden P. *Labour and the New World*. P. 46.

<sup>40</sup> Macdonald J.R. *Parliament and Revolution*. P. 63.

<sup>41</sup> Gaitskell H. *Op. cit.* P. 221.

<sup>42</sup> Terrill R. *Op. cit.* P. 270. См. также: Dennis N., Halsey A.H. *Op. cit.* P. 151.

лизм был в представлении Тоуни несовместим и с различными формами авторитарного коллективизма. «Социалистическое общество... – это не стадо домашних хорошо откормленных животных во главе с мудрыми пастухами», – писал он<sup>43</sup>.

Тоуни полагал, что только осознанный «нравственный выбор» мог позволить людям построить в перспективе более гармоничный порядок. «Они идеализировали деньги и власть, они могут “выбрать” равенство», – таков был вердикт автора<sup>44</sup>. Тем не менее приходится признать, что у Тоуни отсутствовал четкий план построения социализма в том случае, если демократический выбор сделан. В этом, пожалуй, заключалось наиболее слабое звено его концепции. Путь создания нового совершенного общества виделся ему весьма широким, он не был увлечен деталями. С одной стороны, это позволяло концепции Тоуни выйти далеко за рамки конкретной исторической ситуации межвоенной Британии. С другой стороны, делало ее весьма хрупкой, поскольку дальнейшая дорога по однажды избранному пути таила в себе немало вопросов, на которые автор не давал детального ответа. С его точки зрения, все было во власти людей. Он их не идеализировал, поскольку прошел войну и видел на фронте немало ужасных вещей, однако верил, что лучшие качества могут в конечном счете восторжествовать в человеке.

Тоуни дважды бывал в Советском Союзе. Впервые это произошло весной 1931 года, когда он возвращался с женой из Китая по Транссибирской железной дороге, останавливался в Москве и даже сумел поработать в библиотеке института К. Маркса и Ф. Энгельса<sup>45</sup>. В отличие от своих друзей фабианцев Сиднея и Беатрисы Вебб, Тоуни не был увлечен сталинской моделью строительства социализма и никогда специально не писал о ней.

Известный историк-медиевист Майкл Постан в частном разговоре с биографом Тоуни Р. Террилом в начале 1970-х гг. настаивал, что он сам, а также Х. Гейтскелл и одаренный лейбористский экономист Э. Дурбин сумели в 1930-е гг. «удержать» Р. Тоуни от «про-руссианизма». Однако подобное самодовольное утверждение вызывает иронию даже у самого Террилла. Его герой был на 20-25 лет старше всех троих. Скорее, пишет биограф, именно Тоуни оказал влияние на молодых Гейтскелла с Дурбиным. Он никогда не был антикоммунистом, однако отношение к религии в СССР едва ли могло вызвать у него сочувствие. К тому же Тоуни вообще «не был готов с радостью

<sup>43</sup> Tawney R.H. The Radical Tradition. P. 176.

<sup>44</sup> Tawney R.H. Equality. P. 288.

<sup>45</sup> Goldman L. Op. cit. P. 144.

приносить в жертву нынешнее благополучие ради будущей славы», – отмечает Террилл<sup>46</sup>.

Второй раз Тоуни приезжал в Советскую Россию летом 1945 года вместе с историками Дж.М. Тревельяном, Дж.П. Гучем и рядом других в составе британской научной делегации, участвовавшей в праздновании юбилея Академии наук СССР<sup>47</sup>. В целом впечатления от увиденного остались вполне благоприятные. Но в начале 1950-х годов Тоуни был возмущен судебными процессами и репрессиями, имевшими место в СССР, информация о которых доходила до Великобритании<sup>48</sup>.

На протяжении жизни Тоуни побывал во многих странах, читал лекции в Дании, Швеции, Австралии, однако символическим центром мира для него всегда оставалась Англия. Его социализм был лишен мессианства, автора волновало в первую очередь то, что происходило дома. Тоуни был главным автором официальной партийной программы 1928 года «Лейборизм и нация», с которой лейбористы победили на выборах 1929 г.<sup>49</sup> Программа позиционировала партию как движение надклассового характера, привлекательное для самого широкого избирателя. Однако Тоуни очень тяжело пережил события 1931 года, связанные с расколом второго лейбористского кабинета Макдональда из-за разногласий вокруг социального курса в период мирового экономического кризиса. Неожиданное для многих решение лейбористского лидера и премьер-министра возглавить в августе 1931 года уже не лейбористское, а «национальное правительство», в большинстве своем состоявшее из консерваторов, а также его последующий выход на досрочные парламентские выборы в октябре того же года во главе новых союзников, были восприняты в родной партии как предательство. Макдональд и его немногочисленные сторонники были исключены из лейбористских рядов, их имена преданы анафеме. Партия, расставшись с лидером, заметно сдвинулась влево в первой половине 1930-х годов. Фабианец Вебб называл события 1931 г. «политическим ураганом»<sup>50</sup>.

Тоуни высказался по поводу произошедшего на страницах издания «Политикал куотерли» в начале 1930-х годов, вслед за Веббом

---

<sup>46</sup> Terrill R. Op. cit. P. 76.

<sup>47</sup> Goldman L. Op. cit. P. 144.

<sup>48</sup> Terrill R. Op. cit. P. 97.

<sup>49</sup> Подробнее об этом: Суслопарова Е.А. Эволюция лейбористской партии Великобритании во второй половине 20-х гг. XX века. М., 2007. С. 260-262.

<sup>50</sup> Webb S. What Happened in 1931: A Record // Political Quarterly. 1932. Vol. 3. № 1. P. 11.

охарактеризовав 1931 г. как «землетрясение». Он полагал, что после пережитого для партии наступил момент более четко определить для себя приоритеты дальнейшего развития. Лейбористский кабинет, на взгляд Тоуни, не рухнул в одночасье, а в течение довольно длительного времени неумолимо приближался к своему концу. Виной тому были не только внешние экономические обстоятельства, критика оппонентов, но и внутреннее состояние правительства. «Порох сыпался из него с того момента, как оно пришло к власти», – писал Тоуни<sup>51</sup>.

Тот факт, что кабинет лейбористов не располагал абсолютным большинством голосов в палате общин, на взгляд Тоуни, не был убедительным оправданием его слабости. Автор, не стесняясь, заявлял о «деградации» социалистов в момент прихода к власти, как в 1924, так и в 1929-1931 гг. Его вердикт состоял в том, что лейбористам не следовало в будущем стыдливо прятать свое социалистическое лицо и лозунги в погоне за колеблющимся избирателем, как было в период лидерства Макдональда в 1920-е годы. Напротив, Тоуни полагал, что партия должна была настойчиво и целенаправленно готовить электорат к смелым реформам и убеждать в их необходимости, будучи в оппозиции. В противном случае лейбористы так и остались бы, говоря его словами, «сильнее количественно, нежели качественно»<sup>52</sup>. Автор вполне допускал, что в таком случае следующая победа его партии на выборах могла отодвинуться на неопределенный срок, однако полагал, что борьба «с открытым забралом» – это единственный путь, который должен был позволить лейбористам выйти на новый качественный рубеж.

В то же время Тоуни, несмотря на заметно более левую риторику, нежели в 1920-е годы, не поддерживал в 1930-е годы излишне радикальные лозунги «социалистической диктатуры» и «чрезвычайных полномочий» для следующего лейбористского кабинета, если финансовая и экономическая элита окажет сопротивление его законотворчеству. У известных партийных публицистов 1930-х годов подобные идеи встречались неоднократно, например в книгах Г. Ласки «Демократия в кризисе», С. Криппса «Может ли социализм быть достигнут конституционным путем?»<sup>53</sup>. Р. Тоуни подобные вопросы не поднимал и никогда не заигрывал с идеей диктатуры – даже во имя благой цели.

<sup>51</sup> Tawney R.H. The Choice before the Labour Party // Political Quarterly. 1932. Vol. 3. № 3. P. 323.

<sup>52</sup> Ibid. P. 329.

<sup>53</sup> См., например: Laski H. Democracy in Crisis. L., 1933; Cripps S. Can Socialism Come by Constitutional Methods? L., 1933.

В 1930-е годы Тоуни также оказался все более сосредоточен на сугубо академической, научной карьере, в сравнении с предыдущим десятилетием, когда, без преувеличения, являлся «властителем дум». С 1931 года Тоуни стал профессором экономической истории Лондонского университета. Также в эти годы он заметно отделился от НРП, которая резко эволюционировала влево, что привело к ее разрыву с официальным лейборизмом в 1932 г.

Наряду с этим Тоуни с предубеждением относился к тому, чтобы лейбористские и профсоюзные функционеры принимали титул и становились членами палаты лордов без особой нужды. Лейбористские лорды появились Великобритании с 1924 года. Это было связано с во многом неожиданным формированием первого партийного кабинета и необходимостью срочно обзавестись правительственной скамьей в верхней палате, чтобы не нарушать веками устоявшуюся традицию. Тем не менее Тоуни полагал, что в отсутствие чрезвычайных обстоятельств для членов партии было неоправданно принимать титул. Вопрос об этом остро встал в середине 1930-х годов, когда в связи с 70-летием короля титулы были пожалованы нескольким крупным руководителям тред-юнионов и старшему лейбористскому парламентскому организатору. На страницах прессы Тоуни высказался против «пуделей в гостиной, виляющих хвостом, когда их гладят, и облизывающихся на сахарную конфету, которую им бросают хозяева»<sup>54</sup>. Тем не менее на ежегодной лейбористской конференции осенью 1935 года вопрос о принятии титула было решено оставить на усмотрение тех, кого он непосредственно касался. В 1936 г. исполком партии выпустил специальное заявление, где говорилось, что вводить какие-либо ограничения не планируется<sup>55</sup>.

Наступление Второй мировой войны, борьба с фашизмом не могли оставить Тоуни безучастным. В начале войны в «Нью-Йорк таймс» он опубликовал известное эссе «Почему Британия сражается», вышедшее затем в Англии отдельным изданием. Автор писал: «Ни один известный истории тиран не описывал миру столь четко то будущее, которое он ему уготовил, как это сделал канцлер германского рейха. Если у кого-то есть сомнения относительно предложенной им перспективы, пусть почитает «Майн кампф», и не в издании, подготовленном для англо-саксонских глупцов с исключением нежелательных мест, а в оригинальной, подлинной версии»<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> Цит. по: Terrill R. Op. cit. P. 184.

<sup>55</sup> Report of the 35-th Annual Conference of the Labour Party. L., 1935. P. 238-239; Report of the 36-th Annual Conference of the Labour Party. L., 1936. P. 293.

<sup>56</sup> Tawney R.H. Why Britain Fights. L., 1941. P. 9.

В 1930-е годы Тоуни в полной мере осознавал, что происходило в Европе, и активно помогал беженцам, спасавшимся от нацистского режима. Лейбористская партия осудила в 1938 г. Мюнхенское соглашение с Гитлером о разделе Чехословакии. Выступая в парламенте 3 октября 1938 года во время обсуждения мюнхенских договоренностей, лидер лейбористов К. Эттли заявлял, что британцам не следует славить премьер-министра Н. Чемберлена как человека, спасшего мир от войны, поскольку именно он не предпринимал никаких шагов «до Одиннадцатого часа». В итоге Чемберлен пал жертвой обмана диктаторов, заключал Эттли<sup>57</sup>. Тоуни впоследствии называл Чемберлена «мастером успокоительных слов»<sup>58</sup>.

С началом войны Тоуни вступил в отряды местной обороны и впервые со времен Первой мировой взял винтовку в руки. Хотя ему было уже 60 лет, он был весьма активен и считал себя обязанным помогать стране по мере сил. Он поддерживал вхождение своей партии в военное коалиционное правительство У. Черчилля в мае 1940 г., полагая, что все усилия, независимо от партийной принадлежности, должны быть объединены во имя победы. В 1941 г. Тоуни прибыл в США для получения почетной степени Чикагского университета. Там он откликнулся на просьбу британского правительства занять в условиях войны должность советника по рабочему вопросу при посольстве в Вашингтоне. Примерно в течение года Тоуни разъезжал по Америке, выступая перед профсоюзной аудиторией и многочисленными учебными заведениями как по рабочей проблематике, так и о войне и ее задачах в целом. В Вашингтоне на одном из семинаров по этическим вопросам журналисты ненароком сфотографировали Тоуни с представителем семейства Рокфеллеров. Социалист был в ужасе и даже с юмором написал о случившемся своему другу – профессору экономической истории Дж. Нэфу<sup>59</sup>.

Осенью 1942 года Тоуни вернулся обратно в Британию. После атаки японцами военно-морской базы в Перл-Харборе и вступления США в войну, он считал, что его главная миссия, донести до широкой американской аудитории значимость вооруженной борьбы с Германией, была выполнена. Официальная же дипломатическая служба никогда не казалась Тоуни привлекательной, а сами сотрудники форин-офиса, судя по всему, не вызывали особой симпатии. Министерство иностранных дел «забито благопристойными непро-

<sup>57</sup> Hansard. Parliamentary Debates. House of Commons. 1938. Vol. 339. Col. 57, 63.

<sup>58</sup> Tawney R.H. The Attack and Other Papers. P. 78.

<sup>59</sup> Terrill R. Op. cit. P. 88.

фессионалами, которые слишком мало знают, как о жизни своей собственной страны, так и той, в которой они работают», – делился Тоуни впечатлениями о пребывании в Америке в частном письме<sup>60</sup>.

Что касается американцев, то Тоуни очень высоко оценивал президента Ф. Рузвельта, полагая, что тот на голову превосходил всех современных политиков своей страны. Характерно, что такое восприятие американского президента было свойственно даже откровенно левым британским социалистам. Так, коллега Тоуни по Лондонской школе экономики «красный профессор» Г. Ласки писал, что Рузвельт оказался первым государственным деятелем западной страны, попытавшимся систематически использовать власть государства, чтобы перераспределить национальное богатство и решить острые социальные проблемы, отойти от традиционной капиталистической мотивации, обусловленной исключительно получением материальной прибыли<sup>61</sup>.

В то же время Тоуни тревожили умонастроения американского истеблишмента. Желание манипулировать другими странами, еще не столь различимое после долгой приверженности изоляционизму, бросилось ему в глаза уже в период его пребывания в этой стране в начале войны. В письме Б. Вебб, датированном июлем 1942 года, Тоуни писал, что не за горами времена, когда США будут готовы диктовать всему миру, как ему следует себя вести. Британия, на его взгляд, должна была стать первой мишенью, следующей – Россия<sup>62</sup>.

На родине Тоуни временно перебрался в Кембридж, куда была эвакуирована ЛШЭ. Наряду с преподаванием он по-прежнему служил в отряде местной обороны, патрулируя по ночам близлежащую местность с собственной собакой с целью своевременного предупреждения о воздушных налетах. В 1943 г. в журнале «Экономик хистори ревью» он опубликовал принципиальную по своей значимости статью «Отмена экономического контроля»<sup>63</sup>. В ней Тоуни весьма убедительно писал об упущенных после Первой мировой войны возможностях в плане сохранения и развития системы государственного контроля над экономикой. С точки зрения автора, повторение подобной ошибки после Второй мировой войны было недопустимо. Он настаивал на том, что государственное присутствие в социально-экономической сфере должно было выйти в мирные годы

---

<sup>60</sup> Цит. по: Ibid. P. 90.

<sup>61</sup> Ibid. P. 92; Laski H. The Roosevelt Experiment. L., 1934. P. 1.

<sup>62</sup> Цит. по: Terrill R. Op. cit. P. 93.

<sup>63</sup> Tawney R.H. The Abolition of Economic Controls, 1918-1921 // Economic History Review. 1943. Vol. 13. № 1-2. P. 1-30.

на новый рубеж с целью нивелировки социальных контрастов и создания обновленной Британии.

Эти взгляды были созвучны настроениям в самой лейбористской партии, обнародовавшей в 1942 г. программу «Старый мир. Новое общество». На страницах документа говорилось о том, что возвращения к миру 1920–1930-х гг., где «привилегированное меньшинство процветает в ущерб благополучию большинства населения», быть не должно<sup>64</sup>. Программа провозглашала незамедлительный переход после Второй мировой войны к обновленной модели экономического развития под контролем государства, а это предполагало как обширную национализацию, так и широкую систему социальных гарантий.

Тоуни активно участвовал в предвыборной кампании в июле 1945 года, выступая в поддержку многих коллег по партии, в частности Э. Дурбина и Л. Джегер. Он не остался в стороне и в период следующих выборов в феврале 1950 года. К моменту последней кампании Тоуни было уже почти 70 лет. Его представляли аудитории как своего рода «реликвию», водившую дружбу с «социалистическими гигантами» конца XIX века. Тоуни с нескрываемой иронией сообщал знакомому: «На следующих выборах они будут описывать меня как бывшего чартиста»<sup>65</sup>.

В отличие от первых двух кабинетов Макдональда, вызвавших у Тоуни разочарование и критику, лейбористское правительство К. Эттли, пришедшее к власти в 1945 г., сумело наконец реализовать мощный пакет как экономических, так и социальных реформ, о которых партия мечтала долгие годы. Во-первых, была реализована обширная программа национализации, включающая передачу в руки государства угледобывающей отрасли, электроэнергетики, газовой промышленности, железнодорожного транспорта, Банка Англии и ряд других мероприятий. Таким образом, в стране была заложена модель смешанной экономики с мощным государственным сектором, сохранявшаяся несколько последующих десятилетий. Во-вторых, лейбористское правительство создало некий социальный «парашют», защищавший рядовых граждан от разных жизненных невзгод. Была выстроена широкая система социального страхования, значительно превосходившая по масштабу скромный межвоенный аналог, учреждена бесплатная Национальная служба здравоохранения, инициировано обширное жилищное строительство. Наряду с этим еще в 1944 г.

---

<sup>64</sup> The Old World and the New Society. British Labour on Reconstruction in War and Peace. N.Y., 1943. P. 7.

<sup>65</sup> Цит. по: Terrill R. Op. cit. P. 97.



коалиционным правительством был принят долгожданный закон о всеобщем бесплатном среднем образовании.

Тоуни, конечно же, приветствовал перемены. Сами лейбористы утверждали, что строят «демократический социализм» в противовес той модели общества, которая существовала в СССР и формировалась после войны в государствах Восточной Европы. В 1949 г. Тоуни подготовил доклад «Социал-демократия в Британии» для симпозиума, проходившего в США. В дальнейшем этот текст был опубликован в сборнике его работ «Радикальная традиция». В докладе Тоуни представил широкий анализ проведенных лейбористами реформ. В нем была отдана дань уважения известным либеральным экономистам Дж. М. Кейнсу и шурина автора У. Бевериджу, внесшим неоценимый вклад в обоснование необходимости активного вмешательства государства в социально-экономические процессы в стране<sup>66</sup>. В частности, Беверидж явился главным автором доклада, опубликованного еще в конце 1942 г. (так называемого «доклада Бевериджа») и удостоившегося лестных комментариев со стороны лейбористов. В нем была предложена широкая схема социального страхования, некая новая модель социальной ответственности государства, на практике реализованная правительством Эттли после 1945 года<sup>67</sup>.

В качестве основных столпов обновленного британского послевоенного общества Тоуни называл в докладе 1949 г. бесплатное среднее образование, здравоохранение, а также принцип полной занятости, т.е. отсутствие огромной армии безработных, характерной для межвоенного периода. В отношении промышленной политики он употреблял термин «селективная национализация»<sup>68</sup>. В действительности, даже в ранние годы автор никогда не был сторонником всепоглощающей национализации. В то же время он был давним приверженцем перехода в руки государства угледобывающей отрасли еще со времен работы в комиссии Сэнки 1919 года. В связи с этим Тоуни с торжеством писал, что в 1946 г. «ни одна собака не посмела гавкнуть» против долгожданной реформы<sup>69</sup>.

Наряду с этим автор обращал внимание американской аудитории на то, что столь кардинальная трансформация стала возможна в его стране в условиях сохранения парламентского правления и личных свобод граждан, на которые никто не смел посягать. Тоуни отдавал должное техническим и экономическим достижениям Совет-

---

<sup>66</sup> Tawney R.H. The Radical Tradition. P. 156.

<sup>67</sup> Beveridge W.H. Social Insurance and Allied Services. L., 1942.

<sup>68</sup> Tawney R.H. The Radical Tradition. P. 159.

<sup>69</sup> Ibid. P. 160.

ского Союза, «плотинам, мостам, электростанциям, сталелитейным заводам». Однако он настаивал, что все это «великолепие» было выстроено в рамках сталинского «полицейского коллективизма», которому автор противопоставлял вслед за своей партией социалистическую модель, формирующуюся в его собственной стране<sup>70</sup>.

В действительности приходится признать, что вслед за мощной волной лейбористских реформ 1945–1948 годов новых витков столь же масштабного реформаторства не последовало. Кабинет Эттли в конце 1940-х гг. стал фактически топтаться на месте, столкнувшись с серьезными финансовыми трудностями, обусловленными как дорогостоящими реформами, так и необходимостью осуществлять программу перевооружения в условиях начавшейся холодной войны. Правительство лейбористов улучшило капитализм, но вовсе не превратило Британию в то общество, о котором Тоуни мечтал еще в 1920-е годы, изобличая стяжательство окружающего мира.

Тоуни обладал удивительной способностью тонко улавливать происходившее вокруг и был одним из немногих, кто заранее предсказал поражение своей партии на выборах 1951 года. Он полагал, что в основе лейбористского движения всегда должен был присутствовать мощный нравственный импульс. Основой британского социализма, с точки зрения Тоуни, всегда была этика, но не экономика или эффективность производства. Если лейбористы больше не могли повести за собой большинство соотечественников к светлому социалистическому идеалу, они не могли и не должны были побеждать, пишет один из биографов Тоуни Р. Террилл<sup>71</sup>. Можно согласиться с мнением другого историка Э. Райта, что в последнее десятилетие жизни Тоуни одолевало очевидное беспокойство происходившим вокруг<sup>72</sup>. Проблема состояла в том, что лейбористы, даже проведя смелые реформы в конце 1940-х гг., не смогли полностью перешагнуть за рамки старой Британии. К некоторым из них вскоре пришло осознание ограниченности той модели, которая была реализована.

В 1952 г. Тоуни издал последнюю из своих значимых публицистических работ, «Британский социализм сегодня». Впервые она была опубликована в журнале «Сошиэлист контемпорари», а затем в сборнике трудов Тоуни. Размышления автора, представленные там, проливают свет на то, как он воспринимал новые проблемы послевоенной страны. С одной стороны, в этой работе Тоуни по-прежнему отдавал должное реформам кабинета Эттли. Перевод крупных отраслей про-

<sup>70</sup> Ibid. P. 165-166.

<sup>71</sup> Terrill R. Op. cit. P. 97.

<sup>72</sup> Wright A. Op. cit. P. 140.

мышленности в общественные руки, писал автор, возможно, не так уж сильно повлиял на перераспределение богатства, однако изменил баланс экономической власти. В качестве иллюстрации масштаба социальных перемен Тоуни приводил в этой работе пример Йорка, где численность живущих в бедности людей сократилась с 31 % в 1936 г. до 3 % в 1950 г. Более того он отмечал, что его партия на практике доказала, что «капиталистическая экономика – это не твердая монолитная глыба, с которой нужно либо смириться, либо низвергнуть ее целиком, как полагали некоторые простаки»<sup>73</sup>.

С другой стороны, 50 % богатства страны по-прежнему находилось в руках 1 % населения, писал автор<sup>74</sup>. Более того, Тоуни полагал, что рабочие ощутили после войны в большей степени переменны социальные, но не экономические. В прошлое ушли голод и страх потерять работу, характерные для капитализма межвоенного периода, заявлял он. В стране наступила практически полная занятость. Однако в индустриально-экономической сфере, несмотря на масштабы национализации, изменения оказались не столь велики, и рядовой рабочий едва ли ощутил себя по-новому. Даже в отраслях, перешедших в государственную собственность, работники по-прежнему остались «инструментами для выполнения целей, диктуемых сверху», писал Тоуни. Если социализму суждено было стать ежедневной вдохновляющей силой, отмечал автор, эта проблема приобрела жизненно важное значение<sup>75</sup>.

Пропась между руководящей национализированными отраслями бюрократией, топ-менеджерами высшего звена и рядовыми сотрудниками оказалась огромна и не поддавалась решению за счет излюбленного Тоуни «нравственного выбора». В действительности, отмеченная автором проблема носила глубокий характер и стала в полной мере очевидна только в процессе самих реформ. Британский историк Д. Ховелл особо подчеркивал впоследствии, что отношения между рабочими и менеджерами в национализированных лейбористами отраслях остались фактически без изменений<sup>76</sup>.

Тоуни откровенно признавался в 1952 г., что у него не было готовых рецептов для решения заявленных проблем. На его взгляд, виновными в сложившейся ситуации были не только власти, но и сами рабочие, подверженные апатии и оказавшиеся весьма пассив-

---

<sup>73</sup> Tawney R.H. The Radical Tradition. P. 179-180.

<sup>74</sup> Ibid. P. 181.

<sup>75</sup> Ibid. P. 185.

<sup>76</sup> Howell D. British Social Democracy. A Study in Development and Decay. L., 1980. P. 175.

ными. Теоретически они жаждут свободы, тем не менее в реальности слишком часто избегают ответственности, без которой истинную свободу нельзя обрести, замечал он<sup>77</sup>. В результате, самое главное – нравственный настрой, социализм как образ жизни, заставлявший каждого ощущать себя частью чего-то прекрасного и высокого, являвшийся воплощением настоящего братства и свободы – не нашло себе достойного места в новой промышленной системе.

В начале 1950-х гг. Тоуни одним из первых поднял еще одну важную проблему, которая будет будоражить партийных публицистов в течение ближайшего десятилетия. Он заявил, что количество отраслей, готовых к незамедлительной национализации, весьма ограничено<sup>78</sup>. Это означало, что путь, ведущий к социализму, не столь прост и понятен, как казалось прежде многим партийным активистам, рассматривавшим обобществление как «столбовую дорогу» к новому обществу.

В том же 1952 г. известный левый лейборист, главный создатель Национальной службы здравоохранения Э. Бивен опубликовал работу «Вместо страха»<sup>79</sup>. В ней он утверждал, что магистральной дорогой к социализму по-прежнему остается национализация промышленности. (Сторонников Бивена, развернувших свои знамена в начале 1950-х гг., в британской истории принято называть бивенитами.) Однако в партии появились рьяные противники подобного курса. Их воззрения нашли наиболее яркое отражение в работе Э. Кросленда «Будущее социализма», изданной в 1956 г.<sup>80</sup> Книга стала символом лейбористского «ревизионизма», стремления произвести пересмотр старых партийных приоритетов. Кульминацией ревизионизма оказался 1959 год, когда новый лидер партии Х. Гейтскелл, пришедший на смену Эттли, предпринял попытку отменить формулировку IV пункта ее Устава, провозглашавшего целью лейбористов достижение общественной собственности на средства производства. Ревизионисты считали, что заложенная лейбористами модель «государства благосостояния», которую консерваторы с небольшими корректировками сохранили в 1950-е годы, во многом изменила характер капитализма, а с электоратом настала пора говорить более современным языком, исключавшим призывы к национализации. Изменениям в Уставе воспротивились профсоюзы, и отмена IV пункта в те годы не была реализована. Лишь в 1995 г. «новые лейбористы» во главе с Т. Блэром

<sup>77</sup> Tawney R.H. The Radical Tradition. P. 185.

<sup>78</sup> Ibid. P. 183.

<sup>79</sup> Bevan E. In Place of Fear. L., 1952.

<sup>80</sup> Crosland A. The Future of Socialism L., 1956.

сумели наконец убрать неприемлемую для них формулировку об обобществлении средств производства из Устава.

Р. Тоуни не принимал непосредственного участия в «баталиях» середины и конца 1950-х гг. Однако в упомянутой выше работе 1952 года со всей очевидностью поставил проблему ограниченности политики обобществления, что свидетельствует о его прозорливости. В 1960 г. в парламенте было торжественно отпраздновано восьмидесятилетие Тоуни с участием ведущих лейбористов и историков. Вскоре в возрасте 81 года он скончался.

В действительности капитализм на протяжении второй половины XX века претерпел колоссальные изменения. Взгляды Тоуни на этом фоне не теряли актуальности. Например, к его идейному наследию обращалась отколовшаяся от лейбористской партии группировка правых социалистов, так называемая «банда четырех», объявивших о создании новой социал-демократической партии в 1981 г. В те же 1980-е годы ему воздавал хвалу левый бунтарь Тони Бенн<sup>81</sup>. Наконец «новые лейбористы» в конце XX века, не желая полностью порывать с социал-демократической традицией, апеллировали именно к этической стороне социалистической идеи. Тони Блэр в работе 1994 года «Социализм», вышедшей в серии фабианских трактатов, настаивал, что после «коллапса коммунизма» только этический социализм сохранил потенциал и жизнеспособность<sup>82</sup>. По мнению британского исследователя М. Бича, «новые лейбористы», настойчиво используя в своих программных установках термин «комьюнити», фактически обращались к старой традиции этического, христианского социализма, прославлявшей понятие «братство»<sup>83</sup>.

Во втором десятилетии XXI века, на выборах 2017 и 2019 гг., лейбористы попытались вернуть в свой идейный арсенал отдельные лозунги национализации, однако в целом говорить об их возвращении к широкому обобществлению пока не приходится. Британские историки Н. Деннис и А. Хэлси полагают, что, стоя «на плечах» таких изобличителей изъянов XIX века как Дж. Раскин, поэт и литературовед М. Арнольд, Тоуни сумел преобразовать их критику капитализма как разрушителя братства в наиболее влиятельную современную теорию демократического социализма<sup>84</sup>.

\*\*\*

---

<sup>81</sup> Benn T. Foreword // Tawney R.H. The Attack and other Papers. P. XI.

<sup>82</sup> Blair T. Socialism. L., 1994. P. 2-3.

<sup>83</sup> The Struggle for Labour's Soul. Understanding Labour's Political Thought since 1945. Ed. by R. Plant, M. Beech, K. Hickson. L., N.Y., 2004. P. 93.

<sup>84</sup> Dennis N., Halsey A.H. Op. cit. P. 242.

Судьба Тоуни, одного из выдающихся британских интеллектуалов XX века переплелась с историей его страны. Он трудился в лондонском Ист-Энде, был скромным учителем в рабочих классах, участвовал в крупнейшем сражении Первой мировой войны, совмещал успешную научную и преподавательскую карьеру с активной работой в качестве одного из ведущих идеологов растущей лейбористской партии. Он стал свидетелем послевоенных реформ в Британии, направленных на создание «государства благосостояния».

На протяжении жизни Тоуни как публицист всегда старался максимально честно откликаться на важнейшие события и перемены в стране и мире. Побывав в окопах Первой мировой войны, он избличал правительственную пропаганду, представлявшую британскому обывателю боевые действия как захватывающее приключение. В 1930-е гг. Тоуни не испытывал иллюзий в отношении нацистской угрозы и политики умиротворения Германии. В годы Второй мировой войны, будучи в США, очень тонко уловил умонастроения местной элиты, еще в начале 1940-х гг. предсказав стремление США занять доминирующую роль в послевоенном мире. Не принимая капитализм, Тоуни, тем не менее, никогда не верил в революцию и не разделял ни научного, ни практического интереса некоторых своих современников к советской модели социализма.

Не будучи членом парламента и никогда не стремясь взойти на политический олимп, Тоуни всегда был тесно привязан к лейбористской партии. Она была для него символом надежд на создание нового общества, но периодически – источником разочарований. Самым болезненным из них стала бесславная история второго лейбористского кабинета 1929–1931 гг., когда партия, сумев на выборах поставить под свои знамена значительную часть избирателей, оказалась неспособна им помочь в условиях «великой депрессии». Определенным разочарованием оказались и экономические реформы третьего лейбористского правительства второй половины 1940-х гг., не позволившие рабочим на предприятиях ощутить свободу и братство, без которых строительство социализма, с точки зрения Тоуни, теряло свой высокий смысл.

В действительности во многих случаях Тоуни, скорее, ставил в своих работах вечные проблемы этики, нравственности, нежели давал развернутые ответы и предлагал «рецепты», ориентация на воплощение в жизнь высших моральных ценностей порой делала его рассуждения оторванными от суровой реальности. Он не был социалистом-утопистом, поскольку никогда не рисовал свой «идеал» как некую зафиксированную картину на фоне исторического развития. С другой стороны, определенный элемент утопии в его воззрениях можно без труда различить.

## 2.2. ЭТЬЕН ЖИЛЬСОН

### КАТОЛИК И ПОЛИТИКА В ПЕРЕЛОМНУЮ ЭПОХУ

Интеллектуальная и политическая ситуация во Франции в первой трети XX века была отмечена политикой «присоединения» католиков к республиканскому режиму, подъемом массовых католических движений («аксьон католик»), литературно-философским течением «католического возрождения» и возросшим интересом к средневековой религиозной философии (в особенности к учению Фомы Аквинского – томизму), активным вовлечением католиков в актуальные дискуссии в защиту традиционного католического порядка (семьи, церкви, школы, морально-этических ценностей).

Не случайно в бурных событиях начала столетия на сцене возникает фигура ангажированного в политику интеллектуала-католика, которая является крайне важной в выстраивании отношений светской власти и католического мира<sup>1</sup>. Как отметил М. Фуко, для интеллектуала занятие политикой являлось традиционным и было обусловлено двумя вещами: «его положением интеллектуала в буржуазном обществе, в системе капиталистического производства, в идеологии, которую он производит или навязывает... и его собственным дискурсом в той степени, в какой он открывал определенную истину, находил политические отношения там, где их не замечали. Эти два вида политизации не были чуждыми друг другу, но они не обязательно совпадали»<sup>2</sup>. В обоих случаях интеллектуал оказывался частью «системы власти», имел ли он классовый, анти-системный или просистемный дискурс. Интеллектуалы-католики не были исключением. Какую позицию должен занимать католик в отношении светской республики? Всецело поддерживать ее анти-клерикальный характер, остаться нейтральным или же быть верным доктрине Церкви? Каким образом можно изнутри реформировать существующий режим, не сползая в революционный хаос или тоталитаризм, не разрушая основ сложившегося общества, пусть и по-

---

<sup>1</sup> См.: Serry H. Naissance de l'intellectuel catholique. P., 2004.

<sup>2</sup> Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М., 2002. С. 68.

грязшего в различных прегрешениях? Многие католики, пережившие мировую бойню, напуганные вторжением технического прогресса в повседневную жизнь, актуализацией социальных проблем, искали новые ориентиры. С одной стороны, они хотели остаться в замкнутом, традиционном и привычном для них мире, стремились сделать все возможное, чтобы не допустить крушения христианской цивилизации, которую ставили под сомнение революционные политические идеологии – фашизм и коммунизм. Но они также рассматривали произошедшие катаклизмы как «божественную кару» Франции за то, что ее граждане забыли свои христианские истоки, одновременно апеллируя к требованиям справедливости, вины и искупления прегрешений общества<sup>3</sup>. Анри Массис писал, что «все нужно было переделать, все нужно было начать сначала», что в это изменение «вложили большую дозу надежды, веру в метафизическое возрождение человека, ибо дух... несет главную ответственность»<sup>4</sup>.

Одним из крупных представителей католического общественного мнения был философ и интеллектуал Этьен Жильсон (1884–1978). В контексте взаимоотношений интеллектуалов и власти интерес представляет его политическая биография и идеи, которые он предлагал для обновления общества и политики. Данную проблему можно рассмотреть на примере процесса политической социализации Жильсона, его первого соприкосновения с политикой в период обучения в Сорбонне, поездки в охваченную голодом Советскую Россию, сквозь призму которого прослеживается критическое восприятие философом роли революционной диктатуры в преобразовании человека и общества, призыва к «католическому порядку» на страницах еженедельника «Sept», принадлежности к христианской демократии после Второй мировой войны и поддержки нейтрализма<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Chenaux Ph. «Politique d'abord!» L'après-guerre des écrivains catholiques // *Romanic review*. Т. 109. № 1-4. January – November 2018. P. 259-276. См. также общий очерк эволюции французского католицизма: Gugelot F. *Pluralité et changement au sein du catholicisme français (XIX<sup>e</sup> – XX<sup>e</sup> siècles)* // *Archives des sciences sociales des religions*. № 140. 2007. Octobre – décembre. P. 119-131.

<sup>4</sup> Massis H. *Maurras et notre temps*. P.-Genève, 1951. Т. 1. P. 145.

<sup>5</sup> Проблема «Жильсон и политика» важна для понимания интеллектуальной траектории католика-философа. Не случайно Флориан Мишель в недавно опубликованной биографии философа уделил этому большое внимание, наравне с его философскими идеями. См.: Michel F. *Étienne Gilson. Une biographie intellectuelle et politique*. P., 2018. Этой проблеме посвящены также исследования: Humbrecht Th.-D. *Étienne Gilson et la politique* // *Revue thomiste*. Vol.114. 2014. №2. P. 227-287; Fafara R. *Etienne Gilson's Early Social and Political Thought* // *New Blackfriars*. 2022. Vol. 103. Issue 1103. P. 36-61; Fafara R. *Terror, Totalitarianism,*



### *Становление интеллектуала*

Родившийся в католической мелкобуржуазной семье и сделавший карьеру в образовании благодаря своему трудолюбию, Жильсон в молодости увлекся идеями Э. Дюркгейма и А. Бергсона, испытал большое влияние философии Декарта и Паскаля, взглядов Л. Брюнсвика и Ш. Пеги. Тогда же он сделал осознанный выбор в плане будущей профессии. «Когда я учился во втором классе семинарии, мною было принято (по крайней мере, отчасти самостоятельное) решение относительно того, чем я буду заниматься в будущем. На пути моей религиозной карьеры не было никаких препятствий; однако я не чувствовал призвания к священству. Размышляя о будущей профессии, я прежде всего задал себе вопрос, какой род деятельности предоставляет наибольшее количество свободного времени и обеспечивает наиболее длинный отпуск, и так как профессия преподавателя, как мне казалось, опережала все остальные в этом отношении, я остановил свой выбор на ней»<sup>6</sup>, – напишет он в автобиографичном эссе «Философ и теология». Интеллектуальная свобода, царившая в Парижском университете, погрузила Жильсона в философские проблемы и споры, изолировав от политики, от «зловещего антидрейфусизма и отвратительного комбизма», которые были тогда для него лишь «частью истории»<sup>7</sup>.

Однако политика, точнее реакция на нее церковных властей, все же затронули будущего философа. Речь идет о социальном католицизме, продвигаемым Марком Санье и кружком «Сийон». Как и у многих католиков, перед Жильсоном встал вопрос о безусловной верности Церкви и пределе сотрудничества с политическими движениями, которые были готовы идти гораздо дальше, нежели просто слепое следование ее доктрине. По его признанию, он никогда не встречался с Санье и не присутствовал ни на одном собрании его кружка, но перед лицом церковного давления чувствовал себя солидарным с ним и сочувствовал его делу. Запрет «Сийон» его «сильно взволновал»: «Я собирался выступить с требованием обнародовать причины ее запрещения, однако не был уверен в успехе моего предприятия»<sup>8</sup>. Но в то же время и заставил серьезно задуматься: «Мы знали только – и этого для нас было вполне достаточно – что в противовес католициз-

---

and Philosophy // *Sztuka i realizm*. Lublin, 2014. P. 665-675; FitzGerald D. Maritain and Gilson on the Challenge of Political Democracy // *Reassessing the Liberal State: Reading Maritain's Man and the State*. Washington, D.C., 2001. P. 61-69.

<sup>6</sup> Жильсон Э. Философ и теология. М., 1995. С. 17.

<sup>7</sup> Там же. С. 27.

<sup>8</sup> Там же. С. 48.

му, политически связанному со Старым режимом, Санье добивался того, чтобы во Франции было предоставлено право гражданства социальному учению католицизма, носившему республиканский характер, обращенному к народу. Политика объединения сил, за которую ратовал папа Лев XIII, но которой сопротивлялись вожди движения, призывала к политическому действию подобного рода, поскольку становилось все труднее поддерживать иллюзию, что христианин должен сделать сознательный выбор между Церковью и республикой в стране, казалось бы, давно связавшей свою судьбу с республиканской конституцией». И далее он добавил, описывая свою реакцию: «Запрещение его движения было для многих из нас подобно грому среди ясного неба. Оставалась ли для французского католика возможность какой-либо другой политической ориентации, кроме «роялистской» или «консервативной»? Если такая возможность и была в наличии, то обнаружить ее нам все-таки не удавалось»<sup>9</sup>.

Начавшаяся мировая война на время отодвинула решение данного вопроса. Зачисленный сержантом в действующую армию, Жильсон сначала становится инструктором, обучающим новобранцев, а затем командиром пулеметного отделения. В 1916 г. раненый он попал в плен под Верденом, находясь в котором выучил немецкий и русский язык и читал лекции по философии для военнопленных. После возвращения из плена Жильсон занялся преподаванием и философскими исследованиями (в Лилле и Страсбурге). В этот же период он начинает читать лекции в Париже, параллельно готовит и публикует работу «Философия Св. Бонавентуры», которая подвела итоги многолетним исследованиям. С 1926 по 1932 г. Жильсон занимал кафедру средневековой философии в Сорбонне, а с 1932 по 1950 г. – кафедру истории средневековой философии в Коллеж де Франс. В 1929 году он основал и возглавил Понтификальный институт средневековых исследований в Торонто (Канада). Опубликовав за этот период более 300 работ, Жильсон держится в стороне от политики, не примыкая ни к одной партии или организации.

Включение интеллектуала-католика в политику проходило в то время через знакомство с учением Шарля Морраса. Многие католики видели в нем «защитника веры», традиционалиста, монархиста, правого политика и критика существующего порядка. Однако Жильсон, погруженный в томистские искания, критически отнесся к деятельности Морраса, считая, что тот использует Церковь «в своих политических интересах»<sup>10</sup>. Как отметил Р. Фафара, моррасизм

<sup>9</sup> Там же. С. 49.

<sup>10</sup> Там же. С. 50.

и томизм сходились в понимании наилучшего политического режима, но природа власти, трактуемая Католической церковью, расходилась с идеей Моррасса о ней как инструменте политики. Моррасс рассматривал католицизм в социологическом и функциональном ключе, как силу, служащую государству, гарантирующую порядок и обеспечивающую национальное единство, что для Жильсона оказалось неприемлемым<sup>11</sup>. В 1926 году, когда «Аксьон франсэз» была запрещена Ватиканом, а некоторые книги Моррасса попали в список запрещенных, Жильсон оказался в стороне от этих событий и тем самым избежал мучительной дилеммы выбора верности Моррассу или Церкви, через которую прошел, например, Ж. Маритен. Но эта ситуация открыла перед интеллектуалами новые возможности. «Глубокий кризис, который пришелся на время жизни нашего поколения, – впоследствии писал Жильсон, – имеет тяжкие последствия. Мы стояли перед необходимостью долгих поисков причин недоразумения, которое внесло раскол в ряды братьев, объединенных общей верой. На эти поиски ушло тридцать лет»<sup>12</sup>. Но тогда, в 1920-е годы, больший интерес у него вызывала философия и благотворительная миссия Церкви, нежели политика.

### *Этьен Жильсон в Советской России*

В 1922 г. благодаря своему знанию русского языка в качестве делегата Французского комитета помощи детям от Красного креста и Лиги Наций Жильсон участвовал в миссии на Украине и Поволжье, организуя благотворительные детские столовые в Одессе и Саратове. Непосредственно в России он находился в период с 15 августа по 15 сентября 1922 года, а затем 19 сентября того же года представил отчет<sup>13</sup>. Он так напишет о мотивах своей поездки и участия в помощи голодающим: «Там были сотни тысяч детей, которые умирали от голода не только потому, что не было урожая в прошлом году, но и потому что полная дезорганизация страны сделала снабжение невозможным». По его словам, часть французов, обвиняя русских в предательстве во время войны, отказалась содействовать, а другая часть (католики), наоборот, при посредничестве Ватикана вызвались помочь через собственные благотворительные организации. «Я был полностью чуждым всякой политике, но я люблю русский

---

<sup>11</sup> Fafara R. Etienne Gilson's Early Social and Political Thought. P. 39-40.

<sup>12</sup> Жильсон Э. Философ и теология. С. 52.

<sup>13</sup> Gilson E. Enquête sur la situation actuelle des enfants en Ukraine et dans les régions de la Volga, 15 août – 15 septembre 1922. Genève, 1922. 9 p. Перепечатан также в: Revue internationale de la Croix-Rouge et Bulletin des Société de la Croix-Rouge. 1922. №46. P. 883-897.

народ глубокой любовью, я говорил по-русски, я был христианином. Когда мне предложили ехать, я поехал»<sup>14</sup>, – написал Жильсон.

Картина катастрофы, представшая перед ним по приезде, его поразила. «Стоит мне только на мгновение закрыть глаза, – напишет он позднее, – чтобы снова, как в 1922 г., увидеть в деревнях Украины и на берегах Волги мертвых детей, чьи маленькие тела лежали брошенными в опустевших школах; или вновь бродя вдоль железной дороги, увидеть одичавшие группы детей, которых позже должны были скосить из пулеметов»<sup>15</sup>. Впоследствии, полемизируя на страницах еженедельника «Sept» со сторонниками возможного сотрудничества с коммунистами, он снова вернется к этой страшной картине: «Я повсюду видел пустые и закрытые школы. В одном классе брошенной школы я поднял с пола мертвого ребенка. Я посещал те знаменитые детские дома, которые у нас рисуют как последнее слово современной педагогики: они были полны голодных детей, которые жили как собаки. Я дал милостыню на улице мужчине, у которого на груди была табличка с надписью “Пожалейте больного профессора”. Я купил на рынке у профессора органической химии крупного университета мыло, которое он делал в своей лаборатории, чтобы выжить. Я присутствовал на собрании профессоров одного университета под надзором полиции. Повсюду нищета, голод, ужаснейшая интеллектуальная и моральная деградация»<sup>16</sup>. Его сознание католика отвергало воцарившуюся систему унижения человеческого достоинства и атеизма. Далее он привел свидетельство, которое, по его мнению, демонстрировало разверзшуюся пропасть: «Я никогда не забуду маленького офицера Красной армии, встреченного в одном из двух единственных поездов, которые тогда циркулировали каждую неделю между Харьковом и Москвой. Мы поделились друг с другом нашими скудными запасами и нашими идеями, которые были довольно богатыми, чтобы наполнить это нескончаемое путешествие. Мы с открытым сердцем говорили о трудностях режима, но, когда я подступил к распаду нравов, который повсюду наблюдал вокруг себя, он, смотря мне прямо в глаза, неожиданно заявил: “Вы наверняка религиозный человек!” И так как я ему ответил таким образом, что это могло его заставить в это поверить, я получил сле-

<sup>14</sup> Gilson E. *Intermède soviétique* // Sept. 1934. 19 mai P. 2.

<sup>15</sup> Gilson E. *The terrors of the year two thousand*. Toronto: St. Michael's College, 1949. P. 2. См. также: Obolevitch T. *Russia in Etienne Gilson // Russian Thought in Europe: Reception, Polemics and Development*. Krakow, 2013. P. 453.

<sup>16</sup> Gilson E. *La croisée des chemins* // Sept. 1934. 14 avril. P. 2. См. также: Humbrecht Op. cit. P. 240.

дующий ответ: «Чтобы придавать такую важность буржуазной морали, нужно считать, что есть Бог»». По мнению Жильсона, его собеседник сказал правду, поскольку коммунистический материализм и атеизм являются отрицанием христианства и ведут против него «беспощадную войну», любой компромисс с ними невозможен<sup>17</sup>.

Описывая впечатления от поездки в революционную Россию, он с грустью отметил, что в России Св. Фому заменили Марксом. Он вспомнил следующий эпизод своего пребывания в Харькове. Во время поездки в трамвае он обратился к попутчику, красному комиссару, заметив, что Харьков – очень большой город, на что тот ответил, что он не только большой, но и современный, потому что там не так много церквей, но много фабричных цехов. Жильсон заметил, что из них не поднимался дым, на что комиссар ответил, что сегодня воскресенье. Он с горечью вспоминал, что после нескольких дней путешествия по городу и воздействия его идеологической обработки перспектива любого другого разговора показалась ему удручающей<sup>18</sup>.

В сентябре 1922 года Жильсон приезжает в Москву, представлявшую совершенно другую картину: «Россия, где революция и голод сеяли хаос. На вокзалах меня встречали портретами Ленина и Троцкого, а на площадях – бюстами Карла Маркса». Но при этом его поразила «битком набитая» верующими людьми часовня Иверской Божьей матери под Кремлем. «По той же стороне улицы между двумя охранниками в нашу сторону шел заключенный. Одни из присутствующих христиан встал, подошел к нему и поцеловал в знак мира. Я уверен, что в тот день перед Иверской часовней я видел самого Христа, утешающего страдающего человека»<sup>19</sup>, – экзальтированно писал он.

Вернувшись во Францию, Жильсон какое-то время поддерживал контакты с русской религиозной эмиграцией, участвуя в интерконфессиональных встречах, организованных Н.А. Бердяевым и Ж. Маритеном. Впрочем, по свидетельству его биографов, русская религиозно-философская мысль не оказала большого влияния на Жильсона, хотя он и сотрудничал с Вл. Лосским, А. Койранским, С.Л. Франком, Н.А. Бердяевым или Л. Шестовым. Как отметила Тереза Оболевич, томизм был привлекателен для Жильсона, но томизм оказался чуждым для России<sup>20</sup>. Да и сам Жильсон так и не стал «своим» в политически ангажированной католической интеллектуальной среде.

---

<sup>17</sup> Gilson E. La croisée des chemins // Sept. 1934. 14 avril. P. 2.

<sup>18</sup> Gilson E. Les Tribulations de Sophie. P., 1967. P. 18-19.

<sup>19</sup> Цит. по: Obolevitch T. Op. cit. P. 453-454.

<sup>20</sup> Ibid. P. 454.

Одновременно он поддерживал тесные контакты с церковными кругами, принимая участие в деятельности «аксьон католик». Особенно стоит отметить сотрудничество с доминиканцем и издателем М.-В. Бернадотом, в 1928 г. запустившим журнал «La Vie intellectuelle», в котором было опубликовано 17 статей философа. Как считает Р. Фафара, именно под влиянием Бернадота Жильсон вовлекается в политическую журналистику. В 1929 г. он публикует в журнале «L'Européen» рецензию на только что вышедшую книгу «Предательство клерков» Ж. Бенда и ответ на обвинения немецких критиков французской науки в излишнем позитивизме и отсутствии синтеза. Весной 1933 года Жильсон подписывает петицию Коллеж де Франс в поддержку жертв немецкого антисемитизма. В марте 1934 года вместе с другими католическими писателями, философами и интеллектуалами он присоединяется к манифесту «За общее благо» («Pour le bien commun») <sup>21</sup>. Но главным итогом влияния Бернадота становится активное сотрудничество Жильсона с католическим еженедельником «Sept» <sup>22</sup>.

### **«Католический порядок»**

Основные статьи Жильсона были опубликованы в период лета-осени 1934 года, а затем изданы отдельной книгой <sup>23</sup>. Главной темой являются проблемы воспитания и образования (католической школы), через которые он трактует роль и политику государства, а также место католиков в меняющемся мире. Он обрушивается с критикой на Третью республику, которая провозгласила светскость основой своей политики и изгнала священников из школы, подвергая преследованиям католицизм. Но, по мнению Жильсона, «разрушить католицизм – это разрушить систему принципов и правило жизни, которые предписывают определенную мораль для тех, кто

---

<sup>21</sup> Michel F. Op. cit. P. 94-95; Fafara R. Etienne Gilson's Early Social and Political Thought. P. 40-43.

<sup>22</sup> В еженедельнике «Sept» Жильсон регулярно публиковался в период с момента его основания в марте 1934 года до августа 1935 года, когда сотрудничество было прервано из-за разногласий по итало-эфиопской войне. Р. Фафара пишет, что подробности сотрудничества Жильсона с газетой неизвестны (входил ли он в редакцию, сам ли выбирал темы своих статей, подвергался ли внутренней цензуре и т.п.). Тем не менее, за весь период совместной работы была опубликована 61 статья, из которых 26 были посвящены проблеме «католического порядка» // Fafara R. Etienne Gilson's Early Social and Political Thought. P. 44. См.: Michel F. Op. cit. P. 213-214 (в том числе приложение, проясняющее некоторые аспекты сотрудничества: P. 341-344).

<sup>23</sup> Gilson E. Pour un ordre catholique. P., 1934.

его открыто исповедует». Католики не являются ни монархистами, ни демократами, а «прежде всего католиками», которые несут ответственность за решение актуальных проблем<sup>24</sup>. По мнению Жильсона, Франция «переживает самый глубокий моральный кризис», который является следствием исключения религии из жизни общества и государства. В этом плане политика Третьей республики уподобляется им политике большевиков в России. «Фатальная ошибка французского радикализма состоит в желании сохранить христианскую мораль, общество, основанное на христианской добродетели, не сохраняя само христианство, которое и ввело в этот мир добродетель и одно может побудить ее к жизни»<sup>25</sup>, – писал он.

Другое важное следствие – это дезориентация молодежи, которая «готова для диктатур». Существует серьезная опасность для французов поддаться очарованию и стремлению «испытать» коммунизм или фашизм. «Мы находимся на перепутье: или восстановление подлинного порядка, или диктатура, коммунизм или фашизм. Диктатура была бы кратчайшим путем, если бы это был путь. Бесполезно скрывать, что коммунистическая мечта очень привлекает значительную часть нашей молодежи. Но с этим идеалом Советов, очевидно, что ни один католик не вступил бы в сделку. Мы можем превратиться в коммунистов или можем обратиться коммунистов в свою веру, но мы не можем сотрудничать с ними»<sup>26</sup>, – писал Жильсон.

Он видит в большевистской диктатуре реализацию антигуманного, антирелигиозного и материалистического опыта. «Большевистский марксизм – это бесчеловечная доктрина, потому что его суть состоит в том, чтобы поставить человека на службу классу и пожертвовать правами личности ради материалистической концепции государства. Я уже говорил, что то, что я видел в России и не только в голодающих регионах, в моих глазах было всего лишь материальными и моральными следствиями установившегося режима. Не в голодающих районах я видел профессоров, просящих милостыню, собранных под контролем местной полиции, мужчин и женщин после пересечения ими невероятным образом литовской границы, упавших на колени и благодарящих Бога, что выбрались из ада. Не на Украине русский ученый, которого я спросил, что я мог бы сделать для него, ответил мне двумя фразами: дайте мне рубашку и уезжайте из этой страны через полчаса, чтобы я помнил, что еще есть человеческая жизнь, а потом согласился бы умереть. <...> Вы ненавидите эксплуа-

---

<sup>24</sup> Gilson E. la démocratie en danger // Sept. 1934. 10 mars. P. 3.

<sup>25</sup> Gilson E. L'Etat sans religion // Sept. 1934. 24 mars. P. 2.

<sup>26</sup> Gilson E. La croisée des chemins // Sept. 1934. 14 avril. P. 2.

тацию человека капиталом. Мы ненавидим ее также, как и вы. Но лекарство не в том, чтобы заменить эту эксплуатацию другой, еще более унижающей. Даже если большевизм будет процветать, то мы всегда должны будем осуждать режим, первыми методами действия которого являются атеизм и радикальное разрушение христианской морали», – пишет Жильсон. Подчеркивая антихристианскую сущность советской власти, он констатирует: «Для тех, кто не признает иной реальности, кроме реальности материи, очевидно, что так называемые духовные ценности не имеют значения». И в конце добавляет: «Коммунистический материализм и атеизм – это отрицание христианства, против которого они ведут непримиримую войну. Ни один католик не будет колебаться по этому поводу»<sup>27</sup>.

Как большинство католиков его времени, Жильсон видит в русской революции тотальный нравственный переворот, наказание за греховность человечества (признак разложения Европы вследствие отказа от истинного христианства). Отсюда его настороженное и пессимистичное отношение к событиям в России, рассматриваемым в рамках дихотомии добро / зло. У Жильсона нет дилеммы «революция или Бог», которая возникает у литературных героев Франсуа Мориака. Он также избегает религиозного мистицизма Жоржа Бернаноса, хотя в некоторых его высказываниях прослеживается некоторая экзальтация. Но можно говорить о его близости к идеям Жака Маритена, который в «Антимодерне» (1922) охарактеризовал события в России как «сатанинский процесс» и призвал предотвратить упадок Запада через возврат к христианской этике и гуманизму. Жильсон считает виновным в создавшемся положении буржуазное общество, воцарившееся благодаря «сообщничеству католиков». Поскольку у «капитала нет ни сердца, ни морали, единственное, что его интересует – культ денег». Даже сегодня капиталисты и социалисты совместно разыгрывают «удивительный спектакль»: «коммунизм, вымаливающий помощь у капитализма, и капитализм, спешащий помочь»<sup>28</sup>.

Жильсон, как и многие католики его времени, видит в либеральном и буржуазном обществе первопричину рождения тоталитаризма. Тоталитаризм в любых своих формах был следствием «либеральной ошибки» или «воцарившегося беспорядка». Глобальная же перемена, произведенная им, связана с продвижением новой концепции человека, когда тот возомнил себя хозяином своей судьбы, отвергнул зависимость от Бога и даже испытал амбицию самому

<sup>27</sup> Gilson E. Intermède soviétique // Sept. № 12. 1934. 19 mai P. 2. Также: Gilson E. Pour un ordre catholique. P. 54-57.

<sup>28</sup> Gilson E. Intermède soviétique // Sept. № 12. 1934. 19 mai P. 2.



стать Богом. Ход событий, ускоренный войной, разьединением общества и революцией проложил путь тоталитарному государству<sup>29</sup>.

«Католический порядок» призван спасти Францию и Европу от тоталитаризма. Что понимал под ним Жильсон? «Я подразумеваю под ним, – писал он, – структуру между частной религиозной жизнью католика и политическими партиями, с которыми он, как гражданин, сотрудничает, порядок институтов, созданных католиками, чтобы обеспечить реализацию католических целей, за которые государство не берет на себя ответственности»<sup>30</sup>. Католик не обязан вступать в политическую партию или создавать ее, но он должен «полностью удовлетворять потребности католической жизни в государстве, которое не является католическим»<sup>31</sup>. Что предложил Жильсон, чтобы реализовать «католический порядок»? Есть сфера республиканского секулярного государства и есть область духовного, в которой реализуются католические цели через совокупность институтов (школа, благотворительные общества, больницы, синдикаты и др.), свободных от государственного контроля и ответственности. Это означает создание «временных сообществ», необходимых для духовного развития. Но они служат преградой и для диктатуры. Франция, пораженная дехристианизацией и язычеством, оказалась во власти корыстной эксплуатации животных инстинктов человечества, что создает почву для коммунистической или фашистской диктатуры. Фашизм и коммунизм в равной мере нацелены на преобразование и воспитание в соответствии со своими задачами нового человека, отвергая гуманизм. Поэтому первый шаг любого тоталитарного режима – это захват школы и установление монополии на образование. Но человек является величайшим разумным и свободным существом. Нет разума без свободы, как и свободы без разума. Гуманистический подход должен культивироваться, начиная с школьного образования. Это потребует восстановления преподавания гуманитарных наук и возвращения в школы метафизики. Католическое образование – это не государственное образование, а образование для католиков. Его опора – это частные школы без участия светского государства<sup>32</sup>. «Жить свободными под единственным законом Бога – это наша мечта, которая кажется все менее осуществимой, но мы тем не менее можем попытаться, подчи-

---

<sup>29</sup> Chaunu J. Christianisme et totalitarismes en France dans l'entre-deux-guerres (1930–1940). T. 2. Le paradigme totalitaire. P., 2009. P. 15.

<sup>30</sup> Gilson E. Pour un ordre catholique // Sept. 1934. 9 juin. P. 2.

<sup>31</sup> Gilson E. Deux ordres // Sept. 1934. 28 juillet. P. 2.

<sup>32</sup> Gilson E. Pour un ordre catholique ; Fafara R. Etienne Gilson's Early Social and Political Thought. P. 46-51.

нившись человеческому закону, но сохранив нашу свободу для Бога. Таков наш идеал»<sup>33</sup>, – отметил Жильсон.

Концепция «католического порядка» Жильсона встретила различные отклики от игнорирования и неприятия со стороны «Аксьон франсэз» до понимания и поддержки Церкви, редакции католической газеты «La Croix» или с оговорками персоналиста Э. Мунье. Жак Маритен писал Жильсону: «Я восхищаюсь энергией и ясностью, с которыми вы напоминаете нашим братьям-католикам во Франции о стольких забытых истинах. Ваша книга наполнена таким количеством точных комментариев... Это сократический труд...»<sup>34</sup>. По мнению Р. Фафара, исследовавшего вопрос, проблемы католического образования были одним из главных интересов Жильсона и проистекали из большого опыта преподавания. При этом в работе «За католический порядок» хотя и присутствует основа в виде реализма и христианской философии, сам термин почти не упоминается, зато прослеживается связь с христианско-демократической политической традицией, что найдет воплощение в дальнейших работах Жильсона. Лозунг «католики прежде всего» – это также ответ философа Моррасу на его лозунг «политика прежде всего»<sup>35</sup>. Сам Жильсон вернется к критике Морраса в своих последних статьях в «Sept», отметив, что «дело Шарля Морраса слишком связано с его личностью и с его собственной философией», подчеркивая правильность осуждения Церковью моррасизма. По его словам, «роялизм остается совершенно здоровой политической доктриной, не связанной ни с судьбой “Аксьон франсэз”, ни с судьбой личных идей, которые Шарль Моррас может высказывать по этому сюжету»<sup>36</sup>.

Обострение международной обстановки и подъем тоталитаризма в Европе, казалось, подтверждали правоту католиков о глубоком кризисе западного общества, неспособного реагировать на брошенные ему вызовы. Итальянский историк и философ Э. Джентиле так описал сложившееся положение: «Для верующих христиан триумф полити-

<sup>33</sup> Gilson E. Quand Israël demande un Roi // Sept. 1934. 26 octobre. P. 3.

<sup>34</sup> Etienne Gilson and Jacques Maritain, Correspondance 1923–1971: Deux approches de l'être. P., 1991. P. 122-123.

<sup>35</sup> Fafara R. Etienne Gilson's Early Social and Political Thought. P. 53-55. Проблема католического образования была посвящена серия статей Жильсона в «Sept», опубликованная осенью 1934 года. Например: Pour l'éducation catholique // Sept. 1934. 1 septembre. P. 3; Pour un Enseignement Catholique // Sept. 1934. 8 septembre. P. 3; La liberté de l'enseignement libre // Sept. 1934. 21 septembre. P. 3; Plan d'une action scolaire catholique // Sept. 1934. 5 octobre. P. 3, etc.

<sup>36</sup> Gilson E. Pour éclairer «La Nouvelle Lanterne» // Sept. 1935. 14 juin. P. 4; Gilson E. Par-delà le Sillon et l'Action française // Sept. 1935. 21 juin. P. 4.

ческих идеологий, движений и режимов, придававших сакральное значение светским сущностям и партийным вождям, представлял собой серьезную и опасную угрозу нового язычества, чреватую для христианства распространением “коллективного идолопоклонства”...»<sup>37</sup>.

Феномен тоталитарного государства начал анализироваться католиками в 1920-е годы применительно к итальянскому фашизму и большевистской России в контексте возрастания роли государства как инструмента политики и преследования религии. Тогда же тоталитаризм с его претензией на универсальность в идеологическом дискурсе был противопоставлен Церкви, также рассматриваемой как универсальный институт. Учитывая быстрый прогресс и популярность тоталитарных движений, встал вопрос о причинах и истоках возникновения этого феномена. «Католики и протестанты, – пишет Э. Джентиле, – были согласны между собой в том, что появление тоталитарных государств было не столько случайным феноменом послевоенной политики, сколько продуктом обмирщения экспансии государственной власти в современном обществе, которые вынудили церкви ограничиться сферой частной жизни или же приспособиться к мифам и политике светского государства. Великая война, политические революции, экономические кризисы благодаря централизации и планированию увеличили авторитет и контроль государства над обществом и коллективной жизнью вплоть до осуществления тоталитарной политической концепции»<sup>38</sup>.

Именно в этот период начинается внимательное изучение текстов Маркса, Энгельса и Ленина среди католических идеологов, которое хронологически совпадает с ужесточением позиции Ватикана в отношении Советской России и необходимостью снизить пропагандистский эффект от многочисленных свидетельств людей, побывавших на родине победившего социализма, равно как и вырабатывается критическое отношение к нацизму. «Везде, где существует навязываемая государством философская концепция мира, не остается и следа свободы ни в политическом, ни в социальном, ни в экономическом плане. Тоталитарные государства могут не соглашаться с какой-либо истиной, но каждое из них утверждает, что существует абсолютная истина, которая является его собственной, и также как его собственные граждане, остальной мир должен склониться перед ней. (...) Предполагалось, что коммунистическая революция будет короткой интерлюдией между подавлением классовой буржуазии и

---

<sup>37</sup> Джентиле Э. Политические религии. Между демократией и тоталитаризмом. СПб., 2021. С. 200-201.

<sup>38</sup> Там же. С. 210.

подавлением государства, но она фактически привела к господству политической партии над рабочим классом и подчинению всех граждан самой эффективной государственной полиции, которая когда-либо существовала, если не считать русских царей»<sup>39</sup>, – писал Жильсон, осознававший надвигающуюся опасность.

«Воцарившийся беспорядок» сказался на позиции французских интеллектуалов, которые, оказавшись, по выражению К. Шарля, «между молотом и наковальней», рисковали потерять собственную автономию. Они вынуждены были высказывать собственную позицию не только по внутренним вопросам, но и по сложным международным проблемам, нередко с неясной для них подоплекой. «Поэтому возникает все более сильный соблазн опираться на уже готовые трактовки событий, навязываемые обществу различными политическими силами. Выбор той или иной из навязываемых трактовок будет определяться целым рядом импульсов: это и следование партийной линии, и принцип наименьшего зла, и резкая смена позиции, влекущая переход из одного лагеря в другой: от антифашизма к антикоммунизму и т.д.»<sup>40</sup>, – отметил он.

Выбор Жильсона был очевиден. «Сегодня легко увидеть, например в Европе, что единственной преградой против распушенности тоталитарного государства является существование в каждой стране независимой от государства церкви, которая спасает человека от тирании человеком, поддерживая нетронутыми права Бога»<sup>41</sup>, – писал он. В своих политических тезисах 1930-х годов Жильсон, очевидно, принадлежал к лагерю непримиримого католицизма, который, по словам историка Ж.-М. Майёра, «основывался на тотальном отрицании общества, рожденного Ренессансом, Реформацией и Революцией, в котором господствовали индивидуализм и рационализм, секуляризация государства, наук и мысли»<sup>42</sup>. Отсюда критическая реакция на революционные изменения, неприятие торжествующего тоталитаризма и всемогущества секулярного государства, разочарование перед лицом победивших гедонистических ценностей индустриальной цивилизации. Мистицизм, ностальгия по старым временам, требование «возврата к традиционному миру», союза с «хорошим народом», выступления против революционных эксцессов и либеральной буржуа-

<sup>39</sup> Цит. по: Obolevitch T. Op. cit. P. 455.

<sup>40</sup> Шарль К. Интеллектуалы во Франции: вторая половина XIX века. М., 2005. С. 308.

<sup>41</sup> Gilson E. L'Eglise et la liberté // Sept. 1934. 21 décembre. P. 3.

<sup>42</sup> Mayeur J.-M. Catholicisme social et démocratie chrétienne. Principes romains, expériences françaises. P., 1986. P. 20-21.

зии составляют важную часть католического дискурса, идеологической основой которого стал томизм (учение Фомы Аквинского) и формы социальной организации Средневековья<sup>43</sup>.

В годы Второй мировой войны Жильсон оказался сначала в оккупированном немцами Париже, а затем, отказавшись поддержать коллаборационизм, переехал в Торонто, сконцентрировавшись на преподавании и философских исследованиях. Однако в момент Освобождения он вернулся во Францию, окупившись в активную политическую деятельность.

### *«Наша демократия» и нейтрализм*

На волне всеобщего запроса обновления и реформ Жильсон вступил в созданную в ноябре 1944 года партию Народно-республиканское движение (МРП), приложив руку к разработке философского фундамента ее доктрины. Он активно публикуется в газете «L'Aube», издававшейся католическим публицистом и политиком Франсиском Гэ. В 1947–1949 гг. он заседает в верхней палате парламента – Совет республики, где занимается вопросами образования. Кроме того, авторитет Жильсона активно используется республиканскими властями, когда он включается в состав французской делегации на конференцию в Сан-Франциско по созданию ООН или на конференцию в Лондон по организационному оформлению ЮНЕСКО, а также привлекается к обсуждению вопросов образования на международных форумах или участию в первых конгрессах европейского движения в Гааге (1948–1949 гг.). В 1947 году Этьен Жильсон был избран в Академию.

В 1947 году в партийном издательстве МРП выходит брошюра Жильсона «Наша демократия», которая затем в преддверии съезда партии перепечатывается с 25 апреля по 5 мая 1948 года газетой «L'Aube»<sup>44</sup>. Структура изложения Жильсоном своих идей напоминает уже опробованную схему в работе «За католический порядок»: сначала речь идет об ошибках либеральной демократии, которые привели к катастрофе и краху Третьей республики, но также и об угрозе современного авторитаризма (в этом случае прослеживается очевидный выпад против стиля Шарля де Голля, который выступал с решительной критикой режима партий), затем следует разбор «радикальной» и марксистской демократии, наконец, излагаются принципы новой «республиканской демократии», основанной на уважении человеческой личности.

---

<sup>43</sup> Ibid. P. 22-23.

<sup>44</sup> Gilson E. Notre démocratie. P., 1947.

Политические тезисы Жильсона довольно просты. В основе их лежит концепция социальной и экономической демократии, основанная на определенном морально-этическом выборе и принципе свободы человека, результатом многолетней эволюции западной христианской цивилизации. По его словам, демократия приобретает завершенность с принятием конституции, написанной для человека, в которой зафиксированы его социальные, экономические и политические права. Но на пути к этому идеальному варианту существуют препятствия. В период формирования либеральной («радикальной») демократии были достигнуты политическая свобода и равенство, но экономическую свободу заменило «господство денег и буржуазии». «Класс буржуазии использовал политическую свободу, рожденную Революцией 1789 года, чтобы извлечь из нового порядка всевозможные экономические выгоды», – отметил Жильсон. Однако режим частной собственности в этих условиях остался архаичным, политическая свобода была подавлена экономической зависимостью, а политическая демократия существовала без экономической. Это имело серьезные последствия, поскольку «никакой вид демократии не может быть обеспечен без другого, как свобода и экономическое равенство не являются полными, так не может быть таковой политическая свобода, поскольку деньги сильно давят на прессу, на некоторых депутатов и даже, как показывает история, на деятельность некоторых правительств»<sup>45</sup>.

Пример решения социальной проблемы представила «марксистская демократия» с диктатурой пролетариата и перспективой исчезновения государства и классов. Но Жильсон считает, что упразднить классы можно лишь обеспечив триумф одного класса над другим. Поэтому «марксистская революция будет состоять прежде всего в использовании государства для обеспечения диктатуры пролетариата над буржуазией». Иными словами, «первым актом драмы, который должен привести к упразднению государства, будет установление самого диктаторского государства», которое будет использовать все данные ему ресурсы. Пример Советской России показывает, что этот процесс может длиться довольно долго, проходя через революции и мировые войны, и иметь следствием тоталитарный характер коммунистического государства, где упразднены партии и не существует ни экономической, ни политической свободы<sup>46</sup>. Марксизм, по его мнению, справедливо критикует отсутствие экономической и социальной

<sup>45</sup> Gilson E. Notre démocratie // L'Aube. 1948. 28 avril. P. 4.

<sup>46</sup> Ibidem.

демократии в западном обществе, но его решение ведет к отрицанию политической свободы. «Я вполне согласен с тем, что марксизм – это чума. Но до тех пор, пока мы не знаем, какие плевелы пшеницы являются причиной заразной болезни, мы не в состоянии ее остановить... Если мы хотим устранить марксизм, мы должны сначала устранить его причину»<sup>47</sup>. Но также неприемлем для него и довоенный режим либеральной демократии с «индивидуализмом масс». Поэтому нужна альтернатива в виде социальной и экономической демократии, основанной на справедливости и расцвете человеческой личности. «Никакое политическое устройство не может иметь результатом упразднение естественных неравенств между людьми и еще меньше их личных различий, но мы можем желать, чтобы социальное неравенство не добавлялось к естественному неравенству», – считает Жильсон<sup>48</sup>.

Конечная цель любого общества – это совершенство человеческой личности, «демократия человеческой личности». Человек является социально ответственным существом. «С момента рождения и до смерти каждый человек вовлечен в множественность естественных социальных структур, – пишет Жильсон, – вне которых он не мог бы ни существовать, ни достигнуть полного развития. Каждая из этих групп обладает собственным органическим единством, и также как она поддерживается своими членами, те пользуются многочисленными преимуществами, которые совместная жизнь им предоставляет»<sup>49</sup>. Речь идет о семье, школе, коммуне, профсоюзе, ассоциации и т.п. Но человек не должен жить в этих группах, не делая для них ничего. «Такая позиция имморальна, – считает Э. Жильсон, – потому что она противоречит разуму и природе вещей». При этом «автономия естественных групп, координируемых с точки зрения общего блага, является единственной эффективной гарантией личных свобод от спонтанного тоталитаризма государства»<sup>50</sup>. Государственное вмешательство допустимо, если оно содействует достижению общего блага, «предоставляя в распоряжение различных социальных групп все юридические и технические средства, которые им необходимы для достижения своих целей». Роль государства – защищать эти группы, вне которых нет личной свободы, создать условия для социальной справедливости. В «республиканской демократии» власть осуществляется народом во имя общего блага, равенство предоставляет всем французам материальные и моральные ус-

---

<sup>47</sup> Gilson E. Notre démocratie // L'Aube. 1948. 29 avril. P. 4.

<sup>48</sup> Gilson E. Notre démocratie // L'Aube. 1948. 2-3 mai. P. 4.

<sup>49</sup> Gilson E. Notre démocratie // L'Aube. 1948. 4 mai. P. 4.

<sup>50</sup> Ibidem.

ловия расцвета личности, свобода помогает человеку существовать как личность и реализовать свои творческие способности, братство подразумевает тесное сотрудничество свободных и ответственных людей, реализовавших свое предназначение<sup>51</sup>.

Новая мировая война, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки произвели сильное впечатление на Жильсона. В 1949 году он публикует одну из своих самых эмоциональных работ «Ужасы двухтысячного года»<sup>52</sup>, пронизанную апокалиптическими настроениями и осознанием, что наука стала источником разрушений. Он остро чувствовал вызовы времени и драматизм сложившейся после войны ситуации, что толкало его к активному отстаиванию собственных взглядов, стремлению донести их до массы людей и, как следствие, конфликту с властью.

Апогеем политического активизма Жильсона стало его участие в так называемом нейтралистском движении<sup>53</sup>. Для него это ставило проблему не только роли и места Франции в послевоенном мире, но и позиции Католической церкви и католиков в этом противостоянии. «Любой режим, любой экономический или социальный порядок приемлемы для Церкви при условии, если они уважают высшие права человеческой личности», – писал он и, ссылаясь на рекомендации папы, констатировал, что «нельзя быть одновременно коммунистом и христианином», поскольку марксизм основан на атеизме как «одной из своих самых важных основ»<sup>54</sup>. Он критически отнесся к деятельности коммунистов после войны. По его словам, из «партии Сопротивления» они вдруг стали «партией мира», приложив руку к формированию и пропаганде «их мира». Он с тревогой следил за событиями в Восточной Европе, где к власти разными способами пришли коммунисты и их союзники, считая, что угроза миру исходит оттуда. «Мир вступил в новую трагическую фазу своей истории в тот момент, когда Советы преднамеренно поработили свободный народ. Одобрять насилие и желать мира есть противоречие», – подчеркивал он, описывая ситуацию в Чехословакии<sup>55</sup>.

<sup>51</sup> Gilson E. Notre démocratie // L'Aube. 1948. 5 mai. P. 4.

<sup>52</sup> Gilson E. The Terrors of the year two thousand. Toronto, 1949. 31 p. Анализ работы см. также: Fafara R. Terror, Totalitarianism, and Philosophy. P. 667-675.

<sup>53</sup> Об этом см., например: Наринский М.М. Нейтрализм в годы «холодной войны»: альтернатива французских интеллектуалов // Европейский альманах. История. Традиция. Культура. М., 1992. С. 107-118; Cornick M. French Intellectuals, Neutralism and search for peace in the Cold War // France. From the Cold War to the New World Order. London, 1996. P. 39-52.

<sup>54</sup> Gilson E. Le Vatican et le communisme // Le Monde. 1949. 5 février. P. 1-2.

<sup>55</sup> Gilson E. Le communisme et la paix // Le Monde. 1949. 8 avril. P. 1-2.



Одновременно Жильсон включился в дискуссии интеллектуалов и политиков о возможном нейтралитете Франции в случае начала войны между США и СССР вне Европы. Он рассматривает исторические примеры нейтралитета Швейцарии и Швеции, позицию США до японского нападения на Пёрл-Харбор, моделируя гипотетическую позицию Франции<sup>56</sup>. Жильсон озабочен прежде всего интересами Франции, оправдывая, например, беспокойство СССР по поводу проникновения США на Ближний Восток, так как несколькими годами ранее «та же самая англо-американская коалиция» изгнала из Сирии и Ливана французов «во имя защиты тех же самых интересов». По его словам, когда «дух (*esprit*) и нефть объединяются, они образуют грозную взрывчатую смесь». Он задается вопросом: «Кто здесь нарушает жизненные интересы другого? Русские, которые сталкиваются с американцами в Чили или Венесуэле, или же американцы, которые сталкиваются с русскими в Ираке?»<sup>57</sup>. Несмотря на отрицательное отношение к советскому коммунизму и марксизму, он верит в будущее России: «обстоятельства превратили Россию в одну из двух величайших политических держав на земле, она должна быть светом мира не только в будущем, но и в настоящем»<sup>58</sup>.

Жильсон скептически отнесся к заключению Североатлантического договора, подчеркивая его «неэффективность и опасность» и требуя найти «лучший способ использовать свои ресурсы, свое положение и даже свои недостатки в рамках Высшего Атлантического совета за мир». Он не верит, что в условиях гипотетического конфликта Франция сможет остаться нейтральной, но призывает не отбрасывать эту гипотезу, отмечая, что у нее есть все возможности защищать свой нейтралитет. «Первыми условиями нейтралитета являются сильная армия и готовность сражаться до конца против любого агрессора, каким бы могущественным он ни был»<sup>59</sup>, – подчеркнул он. Но также он отметил, что «далеко не очевидно, что нейтралитет является для нашей страны желательной позицией или просто возможной», так как никто в будущем не может прогнозировать, будет ли он нарушен вопреки договоренностям<sup>60</sup>.

Делая выбор в пользу нейтрализма, Жильсон столкнулся с ожесточенной кампанией в прессе против него, с обвинениями в

<sup>56</sup> Gilson E. Des différentes notions de la neutralité // *Le Monde*. 1950. 20 mai. P. 2.

<sup>57</sup> Gilson E. Le point de vue de Moscou // *Le Monde*. 1947. 9 janvier. P. 1.

<sup>58</sup> Gilson E. Une découverte russe // *Le Monde*. 1949. 26 août. P. 3.

<sup>59</sup> Gilson E. Défaitisme et neutralité (I) // *Le Monde*. 1950. 28 avril. P. 1-2.

<sup>60</sup> Gilson E. La neutralité vers l'Est (II) // *Le Monde*. 1950. 29 avril. P. 1, 3; Gilson E. La neutralité vers l'Ouest (III) // *Le Monde*. 1950. 30 avril. P. 1-2.

пораженчестве и стремлении сдать Францию Сталину. Это привело его к уходу из политики и под давлением из Коллеж де Франс в 1950 году, отказу от политического активизма<sup>61</sup>. Он не нашел поддержки со стороны своих коллег, вынужденный много времени проводить за границей, сосредоточившись на чтении лекций и философских исследованиях. Как он сам впоследствии заметил, описывая свое состояние, «...в той мере, в какой философ отождествляет себя со стоящей перед ним проблемой, общей, возможно, для миллионов людей, но очень личностной, уникальной по своему месту в его душе, он ощущает себя одиноким», а в «глубоко дехристианизированной стране философ-христианин ощущает всю неразрешимость своей изоляции намного сильнее»<sup>62</sup>. Его нейтрализм был критически встречен политиками, чего нельзя сказать о философии, которая оказалась востребованной в процессе обновления Католической церкви и подготовки Второго Ватиканского собора. После отъезда из Франции он становится профессором Понтификального института средневековых исследований в Торонто, в котором преподавал до 1968 г., занимаясь философскими исследованиями и не вовлекаясь больше в политику. В начале 1970-х годов Жильсон вернулся во Францию, где и провел остаток своих дней.

\*\*\*

Жизнь и творчество Этьена Жильсона вписаны в контекст бурных событий истории XX века. Однако его политические идеи «католического порядка» или демократии оказались слабо востребованы современниками. За исключением короткого опыта пребывания в партии МРП Жильсон предпочитал высказывать свои идеи на страницах католической прессы, не прибегая к политическому активизму. Это обусловило слабую распространенность его идей, оказавшихся ограниченными сферой интеллектуальных дискуссий. Но и в этой среде, не примыкая к какой-либо группе ангажированных интеллектуалов, он, по сути, остался одиноким. Слишком явное вовлечение его в нейтралистские дискуссии привели к конфликту с окружением и властью, который закончился фактическим поражением, изгнанием и более конформистской позицией в отношениях с властью. Вместе с тем в сознании современников он остался носителем определенной исторической памяти о дискуссиях тех лет, став частью образа интеллектуала-католика XX века с его поисками места и роли христианина в стремительно меняющемся мире.

---

<sup>61</sup> О «деле Жильсона» см.: Michel F. Op. cit. P. 187-203.

<sup>62</sup> Жильсон Э. Философ и теология. С. 9, 10.

## **Э. ЮНГЕР В НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ**

### **СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛА В УСЛОВИЯХ ДИКТАТУРЫ**

Приход нацистского движения к власти был результатом упорной деятельности и поддержки немецкого населения, миллионы голосов которого обеспечили его доминирование в рейхстаге, несмотря на все катаклизмы 1932 года в политической системе Веймарской республики. Три правительства – Г. Брюнинга, Ф. фон Папена, Г. фон Шлейхера – находившиеся у власти и последовательно сменявшие друг друга на протяжении года, не смогли стабилизировать ни экономическую, ни политическую жизнь германского государства. Политическая стабилизация была недостижима в силу активизации действий ультраправых (нацистов) и ультралевых (коммунистов) сил, направленных на расшатывание и без того нестабильной системы. Желание переиграть нацистов, убежденность в том, что это возможно реализовать, стали роковой ошибкой консервативных кругов, глубоко уверенных в собственном превосходстве над национал-социалистами и в том, что Гитлером удастся манипулировать как марионеткой и, в конечном счете, навязать ему свою волю. Эта ошибка стала понятна через несколько месяцев, но она уже была совершена. Конечно, оставался еще рейхспрезидент фон Гинденбург, который мог радикально изменить ситуацию, но он уже умирал и его интерес к происходящим событиям становился более информационным, чем деятельным. Все зависело от того, смогут ли действия Гитлера разозлить Гинденбурга настолько, чтобы он принял решение о смещении рейхсканцлера. И Гитлер оказался, в конечном счете, умелым политиком, который смог не провоцировать консервативные элиты на решительное противодействие и создавать видимость управляемого человека, все более и более становившегося громоотводом от боевых отрядов собственной партии. Эта линия поведения 1933 – первой половины 1934 г. была формой эластичного перехода от веймарской демократии к вождистскому государству.

В орбите жизни Э. Юнгера 30 января 1933 года не вызвало радикальных колебаний. Нельзя сказать, что он восторженно приветствовал приход нацистско-консервативного правительства к власти,

подобно некоторым писателям правого толка. Следует указать на то, что подобный восторг в 1933 г. был невозможен в силу того, что трещина во взаимоотношениях, наметившаяся в 1930 г., только расширялась. Критическая позиция Юнгера по отношению к нацизму указывала на нежелание сотрудничать с нацистским движением как политической партией, находившейся в оппозиции к республиканским правительствам и претендовавшей на руководство национальным движением в Германии. Отход от политической публицистики как средства политической деятельности, смещение интересов от политики к философии и литературе делали для него все менее интересными проблемы ежедневной политики. Происходившее смещение интересов, помноженное на разрыв контактов с нацизмом, делали восторг 30 января 1933 г. маловероятным. Другой вопрос состоял в том, что разрыв отношений с нацизмом и его критика нацистской стратегии и тактики начала 1930-х годов были полемикой с одной из партий, участвовавших в парламентской борьбе. Теперь же речь шла о правительстве, обладающем властными полномочиями, столкновение с которым уже означало совершенно иное, чем внутриправая полемика о том, как лучше изменить республику.

Э. Юнгер не занял позицию восторженного сторонника нацизма, но и не стал решительным критиком действий нацистской партии. Х. Кизель отмечал: «в том, что произошло 30 января и что получило развитие потом, он не испытывал никакого удовольствия»<sup>1</sup>. На фоне начинающихся процессов, поджога рейхстага и парламентских выборов марта 1933 года Юнгер избегал любых публичных заявлений и выступлений. 5 апреля 1933 года в письме нацистскому журналисту Людвигу Алвенсу он отмечал особенность своего поведения: «Что касается меня, то я пока займу положение аутсайдера; моя последняя книга [“Рабочий”] не пришлась по нраву новым господам и, с другой стороны, я придерживаюсь мнения, что Германия еще не сказала своего последнего слова». Спустя месяц, на фоне майских событий 1933 года, когда вследствие «майского призыва» в НСДАП вступило несколько миллионов новых членов, как проявление конформизма и желания вписаться в изменяемый политический порядок, Юнгер писал 12 мая тому же Алвенсу: «В последнее время у меня появляются всякие люди, которые пытаются меня вовлечь в какие-то оппозиционные круги. Естественно, я отказываюсь. Наша оппозиция лежит не по эту, а по ту сторону теперешних событий»<sup>2</sup>. Человек, к которому были обращены письма Э. Юнгера, Людвиг Алвенс, был близок к Геббель-

<sup>1</sup> Kiesel H. Ernst Jünger. Die Biographie. München, 2007. S. 407-408.

<sup>2</sup> Ibid. S. 408.

су, о чем Юнгер, конечно, знал, и мог предполагать, что его позиция могла быть доведена до соответствующих лиц.

12 апреля 1933 года на квартиру Э. Юнгера явились двое полицейских и устроили обыск. 24 августа 1945 года Юнгер так описал это посещение: «Был вечер; я сидел один в моей штеглицкой квартире и читал “Венеру и Тангейзера” Бердслея. Раздался звонок, на пороге я увидел двоих полицейских. Они вошли, я спросил у них удостоверение, но они сделали вид, что не слышали. Они стали спрашивать, есть ли у меня в доме оружие, а сами уже открыли ночной столик у меня в спальне. Один запустил руку за обивку кресла, как в сумку, и укололся иголкой. Другой сперва проверил корзину для ненужных бумаг, затем взглянул на книги. «Это вы написали?» – спросил он, указывая на мою книгу “Рабочий”. Заголовок показался ему подозрительным. Наконец они заговорили о деле, по которому пришли, о письмах Мюзам, таких же безобидных, как он сам. Я дал ему мою папку с письмами “Н-М”. Они принялись перелистывать и сразу же наткнулись на фамилии, которые тогда высоко котировались, на чем и закончили свои поиски»<sup>3</sup>. Супруга Э. Юнгера Грета на следующий день отправилась в полицейский участок Штеглица и опротестовала действия полицейских.

Интересная деталь, которую Э. Юнгер опустил в записи 1945 года, и на которую указывает Грета Юнгер в своих воспоминаниях «Силуэты». Пока один полицейский листал папку с письмами, другой открыл платяной шкаф, в котором увидел военный мундир Э. Юнгера с боевыми наградами. Узнав, что это его награды, полицейские ретировались. Грета Юнгер передает свою беседу с офицером полиции в участке: «Знаете ли Вы чей дом Вы обыскивали, и Вам не стыдно? – Милостивая фрау, я только выполнял приказ! – Ах, что Вы! Идите к черту с Вашим приказом! Что Вы нашли? Pour le Mérite, как я предполагаю. Вы можете передать моему заказчику, что Вы можете долго искать, пока Вы это однозначно не найдете. Если Вы вновь придете, я спущу Вас с лестницы»<sup>4</sup>. Через неделю Юнгер встретился с Геббельсом на премьере пьесы Х. Йоста «Шлагетер», которая демонстрировалась 20 апреля 1933 года в Берлинском государственном театре. Эта встреча оказалась последним личным свиданием, все последовавшие контакты были в основном письменными.

Э. Юнгер старался уклониться от возможных контактов, не выпячивая себя, насколько это было возможно. Поэтому обозначен-

---

<sup>3</sup> Юнгер Э. Годы оккупации (апрель 1945 – декабрь 1948) / Пер. с нем. СПб., 2007. С. 186-187 (Запись от 24.08.1945).

<sup>4</sup> Цит. по: Schwilk H. Ernst Jünger. Ein Jahrhundertleben. Stuttgart, 2014. S. 367.

ная позиция в письмах Альвенсу служила определенным оправданием его дистанцирования. Именно дистанцирования, а не позиции молчания, как считает Х. Кизель<sup>5</sup>. Юнгер не собирался делать публичных заявлений или публиковать статьи, в которых бы высказывалась особая позиция в духе его статьи о национализме. После посещения полиции он просмотрел свою переписку и сжег письма, адресатами которых были люди левых взглядов, находившиеся сейчас под особым вниманием. Он понимал, что нюансировка понимания социализма, которая существовала между различными немецкими левыми, не будет принята в расчет. Та же судьба постигла и дневники начала 1930-х годов, которые были им уничтожены<sup>6</sup>. Юнгер, проявляя свойственную ему осторожность, зачищал концы, избавляясь от возможно опасных следов. Это лишило последующих исследователей его творчества интересного материала, который открыл бы его оценки и фактический ряд событий, связанных с утверждением нацистской диктатуры. К сожалению, единственное, что дошло до нас, это воспоминания и рассуждения, записанные после Второй мировой войны в «Годы оккупации». Видимо Юнгер считал, что приватные материалы могли перевесить его критические замечания в политической публицистике.

В мае 1933 года Э. Юнгер публикует в «Deutsches Volkstum» статью «Закат или новый порядок?», которая стала последней его политической статьей. Она по-своему была реакцией на майский подъем 1933 года – волну воодушевления и надежды на изменение политического порядка. Сложно сказать, насколько эта статья была политически заострена. В основном она представляла собой развитие идей, изложенных в «Рабочем». В ней присутствовали политические темы, но Юнгер избегал упоминания понятий раса и кровь, и уклонялся от того, чтобы связать возможный новый порядок с национал-социализмом, который совсем не упоминается в статье. Насколько осознанно? – зависит от позиции интерпретатора. В любом случае, это в большей степени изложение видения Рабочего, в пользу чего говорит центральное понятие, на которое нанизывается статья – «работа», что становится характерно для новых интересов Юнгера. Проблема состояла в том, что для большинства немцев он был связан с военной прозой и известен как националистический публицист.

Статья с первого слова заглавия наводит на мысль об О. Шпенглере и «Закате Европы», то есть о философско-историческом взгляде на современность. Юнгер отмечал, что «вряд ли можно

<sup>5</sup> Kiesel H. Op. cit. S. 408.

<sup>6</sup> Ibid. S. 410.

сомневаться, что наше время действительно находится во *времени перемен*, – ведь каждый из нас переживает последствия этих перемен на себе и в своей собственной судьбе... Мы находимся на самом деле в центре перемен, о которых сегодня уже можно сказать, что они прорывают французскую революцию, превосходя ее в ранге и объеме, – да, это может быть крупнее и успешней посягательства немецкой Реформации и даже равноценно переселению народов... Если мы захотим рассмотреть эти изменения каждое по отдельности, то мы будем поражены их масштабом, их многообразием и их разрушительным действием. Мы увидим вновь не только пространство земного шара, объятая войнами и гражданскими войнами, но мы увидим также по ту сторону чистого политического мира... преобразования в области руководства частной жизнью, экономикой, техникой, наукой, – короче, мы находим это даже в отдельных уголках жизни, затронутых великими переменами»<sup>7</sup>. Определяемые Э. Юнгером перемены преодолевают рамки национальных границ и характеризуют процессы глобального уровня. В пользу этого говорит то, что он избегал политических лозунгов, используемых на улицах Германии.

Юнгер подчеркивал базовый принцип перемен: «*работа* есть великий и изменяющий принцип, приводящий в движение наше время», где работа выступает как «собственный и величественный стиль жизни, работа как новый принцип»<sup>8</sup>. Он полагал, что в результате «нации превращаются в рабочие величины в новом смысле». Четырех- пяти- или десятилетние планы предполагают государственную организацию, что выводит планирование за пределы достижения экономических или социальных задач и превращает его в реализацию «политической задачи». Политическая задача требует изменения смысла труда и понимания того, кем является рабочий. Он перестает быть исполнителем «экономических, социальных или политических решений; он в большей мере выступает носителем нового чувства жизни и нового способа жизни». Новые принципы жизни – «строгая дисциплина, порядок и подчинение, руководство и верность, государственный авторитет, служба в солдатском смысле – вот те требования молодежи, которому надоели идеалы ушедшего века»<sup>9</sup>. Это означало преодоление и отказ от буржуазных принципов свободы в пользу государственного подчинения и регу-

---

<sup>7</sup> Jünger E. *Untergang oder neue Ordnung?* // Jünger E. *Politische Publizistik 1919–1933*, hrsg., kommentiert und mit einem Nachwort von Sven Olaf Berggötz. Stuttgart, 2001. S. 643–644.

<sup>8</sup> Ibid. S. 646.

<sup>9</sup> Ibid. S. 648.

лирования жизни на принципах солдатского общества. Эту мысль Юнгер проводил в своей политической публицистике второй половины 1920-х гг. Здесь проявляется возвращение к основам немецкого философского понимания жизни, переход от свободы к духу.

Э. Юнгер отмечал, что «не имеющий значения идеал индивидуальной свободы уступает место духу, который видит свое счастье в соблюдении порядка, службе как выполнению великой задачи»<sup>10</sup>. Поэтому необходимо авторитарное изменение государства, всей политической системы в силу того, что «идея рабочего плана становится политической идеей, приобретающей сейчас господство в Германии». Юнгер полагал, что «новая организация целого и его частей» является настоящей задачей «национальной революции». Важнейшими задачами современной Германии он считал введение трудовых повинностей и специальных поселений в рамках планового регулирования, изменение политических, экономических и технических систем, пересмотр международных договоров, ограничивающих свободу Германии<sup>11</sup>. Юнгер оставляет ответ на вопрос, поставленный в начале статьи, открытым, тем самым уходя от необходимости восхваления или осуждения происходящих изменений под руководством нацистской партии: «Все эти задачи в меньшей или большей степени не могут считаться неразрешимыми в Германии. Способ, который мы изберем, будет решением великих перемен, которые в дальнейшем позволят нам сказать, что они вошли в историю как закат, или начало нового порядка, нового подъема»<sup>12</sup>.

Опубликованная Э. Юнгером статья не давала оснований для оценки его взглядов как нацистских или антинацистских. Скорее всего, повторяя ключевые положения «Рабочего», она была его кратким рефератом, но в соответствии с форматом статьи, требовала высказывания политической позиции. Резюмируя, ее можно определить так: подождем. Подчеркнем, что Юнгер совершенно не упоминает национал-социализм или лично Гитлера. И это не было случайностью. В последнем тексте 1933 года, в послесловии к рыцарям «Pour le Mérite», написанном 15 сентября, присутствует констатация 1933-го как «года осознания немецким народом своей великой задачи. <...> Наша задача – фюрерское государство; поэтому желаю для него рождения вождя»<sup>13</sup>. Здесь нет никакого упоминания о нацизме как творце нового мира. Учитывая то, что Юнгер желает появления

<sup>10</sup> Ibid. S. 649.

<sup>11</sup> Ibid. S. 649-650.

<sup>12</sup> Ibid. S. 650.

<sup>13</sup> Jünger E. Zum Geleit// Jünger E. Politische Publizistik... S. 660.



вождя устанавливающегося фюрерского государства, это могло означать лишь то, что Гитлер, называемый с большой убежденностью национальным вождем, не рассматривался им как таковой. Но утверждать, что это была сформированная оппозиция нацизму, тоже нельзя, так как автор высказывал позицию без позиции, сохраняя для себя возможность ее досказать, в зависимости от развития событий. Пока же он приветствовал необходимость изменений Веймарской республики в сторону вождистского государства, но кто бы в Германии стал бы весной 1933 года утверждать, что это должно быть исключительно нацистское государство? Юнгер об этом точно не писал, и даже не намекал, так как в текстах исчезли такие маркеры как «кровь и раса», ставшие в общественном сознании нацистским элементом. Он говорит только о духе, вожде и истории.

В письме к брату Фридриху Георгу 13 августа 1933 года Юнгер сформулировал свою стратегию поведения в данных обстоятельствах. «Я по-прежнему считаю наибольшую сдержанность своей правильной позицией»<sup>14</sup>. Однако летом и осенью 1933 года он оказался перед перспективой определения публичной позиции, которую следовало занять. «Секция поэтического искусства Прусской академии искусств» 10 июня 1933 года, по сообщению «Stuttgarter Neueste Tageblatt», которое приводит Йозеф Вульф, произвела реорганизацию своих членов и включила в состав таких представителей фёлькиш-националистической литературы, как Вернер Беумельбург, Ханс Гримм и Ханс Йост. По предложению Ханса Гримма туда был избран и Эрнст Юнгер. Дата его выборов разнится – либо июнь, либо октябрь. Подобный заочный выбор в число академиков имел конкретную реакцию Э. Юнгера в виде письма в «Немецкую академию поэзии, Берлин», 16 ноября 1933 года: «Имею честь сообщить, что я не могу принять выбор меня в Немецкую академию поэзии. Своеобразие моей работы состоит в сущности солдатского характера, и я бы не хотел, чтобы академические обязанности препятствовали этому. В особенности я должен подчеркнуть мою позицию к отношению между вооружением и культурой, которую я изложил в 59 статье моей работы о рабочем, также в этом выражено мое личное отношение. Поэтому я прошу Вас воспринять мой отказ как жертву, к которой меня обязывает мое участие в немецкой мобилизации, на службе которой я нахожусь с 1914 г. С уверенностью, что я рассматриваю тот факт, что Вы думаете обо мне, как знак высшего отличия. Преданный Вам, Эрнст Юнгер»<sup>15</sup>. В ответ Э. Юнгер получил сооб-

---

<sup>14</sup> Kiesel H. Op. cit. S. 408.

<sup>15</sup> Ibid. S. 412-413.

шение о том, что его обращение в Академию с отказом от членства является преждевременным, так как никакого официального сообщения о приеме его в состав не было. Однако в циркуляре Геббельса прессе № 63 от 17 ноября 1933 года было указано «ничего не сообщайте» об отказе Э. Юнгера.

Х. Кизель справедливо усмотрел в действиях Э. Юнгера политическую составляющую, так как многие интеллектуалы в 1933 г. стремились определиться с выбором своей позиции в отношении нового правительства, которое пока только расчищало пространство, но уже заявило со всей определенностью о стремлении к изменению системы. «Отказ Юнгера от членства в “Поэтической академии” был частным политически мотивированным актом. Юнгер не хотел быть связанным с нацистской организацией или с “унифицированной” корпорацией». Однако Кизель завышает значение отказа Юнгера в контексте его отношений с нацизмом, видя в нем решительную позицию. «Это был решительный и мужественный, мудрый и одновременно оскорбительный отказ. Он был решительным, так как после этого не о чем было говорить, и попытки убеждения исключались. Он был мужественным не только из-за публично заявленного сопротивления попытке объединения, но также из-за ссылки на “Рабочего”, который критически воспринимался с национал-социалистической позиции. Он был мудрым в своем отношении к квазисолдатской службе “в немецкой мобилизации”. И он был болезненным для активистского руководства “Поэтической академии”, так как Юнгер ссылкой на 1914 год показывал, что он мыслит в целом в другом историческом измерении и не хочет, чтобы Германия растворилась в “Третьем рейхе”»<sup>16</sup>. Все-таки, об этом можно говорить в 1934 г., но не в 1933-м – 1933 год был годом выживания. За полтора года нахождения у власти нацистов он понял, что это не рядовое правительство, которое слетит с арены, как в 1932 г. Нацизм расширял свое влияние и изменял Веймарскую республику.

В 1934 г. Юнгер окончательно обозначил свою позицию дистанцирования от нацистского активизма. Решительным поворотом стало письмо в редакцию «*Völkischen Beobachter*» от 14 июня 1934 г. «В “*Jungen Mannschaft*”, приложении к “*Völkischen Beobachter*” от 6 / 7 мая 1934 года был напечатан отрывок из моей книги “Авантюрное сердце”. Эта публикация была сделана без ссылок на источник, что может создать впечатление, что я являюсь Вашим сотрудником. Это не так; я на протяжении многих лет вообще не прибегаю к средствам

<sup>16</sup> Ibid. S. 413.

прессе. В этом особом случае следует подчеркнуть, что это недопустимо, что, с одной стороны, официальная пресса выставляет меня в роли своего сотрудника, с другой стороны, препятствует публикации моего письма в “Поэтическую академию” от 18 [sic!] ноября 1933 г. посредством официального пресс-коммюнике. Я стремлюсь не к тому, чтобы иметь возможность чаще упоминаться в прессе, а к тому, чтобы не появлялась неясность относительно моей политической сущности»<sup>17</sup>. Копию этого письма он отправил своему брату Фридриху Георгу с предложением при случае показать его знакомым. Подобный шаг мог быть обусловлен двумя факторами. Во-первых, убежденность Э. Юнгера в том, что подобное обращение не приобретет необходимого публичного эффекта и попросту пройдет незамеченным. Во-вторых, его стремление сохранить собственное лицо прежде всего в кругу близких и знакомых требовало от него продемонстрировать свою позицию, в которой не было атаки на режим, а присутствовало желание провести черту.

Подобная линия поведения Юнгера прослеживалась на протяжении 1934 и 1935 гг. 2 января 1934 года он отказался от членства в объединении «Немецкая воля»; 9 июля – отклонил приглашение «Reichssenders» из Лейпцига, указав, что не хочет использовать радио; 14 января 1935 года запретил издательству Теубнер включать тексты из своих военных книг в антологию мировой войны<sup>18</sup>. Следует отметить, что копию письма Э. Юнгер отправил Карлу Шмитту<sup>19</sup>, Фридриху Хильшеру<sup>20</sup>, мнение которых для него было важным. Для усиления эффекта в число адресатов попал и Людвиг Алвенс, близкое лицо к ведомству Геббельса, что повлекло за собой разрыв отношений между ними<sup>21</sup>, существовавших с конца 1920-х. Формула уклонения от членства, от использования его произведений о войне в политической пропаганде была для Эрнста Юнгера способом дистанцирования от активного участия в строительстве национал-социалистической народной общности.

Выработка позиции Э. Юнгера в отношении нацизма, кроме внешней стороны отношений, имела и семейную сторону. Отец Эрнста Юнгера в марте 1932 года вступил в ряды НСДАП, став эконо-

<sup>17</sup> Ibid. S. 414

<sup>18</sup> Ibid. S. 414-415.

<sup>19</sup> Ernst Jünger-Carl Schmitt. Briefwechsel 1930–1983, hrsg, komment. und mit einem Nachwort v. Helmut Kiesel. Stuttgart, 2012. S.27-28.

<sup>20</sup> Ernst Jünger-Friedrich Hielscher. Briefwechsel 1927–1985, hrsg, komment. und mit einem Nachwort v. Ina Schmidt u. Stefan Breuer. Stuttgart, 2005. S. 141.

<sup>21</sup> Kiesel H. Op. cit. S. 415.

мическим руководителем сословного общества немецких аптекарей области Саксония. Позднее он занимал пост руководителя обучения в нацистском союзе врачей<sup>22</sup>. Он любил учить детей, вечно «с тетрадкой в руке». К тому же он имел опыт участия в политических объединениях еще в годы германской революции 1918 г., когда был выбран в состав членов Совета рабочих и солдат<sup>23</sup>. Позицию отца по отношению к нацизму его сыновья понимали по-разному: Фридрих Георг в письмах позволял себе критиковать его активность в рядах нацистской организации, Вольфганг одобрительно относился к его позиции, а Эрнст, демонстрируя свое дистанцирование от нацистской системы, указывал на то, что авторитет отца на него больше не производит впечатления. Как отмечал Х. Швилк, «эта трещина проходила через семью»<sup>24</sup>.

Кроме уклонения от участия, вторым элементом стратегии выживания интеллектуала в годы нацистской диктатуры Э. Юнгер избрал уход на периферию внимания. Понимая, что само пребывание в Берлине ставит его в эпицентр политических событий, Юнгер принимает решение о переезде в более тихое место, в какой-нибудь маленький городок в провинции. Он считал, что если исчезнет из Берлина, то перестанет быть на глазах у нацистского руководства, что и позволит ему избежать не только вовлечения в сотрудничество, но и вероятных репрессий за отказ от него, который мог быть воспринят как пренебрежение властью. Уход из столицы означал уход из политики. Это решение может рассматриваться как форма выживания.

Осенью 1933 года семья Юнгеров задумалась о переезде из Берлина. Местом нового проживания стал город Гослар в Гарце. Большую помощь им оказал Герман Пфаффендорф, однополчанин Эрнста, впоследствии бургомистр Гослара, который нашел им квартиру на бельэтаже дома по адресу Нонненваг, 4. Переезд произошел в конце ноября – начале декабря 1933 г., он имел и приватную сторону, так как Грета была беременна и уже в Госларе 9 марта 1934 года родила второго сына – Александра. В письме к Карлу Шмитту 27 ноября 1933 года Юнгер называл свой переезд «Retour offinsis», что в военной среде понималось как «контрнаступление». Х. Кизель полагал, что «переезд в Гослар был не только актом дистанцирования, но также первым шагом к повороту против нацистского режима»<sup>25</sup>. Все-

<sup>22</sup> Schwilk H. Ernst Jünger. Ein Jahrhundertleben. Stuttgart, 2014. S. 369.

<sup>23</sup> Magenau J. Brüder unter Sternenzelt. Friedrich Georg und Ernst Jünger. Eine Biographie. Stuttgart, 2012. S. 183.

<sup>24</sup> Schwilk H. Op. cit. S. 370.

<sup>25</sup> Kiesel H. Op. cit. S. 417.

таки переезд в Гослар был никаким не контрнаступлением, а организованным отходом, представлявшим собой позицию интеллектуала в условиях диктатуры, которую достаточно часто называют «внутренней эмиграцией».

Встает вопрос, насколько Э. Юнгер был готов рассмотреть вопрос о возможности эмиграции из Германии? Если проанализировать комплекс высказываний и действий Юнгера в эти месяцы, то можно утверждать, что данный способ существования для него не был возможным. Юнгер не задумывался об эмиграции. Для этого не было видимых причин, так как он не был ни коммунистом, ни гомосексуалистом, ни ярким противником устанавливающегося нацистского режима. Его слава военного писателя была востребована в Германии, но за ее пределами не могла принести ему доход. Да и, еще раз подчеркнем, угрозы его жизни в Германии не было. Он мог влиться в нацистский поток путем присоединения к одной из сторон, например, к консерваторам, как это сделал Эдгар Юлиус Юнг, вошедший в круг Франца фон Папена. Либо он мог не пойти на этот праздник победы, наблюдая его со стороны, что он и сделал. Однако это не влекло за собой неумолимых репрессивных действий. Так поступил Освальд Шпенглер, но Шпенглер в конце 1933 года написал книгу «Годы решений», в которой напрямую затрагивал тему национальной революции 1933 года<sup>26</sup>. Что же написал Э. Юнгер? Ничего!

Конечно, вокруг него нацистские репрессии затрагивали его друзей и знакомых. Эрих Мюзам, имя которого стало поводом для обыска полиции в 1933 г., был арестован нацистами и заключен в концлагерь Ораниенбаум, где в ночь с 10 на 11 июля 1934 года был убит, видимо на волне нацистских чисток в ходе «ночи длинных ножей». Знакомые ему по кругу Widerstand Валериу Марку и Карл Отто Петель эмигрировали из Германии. С другой стороны, некоторые его близкие знакомые и друзья старались покинуть Берлин – кто, переехав недалеко, как Фридрих Хильшер, обосновавшийся в Потсдаме, или дальше, как Рудольф Шлихтер, переселившийся в швабский Роттенбург-на-Неккаре. Но справедливости ради следует указать, что это было сделано еще до формирования нацистского кабинета в январе 1933 года. В то время как его близкий друг, о котором Юнгер писал с огромным восхищением в последующие годы и переписку с которым он скорее всего сжег в 1933 г., Эрнст Никиш оставался в Берлине и продолжал издавать журнал Widerstand, в ко-

---

<sup>26</sup> См.: Шпенглер О. годы решений / Пер. с нем. М., 2006.

тором Юнгер даже напечатал статью, посвященную плановой экономике<sup>27</sup>. Издание журнала продолжалось до конца 1934 года, когда он был закрыт, это при том, что Э. Никиш имел в своей биографии социалистические годы, даже деятельность в Баварской советской республике, и что, наверное, самое интересное, в период нацистского подъема 1932 года написал сочинение «Гитлер – злой рок Германии»<sup>28</sup>. После краткого ареста в апреле 1933 года, Никиш был достаточно быстро выпущен на свободу и остался проживать в Берлине.

Переехав в Гослар, Э. Юнгер прекратил писать политическую публицистику, демонстрируя тем самым желание остаться в стороне от политической деятельности. Можно представить, что проживание в Госларе давало ему не только преимущество оказаться подальше от эпицентров политической деятельности, но и означало завершение творческой деятельности националистического политического публициста. Предшествующий этап его творчества имел особенность соединения литературы и политики. Начало поэтапного отхода от этого можно увидеть в начале 1930-х годов, в то время, когда Юнгер погружался в мир «Рабочего». В конце 1933 г. это приобрело окончательные черты. Причин было несколько: 1) несмотря на яркие статьи Юнгера, степень его политического воздействия была достаточно узкой. Издаваемые им журналы не были партийными изданиями, к которым обращались члены партии как к партийной платформе, объясняющей происходящие события. Это были внепартийные издания, за исключением короткого периода выхода одного из журналов как имевшего отношение к Стальному шлему; 2) раскол в националистическом лагере и полемика Юнгера с поднимающимся нацистским движением лишали его возможности стать глашатаем националистического фронта. К тому же, желание Юнгера не связывать себя политическими обязательствами и партийным участием, автоматически ставили его вне партийной борьбы за голоса избирателей. Его призывы к выступлению против Веймарской республики не учитывали главного – период мятежей и заговоров закончился; он сменился стремлением к легализации деятельности и борьбе за депутатские места в рейхстаге; 3) тематика военной прозы потеряла для него значение. Все, что он мог написать о Великой войне, было уже написано, и перед ним встала проблема сохранения себя как писате-

<sup>27</sup> Jünger E. Ein neuer Bericht aus dem Lande der Planwirtschaft // Widerstand. Zeitschrift für nationalrevolutionäre Politik. 1933 (8). Heft 8. S. 279-283.

<sup>28</sup> См.: Никиш Э. Гитлер – злой рок Германии // Никиш Э. Политические сочинения / Пер. с нем. СПб., 2011. С. 39-92.

ля, а это требовало поиска новых сюжетов. Выход в свет «Авантюрного сердца» был способом включения политики в литературу, при явном стремлении автора нащупать новые литературные темы, при этом политический роман к ним не относился. Поэтому его отъезд из Берлина по-своему был желанием найти для себя способ высказывания вне политической актуальности.

Однако политические события в Германии диктовали свои условия. Красным маяком стала чистка СА 30 июня 1934 года. Юнгер провел эти дни отдыхая с семьей на острове Зюльт, в Северном море. Резня, устроенная Гитлером против руководства СА, была не только внутрипартийным делом, но и завершающей частью трансформации германского государства в нацистскую диктатуру. В контексте призывов руководителя СА Эрнста Рёма ко «второй революции», это означало пресечение альтернативных проектов, в широком направлении которых работал и Э. Юнгер в 1920-е годы. Очевидно, что нацизм не был единственным движением националистического направления в Веймарской республике. Спортивные, силовые общества и отряды, существовавшие при партиях, были продолжением традиции фрайкоров первых лет республики, поэтому произошедшие события были последней точкой в их истории. Разгром Э. Рёма продемонстрировал готовность рейхсвера поддержать нацистское правительство и курс, проводимый Гитлером, фактически проведя ликвидацию опасного конкурента, при том, что роль ликвидатора взяли на себя малозаметные СС, которым свержение СА открыло дорогу к политическому могуществу в новом государстве.

Эрнст Юнгер спустя год указывал на наличие некой опасности, которая существовала 30 июня 1934 года для его собственной личности, Х. Кизель, доверяя этому мнению, подчеркивал, что только дистанцирование Юнгера от эпицентра событий спасло ему жизнь<sup>29</sup>. В ходе событий 30 июня – 1 июля 1934 года был убит Эдгар Юлиус Юнг, автор книг «Господство неполноценных» и «Миссия немецкой революции», представлявший течение консервативной революции, написавший Марбургскую речь, произнесенную вице-канцлером Францем фон Папеном, в которой прозвучала критика действий А. Гитлера. Гибель Э.Ю. Юнга можно назвать разделительной кровавой чертой, проведенной между консервативной революцией и нацизмом<sup>30</sup>, но Юнгер об этом нигде не упоминает. Ко-

---

<sup>29</sup> Kiesel H. Op. cit. S. 420.

<sup>30</sup> См.: Jenschke B. Zur Kritik der konservativ-revolutionären Ideologie in der Weimarer Republik: Weltanschauung und Politik bei Edgar Julius Jung.

нечно, убийства 30 июня 1934 года показывали, что Гитлер способен к радикальным действиям в отношении тех, кто препятствовал ему, однако Юнгер проявил лишь «обеспокоенность», о которой он пишет в письме брату Фридриху Георгу от 8 июля 1934 года, указывая на то, что следует и среди друзей провести «проверку»<sup>31</sup>.

В отличие от Эрнста Юнгера, его брат Фридрих Георг высказался достаточно определенно относительно «ночи длинных ножей». В написанном им стихотворении «Мак», которое было включено в его первую книгу стихов, вышедшую в октябре 1934 года в издательстве Widerstand, одноименного журнала, издаваемого Эрнстом Никишем. В нем он передавал атмосферу дней, исходящую восторгами от решительности Гитлера против пугающих СА, которые выкрикивал немецкий обыватель. «Я вижу празднества и торжества, я слышу марши, песни, город пестрит флагами, словно рой жужжит». Фридрих Георг отмечал родственную связь с убитыми, называя их братьями. «Нет, они отмечают победу, одержанную над братьями, / она им кажется слаще побед, обретенных в сражениях. / Болью отдается в ушах моих шум, мне противно опьянение; / противны громкие крики, отдающие воодушевлением». Солидарность с погибшими и отношение к этим событиям высказаны в последних строчках стихотворения: «глубже молчат мертвые, они скорбят, они слушают шум, / не слушают детскую песню бесславных пьяниц»<sup>32</sup>. Стихотворение «Мак» Фридриха Георга Юнгера вполне возможно вызвало споры между братьями, о чем Эрнст Юнгер намекал в письме к Э. Никишу от 17 марта 1946 года, отговаривая его от публикации, но Фридрих Георг настоял на его включение в сборник стихов. Находившийся в Швейцарии Томас Манн прочитал вышедшую книгу и отметил в своем дневнике 30 ноября 1934 года: «Прочитал классические стихи некоего Ф.Г. Юнгера, присланные Берманом, вышедшие в <Widerstandsverlag>(!) Берлин, в которых стихотворение «Мак», с чудесной воинственностью против власть предрежащих, я, как только мои вернулись из театра, прочитал им за ужином, к всеобщему удивлению»<sup>33</sup>. Позднее, это стихотворение было опубликовано в марте 1936 года Леопольдом Шварцшильдом в парижском эмигрантском журнале «Das neue Tagebuch». Оно сохранилось и во втором и в третьем издании сборника «Стихотворения» в 1935 и 1936 гг., и было включено в книгу «Телец» 1943 года.

---

München, 1971; Maass S. Die andere deutsche Revolution: Edgar Julius Jung und die metaphysischen Grundlage der konservativen Revolution. Kiel, 2009.

<sup>31</sup> Kiesel H. Op. cit. S. 415.

<sup>32</sup> Ibid. S.422.

<sup>33</sup> Ibidem.



Опасения Эрнста Юнгера о том, что оно вызовет репрессии властей и будет запрещено, не оправдались. Х. Кизель отмечал, что намек Эрнста Юнгера в письме брату от 1 ноября 1934 г. о том, что он слышал якобы по радио сообщение о запрете обсуждения его сборника эссе «Листья и камни», вышедшего в 1934 г., был слабой попыткой подчеркнуть свою оппозиционность, и, скорее всего, был им выдуман. Кизель, сравнивая позиции двух братьев, констатирует: «Эрнст Юнгер в 1934 г. не смог представить сравнимый по значению текст»<sup>34</sup>.

События 30 июня – 1 июля 1934 года стали предметом обсуждения между Э. Юнгером и Карлом Шмиттом. Дистанцирование Юнгера от эпицентра событий и уклонение от сотрудничества с правительством кардинально отличались от пути Карла Шмитта. Его репутация специалиста по конституционному праву и консервативного политического мыслителя, близкого к политическому католицизму Веймарской республики, превратили его в известного германского интеллектуала. В период политического кризиса Веймарской республики в 1932 г. Шмитт высказывал предложения о необходимости усиления власти и противодействия право- и леворадикальным силам, необходимости принятия решения, которое спасло бы государство от скатывания в политический хаос. Децеизионизм, стремление к политическому действию, решительному поступку, как это сделал рейхсканцлер Ф. фон Папен при свержении прусского правительства Брауна летом 1932 года, определяли позицию К. Шмитта в условиях политической нестабильности. Назначение правительства А. Гитлера в январе 1933 года привело к политическому шоку, который заставил Шмитта после мартовских выборов 1933 года в рейхстаг принять в апреле 1933 года юридическую кафедру в Кёльнском университете. Таким образом, Шмитт также покидает эпицентр политической активности и переезжает из Берлина в Кёльн. Его стремление быть вовлеченным в политическую деятельность в начале 1930-х гг., сменилось временем политической неопределенности и раздумий. Привлечение его как авторитетного специалиста к комментированию законов о чрезвычайных полномочиях и об унификации германских земель дало ему возможность вновь оказаться в центре политико-юридической деятельности. Это требовало политического выбора, и Карл Шмитт его сделал. 1 мая 1933 года он, как и несколько миллионов немцев в тот день, вступил в ряды НСДАП. Также в мае он стал членом Нацистского союза юристов и Нацист-

---

<sup>34</sup> Ibid. S. 422-423.

ского союза доцентов<sup>35</sup>. Осенью 1933 года К. Шмитт снова вернулся в Берлинский университет. При протекции своего друга фон Попитца, 12 июня 1933 года Карл Шмитт стал прусским государственным советником. Стремительная государственная карьера К. Шмитта не портила личных отношений с Э. Юнгером. Они переписывались и достаточно часто встречались, в том числе в семейном кругу. После переезда семьи Юнгеров в Гослар супруги Карл и Душка Шмитт часто навещали их. Когда 9 марта 1934 года у Юнгеров родился второй сын Александр, Карл Шмитт стал его крестным отцом.

Политические темы не были ключевым предметом разговоров между ними, хотя Э. Юнгер впоследствии отмечал высокую степень открытости и откровенности их бесед. Убийство Э. Рёма и его окружения стали темой их обсуждений, особенно после публикации статьи К. Шмитта «Фюрер защищает право». Нельзя сказать, что выбор Шмитта вызывал какое-то осуждение со стороны Юнгера. В письмах того периода последний обращался к нему с должным уважением, называя его «господином государственным советником». Обсуждение манеры нацистских действий имели место между ними и до 1934 года. Как отмечал секретарь Юнгера Армин Молер в «Равенбургском дневнике» 22 сентября 1949 года, Э. Юнгер начал «разговор о 1933 г.», вспомнив Карла Шмитта, когда между ними зашла речь о «зверствах в Колумбикеллер», творившихся во внутригородском концлагере СС. Он тогда сказал, что «одно такое дело стоит больше, чем тысяча лет говорильни»<sup>36</sup>. В письме к Карлу Шмитту от 16 января 1950 года Эрнст Юнгер, ссылаясь на свое предшествующее письмо от 28 ноября 1949 года, отмечал: «я имел в виду доказательство решения, негативно повлиявшего на вашу жизнь и Вы помните ту ночь, в которую я Вас покинул на Фридрихштрассе и был сильно опечален. Я также жил в своей повседневности не образцово. Если бы Вы последовали моему совету и примеру, то Вы сегодня бы вряд ли были живы, но были бы вправе вынести мне приговор в последней инстанции. Если бы я последовал Вашему совету и примеру, то я сегодня не был бы жив, ни физически, ни как-либо иначе»<sup>37</sup>. Упомянутая выше встреча состоялась вечером 7 / 8 августа 1933 года, когда К. Шмитт прибыл в Берлин и остановился в отеле «Бристоль». В 8 часов вечера он встретился с Э. Юнгером, посетив Га-

<sup>35</sup> Mehring R. Carl Schmitt. Aufstieg und Fall. Eine Biographie. München, 2009. S. 308-310, 322-325, 328.

<sup>36</sup> Kiesel H. Op. cit. S. 418.

<sup>37</sup> Ernst Jünger-Carl Schmitt. Briefwechsel 1930-1983... S. 247 (Письмо от 16.01.1950).

бель и Лёвенбрау<sup>38</sup>. Позднее, в дневниках 1980-х гг. Юнгер пояснял суть разговора, который закончился с определенным раздражением для обоих. В записи от 20 сентября 1994 года, отвечая Эрнсту Клетту относительно «Глоссариума» Карла Шмитта (издание его послевоенных дневников 1940-х гг.), Юнгер отмечал: «Когда К[арл]. Ш[митт] должен был стать государственным советником, я его отговаривал и предлагал ему работать над фундаментальным государственным правом у родителей жены в Сербии»<sup>39</sup>. Подобное предложение летом 1933 года вписывается в выбранную Юнгером стратегию уклонения, но совершенно не учитывает желания К. Шмитта, оказавшегося перед возможностью участвовать в политической деятельности. Пост прусского государственного советника был серьезным карьерным рывком, дававшим ему статус государственного деятеля. Если у Э. Юнгера был след увлеченности социалистическими идеями в неортодоксальной интерпретации, то у К. Шмитта были связи с политическим католицизмом, которые в 1936 г. стали причиной его политического падения<sup>40</sup>. Однако предложение Э. Юнгера, сделанное летом 1933 г., было несерьезным, так как означало для К. Шмитта бросить все, что было им достигнуто, научный статус и карьеру ради эмиграции в Сербию, где его имя через несколько лет стерлось бы навсегда. Шмитт не сделал бы этого никогда, как не сделал этого и сам Юнгер. Писатель может работать уединенно в тиши немецкой провинции, юристу и политическому мыслителю необходимо публичное пространство для того, чтобы его идеи были услышаны.

Проблема выбора интеллектуала в условиях диктатуры вновь была им затронута в записи 18 ноября 1935 года, когда он вспомнил о Карле Шмитте, в тот год, когда тот ушел в вечность. Юнгер записал слова Шмитта, сказанные о нем: «Нелегко приблизиться к нему. Он имеет собственную ауру. Но он настоящий друг»<sup>41</sup>. Это были личные отношения, не исключавшие политических дискуссий. Вспоминая их отношение к Веймарской республике, Юнгер записал слова Шмитта о ней: «Где находится могильщик, там рядом должен

<sup>38</sup> Schmitt C. Tagebücher 1930 bis 1934, hrsg. v. W. Schuller // Zusammenarbeit mit G. Giesler. B., 2010. S. 299 (Запись от 7.8.1933 г.).

<sup>39</sup> Jünger E. Siebzig verweht. V. 2. Aufl. Stuttgart, 1998. S. 154 (Запись от 20.09.1994 г.).

<sup>40</sup> См.: Dahlheimer M. Carl Schmitt und der deutsche Katholizismus. 1888–1936. Paderborn; München; Wien; Zürich, 1998. S.411–470.

<sup>41</sup> Jünger E. Siebzig verweht. III. 2. Aufl. Stuttgart, 1998. S. 573 (Запись от 18.11.1985 г.).

быть труп». «Я оживленно возразил ему, что Гитлер после так называемого путча Рёма воспользовался чрезвычайным положением, а Карл Шмитт не только сказал, но и написал, что “фюрер устанавливает право”. Я не помню, как это звучало дословно. Он полагал, что после закона о чрезвычайных полномочиях гитлеровская легальность не может быть подвергнута сомнению. Об этом можно было говорить – меня удивляла лишь настойчивость, с какой острый дух не признает, что его формулировка, логичная как всегда, во времени и месте представляет политическое хакари. Я вернулся тогда из Гельголанда; когда мы проходили мимо его дома в Фихтеберге, я спросил его, разместил ли он уже в подвале пулемет, – он посмотрел удивленным взглядом»<sup>42</sup>. Политические разногласия Шмитта и Юнгера не мешали их активному общению и переписке во второй половине 1930-х годов. Степень доверия была настолько высока, что он мог обсуждать с ним политические вопросы, не опасаясь последствий.

Переезд в Гослар был началом нового этапа жизни Эрнста Юнгера, когда амбициозные политические планы и надежды, связанные с Берлином, в конечном счете, потерпели крах и стали, в силу изменяющейся политической обстановки, неперспективными. Это определяло затухание политической публицистики Э. Юнгера и его желание найти выход из творческого тупика, в котором он оказался. Гослар представлялся тем местом, где можно было собраться с мыслями и найти способ самореализации, который бы не указывал на националистическую позицию прошлого. Фактически это означало переход от позиции политически заостренного писателя и публициста к литературе.

В историографии смена вектора деятельности Э. Юнгера получила определение «внутренней эмиграции», как ее определил Томас Манн. Она выражалась в основном в духовном дистанцировании от существующего режима, которое могло дополняться организационной и пространственной удаленностью, желанием затеряться на широких просторах Германии. Ключевым компонентом был отказ от участия в политике в любых формах, что влекло за собой переход от политике к искусству, переезд из столицы в немецкую провинцию, от мегаполиса к природе. Это означало пресечение прошлых связей и контактов, когда в сфере общения оставались лишь близкие и надежные люди. Поиск новых тем творчества не означал, что сбрасывалась прежняя кожа, и происходило полное обновление. Но новые

<sup>42</sup> Ibid. S. 574.

формы давали возможность иносказательной речью сохранить намеки на политические сюжеты. По крайней мере, те, кто хотел их увидеть, находили их, казалось бы, в неполитических текстах. Х. Кизель обратил внимание на то, что происходило раздвоение образа Юнгера: «ранний, который без проблем мог издаваться в “Третьем рейхе”, ценился иными представителями нацизма и представлялся прямо-таки нацистско-конформистским; и поздний, публично дистанцировавшийся от нацистского режима»<sup>43</sup>.

Стратегия поведения Эрнста Юнгера в условиях становления нацистской диктатуры была основана на стремлении избежать идентификации с нацистским режимом в любых формах. Это выражалось в отказе от принятия почетных званий и членства в нацистских организациях, что могло бы вызвать восприятие его как члена нацистского движения. Э. Юнгер резко оборвал опасные политические связи и уничтожил письма и собственный дневник, которые могли быть использованы властью для политического преследования. Им принимается решение о необходимости переезда из Берлина в немецкий провинциальный город, что означало не только перемещение из столицы как центра сосредоточения власти и эпицентра политической активности, но и стремление уменьшить внимание к своей персоне. Этим определяется импульсивная реакция Эрнста Юнгера на попытки использовать его военную прозу о Великой войне в качестве воспитательного материала через включение ее в военные антологии, на основе которых воспитывалось подрастающее поколение. Э. Юнгер старался свести упоминание в печати собственного имени к минимуму, с тем, чтобы ни у кого не возникало желания вспомнить о нем. Учитывая возросшую степень конформизма немецкого населения и немецких интеллектуалов в отношении нацистского режима его желание стать менее заметным может быть рассмотрено как способ выживания интеллектуала в условиях диктатуры.

---

<sup>43</sup> Kiesel H. Op. cit. S. 425.

## 2.4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И ВЛАСТЬ НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ В СУДЬБЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО СВЯЩЕННИКА

Субъектность интеллектуалов проявляется в большей мере в переломные моменты истории и смене политических парадигм, изменяющих привычную повседневность. Интеллектуалы могут выступать и частью авангардных сил, и творцами новой истории, но также могут быть и её яркими противниками или отстраненными наблюдателями. Интеллектуальный потенциал личности предоставляет широкие возможности для характеристик и оценок происходящих событий, компаративистики и, несмотря на безусловный субъективизм, эго-документы интеллектуалов являются значимой составляющей палитры источниковедения. Важными и востребованными для исследований являются поведенческие нарративы выживания интеллектуалов в конфликтах, их векторы и обоснования.

Со времени укрепления Московского царства взаимоотношения власти и Православной Церкви имели тенденцию к развитию цезаропапизма, достигшего апогея в России императорской, упразднившей патриаршество и включившей церковные структуры в состав государственных учреждений. В XIX столетии многие из государственных и церковных деятелей осознавали нежизнеспособность идеи симфонии, отмечая, что: «в последнее предреволюционное 20-летие вопреки совместным стараниям правительства, царя, синодальной бюрократии и атеистической интеллигенции Церковь, наконец, вырвалась за пределы своего гетто. А приток в нее интеллигенции с ее связями в либеральной печати сделал невозможным дальнейшее затыкание рта Церкви правительством»<sup>1</sup>.

По решениям Поместного Собора 1917–1918 гг. органом церковной власти стало Высшее церковное управление во главе с патриархом, на местах духовная власть передавалась епархиальным собраниям под председательством архиереев, вводилось выборное начало, предполагающее участие всего православного населения.

---

<sup>1</sup> Поспеловский Д.В. Русская православная церковь: испытания начала XX века // Вопросы истории. 1993. № 1. С. 46.

Приход и приходской храм были признаны самостоятельными юридическими лицами.

Крушение империи и захват власти представителями партии большевиков в октябре 1917 года привели к радикальным изменениям в государстве. Новая власть объявила себя атеистической, чётко и однозначно обозначив отношение ко всем конфессиям и верованиям. Опубликованный в начале 1918 года, декрет Совнаркома «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», первоначально называвшийся «О свободе совести, церковных и религиозных обществах», заложил основу бесправного положения Церкви и трагического конфликта пастырей и паствы с властью, и представители духовного сословия стали одними из первых на кого обрушился маховик репрессий. Лидер партии В.И. Ленин в 1922 г., в связи с изъятием церковных ценностей, указывал конкретные методы и формы борьбы с религией: «чем большее число представителей реакционного духовенства... удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать»<sup>2</sup>.

Новая власть губерний, областей и уездов, исполняя Декрет, стремилась ограничить деятельность духовного ведомства, но значительность территории и отсутствие связи с центром страны в условиях начавшейся гражданской войны обусловила перманентность данного процесса и его специфику. В начале 1919 года в г. Омске Собором сибирских епископов было образовано Временное Высшее церковное Управление, которое до восстановления связи с Москвой приняло на себя все функции центрального духовного органа Сибири<sup>3</sup>. В далекой Якутской епархии, где более года не было архиерея<sup>4</sup>, преобразование епархиальной структуры проходило под руководством духовной консистории. В начале 1919 года в г. Якутске было проведено епархиальное собрание, избравшее членов епархиального Совета, датой началом работы которого было определено 15 марта, но деятельность Совета была недолгой, в марте 1920 года он был ликвидирован на основании приказа начальника Якутского Военно-революционного Штаба Красной Армии<sup>5</sup>. Началось закрытие храмов

---

<sup>2</sup> Шкаровский М.В. Русская Православная церковь в XX веке. М.: Вече, 2010. С. 34.

<sup>3</sup> Голос Якутской церкви. 1918. № 22. С. 138.

<sup>4</sup> Епископ Якутский и Вилюйский Евфимий (Лапин) в 1917 г. отбыл в Москву для участия в работе Поместного Собора и, в связи с революционными событиями и гражданской войной на территории Сибири, в Якутию не вернулся.

<sup>5</sup> Голос Якутской церкви. 1920. № 7. С. 35.

и аресты священнослужителей, что постепенно привело к ликвидации всех духовных учреждений.

События 1917–1918 гг. внесли смуту в якутское общество и, если отношение к происходящему в среде провинциального чиновничества, купечества и коренного населения получили освещение в историографии, то региональное духовенство, за редким исключением, оказалось вне научного внимания<sup>6</sup>. Между тем, революционные события стали потрясением для православного ведомства якутской окраины, разделив его на радикалов и реакционеров, первые из которых, обвиняли руководство епархии в консерватизме, призывая к сотрудничеству с новыми органами власти: «Христиане должны уважать и власть языческую, лишь бы она честно выполняла свой долг перед народом»<sup>7</sup>.

В контексте описываемых событий представляет интерес обращение к региональному аспекту взаимоотношений «власть и церковь» в новых исторических условиях на примере деятельности представителя духовной корпорации одной из наиболее удаленных от центра национальных имперских окраин – Якутской области, нашедших отражение на страницах его дневника, чудесным образом сохранившегося в архивных фондах. Объёмная рукопись дневника датируется 1922 годом и содержит 179 листов машинописи с авторскими правками и дополнениями. Стилистика дневниковых записей эмоциональна, изложена образным литературным языком, что свидетельствует о уровне образования провинциального священника. В заголовочной части дневника его автор Ф.Г. Сивцев поясняет: «последние пять-шесть лет жизни принесли столько самых разнообразных впечатлений, столько нового, совершенно неожиданного, нелепого и зачастую дикого пришлось пережить и столько пришлось перенести горя и испытаний, что слабая человеческая память, затуманенная ещё при этом пережитыми страданиями, не в состоянии будет выдержать того громоздкого и разнообразного материала, который наложила на неё жизнь»<sup>8</sup>.

Жизненный путь священника Федора Гаврильевича Сивцева (1875–1929) нетипичен для священника-инородца из провинциальной глубинки. Сын якута, уроженец Жехсогонского наслега Таттинского улуса Якутского округа, он выбрал духовное поприще, став священ-

---

<sup>6</sup> Николаев А.П. «Многие лета, Благоверное временное правительство!» // Якутский архив. 2001. № 3. С. 108-111.

<sup>7</sup> Национальный архив Республики Саха (Якутия). Далее – НА РС(Я). Ф. 1. Оп. 1. Д. 63. Л. 14-15; Ф. 262. Оп. 1. Д. 35. Л. 40.

<sup>8</sup> НА РС(Я). Ф. П. 3. Оп. 20. Д. 12. Л. 1.



ником в первом поколении. Окончил духовное училище, Якутскую духовную и Казанскую учительскую семинарии, был слушателем педагогических курсов в Санкт-Петербурге, принимал участие в переводе на якутский язык Евангелия. Вернувшись на родину, преподавал в миссионерском училище, стал членом миссионерской переводческой комиссии и заведующим книжным складом епархиального училищного Совета. В 1900 г. Федор Сивцев был рукоположен во священника и нес службу последовательно в Ольской Богоявленской церкви Охотского округа, Тойбохонской церкви Вилюйского округа, Мегинском и Маинском храмах Якутского округа и в последней по его инициативе в 1910 г. была открыта церковно-приходская школа<sup>9</sup>. Супруга отца Федора – Александра Ивановна, выпускница Якутской женской гимназии, служила учительницей начальных классов. В семье Сивцевых было двое детей: Никтопомон (1901–1918) и Катерий (1904–1942). Очевидно, что супруги Сивцевы были образованными людьми и входили в состав провинциальной интеллигенции.

Вместе в тем, проведенные исследования предоставили возможность установить, что отец Федор дважды привлекался в качестве обвиняемого епархиального церковного суда. В 1909 г. он был обвинен в политической неблагонадежности (исполнении революционных песен с политесыльными; распространении нелегальных брошюр и искажение молитвы из-за пропуска моления о государе императоре), после, в 1916–1917 гг. – неуважительном отношении «к царствующему Государю Императору и среди якутского населения позволил говорить дерзкие слова... пропагандировал не платить подати», «кошунственно выливал из святой чаши причастие» и был приговорен к заключению в монастыре<sup>10</sup>. В итоге о. Федор был помилован, но некоторое время находился в запрете и не получал содержания. Заметим, что следственные дела Сивцева единственный документально установленный факт обвинения представителя духовного сословия Якутской епархии в политической неблагонадежности<sup>11</sup>.

Исследуя взаимоотношения власти и интеллектуалов следует принимать тезис о том, что «человечество нуждается в сообществе личностей, способном с исторически необходимого уровня высоты культурности (знание, нравственность, мудрость) обзирать происходящие в обществе жизнеустроения, чтобы не иссякал живой твор-

<sup>9</sup> НА РС (Я). Ф. 226-и. Оп. 9. Д. 138, 142.

<sup>10</sup> Там же. Оп. 2. Д. 1883. Л. 14-30.

<sup>11</sup> Юрганова И.И. Духовное судопроизводство в Якутской епархии во второй половине XIX – начала XX в. как фактор межцивилизационного взаимодействия // Былые годы. 2016. № 39 (1). С. 150.

ческий дух народов и не лишались они накопленных человеческих ценностей», к которым можно отнести и ценности христианского мира<sup>12</sup>. Мишель Фуко справедливо указывал, что интеллектуалы являются частью системы власти, да и сама идея, что они служат носителями «совести» или «сознания» и дискурса, также является частью этой системы. Роль интеллектуала «состоит не в том, чтобы, пройдя «немного вперед» или слегка отодвинувшись «в сторону», высказывать за всех безмолвную истину, а скорее, наоборот, в том, чтобы бороться против всех видов власти там, где он сам представляет собой сразу и объект, и орудие: в самом строе «знания», «истины», «сознания», «дискурса»<sup>13</sup>. Формулируя необходимость и значимость своего дневника, Сивцев пишет, что пережитое им «может впоследствии иметь интерес, как для меня лично, так и для грядущего поколения, обреченного на ошибки и заблуждения отцов и дедов, учиться, жить и строить новую жизнь (!)»<sup>14</sup>. Провинциальный священник указывает: «с переворотом мы особенно почувствовали свою оторванность и неорганизованность. Наши надежды на справедливость таяли и бесследно исчезали в хаосе событий» и восклицает «Читаю статьи старых изданий Министерства юстиции и сравниваю с настоящим. И мне как-то не верится, что за такой короткий промежуток времени так много могло измениться»<sup>15</sup>.

В изменившихся условиях повседневности изменяется и поведенческий дискурс представителей епархиального духовенства, каждому из которых приходится делать выбор, который мог быть различным: от верности избранному пути и расстрельной Голгофы, до перехода в обновленчество и снятия рясы<sup>16</sup>.

Необходимо отметить особую роль и специфику деятельности духовного сословия на национальных окраинах империи. Представители якутского духовенства априори были образованными людьми в среде в большинстве своем неграмотного или малограмотного

<sup>12</sup> Нахушев В.Ш. Интеллигенция как сообщество пассионариев // Социологические исследования. 2006. № 6. С. 129-138.

<sup>13</sup> Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью / Пер. с франц. С.Ч. Офертаса под общ. ред. В.П. Визгина и Б.М. Скуратова. М.: Праксис, 2002. С. 68. [Электронная библиотека по философии]. – <http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000657/> (ноябрь, 2023).

<sup>14</sup> НА РС(Я). Ф. П. 3. Оп. 20. Д. 12. Л. 1.

<sup>15</sup> НА РС(Я). Ф. П. 3. Оп. 20. Д. 12. Л. 3, 53.

<sup>16</sup> См. Юрганова И.И. Поведенческая стратегия и интеллектуальный выбор духовенства Якутии в 1920-х гг. // Известия Иркут. гос. ун-та. Серия История. 2020. Т. 32. С. 63-74.

населения. При малочисленности местного чиновничества и интеллигенции градское духовенство пополняло ряды провинциальной элиты. Несмотря на невысокий процент представителей духовного сословия: 0,1% от общей численности православного населения области (264565 душ), зафиксированного по итогам первой Всеобщей переписи населения Российской империи (1897 г.), безусловна его значимость в жизни области. Особенно, это очевидно по отношению к областному и окружным центрам, выступавшим в роли культуротрансляторов. Протоиереи и настоятели градских храмов входили в состав различных комиссий и комитетов, принимали активное участие в общественных мероприятиях, участвовали в торжествах и губернаторских приемах. Деятельность сельского духовенства, проживающего в территориальной удалённости и удовлетворявшего духовные нужды паствы, ведущей кочевой и полукочевой образ жизни, также была многоаспектной, зачастую выходявшей за границы служебных обязанностей. В наслегах храм выступал в роли информационно-культурного центра, а священник был одним из немногих грамотных людей, выполнявшим обязанности не только духовного наставника, но и писаря, учителя, врача, третейского судьи и т.д. Во время объезда прихода члены причта посещали каждый дом и каждую юрту и, помимо исполнения служебных обязанностей, они разбирали мелкие споры и обиды, составляли прошения и ходатайства, врачевали, информировали о событиях в стране и мире. Именно от представителей духовенства жители отдаленных наслегов и родов узнавали о смене императоров, начале военных действий и других событиях, происходивших в стране и мире.

К началу XX столетия в Якутии присутствовала династическая преемственность духовного сословия, в том числе и инородческого, когда 57,6 % церковно- и священнослужителей епархии являлись детьми духовных лиц. В совокупности в корпорации якутского духовенства присутствовали также и выходцы из других сословий: дворян, чиновников, мещан, казаков, крестьян и др. С конца XIX века духовенство имело возможности для получения профильного образования, так как в области была создана система духовных учебных заведений от церковных школ грамоты до духовной семинарии. Вместе с тем альтернатива получения светского образования была минимальной, а обучение в духовных училище и семинарии гарантировало получение штатного приходского места. В связи с этим ликвидация сословной замкнутости у духовенства во второй половине XIX века не получила распространения в условиях Якутии. Несмотря на неоднократное реформирование законодательства, ду-

ховное сообщество сохранило ряд привилегий: освобождение от всеобщей воинской повинности (все священнослужители и псаломщики, имеющие духовное образование, воспитанники духовных семинарий получали отсрочку от призыва) и телесных наказаний<sup>17</sup>. Действовал ряд льгот по отбыванию государственных повинностей (освобождение от квартирного налога и воинского постоя, земских сборов с земельных, лесных и других угодий, городских повинностей, церковно-производственные и торговые заведения не облагались промысловым налогом), разрешалось (исключая монашескую) совершать земельные сделки, отведенные государством и прихожанами церковные земли не подлежали продаже<sup>18</sup>. Духовенство Якутской области имело право на получение государственного содержания, пенсионного обеспечения, пайкового довольствия (миссионеры и походные священники), ружного содержания и других форм выплат и уровень его обеспеченности различался в зависимости от должности и места службы.

Обращаясь к корпоративной сословности российского духовенства, следует согласиться с мнением о том, что сообщество интеллектуалов представляет наиболее явную и наиболее ортодоксальную «еретическую группу», воспринимающую существующую реальность критически уже в силу своей профессиональной принадлежности и функциональных обязанностей<sup>19</sup>. Записки якутского интеллигента в первом поколении отражают его размышления о происходящих событиях, причинах и возможных последствиях, свидетельствуют о смятении, поиске путей выхода и не согласии с происходящим. Перевороты в Якутске, гибель сына, события в Охотском округе, где о. Федор оказывается в силу обстоятельств в начале 1921 г., дают информацию о политической ситуации в крае, неуверенности в будущем и белой, и красной властей. Сивцев, будучи духовным лицом, вызывает недоверие, его допрашивают, заключают под стражу, обвиняют в измене: «Вот вы смотрите на меня как на попа, своего врага, ставленника и слугу ваших противников, – говорит он охотскому комитету, – а, они, противники ваши, считают меня врагом, у них я сторонник коммунизма»<sup>20</sup>.

<sup>17</sup> Свод законов Российской империи (далее – СЗ РИ). Законы о состояниях. Т. 9. Ст. 394; Т. 4. Устав о воинской повинности. Ст. 61, 63, 79.

<sup>18</sup> СЗ РИ. Т. 5. Устав о прямых налогах. Ст. 371, 576, 747; 1903. Т. 5. Устав о земских повинностях. Ст. 50, 475.

<sup>19</sup> Панько А.Г. Власть и интеллектуалы: суть оппозиции // Вестник Бурятского государственного университета. 2010. № 6. С. 197-200.

<sup>20</sup> НА РС(Я). Ф. П. 3. Оп. 20. Д. 12. Л. 21.

Отец Федор пытается реализовать себя в непривычной повседневности: работает в типографии и потребительском обществе, но его внутренние нарративы не находят ответов и удовлетворения: «хотя мне в последнее время пребывания моего в Якутске и пришлось, как Вы видите, заняться совершенно на свойственном моему сану делом, я все же остался верен своей корпорации всегда, где только мог, личным ли своим авторитетом или связями своими по новой службе – вставал на защиту духовенства и интересов церкви» – убеждает он и себя, и читателей дневника<sup>21</sup>. Как правило, интеллектуалы действуют не внутри «всеобщего», «образцового», «справедливого и истинного для всех», а в определённых отраслях, в конкретных точках в которых сосредоточены условия их профессиональных занятий и жизни. И Сивцев оправдывает свои, не приличествующие православному священству, занятия и уверяет в верности избранного пути<sup>22</sup>.

Мишель Фуко дифференцирует «интеллектуала-специалиста» и «интеллектуала универсального». «Универсал», интеллектуал классический, являющийся «по преимуществу писателем: всеобщей совестью, свободным субъектом», а «специалист» представляет «образованную личность, профессионально занимающуюся в любой из областей, требующих высокой квалификации, не претендующую на выражение некой всеобщности и на такое же всеобщее представительство, но не ставшей от этого менее политизированной»<sup>23</sup>.

«Интеллектуал-специалист» Сивцев отвечает: «История лучший судья. Мы забывать не будем. Но, с точки зрения христианской морали, я, несомненно, вдался в несоответствующую моему сану работу. Хорошо ещё что успел уйти вовремя, как бы потом не оправдывались якутские верхи, но от приговора истории не уйдут»<sup>24</sup>.

Вместе с тем, имеется и точка зрения, что занятие политикой традиционно для интеллектуалов и обусловлено их дискурсом «в той степени, в какой они открывают определенную истину и находят политические отношения там, где их не замечали»<sup>25</sup>. «И что мне стоят лично эти большевики – рассуждает автор дневника, – ...Ругая их, необходимо учитывать историческую роль рабочего движения во все времена. Они должны и обязаны отвоевать все права человека. Поскольку мы являемся в их мировоззрении этого класса слугами капитала, постолько и методы их должны были удоворимы нами.

<sup>21</sup> НА РС(Я). Ф. П. 3. Оп. 20. Д. 12. Л. 147.

<sup>22</sup> Фуко М. Интеллектуалы и власть... С. 200.

<sup>23</sup> Там же. С. 206.

<sup>24</sup> НА РС(Я). Ф.П. 3. Оп. 20. Д. 12. Л. 96.

<sup>25</sup> Фуко М. Интеллектуалы и власть... С. 68.

Вот почему я не примыкаю к никакой партии. Как якут – я на их стороне, но не могу проходить мимо их ужасов. Не верил и верю их красивым речам»<sup>26</sup>. Он пишет «...не безумно ли надеяться на Бога, если другим мы ещё хотим не того самого, что желали бы для себя? Ведь в течении тысячелетий передовая часть человечества проповедует эту истину, почему же мы так же далеки от этой проблемы, как и был человек 5000 лет тому назад? Почему мы частица Божественного, обязанные по природе своей продолжать дело Отца Нашего, копошится в этой юдоли слез и лица не можем поднять к небесам»<sup>27</sup>. Отец Федор пытается реализовать свои устремления в хаотичности событий, смене власти, в его записях присутствуют нелепые характеристики национальных лидеров, представителей партий и движений, духовных особ, в том числе и епархиальных архиереев. И хотя данные оценки субъективны, они представляют свидетельствования современника и участника событий.

Одной из ключевых в определении феномена интеллигенции является категория совести и во многом «от нравственных позиций интеллигенции, ее принципиальности, честности, гражданского мужества, от ее способности концентрировать народную совесть, мораль, выражать его интересы, устремления зависит судьба Отечества»<sup>28</sup>. Революционные перевороты и эволюционное реформирование осуществляются личностями, позиционирующими себя трансляторами общественного нарратива, но в итоге революции и реформы зачастую завершаются сменой формы управления. Сивцев пишет: «новая среда, новые люди и новые условия деятельности стоили мне немало страданий и горя, так как партийная рознь и нахлынувшая волна большевизма влияли на жизнь служащих и рабочих типографии. А мне пришлось дотянуть службу там до дней высшего напряжения этой борьбы. И вот я, столкнувшись лицом к лицу с ужасами этой борьбы, был поставлен в необходимость выявить и свою физиономию и, как местный уроженец, связанный с интересами своего народа, и, скажу даже увлеченный, как мне казалось, благородной деятельностью местных эсеров, я вынужден был вступить в комиссию по образованию местной народной милиции, долженствовавшей быть без всякой политической окраски»<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> НА РС(Я). Ф.П. 3. Оп. 20. Д. 12. Л. 97.

<sup>27</sup> Там же. Л. 33.

<sup>28</sup> Осинский И.И. Нравственность общества зависит от интеллигенции. – <http://ilin-yakutsk.narod.ru/2005-2/08.htm> (ноябрь, 2023).

<sup>29</sup> НА РС(Я). Ф.П. 3. Оп. 20. Д. 12. Л. 95-96.

Описывая практику малых дел как форму «перманентного сопротивления» М. Фуко приходит к выводу, что призванием всякого интеллектуала есть оппозиция и священник-якут был убежден в своей функциональной роли, выходящей за пределы религиозного служения и просвещения масс, осознавая себя в роли борца против всех видов власти, как объект и орудие<sup>30</sup>. «Правда тогда я был патриотом, но как этот патриотизм проявился. Бедный слепец духа... Только через год я начал понимать своё положение и, несмотря на это, в 1918 году, попал в народную организацию. Снова сделал ту же ошибку я, доверившись работе социалистов-революционеров, отдал милиции своего сына. В ночь на 1 июля 1918 года руководители организации ушли изменнически, а постовых не сняли, в результате сын убит».<sup>31</sup> Очевидно, что любое общество декларирует свои истины и доводы, которые оно принимает, используя механизмы транслирующие данные доводы. Сивцев констатирует: «Я – поп на языке социалистов, реакционер, контрреволюционер и даже черносотенец. Но разве это ново? Таков мир издревле»<sup>32</sup>.

В отношении организованных против него судебных процессов автор с сожалением отмечает в дневнике: «...и до революции создавался вокруг моего имени какой-то ореол противогосударственности и антирелигиозности?»<sup>33</sup>. Он сообщает: «...сама консистория была преисполнена любви к разным доносам, и всякий донос на духовенство принимался с таким жаром, что от последствий сего задыхались не только рядовые из духовенства, но и родственники самих сановных отцов; правда и то, что первым приходилось страдать фактически, а вторым – ускользать от репрессий»<sup>34</sup>. Согласно записям Сивцева, одним из обвинений, выдвинутых против него епархиальным судом, стали некорректные переводы на якутский язык, а именно слова молитвы «Спаси Господи», где русское «император» в переводе Сивцева соответствовало слову «царь». В своё оправдание отец Федор приводит убедительные доводы, состоящие в значимости дефиниции «император», неизвестной якутам, тогда как якутское «ырахтагы» имело значение «царь-батюшка (отец)», а также догмата о Приснодевстве Божьей Матери, когда слова «благословен Плод Чрева Твоего» в буквальном переводе Сивцева читаются как «благословен Родившийся от

<sup>30</sup> Фуко М. Интеллектуалы и власть... [Электронная библиотека по филологии]. – <http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000657/> (ноябрь, 2023).

<sup>31</sup> НА РС(Я). Ф. П. 3. Оп. 20. Д. 12. Л. 31-32.

<sup>32</sup> НА РС(Я). Ф. П. 3. Оп. 20. Д. 12. Л. 40.

<sup>33</sup> Там же. Л. 95.

<sup>34</sup> Там же. Л. 69.

Тебя»<sup>35</sup>. Хорошо владея родным якутским и русским языками, отец Федор отмечает, что и беременность, и плод у якутов обозначаются словом «осогостах», так как в северных климатических условиях понятие «плод» не имело широко применения.

Возвращаясь в действительность Сивцев с грустью отмечает, что «со второй половины декабря 1919 года положение в Якутске становится очень неопределенным, а церковная жизнь – запутанной и сложной...»<sup>36</sup>. Испытывающий надежды на позитивные изменения после крушения империи, он пишет: «мотивы обмана оказались недальновидными. Вместо привычных удобств – анархия под девизом диктатуры пролетариата, равнение на босяка. И мы, рабы положения, не только тянули в этот омут грязи других, но только отбирали у них самое лучшее, но и они сами, идя по линии наименьшего сопротивления, примыкали туда, где о демократических элементах нет и помину»<sup>37</sup>.

Автора дневника ужасает отношение к конфискованному церковному имуществу: «...в здании духовной семинарии с церковным корпусом были размещены красноармейцы, храм обращен в театр. Забота местных властей того времени о просвещении и культурно-нравственном воспитании сказалась, видимо, в том, из алтарного храма была устроена сцена, на которой ставились этими «насадителями культуры» революционно-пролетарские спектакли и концерты»<sup>38</sup>. Или: «В глумлении над домами Божьими не были обойдены и домашние церкви, – тюремная и епархиального женского училища, вместо первой была устроена мастерская, а вместо второй – библиотека школ советского типа»<sup>39</sup>.

Помимо этого, отец Федор переживает личную трагедию, это и гибель сына Никтопомона, убитого во время очередного переворота, и расстрел «двух старших братьев Ивана и Василия Гаврилович в Охотске 19 февраля сего 1920 года...»<sup>40</sup>. На страницах дневника он приводит выдержки из писем одного из представителей якутской эмиграции, проживающего в Вашингтоне М.З. Винокурова, о погибшем брате «...Он [Иван Гаврилович] безусловно был крупной личностью, человеком богатой инициативы... писать об Иване Гавриловиче я могу только тепло... Разве при его средствах и возможностях он не мог

<sup>35</sup> Там же. Л. 86-87.

<sup>36</sup> Там же. Л. 100.

<sup>37</sup> НА РС(Я). Ф. П. 3. Оп. 20. Д. 12. Л. 53.

<sup>38</sup> Там же. Л. 143.

<sup>39</sup> Там же. Л. 144.

<sup>40</sup> Там же. Л. 131.



жить не в захолустье где-то, в Охотске, а жить в другом месте, пользуясь благами культурной жизни? Он стремился сделать что-то и делал... дать бы ему возможность, дать бы ему простор, помочь бы ему. Вот он бы сделал великое...»<sup>41</sup>. Получив мандат агента потребительского общества, Сивцев, в тревоге о судьбе осиротевших племянников, выезжает в подконтрольный разрозненным белым отрядам Охотский округ, и дневниковые записи этого периода наполнены описанием жестоких расправ и страхом перед будущим. Но он, опять-таки, стремится приносить пользу и, несмотря на угрозы, пытается организовать школу для обучения детей.

Потерпев неудачу, Сивцев отбывает на Дальний Восток. Интересны дневниковые замечания об отношении к происходящим событиям гражданской войны японцев: «Что касается японцев, то они, заявив о своём нейтралитете, поддерживали сношения как с большевиками, так и с их противниками, и как тех, так и других снабжали товарами и продуктами, но кого и в какой мере, определить было трудно»<sup>42</sup>.

Интеллектуалы начала XX века стремились быть включенными в социум, востребованными и полезными. Значимой доминантой их мировоззрения была мотивация к самореализации, проявлению своих способностей и разработке проектов социальных преобразований на благо человечества. Личность Федора Гаврильевича Сивцева неординарна: этнический якут из далекой северной глубинки, православный христианин, избравший путь священства, он обладал эмоциональным темпераментом, отличался любознательностью и стремлением к справедливости, желал принести пользу своему народу и обществу в целом. Все его деяния на пастырской ниве, в преподавательской и просветительской деятельности были искренними. Вступая в диалог с сосланными в Якутский край за политическую деятельность, он пытался понять и вникнуть в их мировоззрение, уяснить причины их несогласия с реалиями повседневности. Будучи представителем духовного сообщества государственной религии, якутский иерей осмысливал происходящие события с точки зрения христианской морали и с позиции представителя якутского этноса и его кипучая деятельность, готовность отстаивать свои убеждения вызывала непонимание и отторжение в догматичной среде провинциального духовенства.

---

<sup>41</sup> НА РС(Я). Ф. П. 3. Оп. 20. Д. 12. Л. 159.

<sup>42</sup> Там же. Л. 170.

В дневниковых записях описаны нестроения в епархиальной жизни и выражается надежда на позитивные перемены после крушения империи. Сивцев старается быть востребованным и полезным и старому и новому режиму, но не находит применения своим возможностям ни в епархиальной среде, ни в нарративах новой власти. Он готов идти на компромиссы, но предначертанность атеистической идеологии большевиком не допускала подобного, обусловив трагическую роль Церкви в XX столетии.

В дневник иерея не вошли события после 1922 г. и дальнейшие факты его жизни известны фрагментарно. Скончался Федор Гаврильевич в 1929 г., находясь в заключении в Соловецком лагере.

Уникальность эго-документов вообще и, в том числе, принадлежащих перу российского духовенства, представляет важность для познания ментального мира интеллектуалов. Социальный статус, уровень образования представителей духовного сословия имперской России предоставляли широкие возможности для фиксации событий участниками и свидетелями которых они являлись. Воспоминания, дневники, письма и записки духовных лиц являются важным источником, позволяющим по-иному осмысливать явления и факты, дают возможность взгляда «изнутри» и служат существенным дополнением к трактовке исторического развития общества. Завершить обращение к дневниковым записям провинциального священника прошлого столетия следует словами их автора: «Русская мысль богата противоречиями и, да простят мне те, кому в руки попадут эти записки, – непоследовательностями»<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> НА РС(Я). Ф.П. 3. Оп. 20. Д. 12. Л. 53.

## **2.5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛ НА ОКРАИНЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И СТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО ДИСКУРСА**

**НАУЧНАЯ СТРАТЕГИЯ ЭТНОГРАФА Г.В. КСЕНОФОНТОВА**

Гавриил Васильевич Ксенофонтов (1888–1938) – фигура для Сибири весьма особенная и во многом эмблематичная. Ксенофонтов принадлежал к типу «национального» интеллигента, возникшего на окраинах Российской Империи в начале XX века. Практически на всех территориях, принадлежавших к «национальной» периферии Российской империи / СССР, в период революции и Гражданской войны, эта фигура выходит на первый план.

Для интеллигенции окраин во многом было характерно пограничное положение между центром и периферией. С одной стороны, они выступали в качестве носителей идей, приходивших в регионы из центра, с другой – представители этого типа интеллигенции создавали местно-патриотические дискурсы, часто связанные с острыми личными переживаниями собственной этнокультурной идентичности и поисками места собственной общности в рамках новой советской реальности.

Из числа национальной интеллигенции вышли практически все «отцы-основатели» автономных республик в СССР. Их биографии имеют множество параллелей и общих точек соприкосновения: увлечение «левыми» идеями, пришедшими из европейской России (в том числе и через ссыльных); участие в Революции и Гражданской войне; ярко выраженный интерес к собственной общности, ее культуре и проблемам идентичности; участие в строительстве собственной автономной республики. Еще одна важная параллель, существующая в биографиях представителей «национальной интеллигенции» этого периода, это даты смерти: 1937–1938 гг. Мало кто из этого поколения смог уцелеть в ходе Большого террора.

Этнограф Г.В. Ксенофонтов, к сожалению, не был исключен. Он был арестован по так называемому «якутскому делу» вместе с П.А. Ойунским, 28 августа 1938 г. Ксенофонтов был осужден за «шпионаж» в пользу Японии и приговорен к высшей мере наказа-

ния, и в тот же день расстрелян. Место захоронения – полигон НКВД “Коммунарка”. Реабилитирован 22 августа 1957 года<sup>1</sup>.

В отличие от многих представителей национальной интеллигенции, Г.В. Ксенофонтов, якут по происхождению, в своем творчестве не ограничивался пределами Якутии и собственной этнической общности. В его этнографических и исторических работах мы наблюдаем постоянные попытки выйти на более широкие кросс-культурные уровни исследования. Ксенофонтова интересовала не только Якутия, но и вначале вся Северо-Восточная Азия, а затем и вся Евразия. Для него характерны попытки создать глобальные гипотезы, касающиеся больших сюжетов: этногенез народа Саха, миграции номадов в Азии, или концепция «умирающего бога» в сибирском шаманизме.

В статье М. Дунаевского «Научно-исследовательская работа в области воинствующего атеизма за 15 лет», посвященной обзору антирелигиозной научной работы в СССР и опубликованной в Москве в 1932 году, Г.В. Ксенофонтов упоминается единственный раз в одном ряду с товарищами И.М. Суловым, С.Л. Урсыновичем и отцом советской этнографии В.Г. Тан-Богоразом<sup>2</sup>. «Ученым-богоборцам», изучавшим шаманизм, посвящено буквально три строчки. Куда больше внимания автор статьи уделяет разработке атеистической теории, а также борьбе с православием, исламом и сектами на территории СССР. Именно так безбожниками из Москвы воспринималась «национальная окраина» – как не заслуживающая особого интереса. Причиной такого отношения к себе и своей работе он считал, прежде всего, ксенофобию. Этнографией Ксенофонтов занимался, в первую очередь, как марксист, тем не менее в новой, подчеркнута интернациональной советской реальности вопрос о его собственном этническом происхождении возникал вновь и вновь. Кто именно вел научную работу? Ученый-марксист или «ученый-инородец»? Обретал ли якут Ксенофонтов, занимаясь этнографией, хоть какую-то степень субъектности? Или всего лишь выполнял роль медиатора, приближенного к предмету своих этнографических исследований, тем самым облегчая работу для представителей центра? Все эти вопросы в той или иной форме ставились и им самим.

<sup>1</sup> Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов – жертв политического террора в советский период (1917–1991) / Изд. подготовили Я.В. Васильков, М.Ю. Сорокина. СПб., 2003. С. 78-104.

<sup>2</sup> Дунаевский М. Научно-исследовательская работа в области воинствующего атеизма за 15 лет // Воинствующее безбожие в СССР за 15 лет. 1917–1932. М.: ОГИЗ: Государственное антирелигиозное издательство. 1932. С. 445.

### *Вехи биографии Ксенофонтова*

Г.В. Ксенофонтов родился в 1888 г. в 3-м Мальжегарском наслеге Западно-Кангаласского улуса Якутии. Родители – якуты Василий Никифорович Ксенофонтов и Екатерина Максимовна. Начальное образование получил в сельской школе, через год поступил в Детский Мариинский приют в Якутске. О своих родителях, ученый писал в автобиографии: «Мои родители якуты Западно-Кангаласского улуса 4-го Мальжегарского наслега, Василий Никифорович Ксенофонтов и Екатерина Максимовна. Отец был состоятельным и служил по выборам в улусном управлении на разных должностях. Но меня по рождении отдали на воспитание рядовому якуту середняку Ионе Слепцову, в семье которого я вырос и прожил до поступления в школу»<sup>3</sup>. Это было связано с якутским старинным обычаем: когда при родах часто умирали дети, родившегося ребенка отдавали на воспитание в чужую семью, чтобы защитить его жизнь от злых духов.

Ксенофонтов окончил Якутское реальное училище (1907), затем юридический факультет Томского университета (1912). Основы широкой исследовательской парадигмы Ксенофонтова, по всей видимости, были заложены еще в период студенчества в Томском университете (1908–1912). Став студентом юридического факультета, Ксенофонтов увлекся идеями сибирского областничества, посещая научный кружок «Сибиреведение», где существовали благоприятные условия для изучения студентами Сибири и «культивирования в них научного интереса к своей родине»<sup>4</sup>. Очевидно, что определенное влияние на научные взгляды Ксенофонтова оказали такие крупные ученые как Г.Н. Потанин и продолжатель его идей этнограф А.В. Адрианов.

В 1913 г. Ксенофонтов переехал в Якутск для занятия адвокатурой, а также принимал участие в работах местного отдела Географического общества. Вопросы просвещения и образования волновали молодого юриста. Так в 1914 г. в газете «Якутская окраина» появляется статья Ксенофонтова «Нужна ли якутам письменность?»<sup>5</sup>.

После начала революции, в феврале 1917 – январе 1918 года Ксенофонтов принимал участие в политической жизни Якутии, был избран депутатом в различных представительных органах переходного времени. Принял участие в организации Якутского трудового

<sup>3</sup> Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 159: 6.

<sup>4</sup> Шиловский М.В. Общественно-политическое движение в Сибири второй половины XIX – начале XX века. Областники. Вып. 1. Новосибирск: НГУ, 1995. С. 88-89.

<sup>5</sup> Ксенофонтов Г.В. Нужна ли якутам письменность? // Якутская окраина. 1914. 1 мая. С. 3.

союза федералистов. В феврале 1917 г. в Якутске Г.В. Ксенофонтовым и В.В. Никифоровым была создана вдохновленная идеями областничества организация интеллигентов «Свобода», программными целями которой стали: земское самоуправление, независимость и самостоятельность якутского народа<sup>6</sup>.

1 января 1918 года Ксенофонтов выехал из Якутска в Томск в качестве делегата Сибирской Областной Думы. Зимой 1918–1919 гг. он прожил в Томске. Летом 1919 года Г.В. Ксенофонтов вернулся в Якутск для возобновления юридической практики, но в итоге получил назначение учителем в начальную школу Мегинского улуса, где проработал до конца мая 1920 года.

После объявления автономии Якутии, Ксенофонтов участвовал в реализации судебной реформы по новым советским декретам. В сентябре 1920 года был зачислен на факультет общественных наук Иркутского университета. В 1920–1923 гг. Ксенофонтов работал на должности ассистента в Иркутском Государственном Университете; его научным руководителем на первых порах был знаменитый российско-советский этнолог и антрополог Б.Э. Петри. В этот период ученый предпринял этнографическую поездку в Якутию, для сбора материалов по шаманизму и якутскому фольклору. Лето 1922 года он провел в Аларском аймаке Бурятии, изучая шаманизм у бурят. В 1923 г. уволившись из Иркутского университета, поступил на работу секретарем Северного отделения Якутского наркомата торговли и промышленности, чтобы иметь возможность жить за Полярным кругом и изучать шаманство окраинных якутов-оленьеводов. Прожил год в низовьях Лены в селе Кюсюр. За это время совершил этнографическую двухмесячную поездку к устью реки Оленек.

В октябре 1924 года Ксенофонтов вернулся в Якутск для продолжения изучения якутского фольклора, в октябре-декабре он предпринял ряд поездок по Кангаласскому улусу, уже в качестве научного сотрудника Наркомпроса. В феврале 1925 года Ксенофонтов отправился в Красноярский край для поиска новых материалов по верованиям и фольклору, а также для изучения шаманства тунгусов бассейна Нижней Тунгуски. Прибыв в июле 1925 года в Красноярск, он совершил месячную поездку в Хакасию для изучения быта, языка хакасов, а также в целях выяснения их этнического «родства» с якутами. Осень 1926 г. он прожил в Ленинграде, работая в библиотеках и музеях. В марте 1928 года по рекомендации Е.М. Ярославского

---

<sup>6</sup> Дьяконова Н.Н. Якутская интеллигенция в национальной истории. Новосибирск, 2002. С. 150-151.

Ксенофонтов выступил с докладом по шаманской вере якутов в научно-методической секции «Центрального Безбожника» в Москве. Летом 1928 года он прибыл в Верхнеудинск (совр. г. Улан-Удэ), а потом и в Иркутск, для подготовки к изданию законченных работ по шаманской вере якутов, бурят и тунгусов. С этого момента основным местом пребывания Ксенофонтова становится Иркутск. В данный период объем полевой работы значительно уменьшается, в течение ряда лет он работает над созданием нескольких крупных трудов, речь о которых пойдет ниже. Именно здесь в качестве сотрудника Иркутского областного краеведческого музея он впервые, в 1935 г. пишет свою полную автобиографию.

22 апреля 1938 года Г.В. Ксенофонтов был арестован в городе Дмитров Московской области органами НКВД по обвинению в принадлежности к контрреволюционной националистической организации в Якутии, как один из организаторов и руководителей «Союза федералистов»<sup>7</sup>. Приговором Военной коллегии Верховного суда СССР от 28 августа 1938г. осужден по ст. 58-1 «а», 58-8 и 58-11 УК РСФСР к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот же день. В 1957 г. Военной коллегией Верховного суда СССР приговор был отменен, Ксенофонтов Г.В. реабилитирован<sup>8</sup>.

В конечном итоге жизненный путь этнографа Ксенофонтова, как и многих его современников, окончился трагедией. Не менее трагичным образом складывалась и жизнь членов его семьи. Так, все пятеро братьев Гавриила Ксенофонтова – Павел, Константин, Иван, Аркадий и Илья в разное время и по разным поводам были подвергнуты репрессиям со стороны советской власти<sup>9</sup>.

В истории Дальнего Востока наиболее известен эпизод с участием Павла Ксенофонтова – организатора младоякутской советской социалистической партии «конфедералистов»<sup>10</sup>. В 1928 г. Павел Ксенофонтов был расстрелян.

Константин Ксенофонтов, окончив Иркутский педагогический институт, в 1920 г. стал заведовать подотделом исследования Якут-

---

<sup>7</sup> Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 159а: 12.

<sup>8</sup> Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 168: 1.

<sup>9</sup> Романова Е.Н. Г.В. Ксенофонтов: Миф о странствующем герое // Репрессированные этнографы. Вып. 2. М.: Восточная литература РАН, 2003. С. 79.

<sup>10</sup> Конфедералисты выдвигали идею о политическом самоуправлении якутского народа, вплоть до выхода из состава РСФСР и образования союзной республики в составе СССР. В конечном итоге деятельность конфедералистов привела к восстанию в 1927–1928 гг., ставшему одним из самых ярких эпизодов вооруженного сопротивления советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке.

ской губернии в Иркутске<sup>11</sup>. О Константине Ксенофонтове известно, что он эмигрировал в Харбин в 1922 г. после событий с ликвидацией повстанческого движения в Якутии, а затем в Америку, где в скором времени умер. 3 декабря 1924 года его имя упоминается в постановлении правительства Якутской АССР «О применении амнистии к эмигрантам якутам»: «Применить амнистию, объявленную манифестом Ревкома ЯАССР от 22 апреля 1922 г. к эмигрантам якутам, находящимся в Харбине: 1. Рязанскому Александру. 2. Новгородову Василию (Чинэкэ). 3. Кузьмину Г. 4. Хаютанову (Иванову). 5. Гаврильеву Ф. 6. Ксенофонтову Константину и 7. Никифорову Г.В. при чем использовать последнего на работе вне Якутии». Постановление подписали: Председатель ЯЦИК Ойунский, Секретарь Габышев»<sup>12</sup>.

Иван Ксенофонтов окончил два класса Якутского реального училища, в 1917–1928 гг. работал в Якутторге<sup>13</sup>. Арестован 14 апреля 1928 года, а Постановлением Коллегии ОГПУ от 1 июля 1929 года осужден по ст. 58 п.11 УК РСФСР к 10 годам лагерных работ на строительстве Беломорканала. Иван Ксенофонтов был реабилитирован 10 января 1994 года заключением Прокуратуры РС (Я) по Закону РФ от 18 октября 1991 года.

Аркадий – пятый сын в семье, окончил Московский механико-технологический институт, работал инженером группы рационализации “Энергопроекта” г. Москвы. 21 июня 1939 года осужден по Постановлению Особого Совещания при НКВД СССР на 5 лет – с правом переписки, местом отбывания наказания ему назначили Колыму. 1 ноября 1941 года Аркадий Ксенофонтов скончался от болезни, похоронен на кладбище лагерного пункта в пос. Усть-Таскан Ягоднинского района Магаданской области. 25 ноября 1957 года дело, сфабрикованное ПОС НКВД<sup>14</sup>, было прекращено «за отсутствием в действиях А.В. Ксенофонтова состава преступления»<sup>15</sup>.

Илья – младший из братьев Ксенофонтовых, скончался в 1919 г. после зверского избиения в тюрьме ЧК.

<sup>11</sup> Винокурова Л.Е. Г.С. Ефимов – один из первых руководителей Автономной Якутии (1920–1922 гг.) // Северо-восточный гуманитарный вестник (далее – СВГВ). 2017. № 2 (19). С. 49.

<sup>12</sup> Там же. С. 56.

<sup>13</sup> Якутторг – Якутская торговая организация.

<sup>14</sup> ПОС НКВД – Постановление Особого Совещания Наркомата внутренних дел.

<sup>15</sup> Харитонов П.Н. «Бухта Ногаево, почтовый ящик № 3, заключенному...» (О судьбе Аркадия Ксенофонтова) // Илин. 2002. № 3. С. 49-53.



Репрессии коснулись не только членов семьи Ксенофонтова, но и его коллег-ученых, а также близких друзей. Так, в тюремной больнице Новосибирска умер ранее арестованный близкий товарищ и единомышленник Г.В. Ксенофонтова, лидер дореволюционной якутской интеллигенции В.В. Никифоров; бывший научный руководитель Ксенофонтова Б.Э. Петри был расстрелян в 1937 г.

Иными словами, прямые репрессии (или их угроза) со стороны советской власти были вполне ощутимы и реальны для ученого, будучи неотъемлемым элементом его жизненного мира. Научная же биография Г.В. Ксенофонтова наглядно отражает интеллектуальный контекст раннесоветского общества, в котором идеология власти постепенно кодировала политическое, социальное и культурное пространство, не оставляя места инакомыслию.

### *Научное наследие Ксенофонтова и архивные материалы*

При жизни Ксенофонтову удалось опубликовать ряд заметных работ: «Легенды и рассказы у якутов, бурят и тунгусов» (1928); «Культ сумасшествия в урало-алтайском шаманизме. К вопросу об умирающих и воскресающих богах» (1929); «Хрестес. Шаманизм и христианство»; «Пастушеский быт и мифологические воззрения классического Востока» (1929); «Сошествие шамана в преисподнюю» (журнал «Воинствующий атеизм») (1931). Уже в иркутский период им были завершены три крупные монографии, посвященные проблемам этногенеза и истории народа саха: первый том «Ураангхай сахалар», «Эллэйада. Материалы по мифологии и легендарной истории якутов», «Моисей пастушеского быта (опыт сравнительного изучения библейских и якутских мифов о прародителях народа)».

В 1937 г. выходит первый том его фундаментального исследования «Ураангхай сахалар», посвященный очеркам древней истории якутов. Это было необычное исследование по национальной истории «окраинных» народов СССР, написанное в жанре репрезентации разных дискурсов этничности. Но второй том он так и не успел завершить. Многие труды Г.В. Ксенофонтова, посвященные изучению мифов кочевых народов, ветхозаветных сюжетов и христианства, так и остались неопубликованными: «Миф об умирающем и воскресающем Боге» (1927), «Библия по Иосифу Флавию» (1928), «О важнейших якутских и библейских мифологических параллелях. Библейские мифы у якутов» (1938), «Миф о сыне божием у якутов, древних турок и монголов» (1938). Трудно судить, насколько невозможно было представить каждую из этих публикаций в условиях сталинского СССР. Но можно предположить, что такого рода цензура (или самоцензура?) в случае с Ксенофонтовым во многом была

связана с дискуссией по поводу его работ, возникшей в рядах советских безбожников в конце 1920-х – начала 1930-х гг.

В 1949 г. фольклористу Г.У. Эргису стало известно о существовании архива Ксенофонтова в городе Дмитрове<sup>16</sup>. Эта новость вызвала оживленный интерес среди московских ученых-якутоведов: С.А. Токарева, Б.О. Долгих, И.С. Гурвича и А.П. Окладникова. Тем не менее, в Якутск архив ученого попал лишь в 1958 г., где в течение следующих двух лет сотрудники Института языка, литературы и истории ЯФ СО АН СССР составляли архивную опись материалов. В 1965 г. научный сотрудник института П.Е. Ефремов обнаружил изданную рукопись Ксенофонтова «Эллэйада» на 465 листах в архиве «Союзкнига» Госкомитета Совета Министров СССР по печати в Москве. Этот ценный труд ученого был передан Комитетом по печати в научный архив Якутского филиала АН СССР. До обнаружения рукописи «Эллэйады» сотрудники Института Н.М. Алексеев и П.Е. Ефремов подготовили к публикации сборник «Материалы по фольклору и верованиям якутов» (на русском языке) объемом в 520 страниц машинописи.

Научный архив Ксенофонтова состоит из двух крупных разделов: 1) творческие материалы; 2) коллекции /полевые материалы. Полевые записи Г.В. Ксенофонтова составляют более 20 тысяч листов, написанных карандашом и чернилами с обеих сторон листа, которые трудно читаемы, требуют особой расшифровки. Все записи паспортизованы – указаны, где, когда, от кого записаны. В рукописном научном наследии Ксенофонтова насчитывается около 30 наименований неопубликованных статей и отдельных трудов по евразийству: «Скифы с берегов Лены»; «Географические условия страны, имеющей отношение к истории якутов. Три речные области: Селенга, Ангара, Лена и озеро Байкал»; «Скотоводство как источник войн, развития народного эпоса, культа ездовых животных и кузнечного искусства»; «Распространение кочевой культуры» и др.). Определенная сложность работы с материалами архива связана с тем, что по одному и тому же вопросу часто встречается несколько дел. Ксенофонтов разрабатывал одну научную тему в течение нескольких лет, давая в разные годы разные наименования, например, подготовленные наброски и черновики к введению «Эллэйады» насчитывают 13 названий.

Удивительным образом в Европе 1930-х гг. стали известны работы Ксенофонтова по шаманизму. Так, профессор Р. Бляйхштайнер из Вены перевел на немецкий язык три основных труда якутского эт-

<sup>16</sup> Эргис Г.У. О научной деятельности и рукописном архиве Г.В. Ксенофонтова // Очерки истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. Вып. 8. М., 1978. С. 122-141.

нографа, изданных до 1935 года. Позднее его ученики проф. А. Фридрих и проф. Г. Буддрусс опубликовали с комментариями перевод «Легенды и рассказы шаманов у якутов, бурят, тунгусов»<sup>17</sup>. В 1998 г. данный труд был переиздан издательством Zerling Clemens. В 1958 г. рукописи Г.В. Ксенофонтова были отправлены в СССР из Австрии, при посредничестве Австро-советского общества культурных связей и вдовы покойного профессора Бляйхштайнера – Алисы Бляйхштайнер. В Республике Саха (Якутия) имя и интеллектуальное наследие Ксенофонтова вернулось в общественное пространство лишь в начале 1990-х гг. вместе с именами других репрессированных представителей якутской национальной интеллигенции. Особую популярность обрела в эти годы его работа «Легенды и рассказы о шаманах у якутов, бурят и тунгусов», переизданная в 1992 г. в Якутске.

Данное исследование является результатом работы с рукописным наследием Г.В. Ксенофонтова и основано на широком комплексе неопубликованных эго-документов ученого: черновиков, писем, записок и др. Эти документы в значительной степени позволяют шире взглянуть на интеллектуальный и идеологический контекст, в котором существовал не только сам Ксенофонтов, но и другие ученые из «национальных» периферийных регионов.

#### ***«Инаковость» Г.В. Ксенофонтова в советской этнографии***

Научные идеи Г.В. Ксенофонтова имеют множество параллелей с концепцией русского евразийца Г.В. Вернадского, где важное значение имеет тезис об определяющем влиянии географической среды на историческое развитие проживающих в ней человеческих обществ<sup>18</sup>. Одним из ключевых положений концепции Ксенофонтова стал тезис о том, что история «двигается» за счет различных «сценариев» завоевания, миграции, смешения народов и культур, а не социально-экономического развития самих народов. Кроме того, движение истории народов циклично и повторяет определенные круги развития<sup>19</sup>. Развивая в своих исследованиях, проблему освоения человеком природных ландшафтов и способов хозяйствования, Ксено-

<sup>17</sup> Legenden und Erzählungen von Schamanen bei Jaukuten, Burjat und Tungusen / Gesammelt von J.K. Ksenofontov // Schamanen geschichten aus Sibirien Broschiert / Aus dem Russisch übersetzt und eineleitet von Adolf Friedrich und Georg Buddruss. Otto Wilhelm Barth-Verlag JMBH Munchen-Planegy, 1955.

<sup>18</sup> Андреев А.Г. Историческая концепция евразийства Г.В. Вернадского // Россия: прошлое, настоящее, будущее: материалы Всероссийской научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 16–19 декабря 1996 г.) / Отв. ред. М.С. Уваров. СПб.: Изд-во БГТУ, 1996. С. 101.

<sup>19</sup> Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 20а: 630.

фонтов опирался и на труды немецких этнологов. Важным интеллектуальным контекстом его работ послужили утверждения немецких ученых (Ф. Ратцеля, В. Шмидта, Л. Фробениуса, Ф. Гребнера) о приоритете пространственного фактора в развитии культуры, прежде всего, кочевых народов в случае Ксенофонтова.

Учёный первым стал изучать этногенез народа саха (якутов) в рамках общей истории Евразии: «...Материалы по древней культуре якутов являются совершенно новой и довольно богатой категорией научных источников по ориенталистике вообще, которые в дальнейшем, несомненно, сыграют очень большую роль в деле изучения культурной истории всех пастушеских народов Центральной Евразии. Их исключительная ценность обуславливается тем обстоятельством, что якуты не попали в сильнейший водоворот исторических событий, сопровождавших образование империи Чингис-Хана. В эту эпоху почти до основания разрушилась самобытная пастушеская культура степных народов турецкого происхождения, которая складывалась в течение многих тысяч лет внутри монгольских степей в процессе постоянного взаимодействия с оседлой китайской цивилизацией»<sup>20</sup>.

В письме, адресованном якутскому ученому и общественно-политическому деятелю П.А. Ойунскому, Ксенофонтов транслирует идею «перевода» региональных сюжетов в общемировой исторический контекст: «...древняя история якутов смыкается с общей древнетюркской историей. Многие мои друзья вообще советовали мне заняться разработкой древне-турецкой истории на базе якутских материалов. Эта мысль мне лично нравится. И если бы мне удалось овладеть современной казахской этнографией, хотя бы, в той же мере, в какой я знаком с бурятской, то задача написания истории центральноазиатского номадизма, думаю, для меня не будет особенно трудной. Главная преграда, конечно, язык, но, однако изучение языка казахов для якута вряд ли представило бы задачу-головоломку...»<sup>21</sup>.

Изучением мира кочевников Ксенофонтов планомерно занимался вплоть до своей гибели. В своей неоконченной работе «Заметки об исчезнувшей культуре степей» он делает важный вывод о существовании нескольких центров развития человечества, выделив в качестве одной из них территорию современной Сибири: «Сибирь – часть Евразии, огромная по протяженности территория, по которой передвигались разные народы, занимавшиеся разведением крупного рогатого и мелкого скота, путь естественного сообщения между дальним

<sup>20</sup> Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 59а: 24.

<sup>21</sup> Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 152: 6.

востоком и крайним западом, колыбель единой общей праазиатской культуры»<sup>22</sup>. Эта мысль во многом резонирует с идеями, высказанными евразийцами, в частности с П.Н. Савицким. К этому времени большинство представителей евразийского движения эмигрировали из России, их работы считались запрещённой литературой, и Ксенофонов уже не мог их открыто цитировать (в научной библиографии Ксенофонтова отсутствует ссылочный аппарат на труды евразийцев). Тем не менее создается впечатление, что на страницах своих неизданных заметок по степной культуре он полемизирует с «невидимыми коллегами», идейными лидерами евразийства. В архиве ученого существует запись с выделенным красным карандашом заголовком «Метод универсального обхвата и глубинного конкретного описания в этнологии. Осевые народы»: «Везде и всюду есть осевые народы, которые используя выгоды своего географического расположения, различные материальные преимущества своей страны, ее центральное командующее положение оказывались сильнее других и служили образцом для подражания. Народы-передовики пролагали дорогу, а за ними в хвосте плелись другие, как в стае гусей передний рассекает воздух, а за ним по следам летят и остальные члены гусиной семьи»<sup>23</sup>.

В 1920-х гг. ученый проявил себя как талантливый «полевик». И критики, и доброжелатели единодушно подчеркивают ценность этнографического материала (в особенности по шаманизму), собранного Ксенофоновым в ходе полевой работы в Якутии и Бурятии. Как и многим советским этнографам, Ксенофонову также была свойственна, по выражению Д.В. Арзютова и С.А. Кана, «навязчивая идея умирания культуры, фиксации “последнего”...»<sup>24</sup>. Отсюда возникает попытка «спасти изучаемую культуру», поскольку существует угроза ее исчезновения, что во многом повлияло на интенсивность полевой работы Ксенофонтова в 1920-е гг. Но здесь ему предстояло опять же столкнуться с вопросом о своем происхождении и собственной этнической идентичности. Очевидно, что важным преимуществом Ксенофонтова как полевика было его происхождение. Для якутских информантов он был своим, без языкового и культурного барьера. Для информантов из Бурятии или Хакасии он был ближе, чем этнограф из Москвы или Ленинграда. Но такого рода приближенность к предмету исследований становилась и потенциальной опасностью, «...из высказанных им положений на странице 7-ой можно сделать вывод, что он

<sup>22</sup> Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 57: 1.

<sup>23</sup> Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1256: 96.

<sup>24</sup> Арзютов Д.В., Кан С.А. Концепция поля и полевой работы в ранней советской этнографии // Этнографическое обозрение. 2013. № 6. С. 58.

даже, по-видимому, до некоторой степени симпатизирует шаманам»<sup>25</sup>. Во многом именно тема шаманов наиболее ярко демонстрирует инаковость Ксенофонтова в рамках советской этнографии и движения безбожников, зародившегося в СССР в 1920-х гг. Разнообразный шаманский материал якутов, тунгусов и бурят, переработанный в теоретические труды «Легенды и рассказы о шаманах у якутов, бурят и тунгусов» (1928); «Хрестес. Шаманизм и христианство» (1929); «Культ сумасшествия в урало-алтайском шаманизме» (1929); «Пастушеский быт и мифологические воззрения классического Востока» (1929) позволил Ксенофонтову утверждать, что мировые религии в значительной мере вобрали в себя оригинальные сюжеты шаманских текстов.

*Умиравший бог, шаманы и безбожники*

10 марта 1928 г. на заседании научно-методической секции Центрального бюро Союза воинствующих безбожников в Москве Ксенофонтов представил хрестоматийный доклад «Христианские мотивы в урало-алтайской мифологии или миф об умирающем и воскресающем боге»<sup>26</sup>. В докладе сибирский ученый тезисно указал на существование связи между ранним христианством и религиозными культурами степных кочевников, при этом коснувшись основных научных и богословских подходов к проблеме историчности Иисуса Христа. Этим докладом Ксенофонтов во многом ставил под сомнение состоятельность научных теорий советской атеистической пропаганды. По всей видимости, сам Ксенофонтов не ставил перед собой «разоблачительских» задач, и к выводу о несостоятельности некоторых построений советских атеистов пришел без какого-либо особого расчета. Однако советских марксистов эпохи, принимавших в то время участие в формировании советской модели изучения раннего христианства, объединял важный принцип: восприятие религии как производного от общественно-экономических процессов эпохи, не имеющего, соответственно, своей истории<sup>27</sup>. Ксенофонтов же смотрел на происхождения христианства через совершенно иную оптику, проводя параллели с мировоззренческой основой сибирского шаманизма через идею умирающего (страдающего) бога, чьим прообразом служит ездовое животное. Ксенофонтов строил схему, начиная с культа собаки (прирученного волка) за Полярным кругом, затем

<sup>25</sup> Урсынович С.Л. О сборнике Г.В. Ксенофонтова «Легенды и рассказы о шаманах у якутов, бурят и тунгусов» // Антирелигиозник. 1929. № 6. С. 109.

<sup>26</sup> Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 159: 7.

<sup>27</sup> Метель О.В. Советская модель изучения первоначального христианства (1920–1990 гг.). Омск: Полиграфический центр КАН, 2012. С. 47.

она продолжалась оленем в таежной полосе, далее переходила к быку в Центральной и Передней Азии, и затем к лошади в центральноазиатских степях. В свою очередь, в странах классического Востока лошадь сменялась культом человека-раба. Предложенные Ксенофонтовым схемы не могли вызвать одобрения со стороны советских «коллег-атеистов» и в дальнейшем стали предметом агрессивной критики вместе с фигурой самого автора.

Основная проблематика религиозоведческих работ 1920–1930-х гг. в СССР была тесно связана с практической работой по проведению атеистической пропаганды среди населения. В 1920-е гг. проблема происхождения христианства трактовалась с позиций анимистической теории, которой, по словам А.Т. Лукачевского, несмотря на отдельные различия в понимании материала, придерживались 99% советских марксистов<sup>28</sup>. Этот главный тезис антирелигиозников был провозглашен известным пропагандистом В.С. Рожицыным<sup>29</sup>. Ксенофонов же впервые обратился к традиционному мировоззрению сибирских народов как тотальному тестированию мировой религии, в основе бытийной культуры которой, по мнению ученого, выступал шаманский код. В 1920-х гг. Центральный совет «Безбожника» поставил первоочередной задачей изучение шаманизма у туземцев Сибири. Г.В. Ксенофонов, имевший опыт полевой работы с якутскими и бурятскими шаманами, откликнулся на призыв Союза изыскать и исследовать материалы по шаманизму народов Сибири для целей антирелигиозной пропаганды<sup>30</sup>. Сотрудничество Ксенофопова с Союзом воинствующих безбожников, стала для него своего рода адаптацией к новой советской реальности. Влившись в круг внештатных специалистов Союза, Ксенофонов не предполагал, что его труды создадут альтернативный дискурс, который в свою очередь вызовет ожесточенную критику. Он, по сути, не только представил научному сообществу Союза воинствующих безбожников свое видение организации антирелигиозной пропаганды в СССР, но также предложил авторскую концепцию происхождения мировых религий, разработанную им на принципах корреляции с основами сибирского шаманизма. Ксенофонов таким образом призывал обратить внимание на универсальный фольклорный пласт архаичных текстов, характеризую-

---

<sup>28</sup> Метель О.В. Проблема происхождения религии в советской историографии 1920–30-х гг. // Журнал Белорусского государственного университета. История. 2017. № 4. С. 29.

<sup>29</sup> Там же. С. 30.

<sup>30</sup> Урсынович С.Л. О работе Г.В. Ксенофопова «Хрестес. Шаманизм и христианство» // Антирелигиозник. 1930. № 2. С. 116.

щий религиозные воззрения и мифы самых разных народов земного шара, переживающих различные стадии своего культурного развития.

В основе позиции Ксенофонтова лежал тезис о доминирующей роли кочевников-коневонов в развитии мировой культуры и религии. В подтверждение этому, автор проводил сравнительные корреляции, например, с сакральностью цифры “3” у кочевников и христианской «троицы» (например, шаман «умирает» три дня). Другая параллель – крест, символизирующий светлое начало у урало-алтайских народов. Еще более яркая параллель выводится Ксенофонтовым из материалов о становлении шаманов. Прежде, чем стать шаманом, человек сильно болеет, сталкивается с галлюцинациями, в рассказах самих шаманов постоянно упоминаются такие образы как потеря глаз, разрезание тела на части, потеря крови. Этот опыт «умирания» и последующего «воскресения» шамана Ксенофонтов считал универсальным и архаичным, чтобы объяснить «суть» более молодого христианства: «Вот и весь секрет умирания и воскресания азиатского “сына божьего”»<sup>31</sup>.

Иисус Христос описывается как преемник архаичной шаманской традиции и предстает у Ксенофонтова в качестве «врачевателя болезней» и «изгонителя бесов»<sup>32</sup>. Ту или иную форму религии, будучи марксистом, Ксенофонтов связывает с разными формами хозяйства. При этом внутреннее содержание шаманизма связывается с рядом феноменов нездоровой психики. Иными словами, шаман, по Ксенофонтову, не шарлатан – психическое переживание (болезнь) для него вполне реально. В рамках советского атеистического дискурса, который наглядно представлен в сборнике «Воинствующее безбожие в СССР за 15 лет» представить такое невозможно. В той же работе Ксенофонтов был вынужденно оговариваться, относя этот психический опыт в значительной мере к прошлому: «В современном же туземном быту только в наиболее отсталых и глухих районах, где отсутствуют удобные средства передвижения и очень мало проникают продукты современного высшего фабрично-заводского производства в виде переживания существуют еще душевнобольные шаманы. В густонаселенных и богатых районах среди якутов и бурят древнее шаманство выродилось в выгодную профессию – легкого добывания средств к существованию, к игре на темноте народных масс»<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> Ксенофонтов Г.В. Культ сумасшествия в Урало-Алтайском шаманизме: (к вопросу об “Об умирающем и воскресающем боге”) / Предисл. А.П. Окладникова. Иркутск, 1929. С. 12.

<sup>32</sup> Там же. С. 18.

<sup>33</sup> Там же. С. 13.



Несмотря на такого рода оговорки и постоянные ссылки на Карла Маркса, безусловно, подход Ксенофонтова к исследуемой проблематике, вызывал у многих советских безбожников резкое неприятие. В 1929–1930 гг. последовали публикации С.Л. Урсыновича, И.А. Косокова, В.К. Никольского, критикующие труды Ксенофонтова на страницах журналов «Воинствующий атеизм» и «Антирелигиозник». Вот один из характерных примеров: «Наше пожелание: пусть т. Ксенофонтов и впредь собирает свои ценные фактические материалы по культу умирающих и воскресающих богов в сибирском шаманизме; в своих же теоретических работах по истории религии не спешит с широкими обобщениями и выводами, поскольку они не вытекают со всей убедительностью и ясностью из собранного материала, а являются догадками и предположениями»<sup>34</sup>.

Угроза репрессий, отсутствие творческой свободы и наличие идеологической цензуры создавали ситуацию двоемыслия. В неофициальной непубличной переписке отношении Ксенофонтова к предмету своих исследований представало совершенно в ином свете:

«[...] теперь на просторе Сибири не перестают открыто и публично возносить моление своему богу все «высшие» религии – как христианство, ламаизм и магометанство, а собственно – шаманская религия, совершенно отличная от шаманства колдунов-лекарей, совершенно оплеванная и приниженная пред лицом высших религий лежит во прахе и в данное время нигде в пределах Сибири нигде нельзя услышать и видеть в натуре жреца скотоводческих народов Сибири, который совершал бы службу пред невидимыми силами природы, произрастающей траву для его скота и дающей ему молоко для его детишек. Это случилось по той простой причине, что в сознании туземцев исповедание ими своей старой религии превратилось в явное контрреволюционное преступление против советской власти, невзирая на его декрет о свободе в пределах союза исповедания любой религии, если она не приносит вреда здоровью граждан. (Спрашивается, какой вред здоровью могла бы принести молитва жреца скотовод[ческого] быта на лоне открытой природы, где даже не приходится не нарушать тишину и спокойствие кого-либо. Этим мы не хотим сказать, что религию скот[оводческих] народов нужно было законсервировать и сохранить на все времена, что теперь для туземной массы, ищущей какого то религиозного утешения и веры в какие-то благодетельные силы природы (пусть они для нас людей образованных безличны и подчинены всякой механики и орган[изации] законов, но для неразвитой массы, не выходящей из сферы сельскохоз[яйственного] труда они

---

<sup>34</sup> Урсынович С.Л. О работе Г.В. Ксенофонтова... С. 117.

еще не изжиты и существуют), не остается иного пути как идти в лоно христианства, ислама и ламаизма, существование которых не признается явно прогивозаконным и по крайней мере терпимым). Иначе говоря, правый уклон в борьбе с шаманством широко распахнул двери «высших» религий пред туземными народами Сибири или загнал окончательно не вылеченную болезнь богоискательства во внутрь, тем самым, не исключая возможности при благоприятных условиях рецидивов религиозности недостаточно просвещенной массы.

[...] Нельзя ставить великие религии в более выгодное положение по сравнению с естественными религиями скотовод[ческого] быта Сибири, нельзя подходить с разным аршином к попу, мулле, ламе, чем к шаману жрецу. Пред лицом советской марксистской власти все религии равны. Нельзя нападать на одних сильнее, а других возвышать в глазах трудящихся, чтобы тем самым не гнать людей в лоно этих более организованных религий, могущих использовать все декреты, законы и проч[ее] Сов[етской] власти. Вот это истинно марксист[ского] и атеистического отношения к первобытной сибир[ской] скот[отоводческой] религии наши антирелигиозники абсолютно не проявили, перенеся на этих шаманов обычное зубоскальство правосл[авных] миссионеров. Ясно, конечно, что при таком отношении к шаманизму, и не может быть правильного научного использования шаманизма для борьбы с великими религиями с точки зрения показа эмбриологии религии»<sup>35</sup>.

Этот текст вполне наглядно демонстрирует, насколько тесным и сложным образом в сознании ученого переплетаются марксистская идеология и собственная этническая идентичность. Знаменитая советская атеистическая формула «религия – орудие классового угнетения»<sup>36</sup> явно теряет для Ксенофонтова свое всеобъемлющее универсальное значение:

«Нельзя забывать, что все грозные завоеватели и организаторы различных царских династий выходили из среды скотоводческих народов, следовательно, и шаманистов. Смотреть на сибирский шаманизм как на какую-то дичь, значило бы солидаризироваться с деятелями русского православия и воинствующего миссионерства, которые суть шаманизма усматривали в якобы в поклонении бесам, служении болванчикам и пляске пред духами. Но эти православные «болванчики» не ведают того, что до появления усовершенствованного алфавита и портативных книг нигде на земном шаре не могло быть религии, которая не характеризовалась бы

<sup>35</sup> Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 61: 12-15.

<sup>36</sup> Ярославский Е.М. Ленинизм против религии // Воинствующее безбожие в СССР за 15 лет. 1917–1932. С. 9.

упомянутыми тремя признаками. Так было, несомненно, у древних евреев, у греков, у ассириян, вавилонян, египтян и т.д., ибо без развитой письменности только при помощи священного экстаза, усиленного телодвижения и разных других вспомогательных приемов жрец бы воспроизводить свои длиннейшие молитвы, сложенные обычно стихами. Он обязан был одновременно быть и поэтом импровизатором, способным знать на память все то, что певалось<sup>37</sup> с ископков веков... Итак, религии всего мира нужно делить на две стадии: на религию устную, это есть шаманизм, и письменную, это есть великие религии. Первый есть суть религии вообще, а второй есть заключительный этап, особая форма ползучего существования религии без живого огня внутри»<sup>38</sup>.

Жрец для Ксенофонтова является фигурой более близкой, нежели священник или лама. При этом в тексте очевидным образом заметна защитная, адвокатская интонация, по-видимому, связанная с профессиональным прошлым автора. Можно также сомневаться в том, насколько для Ксенофонтова шаманизм может быть и использован исключительно утилитарно, для «борьбы с великими религиями». По всей вероятности, шаманизм и сам по себе также имеет для Ксенофонтова большую ценность, поскольку способен продемонстрировать «эмбриологию религии».

### *Обратная сторона медали*

Публичная дискуссия, вызванная тезисами и аргументацией Ксенофонтова, имела под собой еще один уровень, зафиксировать который практически невозможно, если опираться на опубликованные материалы полемики между Ксенофонтовым и «воинствующими безбожниками». Тем не менее эго-документы Ксенофонтова наглядно проливают свет и на этот отдельный пласт. После прочтения этих документов складывается впечатление, что советские безбожники, по крайней мере, в условиях Сибири, существовали в двух отдельных, мало связанных между собой реальностях. Одно дело официально-публичная риторика, наполненная пафосом борьбы с «пережитками» прошлого, другое дело – повседневная жизнь.

Так, например, безбожник И.А. Косоков обвинял Ксенофонтова в том, что тот настаивал на прекращении антирелигиозной пропаганды среди бурят, чтобы спасти умирающее шаманство<sup>39</sup>. Между тем, Ксенофонтов отмечает, что с 1928–1929 гг. во всех газетах в республиках ЯАССР и БССР, появляются объявления от имени шаманов о

---

<sup>37</sup> Так в тексте Г.В. Ксенофонтова.

<sup>38</sup> Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 132: 346.

<sup>39</sup> Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 131: 377.

том, что они отныне не шаманы и полностью порывают со своим прошлым, раскаиваются в том, что обманывали народ и т.д. «Читая подобные объявления, мы, однако, отнюдь не разделяем наивные убеждения тов. Косокова, что сибирские шаманы образумились благодаря антирелигиозной пропаганде Областных советов безбожников, лекций и докладов тт. Косоковых и т.д.»<sup>40</sup>. Ксенофонов же связывает эту тенденцию с наступлением советской власти на «кулаков» (зажиточных крестьян).

Шаман приравнялся местной администрацией к «кулаку» и подвергался завышенному налогообложению. И поскольку шаманы были полноценными членами общины и обладали скотом и посевными площадями, то отрешивались от своего статуса. Также Ксенофонов указывает, что бурятские шаманы приносили в жертву скот, и более ранние декреты советской власти, запрещающие убий молодняка, также нанесли удар по шаманизму в Бурятии, «ибо отправление ими своей службы стало уже сочетаться с явным и уголовно наказуемым преступлением»<sup>41</sup>. Фактор же антирелигиозной пропаганды, по мнению Ксенофонтова, в борьбе советской власти с шаманизмом в практическом измерении оказывался ничтожным: «Антирелигиозная пропаганда фактически в сельских районах нигде не велась, да и не могла вестись за отсутствием подготовленных кадров, грамотных людей не хватало в первое время»<sup>42</sup>. Более того, из эго-документов Ксенофонтова в какой-то мере становится видимой изнанка работы советских безбожников в Восточной Сибири.

Так, в одном из его документов речь идет о бурятском шамане Михаиле Степанове. Еще в 1925 г. этот шаман активно практиковал в Басаевском улусе Бурятии и стал одним из информантов Ксенофонтова. Далее он приводит текст «служебной записки», в которой атеист Косоков в дружественной манере просит шамана Степанова посодействовать Ксенофонтову и поделиться с ним своими знаниями: «Очевидно, (...) т. И. Косоков и все шаманы там совсем не мешали друг другу, будучи – каждый занят своим делом: Шаман Степанов в 19 км от Ай-города (бывш. Усть-Орда) ежедневно отправлял свои требы, и т. Косоков тоже ежедневно был занят, конечно, своими служ[ебными] обязанностями»<sup>43</sup>.

Несомненно, такое двоемыслие и лицемерие Косокова вызывало со стороны Ксенофонтова полное неприятие. Более того, в Бурят-

<sup>40</sup> Там же. Л. 378.

<sup>41</sup> Там же. Л. 378.

<sup>42</sup> Там же. Л. 379.

<sup>43</sup> Там же. Л. 379.

ской республике атеистическая пропаганда и не проводилась – такое устное замечание было им сделано в Верхнеудинске в ходе выступления на заседании научно-методического совета «Безбожник» в марте 1928 г. В дальнейшем эти слова были вырваны его оппонентами из контекста. Именно это высказывание ученого неоднократно подверглось критике первоначально в книге его оппонента И.А. Косокова, а затем было процитировано С.Л. Урсыновичем, Н.М. Маториным и В.К. Никольским. При этом ученые-безбожники, вступая в конфликт с Ксенофонтовым, привносят в него имперскую традицию европоцентризма: в статьях звучало высокомерное обращение: «якут Ксенофонтов...». Такого рода высокомерие на теоретическом уровне подтверждалось постоянными упреками в «пан-азиатизме»<sup>44</sup>.

В неопубликованных материалах Ксенофонтова, помимо всего прочего, поражает откровенность, с которой он говорит о существовании ксенофобии в среде советских ученых и безбожников, несмотря на официальные советские декларации об «интернационале» и «дружбе народов». К слову, наглядное представление о состоянии межэтнических отношений и существовании великорусского шовинизма в первые годы советской власти в Восточной Сибири можно получить из статьи в журнале «Жизнь Бурятии»<sup>45</sup>.

В предисловии к брошюре Г.В. Ксенофонтова «Культ сумасшествия в урало-алтайском шаманизме» А.П. Окладников писал: «Ссылка на авторитет К. Маркса не скрывает бессознательного, быть может, стремления вывести всю культуру от берегов Ледовитого океана, что напоминает труды сторонников культурного превосходства арийцев. Хотя в данном случае пан-азиатская тенденция и обусловлена естественной реакцией на традиции ученой и неученой русификаторской мысли и административной практики старого времени, но для марксиста пан-азиатская тенденция не приемлема в равной мере как пан-арийская»<sup>46</sup>. Обвинение в «пан-азиатизме» могло иметь для Ксенофонтова ряд серьезных последствий, и можно лишь догадываться, насколько со стороны Окладникова такого рода вывод был искренним, а насколько продиктован недобросовестной конкуренцией. К тому же

<sup>44</sup> Косоков И.А. К вопросу о шаманстве в Северной Азии. М.: Безбожник, 1930. С. 9, 13; Урсынович С.Л. О работе Г.В. Ксенофонтова... С. 116; Никольский В.К. Является ли магия религией // Воинствующий атеизм. 1931. № 12. С. 93; Маторин Н.М. Современный этап и задачи советской этнографии // Советская этнография. 1931. № 1–2. С. 33.

<sup>45</sup> Ибрагимов Ш. О проявлении великорусского шовинизма и местного национализма в Бурят-Монголии. Жизнь Бурятии. 1929. №5. С. 17-18.

<sup>46</sup> Ксенофонтов Г.В. Культ сумасшествия... С. 4-5.

не будем забывать, что Ксенофонов не понаслышке знал об угрозе репрессий со стороны советского государства. Реакция ученого на эти обвинения была острой и сильной. На примере публикаций тех лет можно наглядно проследить процесс превращения института оппонирования в науке в насильственный акт расправы над инакомыслием. В приведенных ниже фрагментах из письма одному из лидеров движения безбожников в СССР А.Т. Лукачевскому, Г.В. Ксенофонов эмоционально, резко и недвусмысленно заявляет о своей позиции:

«...О степени развития русской агрессивности в отношении народов Сибири можно судить по тому красноречивому факту, что даже после Октябрьской революции автору этих строк, якуту по происхождению, занятому изучением шаманистической религии своего народа в течение 15 лет, не разрешалось делать никаких теоретических выводов из добытых им материалов, а преподносить их в сыром виде центральным работникам. Это оригинальное право последних возможно сопоставить только с "...» давно прошедшего средневекового феодализма. Так как этот своеобразный "ясок" этнографическим сырьем обосновать теперь теоретически было невозможно, то авторы этого запрета обычно прибегали к методам разного запугивания: то в моих теоретических выводах оказался «паназиатизм» (по отношению происхождения трех великих религий Азии этот термин звучит не особенно умно), то уклон к местному патриотизму (очевидно, авторы этого жупела запрещают мне от какой бы то ни было критики всех старых теорий, в которых отразилось угнетение царизмом малых народов. Они смазывают повышение национального самосознания малых народов, что является естественным последствием самой революции. <...>

Не подлежит никакому сомнению, что дело здесь не в «паназиатизме», а просто в «АЗИАТИЗМЕ», что ненавистно, абсолютно не приемлемо для тех, кто не успел смыть с лица своего весь остаток той грязи, которая проповедовалась и пристала еще при старом режиме. Речь идет, следовательно, о страшной ненависти и органической неприязни старо-русского образованного общества к народам МОНГОЛО-АЗИАТСКОГО внешне-обличия, которые к великому несчастью для многих разбужены теперь шумом революции, ее призывными кличками и лозунгами о национальном равноправии, ее императивным (а не империалистическим, конечно) требованием по адресу малых и прежде угнетенных племен и наций, какой бы цвет кожи, глаз, волос они не имели, какова бы ни была у них форма носов, черепных указателей и т.д., НЕМЕДЛЕННО ПРОСНУТЬСЯ И ПРЕДЪЯВИТЬ ВСЕ СЧЕТА, КОТОРЫЕ НАКОПИЛИСЬ У НИХ ПО ЧАСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО УГНЕТЕНИЯ ВСЯКОГО РОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ, КОНЕЧНО, И В ОБЛАСТИ НАУКИ ИСТОРИИ, КОГДА ЗАХВАТЫВАЛИСЬ САМЫЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЗАКОНЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ И

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛОГИКИ и совершенно СМАЗЫВА-  
ЛАСЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ НАРОДОВ НЕ-ЕВРОПЕЙСКОГО  
ОБЛИЧИЯ в КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ<sup>47</sup>. <...>

Представителям старо-русского общества, конечно, хотелось бы, чтобы и теперь при социализме и коммунизме эти ненавистные им прежде народы азиатского обличия явились с не гордо-поднятыми головами равноправных участников этого пира, которые уже раньше внесли в общую сокровищницу знаний и технических навыков причитающийся на их долю пай трудовых затрат, нет, чтобы они явились в качестве жалких дикарей и презренных нищих, которым ПОДАЮТ ТЕПЕРЬ незаслуженное ими, которым БЛАГОДЕТЕЛЬСТВУЮТ теперь БЛАГОРОДНЫЕ и имеющие культурные заслуги народы. Вот где “зарыта собака”, вот где источник того истинного оглупления, которое обнаруживают теперь всякие Окладниковы и Урсыновичи, когда они читают труды т. Ксенофонтова, который хочет доказать, что эти самые монголы – по внешнему обличению уже давным-давно РАССЧИТАЛИСЬ и РАСКВИТАЛИСЬ пред хранителями этого фондового капитала культуры, что свои паи они давно заплатили и что теперь они должны быть допущены к коммунистическому столу без причинения всяких преград, без всяких упреков, что им подаются незаслуженные ими куски, что им благодетельствуют.

т. Окладниковы и Урсыновичи страшно боятся, что Ксенофонтову эта задача легко удастся, ибо он не только хороший этнограф, получивший к тому марксистскую закваску, но и недурной адвокат и юрист по образованию и по прошлой профессии. Вот чего испугались Окладниковы и Урсыновичи и вот почему они попытались взять в руки некую дубину, именуемую ими ПАНАЗИАТИЗМОМ, чтобы прогнать этого Ксенофонтова со всей его этнографией и адвокатским искусством. Но увы, Ксенофонтов не может бояться этой самой дубины, ибо он не только этнограф и бывший юрист, но и очень неплохо понимает, что такое революционное право, обязанность и дисциплина. Для Ксенофонтова ясно как майский день, как первомайский праздник рабочего класса, что эта дубина Окладникова и Урсыновича есть только пугало для ворон, для детей и для идиотов и имя ему не «паназиазм», а ПАН-ИДИОТИЗМ. Если дело обстоит так, то как же т. Ксенофонтов может бояться этого «паназиазма», когда ему хорошо известно, когда он точно знает, что революцию делают и правят ею такие люди, которые отстают столь же далеко от этого паназиазма – как небо от земли...»<sup>48</sup>.

В контексте этих неопубликованных материалов творчество этнографа обретает совершенно новое измерение. Из «полевика», соби-

<sup>47</sup> Автор письма выделяет отдельные фразы и слова заглавными буквами.

<sup>48</sup> Архив ЯНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 132: 2-10

рателя ценного материала, осмеливающегося делать робкие обобщающие выводы, он становится фигурой, борющейся за собственную профессиональную и этнокультурную идентичность. В этом можно также увидеть и попытку обрести собственную субъектность, путем избавления от колониального статуса, заключенного в необходимость платить «ясак» этнографическим сырьем. Система отношений между центром и периферией после Октябрьской революции совершенно не изменилась. В условиях сталинского СССР вопрос о субъектности ученого напрямую связан с проблемой творческой свободы. Вероятно, невозможность обретения этой творческой свободы в области науки остро ощущалась Ксенофонтовым.

На оригинальную научную теорию Г.В. Ксенофонтова о шаманистическом происхождении раннего христианства и древнего иудаизма было наложено табу еще при его жизни. Многие подготовленные им для печати рукописи для атеистических издательств так и остались неопубликованными. При этом марксистские подходы, о которых постоянно говорил Ксенофонтов и которые он так или иначе использовал в своей работе, не противоречат предлагаемому им «азиатскому» дискурсу. В этой ситуации этнография (виде концепций, созданных представителем этнокультурного меньшинства и на периферии) становится не столько «чистой» наукой, сколько обретает качество своего рода внутренней борьбы. Эта борьба направлена на обретение собственной субъектности и утверждение собственной идентичности и права голоса – быть услышанным с национальной окраины России.



## 2.6. СОВЕТСКИЕ ГОДЫ Р.Ю. ВИППЕРА

Творческая судьба известного российского историка Роберта Юрьевича Виппера (1859–1954), прожившего долгую и насыщенную жизнь, продолжает оставаться в поле внимания исследователей. Традиция изучения жизни и творчества этого многогранного исследователя, воплотившего в своих работах лучшие черты энциклопедизма российской школы всеобщей истории, также имеет свою специфику. В начале 1960-х гг. надо было обладать немалым исследовательским задором и смелостью, чтобы взяться за изучение жизни и творчества историка, раскритикованного Лениным в 1920-х гг., обласканного вниманием Сталина в 1940-х, вновь подвергнутого критике в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Тем не менее, выступление Б.Г. Сафронова с докладом об исторических взглядах Р.Ю. Виппера на конференции в МГУ в 1961 г., а затем появление книги об историке<sup>1</sup>, сделало возможным считать его одним из наиболее крупных представителей советской исторической школы<sup>2</sup>. «Советский» образ Р.Ю. Виппера позволял историкам достаточно взвешенно и объективно подходить к оценке как его методологии, так и трактовок проблемы возникновения христианства, истории крепостного права в Лифляндии, опричнины и правления Ивана Грозного. С этого времени наметились несколько линий изучения научного творчества этого многогранного ученого, по большей части совпадающих с перечисленными проблемами<sup>3</sup>. И лишь в последнее время появилась тенденция

---

<sup>1</sup> Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение Р.Ю. Виппера и его время. М., 1976.

<sup>2</sup> «Крупным советским историком» Р.Ю. Виппер был обозначен и в некрологе. См. Р.Ю. Виппер // Вопросы истории. 1955. № 1. С. 192.

<sup>3</sup> В настоящий момент историография, посвященная жизни и творчеству Р.Ю. Виппера достаточно разнообразна. Отметим, прежде всего: Метель О.В. Советская модель изучения первоначального христианства (1920–1990-е гг.). Омск, 2012; Наумов П.Ю. Ученики Р.Ю. Виппера // Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2018. Вып. 80. С. 77-92; Алмазова Н.С. Единая концепция истории древности Р.Ю. Виппера в его работах дореволюционного периода // Аристей. Aristes: Вестник классической филологии и античной истории. 2019. Т. XX. С. 264-287; Володихин Д.М. «Очень ста-

реконструкции наиболее сложных моментов биографии ученого, например, истории его отъезда в Латвию в 1924 г. и, как казалось, «триумфального» возвращения в 1941 г., попытка оценить его вклад в латышскую историческую науку<sup>4</sup>.

Мы постараемся дополнить фактами именно советский период жизни Р.Ю. Виппера, поскольку он представляет собой самостоятельный интерес как пример «врастания» немарксистского историка в уже сложившуюся систему советской исторической науки со всеми ее специфическими чертами – от системы организации научных учреждений и плановости до идеологического контроля.

Сразу оговоримся, что перипетии отъезда и, особенно, возвращения семьи Випперов (Роберт Юрьевич уехал в Латвию с сыном Борисом, его женой Марией Николаевной и тремя внуками) до сих пор остаются не до конца раскрытыми. Причиной этого является как недостаточность источниковой базы (архив Р.Ю. Виппера неоднократно горел, да и ученый явно целенаправленно уничтожал всю переписку и другие документы, которые представлялись ему опасными в атмосфере 1930–1950-х гг.), так и настроения подозрительности и вполне обоснованных опасений, которые царили в научном сообществе Латвии после неожиданного присоединения к СССР.

Внешне с семьей Випперов после 1917 г., с точки зрения научно-организационной жизни, все обстояло достаточно благоприятно. Настолько, насколько это могло быть при той разрухе, которая воцарилась после революций, системе карточек и нищете бытовой, к которой старая профессура была явно не готова<sup>5</sup>. Новая система управле-

---

рый академик». Оригинальная философия истории Р.Ю. Виппера. М., 1997; Мягков Г.П. Наставница в роли ученицы: теоретические исследования Р.Ю. Виппера в координатах науки и идеологии // Рубеж: альманах социальных исследований. 1994. № 5. С. 59-68; Цыганков Д.А. Р.Ю. Виппер и его путь в советскую историческую науку // История и историки в пространстве национальной и мировой культуры XVIII–XXI веков / Под ред. Н.Н. Алеврас, Н.В. Гришиной, Ю.В. Красновой. Челябинск: Энциклопедия, 2011. С. 241-244.

<sup>4</sup> Ковальчук С.Н. Вико и только Вико. История России и Латвии в осмыслении Роберта Виппера // Она же. Настоящий изгнанник с собой все уносит: судьбы ученых-эмигрантов в Латвии 1920–1944 гг. М.: Новый хронограф, 2017. С. 279-314; Она же. Московский профессор на кафедре Латвийского университета // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2019. Т. 64. Вып. 1. С. 235-255.

<sup>5</sup> Например, в ноябре 1919 г. Президиум факультета общественных наук принял решение о прекращении лекционных занятий с 1 дек. 1919 г. по 1 апр. 1920 г. ввиду отсутствия топлива для аудиторных помещений. Семинарские занятия могли проводиться только по взаимной договорённости профессоров и студентов. ЦГАМ.ф. 1609, оп. 6, ед. хр. 4. – <http://letopis.msu.ru/content/letopis-fakulteta-obshchestvennyh-nauk-fon> (ноябрь, 2023).

ния университетом, меняющаяся система образования – все накладывало свой отпечаток на жизнь профессуры. Тем не менее, долгое время семья Випперов – и старого, хорошо известного автора учебников Роберта, и его талантливой сына искусствоведа Бориса, оставалась в орбите сотрудничества (или, скорее, сосуществования) с новой властью.

В апреле 1919 года в Совет университета был представлен именной список профессоров историко-филологического факультета 1-го МГУ, избранных на заседании факультета 1 апреля. Этот список необходим был для Всероссийского конкурса по замещению должностей профессоров и преподавателей учебных заведений Советской России<sup>6</sup>. Р.Ю. Виппер фигурировал в числе преподавателей кафедры всеобщей истории вместе с Д.М. Петрушевским, А.Н. Савиным и др.<sup>7</sup> Интересно, что в списке сотрудников кафедры только эти три фамилии отмечены карандашом знаком «плюс», тогда как напротив фамилий В.И. Герье, И.И. Иванова и А.М. Ясинского стоят вопросительные знаки. По личному распоряжению ректора 28 ноября 1919 года был составлен такой же список преподавателей и ассистентов историко-филологического факультета. В этом списке можно увидеть также фамилию Бориса Виппера, который преподает историю искусств<sup>8</sup>. Уничтожение историко-филологического факультета растянется до 1921 года, но Роберту Випперу достается место на новом факультете общественных наук, где было создано историческое отделение. Факультет создавался для того, чтобы готовить замену старой профессуре: социально-экономические дисциплины предстояло преподавать молодым марксистам. Именно их и надлежало этой профессуре воспитывать и обучать. В 1919 г. Роберт Георгиевич (в документах университета после 1917 года он фигурирует именно с этим отчеством) числится профессором Факультета общественных наук, а Борис – преподавателем факультета филологии<sup>9</sup>. Помимо этого, Борис Виппер в декабре 1919 года преподает в Военно-педагогическом университете и в Политехническом университете<sup>10</sup>.

В октябре 1919 года при МГУ торжественно открывается рабочий факультет, цель которого заключалась в подготовке рабочих

---

<sup>6</sup> Информация о конкурсе была опубликована в «Вечерних известиях» 5 марта 1919 года.

<sup>7</sup> ЦГАМ. Ф. 1609. Оп. 5. Д. 28. Л. 2.

<sup>8</sup> ЦГАМ. Ф. 1609. Оп. 5. Д. 28. Л. 3об.

<sup>9</sup> ЦГАМ. Ф. 1609. Оп. 5. Д. 23. Л. 38.

<sup>10</sup> ЦГАМ. Ф. 1609. Оп. 5. Д. 28. Л. 16об.

и крестьян для поступления в вузы. Роберт Виппер оказался в числе тех профессоров, кому предстояло нести культуру в рабоче-крестьянские массы и читать историю Греции и Римской империи, рассказывать о происхождении памятников по истории римской империи и проводить по этой теме практические занятия<sup>11</sup>. В 1921 г. в числе сотрудников 1-го МГУ значится и сверхштатный профессор и преподаватель ФОНа Р.Ю. Виппер, и преподаватель Борис Виппер (последний – в списке подлежащих военному призыву)<sup>12</sup>.

В сентябре 1921 года Московский губернский совет профсоюзов утверждает в 100% объеме специальные (повышенные) ставки для профессоров МГУ, среди которых и Р.Ю. Виппер. Причем его зарплата оказывается выше, чем у его многолетних коллег по кафедре всеобщей истории в МГУ Д.М. Петрушевского и А.Н. Савина<sup>13</sup>. В связи с этим преподаватели заполняли анкетные листы, где прописывались их новые ставки<sup>14</sup>. Такой документ заполнял и Виппер. Отвечая на вопрос анкеты, кем он работает в настоящее время, ученый ответил: профессор по кафедре древней истории и заведующий Институтом социальной психологии (Виппер или ошибся в названии, или названия не сразу были утверждены). Именно организацию этого института, состоящего при ФОНе МГУ, он отметил и как свою основную организационную деятельность. Он неформально подошел к анкетному вопросу об усовершенствованиях и изобретениях, ответив так: «В смысле усовершенствований в учебном деле – составил учебники всеобщей истории, в которых соединил факты внешне-политической и культурной истории, связал движения масс с ролью отдельных личностей»<sup>15</sup>. Заполняя анкету, Виппер ответил отрицательно на вопрос о членстве в профсоюзе, но уже в декабре того же года его вместе с сыном и другими сотрудниками МГУ «коллективно включают» в число членов Всеработпроса<sup>16</sup>.

В весеннем семестре 1921–1922 учебного года Роберт Виппер читает на ФОНе МГУ «Историю римской империи» и ведет

<sup>11</sup> ЦГАМ. Ф. 1609. Оп. 5. Д. 94. Л. 2об. Вместе с Р.Ю. Виппером на рабфаке вели занятия и его коллеги по кафедре всеобщей истории университета: Д.М. Петрушевский, А.Н. Савин, а также ученик и новый коллега – Е.А. Косминский.

<sup>12</sup> ЦГАМ. Ф. 1609. Оп. 5. Д. 23. Л. 17, 19.

<sup>13</sup> ЦГАМ. Ф.1609. Оп. 5. Д. 69. Л. 10. Ставка Виппера – 20 тыс. рублей, Д.М. Петрушевского и А.Н.Савина – по 18 тыс. руб.

<sup>14</sup> Прежняя ставка Виппера: составляла 14 400 руб. ЦГАМ. Ф. 1609. Оп. 5. Д. 69. Л. 13об.

<sup>15</sup> ЦГАМ. Ф. 1609. Оп. 5. Д. 69. Л. 13.

<sup>16</sup> ЦГАМ. Ф. 1609. Оп. 5. Д. 73. Л. 32.

семинар по Сенеке и Плутарху<sup>17</sup>. Борис Виппер преподает новое и античное искусство, ведет семинары по искусству Запада. Старший Виппер при этом еще успеваеt весной 1922 года преподавать в Академии Генерального штаба, читая доклады на заседаниях ее военно-исторической комиссии<sup>18</sup>. К октябрю 1922 г. окончательно складывается кафедральная структура Факультета общественных наук. Роберт Виппер решением Главрофобра (Главного управления профессионального образования Наркомпроса) был утвержден в должности профессора по кафедре истории античного мира<sup>19</sup>.

Помимо учебных подразделений, при ФОН МГУ складывается сеть научно-исследовательских институтов. В ноябре 1922 г. директором Института археологии и искусствознания в документах значился Борис Виппер, а его известный отец, сверхштатный профессор Роберт Георгиевич – директором Института социологии<sup>20</sup>. В личном деле Р.Ю. Виппера в Архиве РАН есть сведения о том, что историк был утвержден действительным членом Секции социальной психологии Института социологии<sup>21</sup>.

4 мая 1922 года Правление 1-го МГУ принимает решение об уплате сотрудниками общегражданского налога в пользу голодающих. Налог подлежали все трудоспособные граждане России – мужчины 17-60 лет, женщины до 55 лет. Пена за неуплату налога составляла 300%. В списках плательщиков по ФОНу МГУ значился Борис Виппер<sup>22</sup>. Но до 31 мая мало кто из сотрудников универси-

<sup>17</sup> В списке преподавателей с указанием их нагрузки напротив фамилии Виппера стоит помета: «к чтению лекций не приступал». ЦГАМ. Там же. Л. 2.

<sup>18</sup> ЦГАМ. Там же. Л. 9.

<sup>19</sup> Его коллегами по кафедре стали профессор Франк-Каменецкий и преподаватель Сергеев. (ЦГАМ. Там же. Л. 15). Позднее на кафедре вместе с Р. Виппером будут работать А.А. Захаров, Г.М. Пригоровский и Д.П. Кончаловский. (Л. 39-44).

<sup>20</sup> ЦГАМ. Ф. 1609. Оп. 5. Д. 98. Л. 6-7. (Первоначально назывался Институт социальной психологии, как написал в анкете Р.Ю. Виппер). По спискам на 14 ноября 1922 г. в состав Института социологии также входили В.А. Базаров, Ю.П. Денике, Д.И. Коновалов, В.М. Лавровский, А.Н. Максимов, В.А. Панов, П.Ф. Преображенский, В.Н. Харузина (Л.7). Об истории Института см. Бызов Л.А. Институт социальной психологии в Москве // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2011. № 4 (104). С. 107-130.

<sup>21</sup> Согласно пункту 3 Протокола № 6 от 12.08.1929 г. заседания Факультета Общественных наук МГУ, докладчик – В.П. Волгин. Архив РАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 196. Л. 1-43. Архивная справка от 20.03.2018. Однако дата здесь явно ошибочная, так как на тот момент, ни ФОНа, ни самого Института давно уже не существовало. Так что речь может идти о 1922 или 1923 гг.

<sup>22</sup> ЦГАМ. Ф. 1609. Оп. 5. Д. 87. Л. 39об.

тета проявил сознательность: наряду с остальными в сентябре среди плательщиков мы опять увидим фамилию Бориса Виппера. На этот раз он отмечен как член Правления<sup>23</sup> МГУ. Даже в сентябре 1923 года, когда формируется новая программа обучения и сокращается ряд дисциплин<sup>24</sup>, казавшихся излишними (неэкономичными – сокращения кадров требовали от всех учреждений), на Археологическом отделении ФОНа оставляют курсы Бориса Виппера «История стилей» и «История новой живописи». Он продолжает вести и семинары по западному искусству<sup>25</sup>. А в декабре Президиум ФОНа во главе с его председателем (Н.М. Лукин) поддерживают представление профессора Бориса Виппера о зачислении в число научных сотрудников Института искусствознания и археологии Ш.М. Розенталь<sup>26</sup>.

В феврале 1923 года, когда Борис Виппер получает вознаграждение за работу на ФОНе МГУ, его отца в списках преподавателей уже нет<sup>27</sup>. В 1924 г. Роберта Виппера в списках сотрудников МГУ также уже не было<sup>28</sup>.

Как же происходил отъезд историка из Советской России?

Сложно представить, какие чувства мог испытывать профессор Роберт Виппер, узнавая в 1920 г. об аресте ректора университета М.М. Новикова, по делу которого проходили и другие известные его в прошлом коллеги по историко-филологическому факультету и совету университета (среди них – А.А. Кизеветтер и С.А. Котляревский). Главным обвинением была их принадлежность к кадетской партии. Несмотря на то, что у Роберта Виппера, судя по всему, не было теплых отношений с братом Оскаром, выступавшим в 1913 г. помощником прокурора на знаменитом «деле Бейлиса», суд над братом и последующая отправка в концлагерь в 1919 г. не могли не взволновать и травмировать ученого. Наконец, насильственная эмиграция целого ряда представителей русской интеллигенции, в том числе и преподавателей университета и его ректора М.М. Новикова в сентябре 1922 года не могли не подтолкнуть историка к принятию радикального решения. Остаться на родине было трудно, печально

<sup>23</sup> ЦГАМ. Ф. 1609. Оп. 5. Д. 87. Л. 97.

<sup>24</sup> Например, на ФОНе МГУ перестают проводиться курсы, которые читал Е.А. Косминский («Геральдика» и «История книги в Западной Европе») и М. Богоявленский («Топография и быт Москвы 17 века»). ЦГАМ. Ф. 1609. Оп. 1. Д. 533. Л. 49об.

<sup>25</sup> Там же.

<sup>26</sup> Там же. Л. 68

<sup>27</sup> ЦГАМ. Ф. 1609. Оп. 5. Д. 73. Л. 18.

<sup>28</sup> ЦГАМ. Ф. 1609. Оп. 5 л / с. Д. 121.

и небезопасно. Но и уехать в неизвестность, с учетом семьи сына, в которой подрастали три внука Роберта Юрьевича, не представлялось ему правильным.

Ученый начинает организовывать свой отъезд. Он, в частности, обращается в августе 1922 года в Совет университета Латвии с предложением о сотрудничестве<sup>29</sup>. В Архиве РАН имеется фотокопия его заявления в комиссию по заграничным командировкам Московского университета от 22.09.1923, в котором он писал: «Имея в виду ознакомиться с архивным материалом, находящимся в Риге, для выяснения иностранной политики Московского государства 16 в., особенно в связи с Ливонской войной Ивана Грозного, я покорнейше прошу разрешить мне ученую командировку в Ригу на три месяца и выдать мне соответствующие документы для проезда туда. Относительно денежной помощи я ходатайство не возбуждаю и лишь прошу сохранить за мною содержание, получаемое мною из Ассоциации Институты и из КУБУ»<sup>30</sup>. В документах заграничной комиссии МГУ заявления Виппера за 1923 год нет. Что заставило Р.Ю. Виппера отказаться тогда от задуманной поездки – неизвестно. Но мысль о том, чтобы покинуть страну, в семье Випперов уже созрела, причем именно рижский проект. Обращает на себя внимание основание для командировки – работа над документами по Ливонской войне. Основание вполне объективное, так как в 1922 г. в Москве уже вышла в свет его книга «Иван Грозный»<sup>31</sup>.

Время с 1917 года, разрывное и эпохальное с точки зрения политической истории России, далеко не таким было для сообщества университетской профессуры. Изменения накапливались постепенно, долгое время бытовали надежды на то, что большевики не удержат власть, что помощь окажут иностранные державы, начавшие политику интервенции. Преследования за политические взгляды, а тем более за научные и историософские, начались не сразу и коснулись не всех. Книги и статьи Р.Ю. Виппера продолжали печататься и переводиться. Достаточно сказать, что помимо целой серии серьезных статей, ученый дорабатывает учебник по «Древней истории», 10-е издание которого вышло в 1918 г. В 1923 г. учебник вый-

---

<sup>29</sup> Ковальчук С. Историк и его история: Роберт Юрьевич Виппер // Русский мир и Латвия. 2011. № 25. С. 202. Подробнее об этих событиях и приезде Р.Ю. Виппера с семьей в Латвию см.: Ковальчук С.Н. Московский профессор на кафедре Латвийского университета // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2019. Т. 64. Вып. 1. С. 240-242.

<sup>30</sup> АРАН. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 82. Л. 1.

<sup>31</sup> Виппер Р.Ю. Иван Грозный. М., 1922.

дет двумя изданиями в Москве<sup>32</sup>, а также – в Орле и Харькове, в 1924 г. – в Петрограде, в 1925 – в Риге. Интересно, что перевод на латышский язык этого учебника будет издан еще раньше – два раза на латышском языке учебник Виппера будет издан в 1920 г., потом последует издание в 1922 г., и еще раз – в 1925 г.<sup>33</sup>

Именно активная публикационная деятельность Р.Ю. Виппера, не только издававшего новые, но и переиздававшего свои статьи прежних лет в сборниках, привлекла внимание Ленина, а вслед за ним и верных большевиков, активно чистивших ряды своих интеллектуальных оппонентов. Но если Ленин раскритиковал, с точки зрения его научного атеизма неподходящий труд Р.Ю. Виппера «Возникновение христианства»<sup>34</sup>, то М.Н. Покровский и Ц. Фридлинд критиковали уже концептуальные, историософские воззрения ученого<sup>35</sup>. Неблагоприятной оценки Покровского удостоился и «Иван Грозный», где, по словам рецензента, «“блеск” – чисто словесный – совершенно заменяет анализ»<sup>36</sup>. Не ставя целью в данном случае оценивать книгу Виппера, отметим, что критика ее продолжается на страницах советских журналов в течение 1930-х гг., а сам профессор фигурирует в числе представителей антисоветской либерально-буржуазной науки<sup>37</sup>.

<sup>32</sup> Издание Р.Ю. Виппера «Древняя Европа и Восток» (М., 1923) есть среди книг в библиотеке И.В. Сталина (РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 3. Д. 37), наряду с другими: Виппер Р.Ю. История Греции в классическую эпоху. М., 1916 (Оп. 3. Д. 36); Виппер Р. Очерки Римской империи. М., 1908 (Оп. 3. Д. 38).

<sup>33</sup> АРАН. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 79а. Информация дана по аннотированному указателю трудов Р.Ю. Виппера, составленному в 1946 г. Фундаментальной библиотекой общественных наук.

<sup>34</sup> Виппер Р.Ю. Возникновение христианства. М., 1918. Ленин писал: «Пересказывая главные результаты современной науки, автор не только не воюет с предрассудками и с обманом, которые составляют оружие церкви как политической организации, не только обходит эти вопросы, но заявляет прямо смешную и реакционнейшую претензию подняться выше обеих «крайностей»: и идеалистической, и материалистической. Это – прислужничество господствующей буржуазии...» (Ленин В.И. О значении воинствующего материализма // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 27).

<sup>35</sup> Подробнее об этой критике см.: Мягков Г.П. Наставница в роли ученицы: теоретические исследования Р.Ю. Виппера в координатах науки и идеологии // Рубеж: альманах социальных исследований. 1994. № 5. С. 59-68.

<sup>36</sup> Покровский М.Н. Р. Виппер. «Иван Грозный» // Покровский М.Н. Историческая наука и борьба классов: Историографические очерки, критические статьи и заметки. Т. 2. М., 2012. Изд 2-е. С. 95.

<sup>37</sup> Вот один из примеров такой критики: «Пышный расцвет литературы о “Смуте” в годы гражданской войны, когда даже такие профессионалы-западники, как профессор Виппер, вдруг обнаружили пылкий интерес к отечественной истории, был не случайным. Задача этой литературы заключалась прежде всего в том,



Впрочем, и русской эмиграции оценка Виппером правления Ивана Грозного также не понравилась<sup>38</sup>.

24 июля 1924 года руководству МГУ поступило заявление от профессора Роберта Юрьевича Виппера: «Прошу покорнейше выдать мне удостоверение, что со стороны Университета не имеется препятствий к выезду моему за границу на летнее время с лечебной целью». На этом заявлении стоит помета «Выдать о неимении препятствий», а также приписка С. Преображенского, который на тот момент был секретарем Правления МГУ: «Р.Г. Виппер в настоящее время не состоит в списках»<sup>39</sup>. Видимо, на тот момент старший Виппер уже в числе сотрудников подразделений университета не состоял<sup>40</sup>. Но по информации, имеющейся в личном деле Р.Ю. Виппера в Архиве РАН, он был отчислен с должности профессора 1-го МГУ только в 1925 г. (согласно пункту 4 Протокола №113 от 27.03.1925 г. Научно-политической секции Государственного УС Наркомпроса РСФСР, председатель – В.П. Волгин)<sup>41</sup>. Как объяснить это расхождение в информации и датах? Таких загадок и несостыковок в истории Випперов немало, более того, отца и сына Випперов нередко по документам путали. Сбивало с толку и «гуляющее» написание отчества Роберта Виппера: и Георгиевич, и Юрьевич. Можно предположить, что именно этим объясняются сведения в личном деле Роберта Виппера. Все же, скорее всего в 1925 г. речь идет об отчислении с должности профессора МГУ его сына, Бориса<sup>42</sup>.

---

чтобы провести аналогию между “Смутой” и Октябрьской революцией и доказать таким путем, что как “Смута” кончилась поражением народа и воцарением Романовых, так кончится и еще более великая “смута”, начавшаяся Октябрем». Е. Дрabbкина. Как фальсифицируют историю // Борьба классов. 1933. № 2. С. 62.

<sup>38</sup> См., например, оценку А.А. Кизеветтера: «Вот эту крайнюю форму самодержавия и начинают избирать предметом своих сердечных вздохов некоторые деятели, обжегшиеся на революционных мечтаниях». Цит. по: Ковальчук С.Н. Московский профессор на кафедре Латвийского университета // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2019. Т. 64. Вып. 1. С. 240.

<sup>39</sup> ЦГАМ. Ф. 1609. Оп. 1. Д. 804. Л. 95.

<sup>40</sup> В справке, выданной Правлением 1-го МГУ 5 окт. 1926 г., Роберт Георгиевич Виппер числится профессором по кафедре всеобщей истории по 9 февраля 1922 г. – [https://www.lu.lv/fileadmin/user\\_upload/lu\\_portal/projekti/lu\\_biblio\\_teka/Izstades/Virtualas\\_izstades/Vipers/latvijas\\_universitate/rv\\_lu\\_v4.png](https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/lu_biblio_teka/Izstades/Virtualas_izstades/Vipers/latvijas_universitate/rv_lu_v4.png) (ноябрь, 2023).

<sup>41</sup> Архив РАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 196. Л. 1-43. Сведения представлены в Архивной справке.

<sup>42</sup> «Совмещение» отца и сына Випперов можно видеть и на сайте МГУ, где Р. Випперу приписана должность профессора кафедры теории и истории искусств, которую в 1921–1922 гг. занимал его сын. <http://letopis.msu.ru/peoples/685> (11, 2023).

Борис Виппер также подавал заявления сначала на заграничную командировку, а потом – на ее продление. 4 апреля 1924 года он написал заявление в Президиум Ассоциации НИИ при 1 МГУ: «В настоящее время я работаю над изучением историей стилей в связи с историей материальной культуры. Центральным моментом исследования является область возникновения средневекового искусства, важнейшую роль в образовании которого сыграло так называемое варварское искусство. В виду того, что наиболее ценные собрания памятников этого переходного стиля хранятся в музеях Западной Европы, где в последнее время в изучении художественного творчества эпохи переселения народов развертывается чрезвычайно широко, мне необходимо для моей работы посетить главные центры Западной Европы. Ввиду вышеизложенного прошу Президиум Ассоциации о разрешении мне 3-х месячный безденежной командировки (с 1 июня по 1 сентября с.г.) в Латвии, Германии, Австрии и Италии»<sup>43</sup>. Разрешение на поездку было получено в конце апреля<sup>44</sup>, но состояние здоровья или какие-то другие причины не позволили Борису Випперу ее осуществить именно весной. Возможно, что он ждал приглашения из Латвийской академии художеств, которое в итоге состоялось.

Р.Ю. Виппер получил паспорт 13 августа 1924 г. и 23 августа въехал в Латвию, где уже находилась с июля месяца семья его сына. Р.Ю. Виппер занял должность внештатного профессора на факультете филологии и философии Латвийского университета<sup>45</sup>, прочитав в октябре первую лекцию – «История и современность». Впоследствии он в течение десяти лет заведовал кафедрой новой истории, несмотря на предельный для этой должности возраст. Профессор будет иметь право вплоть до 1937 г. преподавать на русском языке, хотя уже с 1934 г. будет вести лекции и семинары на латышском.

Обосновавшись в Латвии, Випперы решаются там остаться, свидетельством чего является заявление Бориса Виппера в Правление 1 МГУ 26 сентября 1924 г. с просьбой о продлении еще на три месяца ранее полученного (до 1 октября) отпуска, который он не смог продуктивно использовать из-за болезни. Искусствовед писал: «В настоящее время обстоятельства позволяют мне серьезно заняться-

---

<sup>43</sup> АРАН. Ф. 478.16.11. Л. 1. На заявлении – резолюция и.о. директора Института Археологии и искусствознания А.А. Сидорова от 4.04.1924 – заявление и помета та же дата – «Коллегия НИИ Археологии и искусствознания со своей стороны всячески поддерживает ходатайство проф. Б.Р. Виппера».

<sup>44</sup> ЦГАМ. Ф.1609. Оп.1.Д.804. Л. 28, 32.

<sup>45</sup> Ковальчук С. Историк и его история: Роберт Юрьевич Виппер // Русский мир и Латвия. 2011. № 25. С.202.

ся научной работой в заграничных музеях и библиотеках»<sup>46</sup>. Никаких препятствий ни со стороны отделения Археологии и искусствоведения, ни со стороны ФОН МГУ не последовало, и удостоверение о продлении заграничной командировки было выдано<sup>47</sup>. Справедливости ради отметим, что в документах Комиссии по заграничным поездкам МГУ практически нет отрицательных решений, хотя преподаватели указывают в качестве оснований для поездки и встречу с семьей, и лечение, и научную работу. Судя по всему, долгое время единственным ограничением могли быть запрашиваемые финансовые средства на поездку, а не политические взгляды выезжавших.

Випперы сохраняли советское гражданство до осени 1929 г., когда, после необходимых 5 лет проживания на территории Латвии, они получили латвийское гражданство. Юбилеи старого русского профессора регулярно фиксировались в латышской прессе. В 1939 г. к его 80-летию был выпущен юбилейный сборник статей. Р.Ю. Виппер активно занимался проблемами крепостного права и истории Латвии как части всемирной истории. А Борис Виппер напишет монографию «Латвийское искусство эпохи барокко» и в 1939 г. даже удостоится почетной награды за особые заслуги перед Латвией<sup>48</sup>.

\*\*\*

Следует признать, что советский период в целом (с 1917 года), а тем более время с возвращения Виппера в Москву в 1941 г. – представляют собой очень любопытный, спорный, переломный период в жизни историка. Сходу вращаться в советскую действительность, от которой предпочел осторожно дистанцироваться в 1923 г., – очень непростая задача, подразумевающая и работу «над собой», своими трудами (цензура и самоцензура), овладение методами советской аргументации (цитаты) и ведения советской дискуссии (под контролем Управления агитации и пропаганды ЦК). Историком предстояло проплыть между Сциллой и Харибдой – сохранить научность работ и несомненную симпатию со стороны Сталина. Более того, буржуазному «старика» Р.Ю. Випперу, раскритикованному Лениным за отсутствие материалистического (фактически – атеистического) подхода

<sup>46</sup> ЦГАМ. Ф. 1609. Оп. 1. Д.804. Л. 126.

<sup>47</sup> ЦГАМ. Ф. 1609. Оп. 1. Д.804. Л. 121, 125, 127. Удостоверение за № 10.313 от 23.10.1924 получал уже не сам Борис Виппер (А. Глазова). Л. 125об.

<sup>48</sup> Изложение латвийского периода жизни Р.Ю. Виппера и его семьи основывается на информации статей С.Н. Ковальчук, в том числе Ковальчук С.Н. Вико и только Вико. История России и Латвии в осмыслении Роберта Виппера // Ковальчук С.Н. Настоящий изгнанник с собой все уносит: судьбы ученых-эмигрантов в Латвии 1920–1944 гг. М.: Новый хронограф, 2017. С. 279-314.

к истории возникновения христианства<sup>49</sup> и обвиненному Н. Бухариным в том, что считал русскую революцию «порождением злой воли германского генералитета»<sup>50</sup>, предстояло стать одним из творцов советского патриотизма в 1940-х годах.

«Советский» период жизни историка вызывает немало вопросов. Помнили ли о нем на родине, которую он покинул в 1923 г.? Каков был образ «буржуазного», пользуясь терминологией советского времени, историка в СССР? Что ожидали от приглашаемого к переезду профессора Латвийского университета? Кто был инициатор этого переезда? А сам Виппер – что он знал о реалиях советской России, условиях жизни и работы историков? С какими проблемами столкнулся ученый в этой новой, «советской» жизни, смог ли реализовать свой потенциал столь же успешно, как делал это до революции 1917 года и работая в Латвии?

Отметим, что «присоединение» историка началось ранее его переезда в Москву. В 1940 г. Р.Ю. Виппер отдает две статьи для публикации в советских журналах. Одна вышла в 1941 г. в первом номере «Вестника древней истории» и представляла собой вполне академический текст, призванный напомнить советским историкам о научных штудиях их латвийского коллеги<sup>51</sup>. Другая статья была призвана выполнить совершенно иную функцию. Она должна была свидетельствовать о готовности «приобщения» специалиста старой школы к жизни в новом государстве и по новым правилам. Эксперимент удался, и статья Виппера получила, в целом, одобрение со стороны партийного руководства. Профессор из Риги был признан ценным приобретением для советской исторической науки<sup>52</sup>.

В марте 1941 года в «Историческом журнале» в разделе библиографии, была дана высокая оценка статьи Р.Ю. Виппера «Политические идилии буржуазной интеллигенции XIX в.»<sup>53</sup>. Сама же

<sup>49</sup> Ленин В.И. О значении воинствующего материализма // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 27.

<sup>50</sup> Бухарин Н. Классовая борьба и революция в России. Пг., 1919. С. 124.

<sup>51</sup> Виппер Р.Ю. Возникновение христианства // Вестник древней истории. 1941. № 1. С. 64-85.

<sup>52</sup> В историографии существуют разные предположения относительно причин «возвращения» Р.Ю. Виппера, но все исследователи сходятся в оценке ценности ученого для советской исторической науки. См.: Метель О.В. Советская модель... С. 72-73; Володихин Д.М. «Очень старый...» С. 17-19.

<sup>53</sup> По страницам журналов // Исторический журнал. 1941. № 3. С. 153. Буквально сказано следующее: «В № 12 особый интерес представляет мастерски написанная статья Р. Виппера. В статье разобраны реакционные теории ряда крупных буржуазных ученых (Эдуарда Мейера, Бенжамена Констана, анархиста Элизе Реклю) о природе и взаимоотношениях общества и государства».

статья Виппера была опубликована в № 12 (декабрь) 1940 г. в журнале «Историк-марксист», редактором которого и был знаменитый партийный деятель Е.М. Ярославский. Журнал «Историк – марксист» самым тесным образом был связан с отделами ЦК ВКП(б), прежде всего Отделом печати и пропаганды. Статью Р.Ю. Виппера<sup>54</sup> сопровождала любопытная редакционная ремарка: «Редакция, помещая статью Р.Ю. Виппера, который теперь, после вступления Латвии в СССР, включился в работу советских историков, надеется, что этот небольшой исторический эскиз явится началом серьезной, систематической работы профессора Виппера в журнале “Историк-марксист”»<sup>55</sup>. Понятно, что помещать такое «приветствие» присоединенному с Латвией историку без согласования с партийным руководством или соответствующими отделами ЦК ВКП(б) Ярославский не мог. Но и столь быстрое появление в центральной прессе статьи Виппера – тоже не является простым совпадением: это свидетельство о начале сотрудничества или о согласии на него.

У нас нет подтверждений тому, что эта статья была «заказной», или однозначного объяснения, почему для первой полноценной публикации в советском журнале Виппер выбрал такую тему – раскрывая с присущим ему блеском и литературным мастерством «политическое мировоззрение значительной части интеллигенции дореволюционной эпохи»<sup>56</sup>. Историк писал об интеллектуалах XIX века – анализировал консервативные взгляды Эдуарда Мейера, представляющего «сумму немецкой научной мысли XIX в. по вопросу об отношении государства и общества», французского либерального мыслителя Бенджамена Констана и анархиста Элизэ Реклю. В этой статье была лишь одна единственная ссылка автора на издание Реклю и три реплики принадлежали редакции. О первой, приветственной, мы уже упомянули. Две других – сопровождали последние параграфы статьи, мы приведем их полностью. Автор писал: «В анархизме противополжение общества государству, противополжение группы “мы” группе “они”, достигает высшей степени. Это противополжение было совершенно естественно при классовом строении государства в XIX веке. Для всех тех, кто так или иначе был отодвинут в оппозицию, кто был недоволен существующим строем, оно было формой протеста, облеченного в абстракцию. Однако и те, которые чувствовали себя господами положения, по старой привычке, идущей со времен просветительной

---

<sup>54</sup> Виппер Р.Ю. Политические идиллии буржуазной интеллигенции XIX в. // Историк-марксист. 1940. № 12. С. 47-52.

<sup>55</sup> Там же. С. 47.

<sup>56</sup> Там же.

публицистики XVIII в., продолжали противопоставлять общество государству: частью из осторожности, руководясь опасением, как бы власть имущие не уклонились от своей задачи охранять их интересы, частью из своего рода кокетства, чтобы отмежеваться от всякого “властолюбия”. Редакция журнала уточняла: “Автор не касается здесь взглядов Маркса и Энгельса, вождей другой части интеллигенции, боровшихся против либерализма, отрицавших возможность гармонии интересов в классовом обществе”<sup>57</sup>. В последнем параграфе Р.Ю. Виппер писал: «Мировая война и последовавшая за нею великая революция нанесли сокрушающий удар политическим идиллиям XIX в., которые кажутся нам теперь наивной, детской игрой». Редакция поправляла автора: «Мировая война и социалистическая революция не только нанесли сокрушающий удар политическим идиллиям XIX в., но и подтвердили линию Маркса – Энгельса»<sup>58</sup>.

Первый шаг на пути сотрудничества прошел успешно. Что касается овладения навыком правильного «цитатничества», то у профессора с этим долго возникали проблемы. В 1947 г. он откровенно писал декану исторического факультета МГУ, академику М.Н. Тихомирову: «В сотрудничестве с В.М. Лавровским и Н.И. Голубцовой я постарался сделать поправки и вставки со ссылками на основоположников марксизма для удовлетворения требований Главлита и теперь надеюсь на устранение препятствий к ее [книги] напечатанию»<sup>59</sup>.

Общение же Емельяна Ярославского с Виппером продолжится. Именно ему историк отошлет экземпляр своего «Ивана Грозного» (Ташкент, 1942) и получит в ответ предложение написать статью для «Исторического журнала» на тему «о русской культуре, о культурных связях с Западом в этот период и, в особенности, о связях с Англией. До сих пор историки наши очень много писали о влиянии западной культуры на Россию. А разве не было обратного влияния? Вот об этом хорошо бы написать. Выбор конкретной темы сделайте сами. Желательно не откладывать надолго эту работу. Прошу вас известить меня о согласии и сообщить тему и срок, когда можно будет получить статью»<sup>60</sup>.

Действительно, книга Виппера в полной мере соответствовала и патриотическим настроениям военного времени и, что немаловажно, складывавшемуся на тот момент взгляду на русскую культуру

<sup>57</sup> Там же. С. 52.

<sup>58</sup> Там же.

<sup>59</sup> АРАН. Ф.693. Оп.4. Д.148. Л.2. Речь шла, судя по всему, о книге Виппера «Рим и раннее христианство», которая увидела свет лишь в 1954 г.

<sup>60</sup> Письмо профессору Випперу (РГАСПИ, Ф. 98, Оп. 1, Д. 106, Л. 1).

как на совершенно самостоятельное явление. В полной мере эти взгляды проявятся в послевоенный период, когда в СССР развернется борьба с космополитизмом и «низкопоклонством перед Западом». Но первые признаки такой трактовки явственно проступали в начале 1943 г., когда Виппер в ответном письме Ярославскому подчеркнул: «Меня очень радует, что вы отметили в моей книге один из важнейших тезисов, которые я старался провести не только для специалистов истории СССР, но и для широкой читающей публики – о самостоятельности культурного и политического развития русского народа»<sup>61</sup>. Однако заказанную статью писать отказался, отговорившись тем, что в Ташкенте литературы нужной не найдет, а потому нужно подождать, когда вернется из эвакуации в Москву<sup>62</sup>. Жертвовать своей репутацией историк не был готов.

По информации Б.Г. Сафронова именно Е.М. Ярославский посещал Виппера в Латвии, гарантируя безопасное возвращение в Москву<sup>63</sup>. Однако пока информации о командировке Ярославского в это время в Ригу не обнаружено. Роберт Юрьевич покинет Латвийский университет и вместе с семьей переедет в Москву в мае 1941 года.

\*\*\*

Что помнили о Роберте Виппере в СССР к моменту его возвращения в 1941 г.? Профессиональные историки, его ученики и просто все те, кто слушал Виппера в университете, разумеется, не могли забыть его блестящие лекционные курсы. Но если проанализировать советскую печать 1930-х гг., то картина будет еще более яркой. Р. Виппер являлся, прежде всего, автором учебников для школ, проблема которых в СССР встала особенно остро после 1934 г., когда преподавание истории было в полном объеме восстановлено в школьной и вузовской программе, а учебников не было. В 1937 г. его «Учебник древней истории» (1923 – 12-е изд.) был переиздан как «Курс всеобщей истории. Материалы из Учебника по древней истории Р. Виппера для классных занятий в Высшей школе пропагандистов им. Я. Свердлова при ЦК ВКП(б)»<sup>64</sup>.

<sup>61</sup> Там же. Л.2.

<sup>62</sup> Сходное задание получил, видимо, и другой коллега Виппера по Институту истории, Е.А. Косминский, который также в эвакуации в Ташкенте работал над историей культурных связей России и Англии. – См.: Шарова А.В. Академик Е.А. Косминский о культурных связях России и Англии в XVI–XIX вв. (публикация и комментарий) // Исторический архив. 1994. № 6. С. 178–221.

<sup>63</sup> Володихин Д.М. «Очень старый академик»: Оригинальная философия истории Р.Ю.Виппера. М., 1997. С. 22.

<sup>64</sup> Виппер Р.Ю. Курс всеобщей истории. Материалы из Учебника по древ-

Историк А. Мишулин в 1934 г. писал: «Р.Ю. Виппер, около 14 лет руководивший кафедрой всеобщей истории в Московском университете, читал не только историю древности, но и средних веков и даже курс новой истории. Это говорило о его необычайно широком историческом диапазоне и давало ему большой материал для сравнительно исторической постановки ряда социально-экономических проблем древности. Он являлся сторонником довольно радикальных идей и даже, как известно, кокетничал одно время с марксизмом.

Работы Виппера до Октябрьской революции являлись, безусловно, вершиной русской буржуазной науки по истории древнего мира. И было бы совершенно неправильно, если бы мы в перестройке преподавания истории, в высшей школе главным образом, совершенно не учли того, что дал Виппер по древней истории»<sup>65</sup>.

Борьба со школой М. Покровского, понимание того, что история нужна «всю», во всех деталях, а не только ее схемы, к 1936 г. стало у политического руководства определяющим. И имя автора учебников Р. Виппера было окончательно реабилитировано, а его учебники стали примером того, какими должны быть учебные пособия. Карл Радек за несколько месяцев до опалы писал: «Уже тот простой факт, что учебники истории должны охватить весь процесс исторического развития человечества, показать нашей молодежи движущие силы всей истории, поставил перед нашими историками большие задачи. Буржуазные историки, как Кареев, Виноградов, Виппер или во Франции Лавис, Рамбо, Сеньобос, приступали к писанию учебников после десятилетий работы над историческими монографиями, накопив громадное знание исторических фактов. Наши молодые историки на такое большое “первоначальное накопление” опереться не могли»<sup>66</sup>.

Учебники Виппера были рекомендованы учителям школ Наркоматом просвещения в качестве учебных пособий. Они подробно анализировались в прессе для того, чтобы учителя могли лучше понимать, какими из многочисленных изданий пользоваться предпочтительней, на какие недостатки изложения материала, особенно с точки зрения марксизма и классовой борьбы, следует обращать внимание. Некоторые внимательные рецензенты, анализируя учебники Виппера по древней истории, делали весьма печальный вывод:

---

ней истории Р. Виппера для классных занятий в Высшей школе пропагандистов им. Я.Свердлова при ЦК ВКП(б). М., 1937.

<sup>65</sup> Мишулин А. Древняя история в средней и высшей школе // Борьба классов. 1934. № 5-6. С. 13.

<sup>66</sup> Радек К. Недостатки исторического фронта и ошибки школы Покровского // Борьба классов. 1936. № 3. С. 24.



«Мы вправе были бы ожидать, что советские издания буржуазного учебника будут либо воспроизведены без изменений, либо в них будут внесены поправки, улучшающие его качество. Однако профессор Виппер внес в советские издания изменения, причем изменения контрреволюционного характера»<sup>67</sup>.

Тем не менее, учить школьников 5 класса приходилось именно по ним. Одна из учительниц, делясь опытом преподавания в московских школах в 1940 г., писала: «Дети охотно приносят имеющиеся у них книги по истории и историческую художественную литературу. В этом году ребята приносили в класс книгу проф. Куна “Что рассказывали греки о своих богах и героях”, старинные иллюстрированные издания “Илиады” и “Одиссеи”, учебники Виппера»<sup>68</sup>. «Из старых учебников надо раздобыть Виппера “Учебник Древней истории” и “Древняя Европа и Восток”», – советовал коллегам другой учитель<sup>69</sup>. Без этих книг преподавать пятиклассникам древнюю историю невозможно, считали советские педагоги, а потому они обязательно должны быть в библиотеке школьного учителя. При составлении учебника по Новой истории о Роберте Виппере тоже вспоминали – методика изложения материала, язык, запоминающиеся детали и яркие характеристики ставили его тексты вне конкуренции»<sup>70</sup>.

Наличием трудов Виппера гордилась и Государственная публичная историческая библиотека, созданная в 1938 г. на базе коллекций Исторического музея и Института Красной профессуры. Говоря о ее фондах, сотрудница с гордостью констатировала тот факт, что в библиотеке «имеется около 20 комплектов истории Соловьева,

---

<sup>67</sup> См., напр., статью М. Зиновьева «Учебники древней и средней истории проф. Р.Ю. Виппера» (Исторический журнал. 1937. № 3-4. С. 222-232), в которой, в частности, были раскритикованы учебники Виппера по средневековой истории.

<sup>68</sup> Филиппова О. Из опыта преподавания истории в 29 и 41 школах Фрунзенского района Москвы // Исторический журнал. 1940. № 11. С. 113.

<sup>69</sup> Безбах С. Подготовка учителя к уроку по древней истории // Исторический журнал. 1938. № 5. С. 101.

<sup>70</sup> «В дореволюционной России имелись учебники, в методическом отношении стоявшие на значительной высоте. В частности, можно назвать учебники профессора Виппера... Однако недостатком учебника крупного историка Р.Ю. Виппера является то, что этот учебник написан для читателя, уже знающего историю. Он дает очень интересную схему и содержательный анализ материала, но первоначальное знакомство с основными историческими фактами по этому учебнику чрезвычайно затруднительно. Общеизвестно, что учебник проф. Виппера с большим успехом использовался не в средней, а в высшей школе» (Ефимов А. Учебник новой истории для 8х классов средней школы // Исторический журнал. 1941. № 1. С. 114).

60 экземпляров курса Ключевского, 20-30 экземпляров сочинений Фукидида, Геродота, Моммзена, Виппера...»<sup>71</sup>.

Имя Виппера как одного из «выдающихся» московских профессоров прозвучало в 1934 г.<sup>72</sup>, более подробно его работы были проанализированы в одном из первых в марксистской историографии очерков по истории всеобщей истории в России, хотя автор не мог не упомянуть, что «Виппер одно время был весьма близок к материалистическому пониманию истории, но после эмиграции из Советской России он с этих позиций сошел»<sup>73</sup>. То, что добровольной эмиграции Виппера приходит конец, автор статьи знать не мог. В 1940 г. о Виппере напомнил и его молодой коллега по университету и Факультету общественных наук в 1920-х гг. – Е.А. Косминский, который слушал лекции профессора в Московском университете. Отметив его среди выдающихся учеников В.И. Герье, историк продолжил: «надо упомянуть имя Р. Виппера, талантливого ученого широчайшего диапазона, охватывавшего в своем преподавании и в своих трудах огромный период – от первобытной культуры и истории древнего Востока до современности, – распространявшего свои интересы и на вопросы русской истории. Средние века были, как кажется, наименее привлекавшим его периодом, хотя из этой области взята им тема для его большой диссертации *“Церковь и государство в Женеве в эпоху Кальвина”* (М. 1894). Ему же принадлежит изящно написанный, хотя и несколько расплывчатый учебник по истории средних веков. Достаточно известен путь Виппера от материализма к эмпириокритицизму и идеализму, от радикализма к реакции»<sup>74</sup>.

С концепциями и оценками Виппером исторических событий и персоналий дело обстоит сложнее. Историки-марксисты не теряли классового чутья и сразу чувствовали явную принадлежность Виппера к враждебной идеологии. Так что фигура ученого в совет-

<sup>71</sup> Каменецкая К. Государственная публичная историческая библиотека // Исторический журнал. 1939. №2. С.112.

<sup>72</sup> «Особенно выдающимся был состав московских профессоров, читавших курсы общественных наук. Историю в Московском университете читали Б.Н. Чичерин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, М.М. Ковалевский, П.Н. Милюков, П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер; политическую экономию – А.И. Чупров; право – С.А. Муромцев и Ю.С. Гамбаров; финансы – И.И. Янжул» (Орлов В. Культурное развитие Москвы. Из истории Московского университета // Борьба классов. 1934. № 7-8. С. 256).

<sup>73</sup> Вайнштейн О.Л. Развитие историографии средних веков в царской России // Историк-марксист. 1940. № 9. С. 109.

<sup>74</sup> Косминский Е. Столетие истории преподавания истории средних веков в Московском университете// Историк-марксист. 1940. № 7. С. 104.

ском историческом сообществе продолжала оставаться противоречивой и отрицательных оценок его творчества и методологических подходов никто не отменял.

Согласно существующей в российской историографии точке зрения, в конце 1930-х гг. в исторической науке, и в советской науке в целом, восторжествовал принцип разделения информации для масс и для специалистов (интеллигенции). Принцип «марксизм – отдельно, конкретно-исторические исследования – отдельно» позволил ученым старой школы приспособиться к новым реалиям<sup>75</sup>. Однако в любой момент против ученых могли сработать субъективные факторы. Более того, весной 1941 года ЦК ВКП(б) начинает массовую проверку научно-исследовательских институтов АН СССР, соответствующие постановления принимаются в отношении Института мирового хозяйства и мировой политики, Института геологии и Института экономики, которые подвергаются серьезной критике<sup>76</sup>. В апреле 1941 г. член ЦК ВКП(б) академик Е.М. Ярославский и заместитель начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Д.А. Поликарпов<sup>77</sup> напишут письмо секретарям ЦК «О положении дел в Институте истории АН СССР», где подвергнут суровой критике всю его работу от учебников до многотомной «Всемирной истории». Их вывод для того времени был крайне опасен, ведь «нет гарантии, что эти труды будут марксистскими»<sup>78</sup>. Дискуссии историков тоже вызвали подозрение партийных деятелей. Например, дискуссия по вопросу отсталости России от Европы (по докладу М.В. Нечкиной), а в 1940 г. – по абсолютизму. Именно тогда профессор Б.Ф. Поршнев сравнил абсолютизм с диктатурой пролетариата<sup>79</sup>. Вывод делался самый неутешительный: руководство Института истории «попустительствует небольшевистским порядкам», работу сотрудников не контролирует, а критика и самокритика развиты слабо. Разгром Института истории состояться не успел, помешала война.

\*\*\*

<sup>75</sup> Карпюк С.Г. А после была война: Дискуссия 1940 г. о характере критомикенской цивилизации // Вестник древней истории. 2015. № 2. С.202.

<sup>76</sup> Проекты постановлений ЦК ВКП(б) (РГАСПИ, Ф. 17. Оп. 125. Д. 25. Л. 22-30).

<sup>77</sup> Дмитрий Алексеевич Поликарпов в качестве заведующего Отделом культуры ЦК КПСС прославится впоследствии травлей Б. Пастернака.

<sup>78</sup> Письмо Е.Ярославского и Д.Поликарпова секретарям ЦК (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 25. Л. 115.)

<sup>79</sup> Там же. Л. 116.

В июне 1940 г. в Латвию вошли советские войска. Началась советизация образования и науки. Однако положение Р. Виппера в университете не пошатнулось, более того, старый профессор становится в декабре заведующим кафедрой. С 15 мая 1941 года Роберт Виппер прекратил свою деятельность в Латвийском университете «в связи с отъездом в Москву по персональному вызову»<sup>80</sup>. На фоне тех репрессий, которые прошли в Латвии и затронули Латвийский университет, многих коллег историка, его благополучный отъезд породил немало неблагоприятных слухов. А 23 мая 1941 г. историк отправил Сталину благодарственную телеграмму: «Москва, Кремль. Иосифу Виссарионовичу Сталину. Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, прошу принять от всей нашей семьи выражение нашего глубокого уважения и горячей благодарности за предоставление нам широкой деятельности на пользу социалистического строительства и за исключительные заботы о нашем переезде. С величайшим воодушевлением включимся мы в научную и общественную жизнь СССР и все наши силы отдадим на служение нашей великой социалистической родине и ее великому вождю. Роберт Виппер»<sup>81</sup>.

Таким образом, ценный ученый старой школы, Р.Ю. Виппер приобрел, судя по всему, по крайней мере двух высоких покровителей из верхушки партийно-государственного аппарата. И хотя мы не можем с уверенностью судить о всех причинах такого «высочайшего» интереса к историку, его наличие представляется несомненным. Более того, мы видим здесь пример того самого феномена патронажа со стороны партийного руководства по отношению к конкретным ученым, примеры которого уже являлись предметом изучения<sup>82</sup>. Но однажды уступив их «скромному обаянию», ученые оказывались перед необходимостью обрабатывать полученные преференции, чутко прислушиваясь к вышестоящему мнению. И хорошо, если эти мнения совпадали так или иначе с позицией самого ученого.

Впрочем, имя Р.Ю. Виппера и его сына, искусствоведа Бориса Виппера, еще окажутся связанными с Латвией. В начале апреля 1944 года секретарь ЦК ВКП(б) Латвии Янис Калнберзиньш и председатель СНК Латвийской ССР Вилис Лацис обратились с письмом к секретарю ЦК Г.М. Маленкову и заместителю председателя СНК

---

<sup>80</sup> Ковальчук С. Историк и его история: Роберт Юрьевич Виппер // Русский мир и Латвия. 2011. № 25. С. 200-210.

<sup>81</sup> Телеграмма Р. Виппера И.В. Сталину (РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 717. Л. 99-100).

<sup>82</sup> Тихонов В.В. Идеологические кампании «позднего сталинизма» и советская историческая наука (середина 1940-х – 1953 г.). М.; СПб., 2016. С. 82.

СССР В.В. Молотову с предложением об организации в Латвии Академии наук, открытие которой планировалось приурочить к освобождению Риги от фашистских войск. Среди предложенных ими кандидатов в академики были три категории лиц: эвакуированные (6 чел.); ученые-латыши, работавшие в других республиках (2 чел.), и ученые, находившиеся на временно оккупированной территории Латвии. Последних набралось больше всего – 22 человека. Впрочем, нас интересует первая категория – эвакуированные. Именно среди них были двое Випперов – Роберт («с 1924 г. профессор Латвийского государственного университета») и Борис («профессор ЛГУ и Художественной академии») <sup>83</sup>. Но 17 апреля 1944 года начальник Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александров сообщил Г.М. Маленкову, что решать этот вопрос преждевременно, хотя Латвийская АН необходима. Главным аргументом «против» был, разумеется, «кадровый» вопрос, а именно, невозможность «оценить предлагаемых для обсуждения кандидатов, так как из 32 человек 23 находятся на оккупированной территории, и об их политическом поведении у ЦК нет сведений. Среди остальных кандидатов бесспорны лишь 5-6» <sup>84</sup>. Мы не знаем, входили ли в это число «бесспорных» кандидатов беспартийные Випперы.

\*\*\*

Персональное приглашение Р.Ю. Виппера в Москву весной 1941 года сопровождалось не только прямым покровительством Сталина <sup>85</sup>. У нас нет ответа на вопрос о том, кто стал инициатором этого приглашения, но архивные документы сохранили любопытную информацию другого характера. 7 июня 1941 года вице-президент АН СССР О.Ю. Шмидт пишет письмо секретарю ЦК А.С. Щербакову относительно организации выборов в Академию наук, причем соответствующее решение СНК СССР было принято 23 ноября 1940 года. По поручению СНК, несколько месяцев назад им был составлен и список кандидатов в члены-корреспонденты Академии наук, в частности, по Отделению истории и философии. Здесь на три вакансии предлагалось пять кандидатур. Первой из них был – «известный

---

<sup>83</sup> Письмо секретарю ЦК ВКП(б) Г.Маленкову (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 274. Л. 94.)

<sup>84</sup> Записка Г. Александрова секретарю ЦК Г. Маленкову (РГАСПИ.Ф. 17. Оп. 125. Д. 274. Л. 99.)

<sup>85</sup> Многолетний ассистент Р.Ю. Виппера, Е.С. Голубцова, в посвященной ему статье написала, что историк «по приглашению Советского правительства вернулся в Москву». (Голубцова Е.С. Роберт Юрьевич Виппер // Портреты историков: Время и судьбы. Т. 2. Всеобщая история. Москва-Иерусалим, 2000. С. 11).

крупный историк» Роберт Виппер! Интересно, что первоначально напротив его фамилии было написано место жительства – Рига, но в скобках указано – «Переезжает в Москву». Затем около его фамилии появилась рукописная помета: «В мае Р.Ю. Виппер переехал в Москву»<sup>86</sup>. То есть в академических кругах уже в начале 1941 года было известно о переезде Виппера. Однако война прервала этот процесс и к началу июля 1941 года «вопрос о довыборах в АН отпал»<sup>87</sup>. Действительным членом по Отделению истории и философии АН СССР Р.Ю. Виппер был избран 27 сентября 1943 года<sup>88</sup>.

Приехав в Москву в мае 1941 года Р. Виппер получил должность старшего научного сотрудника Института истории АН СССР. Отметим, что его зарплата вдвое превышала зарплаты уже имевшихся сотрудников, даже академиков и член-корреспондентов АН СССР. Таким образом мы можем косвенно подтвердить особое положение нового московского ученого<sup>89</sup>. Осенью 1941 года он начал читать лекции студентам МГУ и МИФЛИ, но, как это нередко встречается в его биографии, в официальных документах этот факт отражения не получит: ни в его автобиографиях, ни в разного рода анкетах и личных листках. Везде будет информация о том, что преподавать на кафедре истории древнего мира в МГУ он начал весной 1943 года, вернувшись из эвакуации<sup>90</sup>.

Профессор Р.Ю. Виппер читал студентам МГУ и МИФЛИ осенью 1941 года курс по истории Древнего Рима<sup>91</sup>. Даты, проставленные Виппером на текстах лекций, позволяют нам говорить о том, что историк вместе со всеми москвичами переживал бомбежки го-

<sup>86</sup> Вакансии отделения (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 25. Л. 109).

<sup>87</sup> Письмо наркома связи СССР И. Присыпкина в СНК (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 25. Л. 77-78).

<sup>88</sup> Личное дело академика Р.Ю.Виппера (АРАН, фонд 411, опись 3, дело 196, с. 1-43). Архивная справка.

<sup>89</sup> В документах Секретного отдела Академии наук от 20 августа 1941 г. указаны размеры зарплат и ставки личного состава Института истории. Так, Е.А. Косминский, старший научный сотрудник, член-корреспондент АН, имел оклад 1100 руб.; Р.Ю. Виппер – в той же должности, профессор – 2500 руб., а академик Д.М. Петрушевский – 1000 руб. (АРАН. Ф. 530. Оп. 1 (1941). Д. 11. Л. 120).

<sup>90</sup> Личное дело академика Р.Ю.Виппера (РГАСПИ, Ф. 17, Оп. 100. Д. 71714. Л. 1). Архивная справка.

<sup>91</sup> Рукопись курса с пометами Р.Ю. Виппера: «читаю в МИФЛИ 8 сентября», «читаю в Университете 20 сентября», затем – 15 и 27 сентября, сохранилась в его фонде. Других дат нет, но текст един, со сквозной нумерацией страниц, дополнениями и вставками. (АРАН, Ф. 1562, Оп. 1, Д. 16. «Курс лекций в МИФЛИ и МГУ, читанный летом и осенью 1941» – заглавие этим записям дано самим Виппером).

рода, которые начались с 22 июля<sup>92</sup>. Судя по текстам лекций, страшные дни начала октября 1941 года, когда фашистские войска подошли к столице, историк также встретил в Москве. Это был тяжелый личный опыт 80-летнего ученого: увидеть врага у стен столицы, слышать взрывы снарядов, видеть, как строится во дворах его района линия обороны. Вряд ли стоит удивляться тому всплеску патриотизма, воспевания силы русского воинства, которые прозвучали со страниц его книг в ближайшие месяцы и годы военного времени.

Однако вернемся к первому для Роберта Виппера опыту преподавания в СССР после возвращения. Текст этого курса римской истории написан в присущей ему манере – с обращением к студентам, с разного рода вводными словами, призванными усилить впечатление и привлечь к ним внимание аудитории. Самые важные идеи и имена подчеркиваются карандашом. Для характеристики идей Виппера особый интерес представляет вводная лекция. Именно в этом тексте мы встречаемся с реакцией историка на утвердившийся в советской исторической науке с легкой руки И. Сталина постулат относительно «революции рабов» как причины падения Римской империи.

Вернувшийся в 1941 г. из Риги Р.Ю. Виппер говорил одному из полученных аспирантов, что «старается подойти к марксизму» и сетовал: «у студента получается, а у меня, профессора, ни черта не получается. Правда, студенту ничего не мешает, он мало знает, ему схему строить легко, мне труднее, но это люди, для которых история не то, что была для нас в свое время – мешок с фактами»<sup>93</sup>.

Но на этот раз сталинский марксизм у профессора вполне получился. По крайней мере, обязательные ритуальные фразы наличествовали в живом тексте лекционного курса. «Эта катастрофа образует раздел между двумя великими периодами: периодом господства рабовладельческого общества и периодом возникновения общества феодально-крепостнического. Вы знаете, что переход от одного периода к другому всегда знаменуется обострением борьбы классов и грозами революций (...). И рабовладельческий строй, господствовавший в римской империи, пал в результате революции, именно революции рабов и крепостных колонов, присоединившихся к варварам, которые напали на империю извне. (...)»<sup>94</sup>.

---

<sup>92</sup> На 20 августа 1941 года Р.Ю. Виппер значился находящимся в Москве вместе практически со всеми коллегами Института истории. (АРАН. Ф. 530, Оп. 1 (1941), Д. 11. Л. 120.)

<sup>93</sup> Сидорова Л.А. Оттепель в исторической науке. Советская историография первого послесталинского десятилетия. М., 1997. С. 173.

<sup>94</sup> АРАН. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 16. Л. 64.

Как это явление будут объяснять историки, «вооруженные марксистским методом»? Чтобы это понять, Виппер рассказывал студентам о сложившихся в течение XVII–XX веков взглядах на падение Рима (от Монтескье до Ростовцева), напоминая «о зависимости историков от социальных забот и социальных желаниях своего века»<sup>95</sup>. Переходя от идей просветителей XVIII века к Фюстелю де Куланжу, Момзену и другим, Виппер замечал: «Интересы и понятия крупной буржуазии отражает либерализм, интересы и понятия мелкой буржуазии – радикализм. Только с 40-х годов XIX-го века появляются среди интеллигенции первые выразители идеалов рабочего пролетариата, это Маркс и Энгельс»<sup>96</sup>. Профессору удалось вполне естественно вставить имена классиков марксизма в свой текст.

Однако самое интересное в тексте лекций, когда Роберт Виппер заговорил об интеллигенции и революции, либерализме и культуре. Времена действительно изменились, Виппер оказался в другой стране, чем та, которую он помнил по 1920-м годам и власть которой сурово критиковал за уничтожение культуры<sup>97</sup>. В СССР начала 1940-х гг. полностью господствует пролетарская массовая культура, и его прежние идеи об упадке культуры явно устарели. И он отказывается от них, объясняя студентам: «К плебсу, к низам общества либеральная интеллигенция относится с крайним недоверием; революционные движения, восстания крестьян и рабочих, баррикадные бои на улицах, в их глазах – ничто иное как “беспорядки”; это выходки только людей недоучившихся, недисциплинированных; это все – помехи стройному движению прогресса, угрозы им самим, носителям культуры, представителям либеральной буржуазии. Коммунизм в этих кругах считается возвратом к варварству, вредным и разрушительным для культуры»<sup>98</sup>.

Ученый настойчиво дистанцируется и от либеральной интеллигенции, и от таких взглядов. И, например, всячески симпатизируя точке зрения Ростовцева, изложенной в книге «Социальная и хозяйственная жизнь римской империи», о том, что в падении Рима виноваты «внутренние варвары» – плебс, крепостные крестьяне и рабы, которые ненавидели угнетавших их богачей»<sup>99</sup>, Виппер считает необходимым все же от некоторых идей коллеги-историка дистанцироваться: «Бур-

<sup>95</sup> Там же. Л. 66.

<sup>96</sup> Там же. Л. 72.

<sup>97</sup> Виппер Р.Ю. Конец индустриальной системы // Круговорот истории. 1923. С. 31.

<sup>98</sup> АРАН. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 16. Л. 72.

<sup>99</sup> Там же. Л. 86.



жуазный историк, без сомнения, под влиянием марксизма – хотя он ни за что в этом не сознается – понял, какой был основной порок рабовладельческого общества, понял, что античная культура погибла под ударами возмущившихся плебеев, крепостных и рабов. Но он не смог отказаться от застарелого буржуазно-аристократического предрассудка: он видит в античных собственниках и античных рабовладельцах своих ровней и сотоварищей и одинаково с ними выражает недоверие к культурным способностям широких масс трудящегося народа»<sup>100</sup>. У самого Роберта Виппера таких сомнений в 1941 г. больше не было.

Проявлением особого доверия к переехавшему в Москву историку стало поручение отрецензировать один из томов, посвященных XV–XVI вв., готовившейся в то время в Институте истории много-томной «Всемирной истории». Р.Ю. Виппер тщательно проанализировал структуру и текст тома и дал много полезных критических замечаний, в очередной раз продемонстрировав талант не просто ученого, но методиста, ориентируясь на будущего читателя этого издания<sup>101</sup>.

\*\*\*

В Московском университете профессор Виппер удостоился триумфальной встречи. На его публичную лекцию, посвященную проблеме перехода от римской республики к империи, пришло около тысячи человек. «Его встретили стоя, овацией, и несколько минут не смолкали аплодисменты. Очень скромный человек, никогда не гордившийся своими научными заслугами, он был тронут, но и удивлен: он думал, что за годы отсутствия всеми уже давно забыт»<sup>102</sup>.

В лекционном курсе по истории римской империи Роберт Виппер говорил: «Историк должен быть до известной степени драматургом – он должен уметь характеризовать людей их действиями и словами, распределять характеристики по нескольким последовательным моментам, по актам, на которые распадается драма»<sup>103</sup>. Воспользуемся этим советом и постараемся наметить еще несколько актов советской драмы присоединенного историка.

Естественно, что с началом войны не римские штудии Р. Виппера оказались востребованы в первую очередь, но его труд о внешней политике Ивана Грозного<sup>104</sup>. Не ставя целью здесь анализиро-

<sup>100</sup> Там же. Л. 87.

<sup>101</sup> АРАН. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 14. Л. 1-16.

<sup>102</sup> Голубцова Е.С. Роберт Юрьевич Виппер // Портреты историков: Время и судьбы. Т. 2. Всеобщая история. Москва-Иерусалим, 2000. С. 11.

<sup>103</sup> АРАН. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 16. Л. 96.

<sup>104</sup> Виппер Р.Ю. Иван Грозный. 2-е изд. Ташкент, 1942; 3-е изд. М., 1944. Подробно история написания и изданий этого труда Виппера изложена в рабо-

вать эту очень важную часть творчества и «врастания» Р. Виппера в советскую жизнь, отметим лишь один эпизод контроля идей и высказываний ученого со стороны советской власти.

В сентябре 1943 года историк читал лекцию об Иване Грозном в Москве, в Колонном зале дома союзов<sup>105</sup>. Как обычно, текст был им полностью написан, однако сохранившиеся материалы показывают, что его публичное выступление, по крайней мере, план лекции, утверждались и корректировались. В данном случае, корректировал план лекции и отслеживал «правильность» ее формулировок, в том числе для издания, народный комиссар просвещения РСФСР В.П. Потемкин. Именно в его фонде сохранились два варианта плана лекции, список предлагаемых формулировок и, наконец, полный текст самой лекции Р.Ю. Виппера<sup>106</sup>.

За годы войны Р.Ю. Виппер не только получил звание академика, но и удостоился ряда правительственных наград. Историк был награжден Орденом Трудового Красного Знамени в 1944 г. «За подготовку кадров, как профессор МГУ», Орденом Ленина в 1945 г. «За выдающиеся заслуги в развитии науки и техники. В связи с 220-летием АН СССР» и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» в честь 800-летия Москвы (1954 г.)<sup>107</sup>

Р.Ю. Виппер прожил в СССР более 10 лет и до последнего дня продуктивно работал. Он продолжал изучать проблему крепостного права в Лифляндии, опубликовал по этой теме ряд статей, выступал с докладами на заседаниях группы по истории крестьянства в Институте истории. 12 октября 1944 года доклад Виппера «Крепостное право в Лифляндии» прозвучал на заседании Отделения истории и философии АН СССР<sup>108</sup>. К выступлениям историка коллеги всегда относились с большим интересом. Как сказал академик Б.Д. Греков относительно доклада Виппера о крепостном праве в Лифляндии, историк «вскрыл целый ряд новых для нас фактов и осветил их с блеском,

тах: Володихин В.М. Эпоха Ивана Грозного в сочинениях С.Ф. Платонова и Р.Ю. Виппера // Платонов С.Ф. Иван Грозный (1530–1584). Р.Ю. Виппер. Иван Грозный. М., 1998. С. 3-16; Он же. «Очень старый академик»... С. 63-80.

<sup>105</sup> Виппер Р.Ю. Иван Грозный. Стенограмма публичной лекции, прочитанной 17 сентября 1943 г. в Москве. Лекц. бюро при КВШ. 1943. 20 с. На правах рукописи.

<sup>106</sup> Виппер Р.Ю. Иван Грозный. Текст и план лекции (АРАН. Ф. 574. Оп. 5. Д. 37. Л. 1-3).

<sup>107</sup> Личное дело академика Р.Ю. Виппера (АРАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 196. Л. 1-43). Архивная справка.

<sup>108</sup> АРАН. Ф. 457. Оп. 1а (1944). Д. 47.

присущим только ему одному. Так что мы не только узнали много нового, но и получили эстетическое удовольствие от доклада»<sup>109</sup>.

Отметим, что на этом заседании, как и в других случаях, пребывание в Латвии Р. Виппер объяснял простой научной работой: «в 1924 г... я начал свои розыски в рижских архивах и библиотеках»<sup>110</sup>. Такой образ «рижского сидения» создается в академическом социуме, в том числе самим Виппером. Эмиграция ученого стала выглядеть со временем длительной научной командировкой и в дальнейшем, даже в период критики в конце 1940-х гг., годы отсутствия в СССР не ставились ему в вину. Вероятно, покровительство со стороны Сталина, продолжало сохранять свою действенность и в послевоенные годы.

Р.Ю. Виппер в советский период продолжил с успехом заниматься и проблемой зарождения христианства. Теперь уже его совсем нельзя было обвинить в «поповщине», напротив, он проводил последовательную критику источников по истории раннего христианства, что, в свою очередь, в полной мере соответствовало атеистической политике советского государства.

В ноябре 1945 года, составляя свой план на пятилетку, как это требовали правила организации науки в СССР, Виппер задумал три серьезных проекта, осуществить которые в полной мере ему не удалось. «В предстоящем пятилетии (1946–1950) я предполагаю написать три работы, – писал академик. – Просветительный век римской империи, Очерки крестьянских восстаний в Западной и Центральной Европе от 14 до 16 вв., Московская историческая школа от Грановского до Ключевского»<sup>111</sup>. Если первая тема была им раскрыта в двух монографиях, а вторая – в серии статей, то для третьей – написан был очерк о Т.Н. Грановском, который не увидел свет при жизни автора. Этот текст, написанный Р.Ю. Виппером около 1947 года, явное свидетельство начинавшейся драмы в советской исторической науке. Требование партийно-государственной идеологии доказать самобытность русской истории, науки и культуры налагало на историков жесткие ограничения. Запрещалось цитирование иностранных авторов, вновь оживала критика дореволюционной («буржуазной») науки, активно велась борьба с «буржуазными фальсификаторами». И старый ученый вынужден был следовать этим правилам. Поэтому в начале очерка об историке Т.Н. Грановском мы читаем: «в усиленном обучении у иностранцев русская наука ни в какой мере и ни на одну минуту не становилась на путь заимствований и подражаний.

---

<sup>109</sup> Там же. Л. 23об.

<sup>110</sup> Там же. Л. с. 6.

<sup>111</sup> АРАН. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 84 Л. 20.

Во всех областях знания она выдвинула оригинальных мыслителей, представителей творческого гения русского народа»<sup>112</sup>. Виппер в целом верен себе – это живой, многоголосый текст, в котором постоянно звучат слова Грановского и его современников. Один из самых ярких пассажей посвящен любви Тимофея Грановского к университету. Очевидно, эти слова Р.Ю. Виппер мог бы сказать и о себе: «...постоянная жизнь в деревне не для меня, пока мне можно будет оставаться при университете. Я не могу принять незаслуженного отдыха, покоя прежде усталости... Мне нужен труд, люди и, скажу правду, *влияние на людей* (курсив мой. – Р. Виппер), то есть возможность делиться с ними моими учеными и другими мнениями. Все это дает мне университет»<sup>113</sup>. Наука была главным делом жизни Р.Ю. Виппера. В 1953 г., отвечая на вопрос о том, какую помощь может оказать ему Отделение истории и философии, Виппер высказал одно пожелание – о скорейшем напечатании монографии «Культура римской империи и возникновение христианства»<sup>114</sup>.

Конец 1940-х – начало 1950-х гг. были нелегкими для семьи Випперов. Лозунги усиления классово-борьбы по мере нарастания успехов социализма способствовали послевоенной волне репрессий в СССР. Новые труды Сталина (особенно по вопросам языкознания) и последовавшие за их появлением обсуждения и «переосмысления» прежних научных теорий, развязанная кампания по борьбе с космополитизмом и буржуазным объективизмом, не могли не задеть Р. Виппера. Подверглась критике книга его сына Бориса Виппера об английском искусстве<sup>115</sup>, а затем следующая его работа, посвященная творчеству Тинторетто<sup>116</sup>. Искусствовед был вынужден подвергнуть себя самокритике и написать ряд «правильных статей». Старший Виппер по возрасту мог не посещать многочисленных заседаний, которые проходили в МГУ и Институте истории, где критиковали и заставляли каяться маститых ученых, его младших друзей и учеников. Здесь впервые напрямую прозвучала критика его работ<sup>117</sup>, да и атмосфера в научном сооб-

<sup>112</sup> Т.Н. Грановский. Очерк. (АРАН. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 32, Л. 1)

<sup>113</sup> Там же. Л. 46.

<sup>114</sup> АРАН. Ф. 1562. Оп. 1. Д. 86. Л. 5. Монография (Р.Ю. Виппер. «Рим и раннее христианство») вышла в 1954 г..

<sup>115</sup> Виппер Б.Р. Английское искусство. Краткий исторический очерк. М., 1945.

<sup>116</sup> Виппер Б.Р. Тинторетто. М.: Изд-во ГМИИ имени А.С. Пушкина, 1948.

<sup>117</sup> На одном из заседаний исторического факультета МГУ в марте 1949 г. прозвучала следующая критика: «Профессор Авдиев говорил о работе академика Виппера “Возникновение христианской литературы”, изданной в 1946 г., написанной только на основании иностранной буржуазной литературы; труды советских историков не только не использованы академиком Виппером, но даже

шестве и стране в целом была более чем тяжелой<sup>118</sup>.

Весной 1949 года развернулась партийная критика журнала «Вопросы истории», в результате которой сменилась его редколлегия. 4 апреля 1949 года Политбюро ЦК было принято специальное постановление «О мерах по улучшению работы журнала «Вопросы истории». Предварительную работу по анализу содержания издания проводил Отдел агитации и пропаганды ЦК. В записке с замечаниями, адресованной секретарю ЦК Г.М. Маленкову, в частности, говорилось: «журнал не ведет последовательной борьбы против антимарксистских извращений в области истории». В качестве примера такого «извращения» была приведена книга Р.Ю. Виппера «История средних веков», где феодализм «рассматривается не как социально-экономическая формация, а как правовое устройство. Р.Ю. Виппер игнорирует классовую борьбу крестьянства, считая силой исторического процесса деятельность христианской церкви»<sup>119</sup>.

Действительно, Р.Ю. Виппер опубликовал и до, и после 1917 года немало изданий учебника по истории средних веков<sup>120</sup>. Советский вариант учебника 1947 года отличался от прежних изданий. Предназначенный не для школьников, но для студентов гуманитарных факультетов МГУ, этот учебник Р.Ю. Виппер постарался выстроить в соответствии с канонами советской исторической науки. Однако переломить свое видение исторического процесса, даже под жестким идеологическим прессингом ему не удалось. Рецензенты заметили это немедленно: «самым главным недостатком книги является то, что автор не прослеживает в своём курсе развитие феодальной формации. Автор признаёт марксистское учение о формациях (как это видно из введения), но при изложении событий его интересует главным образом политическая и культурно-бытовая история. Исследование самого экономического строя, этой основы исторического развития,

---

не упомянуты, хотя они представляют собой весьма ценные работы по истории раннего христианства... В самой же работе академика Виппера проводится путаная буржуазная концепция, в своих основных положениях излагающая взгляды, диаметрально противоположные взглядам Энгельса на природу раннего христианства» (Стишов М. Хроника. На историческом факультете МГУ // Вопросы истории. 1949. № 2. С. 156).

<sup>118</sup> Подробнее о кампании борьбы с космополитизмом см.: Тихонов В.В. Идеологические кампании позднего сталинизма и советская историческая наука (середина 1940-х – 1953 г.). М.: СПб., 2016.

<sup>119</sup> РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 118. Д. 328. Л. 56.

<sup>120</sup> Например, Краткий учебник истории средних веков. М., 1922. Здесь речь идет о его учебнике для высшей школы: Виппер Р.Ю. История средних веков. М.: МГУ, 1947.

занимает в книге сравнительно мало места. Особенности развития феодализма в разных странах вскрыты недостаточно. Не везде также вскрыта и диалектика классово́й борьбы средневекового общества, столь антагонистического и столь богатого острыми социальными конфликтами. В книге вообще преобладает рассказ о событиях, без достаточного анализа и подчёркивания значения излагаемых фактов для общеисторического процесса. Характеристики политических деятелей и форм феодального государства даны местами весьма идеализированно, с затушёвыванием их подлинно классового существа»<sup>121</sup>.

Если суммировать главные «просчеты» историка, то они были весьма серьезны:

– объясняя кризис Римской империи, Виппер акцентировал внимание на его моральных аспектах (включая распространение восточных культов), военных (варвары) и политических, оставляя в стороне общие слова о «кризисе рабовладельческого общества»;

– он говорил не только о варварских завоеваниях, но и о мирном проникновении варваров на римские земли, их расселении, что напоминало концепцию Фюстель де Куланжа, а значит, фактически отрицало разрыв (революцию) между Античностью и Средневековьем<sup>122</sup>.

Виппер не размышлял о византийском феодализме и не рассказывал о восстании Фомы Славянина, «арабский феодализм» также оказался вне его поля зрения. Разбирая политическое устройство Каролингов, он говорил о вассалитете, бенефициях, коммендации, но крестьяне его интересовали едва ли не в последнюю очередь. И даже отдельные параграфы учебника, например, «Феодальное устройство в Западной Европе около 1000 года», – при всем богатстве фактического материала, не содержали самого главного – «теоретических обобщений характерных признаков феодального способа производства, принятых в марксистской историографии»<sup>123</sup>.

<sup>121</sup> Семенов В.Ф. Рецензия. // Вопросы истории. 1948. № 5. С.119.

<sup>122</sup> В 476 г. был свергнут последний римский император Ромул Августул. В 486 г. франки захватили северную Галлию. «Эти события впоследствии истории нового времени называли падением Западной Римской империи. Но современники не заметили в них чего-либо особенно нового и решительного... Никому не приходило в голову, чтобы империя могла прекратиться: в Константинополе оставался по-прежнему император...» (Виппер Р.Ю. История средних веков. М., МГУ, 1947. С. 58). Подробнее о концепции «революции рабов» в учебниках по истории средних веков см.: Шарова А.В. «Революция рабов» в учебных изданиях Е.А. Косминского // Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры. Альманах. Т. 6. М., 2017. С. 421-450.

<sup>123</sup> Там же. С. 122.

И таких замечаний, причем как идеологического, так и фактического характера, набралось немало. Справедливости ради отметим, что некоторые позиции Виппера действительно могли считаться устаревшими на тот момент не только с точки зрения советской медиевистики. В итоге рецензент сделал вполне закономерный вывод: «Богатый фактический материал, содержащийся в ней, несомненно, будет использован в преподавании истории средних веков в наших университетах и институтах. В этом смысле издание книги было полезно. Но методологические недостатки книги, недоучёт автором ряда достижений современных советских историков – специалистов разных областей в медиевистике – вызывают чувства неудовлетворённости и недоумения у читателя, хотя автор – эрудит и опытный мастер в преподавании в высшей школе – выполнил свой труд с присущим ему литературным и педагогическим блеском»<sup>124</sup>.

Именно такой вывод рецензента о полезности издания книги Р. Виппера стал для идеологических работников ЦК основанием для критики журнала, опубликовавшего рецензию, и обвинения издания в «попустительстве» антимарксистских выступлений. А историк Р.Ю. Виппер спустя 25 лет вновь столкнулся с критикой со стороны партии большевиков.

Логично, что критика учебника Р.Ю. Виппера продолжилась на собраниях в Институте истории АН. В марте 1949 года на совместном заседании сектора истории Средних веков Института истории и кафедры МГУ имя ученого звучало неоднократно. Критиковался все тот же учебник по истории Средних веков, как, впрочем, и вся печатная продукция сектора и исследования его сотрудников. В ходе критики «очень старый академик» оказался вновь в компании своих давно почивших коллег по кафедре в Московском университете – П.Г. Виноградова, Д.М. Петрушевского, А.Н. Савина – только теперь в качестве обвиняемого в «буржуазном объективизме»<sup>125</sup>. Впрочем, на фоне всего разгрома и критики исторической науки этих лет, Р.Ю. Виппер оказался лишь одним из многих.

---

<sup>124</sup> Там же. С. 123.

<sup>125</sup> См.: Стенограмма объединенного заседания сектора истории Средних веков Института истории АН СССР и кафедры истории Средних веков Московского государственного университета. 23 марта 1949 г. // Одиссей: Человек в истории. 2007. М., 2007. С. 253-340. По мнению В.В. Тихонова, критика «Истории средних веков» за авторством Р.Ю. Виппера была делом безопасным, так как «все понимали, что старый академик наказания не понесет» (Тихонов В.В. Идеологические кампании... С. 221). С этим можно было бы согласиться, учитывая возраст ученого и его патронов, однако это лишь часть имеющейся картины.

Вряд ли ученый был готов столкнуться с подобной проработкой своих трудов, которые были допущены к печати всеми проверяющими инстанциями и ранее никаких возражений не вызывали. Более того, критике неожиданно подверглись и его воззрения по истории христианства, также ранее не встречавшие серьезных возражений<sup>126</sup>. Причем эта была критика такого рода, отвечать на которую было или крайне опасно, или совершенно невозможно, поскольку вина критикуемого признавалась априори. Только в 1954 г. в рецензии на книгу Шарля Эшлена, посвященную происхождению религии, С.Д. Сказкин решил посоветовать на то, что талантливые книги советских историков, в том числе Р.Ю. Виппера, по этой проблематике не переиздаются<sup>127</sup>. Впрочем, во второй половине того же года новый труд Виппера все же увидел свет. По мнению исследователей, монография ученого «Рим и раннее христианство» свидетельствовала о том, что «патронат» сработал и «врастание» (вольное или невольное) в советскую историческую науку самого старого ее академика все же состоялось: «Представитель дореволюционной школы историков, Р.Ю. Виппер не мог принять все марксистские построения, но, критически воспринимая христианскую традицию и продолжая работать в русле мифологической школы, он смог «встроиться» в интеллектуальный ландшафт советской исторической науки»<sup>128</sup>.

Любопытно, что книга Р.Ю. Виппера об Иване Грозном, равно как и, предположим, «высочайший патронат» историка, о котором были наслышаны коллеги, послужили специфическим аргументом в споре Д.С. Лихачева с критиковавшим его идеи М.Н. Тихомировым. Защищая от нападок свое творчество, в частности книгу «Культура Руси эпохи образования Русского национального государства (Конец XIV – начало XVI в.)» (М., 1946) Д.С. Лихачев неожиданно прибег к авторитету книги Р.Ю. Виппера, которая еще совсем недавно так нравилась Сталину<sup>129</sup>.

<sup>126</sup> Подробнее см.: Метель О.В. «...убить Виппера»: рецензия Н.М. Никольского на монографию Р.Ю. Виппера «Возникновение христианской литературы» (М.; Л., 1946) // Мир историка. Вып. 12. Омск, 2019. С. 400-433.

<sup>127</sup> Сказкин С.Д. Рец. Шарль Эшлен. Происхождение религии // Вопросы истории. 1954. №9. С. 164-166. Именно в 1954 г. наконец увидела свет книга Р.Ю. Виппера «Рим и раннее христианство».

<sup>128</sup> Метель О.В. Советская модель... С. 76.

<sup>129</sup> «Рецензент считает недопустимым выдвигать новые концепции, новые мысли в научно-популярных работах. Я мог бы привести десятки примеров из разных наук, когда интереснейшие и оправдавшиеся концепции были впервые высказаны в научно-популярной форме. Сошлось лишь на один пример – на



\*\*\*

В целом, несмотря на угасание кампании критики историков в начале 1950-х гг. мы должны признать, что результаты критики трудов Р.Ю. Виппера заметны даже в тексте сначала юбилейного поздравления, а потом и некролога, появившихся на страницах журнала «Вопросы истории» в 1954 г. В июле 1954 года журнал скромно поздравил 95-летнего юбиляра с 75-летием его творческой деятельности.

Приведем здесь этот образец «советского лаконизма»: «Перу академика Р.Ю. Виппера принадлежат учебники древней, средневековой и новой истории. Многие советские историки слушали его лекции в Московском университете. Старейший из советских историков, Р.Ю. Виппер продолжает работать. Количество его трудов достигает в настоящее время 300. Большую роль сыграл труд Р.Ю. Виппера “Иван Грозный”; эта работа и поныне не утратила своего научного значения. Совсем недавно советскими историками-античниками обсуждалась и была одобрена его книга “Рим и раннее христианство”. В одном из ближайших номеров нашего журнала публикуется статья ученого “Культура античности и христианство”. Редакция журнала “Вопросы истории” послала академику Р.Ю. Випперу приветствие, пожелав доброго здоровья и дальнейших творческих успехов»<sup>130</sup>. Некролог, появившийся через несколько месяцев (Виппер скончался 30 декабря 1954 г.), также зафиксировал перевоспитание ученого, который после возвращения в СССР «пересматривает с позиций марксизма-ленинизма свои старые взгляды в области древней истории»<sup>131</sup>.

В воспоминаниях знавших его людей Виппер «был принципиальным и высоко честным человеком, и ни время, ни возраст не нарушили этих основных принципов его жизни. Бывали случаи, когда от него требовали изменить свою позицию, свое отношение к тому или иному человеку (в 50-е годы это бывало!). Он твердо стоял на своем, выработанном и аргументированном мнении, и когда давление бывало уж очень сильным, повторял: “Господа, я не ветряная мельница!”

---

книгу акад. Р. Ю. Виппера об Иване Грозном. Самому типу этой книги, худо ли, хорошо ли, я и стремился следовать. Я думаю, что по-настоящему увлекательная научно-популярная книга может быть написана только в том случае, если автор её подойдет к своей задаче научно-творчески, будет высказывать свои, свежие мысли, а не излагать предшествующие исследования» (Лихачев Д.С. Письма в редакцию // Вопросы истории. 1947. № 11. С. 156 (154-159).

<sup>130</sup> 95-летие академика Р.Ю. Виппера // Вопросы истории. 1954. № 7. С. 185.

<sup>131</sup> Р.Ю. Виппер // Вопросы истории. 1955. № 1. С. 192.

Воспитанный на высоких моральных принципах, он не считал нужным подать руку подлецу, отказывая ему от дома»<sup>132</sup>.

По возвращении в Москву из Риги, Р.Ю. Виппер восстановил старую университетскую традицию неформальных собраний ученых. Так появились знаменитые випперовские «четверги», на которых собирались 10-12 человек и обсуждали самые разные темы – от крепостного права и «Слова о полку Игореве» до проблем античной и средневековой истории. На этих собраниях присутствовали маститые ученые (С.Д. Сказкин, Е.А. Косминский, Н.М. Дружинин, Н.А. Машкин, В.М. Лавровский), ученики Виппера старшего поколения (К.К. Зельин), так и аспиранты и студенты. Но после прозвучавшей в начале 1950-х гг. критики ученого, такого рода собрания академическое руководство посчитало «нежелательными»<sup>133</sup>.

Таким образом, мы видим, что последний период жизни (1941–1954) историка Р.Ю. Виппера, когда он вместе с территорией Латвии оказался «присоединен» к СССР и вошел в число советских историков, был полон истинного драматизма и отражал многие реалии взаимоотношений власти и науки в СССР.

Критика его работ, написанных или переизданных в это время, демонстрирует не только сохранение историком оригинального видения исторического процесса, которое не укладывалось в жесткие каноны советской исторической науки. Едва ли не более интересно обратное воздействие – свободного творчества «возвращенного» ученого, его стиля общения с коллегами и учениками (знаменитые «четверги») на окружавших его людей.

Интеллектуальные поиски «старого академика» Роберта Юрьевича Виппера, вызывавшие несогласие и отторжение у привычных к марксистской методологии историков, тем не менее, создавали благодатную почву для дискуссий среди профессионалов – антиковедов, библеистов, медиевистов и историков России.

<sup>132</sup> Голубцова Е.С. Указ. соч. С. 13.

<sup>133</sup> Там же. С. 14.

## 2.7. КАК ЭТО БЫЛО...

### О В.Т. ЗВИРЕВИЧЕ И ЕГО ИСТОРИИ ОБ ИСТОРИИ

Во всяком обществе, при любом политическом строе, существует глубокая зависимость специалистов-гуманитариев, изучающих как далекое, так и недавнее прошлое<sup>1</sup>, от современной эпохи. Все они погружены и в современную общекультурную среду, и в более узкую профессиональную культуру, имеющую собственные традиции. Те вопросы, которые каждое поколение исследователей ставит перед прошлым, неизбежно отражают интересы, проблемы и стремления этого поколения, но не менее важным условием для творчества оказывается их приверженность профессиональным стандартам и научным нормам в настоящем. Основной вопрос заключается в том, что именно и кто может быть в фокусе исследования<sup>2</sup>. В современной историографии – это человек, и все более – человек крупным планом, человеческая индивидуальность во всей ее сложности и неповторимости. И здесь не уйти от осознания исследователем «двойной ответственности» за изложение прошлого через настоящее и от ряда этических проблем<sup>3</sup>.

Такой обновленный биографический подход ярко проявляется как собственно в Новейшей истории, так и в ее неотъемлемой составляющей – историографии. Особое внимание все больше уделяется, с одной стороны, анализу персональных текстов или источников личного происхождения, в которых оказывается запечатленным

---

<sup>1</sup> К такому кругу исследователей можно отнести не только гуманитариев, но и специалистов-естественников и других, то есть тех, кто изучает историю науки соответствующей отрасли знания в целом, ее начатки, становление и развитие в частности.

<sup>2</sup> См.: Репина Л.П. Вместо предисловия: размышляя о многогранности человеческого опыта // Из первых уст... Историки о себе и исторической науке в этом быстро меняющемся мире / Сост. и общ. ред. Л.П. Репиной. М., 2020 (Далее – Из первых уст...). С. 6-7. См. также: Торстендаль Р. Профессионализм историка и историческое знание. М., 2014.

<sup>3</sup> Репина Л.П. Вместо предисловия... 6-7. Л.П. Репина замечает, что обсуждение таких проблем неслучайно так активизировалось в начале XXI века, указывая на интервью с Хейденом Уайтом (Из первых уст... 48 [46-55]).

индивидуальный опыт, его переживание и осмысление. С другой стороны, таким «ненадежным», на первый взгляд, источникам, как дневники, письма, мемуары... выходящим на первый план не вопреки своей субъективности, а благодаря ей<sup>4</sup>. Немалый интерес представляет жанр полноценных интеллектуальных биографий и / или автобиографий, к которому не случайно обратился ряд выдающихся ученых – историков второй половины XX века<sup>5</sup>, – жанр, вошедший в отечественную историографию как автобиоисториографический<sup>6</sup>.

Профессионально вписывая свою историю жизни (как «в миру», так и в науке) в динамичный, полный драматических событий социально-исторический контекст, ведущие современные исследователи прошлого, создавая бесценный материал для изучения истории и культуры своей эпохи, сами являются не только представителями российской школы ученых, но и ярким примером для следующих поколений исследователей. Поскольку ценными и значимыми оказываются сведения об их жизненном и творческом пути, в современной научной периодике интенсивно публикуются многочисленные и весьма информативные интервью мэтров исторической науки, биографические очерки, эссе и нарративы<sup>7</sup>.

В нашем очерке речь пойдет о начатках профессионального становления современного исследователя, изучающего историю и культуру Античности и Средних веков, – Витольде Титовиче Звиревиче<sup>8</sup>. В основу этого изложения положены материалы, составлен-

<sup>4</sup> Ценность каждого такого свидетельства не отменяет его фрагментарности и «сюжетной» ограниченности. См.: Репина Л.П. Вместо предисловия... С. 7.

<sup>5</sup> Там же. Согласно Л.П. Репиной, очевидным вкладом в его разработку стали автобиографические эссе известных французских историков, представленные Пьером Нора, составителем сборника «Очерки по эго-истории». См.: *Essais d'ego-histoire* (Maurice Agulhon, Pierre Chaunu, Georges Duby, Raoul Girardet, Jacques Le Goff, Michelle Perrot, René Rémond) / Ré-unis et présentés par Pierre Nora. Paris, 1987).

<sup>6</sup> Этот термин введен в научный оборот Л.П. Репиной (см.: Репина Л.П. Историк в двадцатом веке: вместо введения // Диалог со временем: историки в меняющемся мире. М., 1996: 3-9). Несмотря на отмеченную Л.П. Репиной условность этого термина (см.: Там же. С. 7), в настоящее время он весьма прочно утвердился в историографии, как российской, так и зарубежной. См., напр., недавнее издание «Из первых уст...» (М., 2020).

<sup>7</sup> См.: Репина 2020: 6-7.

<sup>8</sup> В.Т. Звиревич родился в 1935 г., в Свердловске. В 1962 году окончил исторический факультет Уральского университета (УрГУ). Специализировался по римской истории и латинской эпиграфике на кафедре всеобщей истории у доцента Н.Н. Беловой (о ней см. *ниже*, примеч. 30); защитил дипломную работу на тему «Культ римских императоров в Галлии в эпоху ранней империи (по

ные им на основе собственных воспоминаний, связанных с его обучением, выбором исследовательских направлений. Наша цель – не только рассказать об этой вехе жизненного пути Витольда Титовича, но и для полноты картины «погрузить» читателя в атмосферу студенческой жизни середины XX века, показав ее особенности и нюансы. Чтобы сохранить искренний характер воспоминаний, повествование ведется от лица его героя – В.Т. Звиревича.

\*\*\*

Тип личности направил меня в гуманитарную сферу, точнее, к истории, через игру «в солдатики», придуманную моим школьным товарищем Игорем Пьянковым. Игра эта заключалась в том, что мы рисовали людей разных эпох и стран и создавали из них разнообразные «царства-государства»<sup>9</sup>; а также через чтение самых разных исторических романов и беллетризованных рассказов по истории для школьников в духе медиевиста акад. С.Д. Сказкина<sup>10</sup>. Следствием всего этого было изготовление мечей и щитов, луков и стрел, и игры с

---

надписям)». После окончания университета был принят в социологическую лабораторию при кафедре философии УрГУ; работал преподавателем кафедры философии (с 1965 г.) и истории философии (с 1968 г.). В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Цицерон как историк философии» и был утвержден в ученом звании доцента. В 1998 году защитил докторскую диссертацию по теме «Типология античных концепций человека»; утвержден в звании профессора в 1999 году. До 2018 года – профессор кафедры истории философии; читающий лекционные курсы по древней и средневековой философии. В настоящее время – независимый исследователь. Его авторству принадлежат книги по античной истории и культуре, учебники и учебные пособия, множество статей, переводы с древних языков сочинений античных и средневековых авторов. Среди них «Цицерон – философ и историк философии» (Свердловск, 1988); «Философия Древнего мира и Средних веков» (Свердловск, 1996); «Обожение человека в Античности» (Екатеринбург, 2001); Макробий. Сатурналии (Екатеринбург, 2009; М., 2013 и 2022); «Типы античных концепций человека» (Екатеринбург, 2010); Античная антропология: от героя-полубога до «человечного человека» (Екатеринбург, 2011); «Жанр утешений в античной философской литературе» (Екатеринбург, 2013); «Древняя и средневековая философия» (Екатеринбург, 2015); «Цицерон» (СПб., 2016); Руководство по грамматике древнегреческого языка (Учебное пособие) (М., 2021) и др. См. также: Уральский государственный университет в биографиях / Сост. В.А. Мазур / Под общ. ред. А.В. Подчиненова. Екатеринбург, 2010 (далее – УрГУ в биографиях). – [https://biography.ideafix.co/indexf055.html?base=mag&id=a\\_0398](https://biography.ideafix.co/indexf055.html?base=mag&id=a_0398) (ноябрь, 2023).

<sup>9</sup> Здесь В.Т. Звиревич поясняет, что, повзрослев, он с удивлением прочитал о чём-то подобном в «Кондуите и Швамбрании» Л. Кассия.

<sup>10</sup> Сергей Данилович Сказкин (1890–1973) – русский и советский историк-медиевист; автор работ, посвященных проблемам истории Западной Европы.

товарищами во всяких там «рыцарей» и «монголов», «арабов» и тому подобное. Всё это было в школьные годы, примерно до 5–6-го класса. Но это игры... Главным была любовь к школьным урокам истории и определённые успехи по этому предмету (я учился в неполной средней школе). Тогда и возникла одна единственная цель моей жизни – поступить в наш Университет на исторический факультет, чтобы изучать историю. Она ещё более укрепилась во время обучения в машиностроительном техникуме, куда я после окончания 7-го класса просто пошёл за компанию с ближайшими друзьями.

В техникуме я усердно занимался на уроках истории. Помимо учебника по предмету, читал много, много книг. Запомнилась книга Л.П. Берия, которая, кажется, называлась «История большевистских организаций Закавказья»<sup>11</sup>; запомнилась она потому, что библиотекарь техникума неожиданно для меня потребовала немедленно сдать ее (по-видимому, это было в конце 52 / 53 учебного года). А еще помню, что как-то по заданию учительницы истории скомпилировал по данной ей брошюре доклад о КНДР, который сопровождал рисунком цветной карты Корейского полуострова (наверное, он был нужен ей для какой-то выставки работ учащихся техникумов по истории). Итоговый экзамен по истории я сдал на пятёрку, упоённо рассказывая биографию И.В. Сталина.

В это же время я начал самостоятельно изучать латинский язык. Стимулом к этому стало желание прочесть надписи на печатях каких-то средневековых королей и императоров, которые были помещены в школьном учебнике «Истории средних веков» в качестве иллюстраций. Пособием мне первоначально служил учебник латинского языка для медиков, который я попросил у сестры своего приятеля по школе и техникуму Алика Климова (ее звали Ида Александровна; она была учителем русского языка, но, видимо, когда-то сама занималась по такому учебнику). Из него, кажется, я запомнил пример: “asinus baculo excitatur”<sup>12</sup>.

Уже в эти годы я начал собирать историческую библиотеку. Первой моей книгой была «Война с готами» Прокопия Кесарийского<sup>13</sup>. Я получал стипендию и мог тратить кое-какие деньги на книги,

---

<sup>11</sup> Речь идет о книге: Берия Л.П. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. М., 1948. – [https://istmat.org/files/uploads/60709/beriya\\_k\\_voprosu\\_ob\\_istorii\\_bolshevistskih\\_organizacij\\_v\\_zakavkaze.1948.pdf](https://istmat.org/files/uploads/60709/beriya_k_voprosu_ob_istorii_bolshevistskih_organizacij_v_zakavkaze.1948.pdf).

<sup>12</sup> Дословно: Осел погоняется палкой. Смысл этой поговорки состоит в том, что упрямство или лень можно искоренить лишь палкой.

<sup>13</sup> См.: Прокопий Кесарийский. Война с готами / Пер. С.П. Кондратьева. М., 1950. – <https://azbyka.ru/otechnik/6/vojna-s-gotami/> (ноябрь, 2023).

и был постоянным посетителем, помимо прочих книжных магазинов, букинистического магазина и магазина «Академкнига». Чтобы здесь и закончить рассказ о своей библиотеке, скажу, что у меня были такие шедевры издательского искусства, как «Всеобщая история» Оскара Йегера<sup>14</sup>, «История византийской империи» Ф. Успенского<sup>15</sup>, а также очень старые и редкие книги, например, «Монетное дело Боспора»<sup>16</sup>, «Энциклопедический словарь Гранат»<sup>17</sup>, «Греческая грамматика» 1817-го года издания<sup>18</sup>. В дальнейшем чего только я не выписывал из периодики: «Вопросы истории», «Вестник древней истории», «Советская археология», «Советская этнография», «Эпиграфика Востока»; покупал серийные сборники «Средние века», «Византийский временник», «Палестинский сборник»; такие издания, как «Народы Африки и Азии» и тому подобное; конечно, и подписные издания: «Всемирная история», «Советская историческая энциклопедия». Само собой, покупал все вновь выходящие монографии и учебники по древней истории включая историю культуры, литературы, искусства (было, например, прекрасное издание «Фаюмский портрет», 30-х или послевоенных 50-х годов<sup>19</sup>). По разного рода причинам историческая часть библиотеки была по большей

---

<sup>14</sup> Оскар Йегер (1830–1910), немецкий историк, автор «Всеобщей истории», в 4-х томах. Т. I: История древняя; Т. II: История средних веков; Т. III: Новая история; Т. VI: Новейшая история. Книги вышли в Санкт-Петербурге, в 1894 г. в переводе под редакцией П.Н. Полевого.

<sup>15</sup> Федор Иванович Успенский (1845–1928), российский и советский византист; автор фундаментального труда «История византийской империи», в 3-х томах. Т. 1 (СПб., 1913). – [http://www.odinblago.ru/istoria\\_vizantii/](http://www.odinblago.ru/istoria_vizantii/); Т. 2 (СПб., 1927). – [http://www.odinblago.ru/istoria\\_vizantii2/](http://www.odinblago.ru/istoria_vizantii2/); Т. 3 (М. – Л., 1948). – [http://www.odinblago.ru/istoria\\_vizantii3/](http://www.odinblago.ru/istoria_vizantii3/) (ноябрь, 2023).

<sup>16</sup> См.: Шелов Д.Б. Монетное дело Босропа VI–II веков до нашей эры (Издательство Академии наук СССР, 1956 г.).

<sup>17</sup> Энциклопедический словарь Гранат – одна из основательных дореволюционных русских энциклопедий. Первые шесть изданий словаря выходили под названием «Настольный энциклопедический словарь». Седьмое издание словаря, полностью переработанное, вышло под титулом «Энциклопедический словарь Гранат». Электронные версии словаря (тт. 1–58), см. на сайте «Википедия».

<sup>18</sup> См.: Платонов-Кречетников, Егор. Новая полная практическая грамматика греческая, изложенная по методу славного Брёдера, с прибавлением греческой поэзии [Текст] / изданная Никитским, что за Язуою, свщ. г. П-вым, иждивением ревностных и благодетельных распространителей языка сего, братьев Зосимов. Москва: в Университетской типографии, 1817–1819.

<sup>19</sup> См.: Стрелков, А. Фаюмский портрет. Исследование и описания памятников. СПб., 1936. – [https://imwerden.de/pdf/strelkov\\_fayumsky\\_portret\\_academia\\_1936\\_text.pdf](https://imwerden.de/pdf/strelkov_fayumsky_portret_academia_1936_text.pdf) (ноябрь, 2023).

части «разбазарена»: продана, разодрана на отдельные статьи, отдана пионерам-сборщикам макулатуры.

Через год после окончания техникума, летом 1955 г., я поступил на заочное отделение исторического факультета нашего Уральского государственного университета имени А.М. Горького (УрГУ). В приёмной комиссии, видя мой техникумовский диплом, принимавшая мои документы сотрудница сказала, что мне следовало бы поступать на физико-математический факультет. Тогда же я заметил человека без ноги, к которому обращались работники комиссии. У этого человека я впоследствии учился. Это был В.В. Адамов<sup>20</sup>. Готовиться к вступительным экзаменам было трудновато, так как я работал мастером в цехе на Турбомоторном заводе (ТМЗ)<sup>21</sup> в три смены... (Как-то, вспоминая, в полусне читал в трамвае учебник географии). Но всё обошлось благополучно: за сочинение я получил четыре; географию и историю тоже сдал, кажется, на четвёрки (того, чтобы по ним была какая-нибудь пятёрка, не помню). Этого оказалось достаточно для зачисления. Возможно, моему успеху содействовал и мой техникумовский диплом с отличием, хотя он, собственно, давал право на поступление без экзаменов в Уральский политехнический институт. Плата за обучение была вроде бы 100 руб. в год или семестр, не помню.

Первая установочная сессия в памяти почти совсем не сохранилась. Слушал лекцию А.И. Серова по древнерусской истории. Настроенный всё слушать и записывать, я быстро сник: множество мелких деталей, в виде, например, указания на длину меча, губили восприятие лекции. На этой лекции я познакомился с Борисом Юферовым<sup>22</sup>. Теперь мне трудно отделить установочные занятия от начала первого

<sup>20</sup> Владимир Васильевич Адамов (1914–1985) – историк, преподаватель Уральского университета. О нем см.: Гуськова Т.К., Ольховая Л.В. В.В. Адамов как историк Урала периода империализма // *Летописцы родного края: (Очерки об исследователях истории Урала)*. Свердловск, 1990. С. 84-96; УрГУ в биографиях. – [https://biography.ideafix.co/index04cf.html?base=mag&id=a\\_0263](https://biography.ideafix.co/index04cf.html?base=mag&id=a_0263) (ноябрь, 2023); Фельдман М.А. В.В. Адамов и его научное наследие // *Вопросы истории*. 2014. № 7. С. 111-119.

<sup>21</sup> Уральский Турбомоторный завод имени К.Е. Ворошилова. Об истории завода, см.: <https://www.dk.ru/wiki/uralskiy-turbinnyy-zavod> (ноябрь, 2023).

<sup>22</sup> Борис Ардалонович Юферов. После окончания института защитил кандидатскую диссертацию по философии; создал первую кафедру культурологии в Свердловской Высшей партийной школе (впоследствии, Уральская Академия Государственной службы) и такую же кафедру в Свердловском педагогическом институте (в настоящее время Уральский государственный педагогический университет), которую возглавлял многие годы. Автор учебного пособия «Искусство и литература».



учебного года, так как заочники-горожане, в то время занимающиеся по вечерам, были собственно студентами-вечерниками (вечернего отделения тогда в университете, по-моему, не было). Лекции по истории первобытного общества, этнографии и археологии читал К.В. Сальников<sup>23</sup>. Он прихрамывал, ходил с палочкой. Занятия были интересные. Точно помню, что вечером посещал занятия по английскому языку (И.Н. Путилло) и латинскому (А.Л. Вознесенский<sup>24</sup>). Семинары по «Русской Правде» вёл М.Е. Главацкий<sup>25</sup>. Шли семинары по истории партии. Сейчас недоумеваю, почему я пренебрёг занятиями по истории Древнего Востока, которые проводил Е.Г. Суров<sup>26</sup>.

<sup>23</sup> Константин Владимирович Сальников (1900–1966) – исследователь Южного Урала, археолог.

<sup>24</sup> В.Т. Звиревич об Александре Лавровиче Вознесенском. «В 1955–1956-м учебном году Александр Лаврович вел на нашем курсе (1-й курс заочного отделения исторического факультета) латинский язык. Тогда-то он рассказал нам о П.А. Шуйском и его переводе “Одиссеи”: поэт В.А. Жуковский переводил “Одиссею” с немецкого, а П.А. Шуйский перевел “Одиссею” с греческого. Кроме того, В. Жуковский, будучи монархистом, передавал слово “басилевс” словом “царь”, хотя басилевсы таковыми не были. Московские классики посчитали перевод П.А. Шуйского недостаточно художественным и предложили ему при переиздании взять в соавторы какого-нибудь поэта, но он не согласился... На занятиях Александр Лаврович часто приводил варианты латинских слов в других языках. Запомнились какие-то специфические примеры: дефензива – из польского, сигуранца – из румынского. В 1959–1960-м учебном году А.Л. Вознесенский начал читать спецкурс по древнегреческому языку на нашем 3-м курсе дневного отделения исторического факультета. В 1-й семестр была довольно большая группа, но она быстро распалась; на 2-й семестр – осталось только трое: Нина Мосина, Катя Невоструева и я. Весь следующий (4-й) курс (1960–1961) и начало 5-го (1961–1962) Александр Лаврович занимался со мной одним. В самом начале занятий он лично позаботился выписать мне по почте наложенным платежом только что изданный тогда словарь древнегреческого языка Дворецкого. Во время занятий он приносил собственноручно написанные парадигмы спряжения глаголов на -μι и странички “Анабасиса” Ксенофонта с адресом “г. Звиревичу 5 к.”. О личном Александр Лаврович говорил немного: упоминал Нежинский институт, в котором учился; о том, что сын обижается из-за того, что назвали его Аполлоном; что сам он живет в Пышме (об этом он говорил в связи с тем, что часто торопился на автобус). На чествовании профессора М.Я. Сюзюмова Александр Лаврович преподносил ему папку с адресом. Перед началом чествования он сказал мне: “Здесь я написал и про вас, его учеников”. Конспекты занятий Александра Лавровича по древнегреческому языку я храню уже около 50-ти лет...”.

<sup>25</sup> Михаил Ефимович Главацкий (1924–2015) – советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор. О нем см.: УрГУ в биографиях. – [https://biography.ideafix.co/index86de.html?base=mag&id=a\\_0281](https://biography.ideafix.co/index86de.html?base=mag&id=a_0281) (ноябрь, 2023).

<sup>26</sup> В.Т. Звиревич о Евгении Георгиевиче Сурове: «Первый раз я увидел Евгения Георгиевича на 1-м курсе вечерних занятиях заочников, но на его занятия

я не ходил по глупости, а только вне сессии сдавал ему экзамен по истории Древнего Востока (подробнее об этом, см. *ниже*). Еще я обращался к Евгению Георгиевичу по поводу перевода на дневное отделение (см. *ниже*) – он тогда был деканом. Он сказал, что свободных мест нет. Такое настороженное отношение Евгения Георгиевича к незнакомым или малознакомым студентам я замечал и в других случаях, и на себе испытал его впоследствии, когда, уже переведясь на дневное отделение, просил его разрешения писать у него курсовую работу, и он мне отказал. Возможно, это объясняется тем, что многие студенты просились к нему ради поездки в Херсонес. Но через год, во время защиты курсовой работы, написанной у Н.Н. Беловой (см. *ниже*, примеч. 30), – а Евгений Георгиевич был членом комиссии – он вспомнил об отказе и сказал, что сожалеет о нём. На 4-м курсе Евгений Георгиевич читал нам спецкурс о монетах Северного Причерноморья (одну из лекций, кажется, по монетному делу Боспора в качестве аспирантской практики прочитал Игорь Пьянков). Одно из занятий было практическим. Евгений Георгиевич повел нас в Свердловский краеведческий музей, где нам показали коллекцию античных монет из запасников. Группа, слушавшая этот спецкурс, вошла в состав Херсонесской археологической экспедиции 1961-го года. Примечательным эпизодом тех раскопок была находка костяка, ноги которого были в кандалах. Чтобы с находкой ничего не случилось, Евгений Георгиевич поручил Игорю Пьянкову и мне стеречь раскоп. Таким образом, мы проспали в нем ночь. Во время этой же экспедиции Евгений Георгиевич поручил мне обработку клейм на керамических сосудах. В качестве начинающего изучать керамические клейма он представил меня археологу и историку С.Ф. Стржелецкому (1910–1969), видимо, чтобы получить его одобрение этих занятий. Их итогом была моя статья по керамической эпиграфике в сборнике кафедры Всеобщей истории, которую, насколько я помню, он, в конце концов, сам напечатал на пишущей машинке. Под руководством Евгения Георгиевича я работал в Херсонесе еще один сезон, когда уже был ассистентом на кафедре М.Н. Руткевича (о нем, см. *ниже*, примеч. 32). Общение с Евгением Георгиевичем было самое тесное, так как вся экспедиция состояла из него, Алексея (Леонид) Чепелева, который тогда закончил 1-й курс исторического факультета, и меня. Евгений Георгиевич устроил нам длительную экскурсию по крепостным стенам Херсонеса, которую провел С.Ф. Стржелецкий. Тогда была еще поездка на Мангуп, в которой я не участвовал (о чем теперь сожалею). Камерность экспедиции проявилась, в частности, в том, что была даже пара застолий. Во время этой экспедиции раскопки византийской базилики посетил М.Я. Сюзюмов (о нем см. *ниже*, примеч. 37). Он приехал в Херсонес вместе с П.А. Вагиной. На выпускных экзаменах Евгений Георгиевич был моим консультантом, так как я сдавал госэкзамен по древней истории. Он же и принимал его у меня (На том экзамене, в те пуританские годы, ему показался не вполне приличным мой рассказ о самооплодотворении египетского бога Ра...). Евгения Георгиевича отличало ироничное отношение к окружающему и склонность к шуткам. Во время первой моей экспедиции Евгений Георгиевич вёл нашу группу по Херсонесу к месту расположения. Навстречу нам шла тоже группа студентов, ведущий которой ему отрекомендовался так: “Кандидат исторических наук, доцент Нечай!”. “То же самое, Суров!”, – ответил Евгений Георгиевич. После формального ухо-

В общем же, в отношении первых лет учёбы в университете память не сохранила чёткого разделения вечерних занятий и занятий в сессию. Но точно то, что во время сессии уже всему курсу лекции по латинскому языку читал В.Ф. Житников<sup>27</sup>. Впоследствии, уже будучи сотрудником Университета, я познакомился с ним на уборке урожая в составе отряда преподавателей, аспирантов и сотрудников. Это был филолог от бога.

От начального периода учёбы в университете осталось ощущение полной поглощённости времени занятиями: днём – работа, вечером – или Университет, или Белинка<sup>28</sup> (она тогда помещалась в здании на улице Карла Либкнехта), или чтение дома и написание контрольных и курсовых работ согласно учебному плану. Заочникам в те годы было дано право уже с 1-го курса пользоваться и читальным залом, и абонементом. Благодаря этому я смог самостоятельно заняться древнегреческим языком. Я взял домой учебник С.И. Соболевского и в основе законспектировал его.

В памяти остались и занятия древней историей и историей партии на 1-м и 2-м курсах. По древней истории согласно учебному плану я написал контрольную работу по «Речению Ипувера» (так тогда писали)<sup>29</sup>, которое в то время рассматривалось как свидетельство о социальной борьбе в Египте. Писал её согласно учебным канонам «от Адама и Евы», то есть, начиная с описания географических условий страны. Содержание этой контрольной заняло у меня чуть ли не всю общую учебную тетрадь в 48 (?) листов. Эту работу проверяла Н.Н. Белова<sup>30</sup> и поставила мне «отл.». Тему курсовой

да Евгения Георгиевича на пенсию мы постоянно встречались в университете. Накануне своей защиты кандидатской диссертации я подарил ему автореферат, и он обещал прийти на защиту, но в эти дни трагически скончался.

<sup>27</sup> Владимир Федорович Житников (1927–1996), кандидат филологических наук, автор работ, посвященных сравнительному изучению диалектной лексики и антропонимики. О нем, его памяти, см.: Житникова Л.В., Акименко Н.А., Есенова Т.С. – <https://50years.kalmgu.ru/guman/gumanperv/vladimir-fedorovich-zhitnikov-kandidat-filologicheskikh-nauk-doczent-zav-kafedroj-russkogo-vazyka-1970-1979-gg/>; <http://chel-portal.ru/en-3879> (ноябрь, 2023).

<sup>28</sup> Библиотека имени В.Г. Белинского. Ее полное название в настоящее время: Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, д. 15). – <http://book.uraic.ru/> (ноябрь, 2023).

<sup>29</sup> Или «Жалобы Ипувера» (иначе – Папирус Ипувера).

<sup>30</sup> В.Т. Звиревич о Нине Николаевне Беловой. «До какого-то времени я общался с Ниной Николаевной заочно. Впервые я увидел Нину Николаевну, когда уже был на 4-м курсе заочного отделения и записался на ее спецсеминар, для которого подготовил доклад о римском колонате. На занятии – а это был теплый

работы о торговле хлебом между Афинами и Боспором я также выбрал по её списку. Припоминаю, что в качестве источника использовал какой-то Афинский декрет на этот счёт. Оценка курсовой тоже была «отл.». Но экзамен по древней истории я сдавал Е.Г. Сурову. Позвонил ему по телефону-автомату у почты на улице Ильича 17 (через дорогу, напротив нашего дома) и попросил разрешения приехать. Евгений Георгиевич посадил меня в пустую аудиторию и ушёл. Вернувшись, чтобы проверить, не списывал ли я и действительно ли знаю предмет, он закончил экзамен обширным опросом по хронологии. Оценку («отл.») я получил только тогда, когда назвал последнюю дату – год падения Ниневии.

По истории партии также предполагалась контрольная работа, тему которой едва припоминаю. Кажется, это была борьба партии против (с) троцкизма (в те годы чуть ли не все названия тем работ по истории партии от студенческих контрольных до учёных диссертаций начинались со слов «Борьба партии за...» или «Борьба партии против...»). Эту контрольную я так же, как и прежде, написал очень развёрнуто, пространно, и, конечно, ожидал положительного результата, но неожиданно для себя получил незачёт. Проверивший контрольную работу преподаватель – его фамилия, кажется, была Тараторкин – дал мне хороший урок. Из его рецензии я навек усвоил: тему надо сразу раскрывать по существу, и писать максимально кратко. («Кратко, но смачно», как любил говорить мой, в недалёком будущем, начальник – К.Н. Любути<sup>31</sup>). В этой краткости изложения я, видимо, преуспел; и когда был сотрудником социологической лаборатории – опять обращаюсь к будущему, М.Н. Руткевич<sup>32</sup> на од-

---

летний день, и пошел дождь – она очень беспокоилась, что дома не закрыла окна и не сняла белье... На 4-м курсе уже дневного отделения я сделал окончательный выбор – заниматься Римом и латинской эпиграфикой. Нина Николаевна – человек сдержанный; никаких внеучебных разговоров не вела и ограничивалась короткими рецензиями красным карандашом с неизменной подписью «Н. Белова».

<sup>31</sup> Константин Николаевич Любути<sup>31</sup> (1935–2018) – доктор философских наук, профессор, специалист в области истории философии и теории познания. Его краткую биографию, библиографию трудов, см.: Любути<sup>31</sup> Константин Николаевич: биобиблиография ученого (к 70-летию со дня рождения и 45-летию творческой деятельности) / Авт. В.Н. Руденко, И.Б. Фан и др. / Под ред. В.Н. Руденко. Екатеринбург, 2005. <https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/3459/3/1318387.pdf>

<sup>32</sup> Михаил Николаевич Руткевич (1917–2009) – советский и российский философ и социолог, доктор философских наук, специалист в области исследования процесса познания в его взаимодействии с научной практикой; диалектики объективных и субъективных факторов в развитии современных процессов общественной жизни; организатор и первый декан философского факультета

ной из моих справок-отчётов о работе наложил такую резолюцию: «Витольд! Краткость – сестра таланта, но это уж чересчур!»).

Занятия по истории партии запомнились ещё и тем, что преподаватели в духе того времени проявляли некоторое свободомыслие. На семинарах нам говорили о модном тогда романе М. Дудинцева «Не хлебом единым»<sup>33</sup>, в котором затрагивались какие-то проблемы творчества и нравов в сфере технических наук<sup>34</sup>. Кому и как я сдал экзамен по истории партии, то совершенно забыл.

3-й и 4-й курс запомнились мне, прежде всего, занятиями средневековой историей, спецкурсами и спецсеминарами. Курсовую работу по Средним векам я писал у Наума Абрамовича Бортника<sup>35</sup> по каролингскому иммунитету (в основе курсовой лежала вышедшая тогда книга А.И. Неусыхина<sup>36</sup> по этому вопросу). Как помню, в зимнюю сессию, скорее всего 3-го курса, я подошёл к нему поставить оценку, но Наум Абрамович отнёсся к этому неформально. Он отвёл меня в какое-то укромное место на кафедре (тогда она называлась кафедрой Всеобщей истории) и устроил, к моему удивлению, защиту курсовой, то есть попросил меня доложить результаты работы. Я ответил, что мне нечего сказать, кроме уже написанного. Наум Абрамович сказал, что это не должно смущать. После своего рассказа я получил оценку «отл.».

В этот же учебный год (в летнюю сессию [?]) я был на лекции Наума Абрамовича по средневековой истории. Тему лекции не припоминаю, но помню, что она была прочитана артистически. Других таких лекторов-художников на истфаке я больше не слышал. Завершил же я изучение средневековой истории, после того как прослушал лекции М.Я. Сюзюмова<sup>37</sup> и сдал ему соответствующий экзамен. Спец-

Уральского университета (1966–1972). См. подробнее: УрГУ в биографиях. – [https://biography.ideafix.co/index7232.html?base=mag&id=a\\_0435](https://biography.ideafix.co/index7232.html?base=mag&id=a_0435) (ноябрь, 2023).

<sup>33</sup> См.: Дудинцев Владимир. Не хлебом единым (Роман). М., 1956. См. также: [https://www.rulit.me/books/ne-hlebom-edinym-read-44579-1.html#section\\_2](https://www.rulit.me/books/ne-hlebom-edinym-read-44579-1.html#section_2)

<sup>34</sup> Имеется в виду повествование о судьбе инженера-изобретателя, сталкивающегося с жесткой бюрократической системой.

<sup>35</sup> О Н.А. Бортнике (1911–1977), докторе исторических наук, профессоре, специалисте по средневековой истории, см.: УрГУ в биографиях. – [https://biography.ideafix.co/indexbf36.html?base=mag&id=a\\_0271](https://biography.ideafix.co/indexbf36.html?base=mag&id=a_0271) (ноябрь, 2023).

<sup>36</sup> Речь идет о книге «Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI–VIII веков» (М., 1956).

<sup>37</sup> В.Т. Звиревич о Михаиле Яковлевиче Сюзюмове (1893–1982): «У Михаила Яковлевича я начал заниматься еще на заочном отделении. На 3-ем курсе дневного отделения он руководил моей курсовой работой на тему “Никейский собор по данным Сократа Схоластика” (об этом см. *ниже*). На дневном отделении

я вновь прослушал его спецкурс по историографии Средних веков, в котором он подробно затрагивал вопросы философии истории, обращаясь к Вико, Канту, Гегелю и другим философам; а также слушал его спецкурсы по римскому праву и исторической хронологии. Спецкурс по римскому праву Михаил Яковлевич читал без всякого снисхождения к нам: во время лекций вся доска исписывалась латинскими терминами, притом, что далеко не все хотя бы немного ориентировались в латинском языке. Какое-то, очень короткое время встречи с Михаилом Яковлевичем проходили в рамках научного (?) студенческого кружка, в составе Светы Жосан, Игоря Медведева (о нем, см.: <https://ru.wikipedia.org/wiki/> [ноябрь, 2023]) и меня (кажется, все). Михаил Яковлевич выступил перед нами с рассказом (уже точно не помню) не то о всемирном конгрессе византинистов, не то вообще историков, который состоялся в то время. Кроме того, он поручил нам разбор архива умершего нижнетагильского историка-античника (фамилии его я не помню, помню только, что он был из Ростова-на-Дону и послан, в связи с какими-то обстоятельствами военного времени, в Нижний Тагил; помню также его диссертацию – толстый том, посвященную трактовке заговора Катилины, кажется, как фашистского [?]). Особого старания при выполнении поручения Михаила Яковлевича мы, помнится, не проявили; и дело заглохло. Михаил Яковлевич по-доброму относился к студентам, что проявилось и в отношении меня: он был рецензентом моей дипломной работы; хотел привлечь к византиноведению, предложил тему реферата по византийским папирусам для поступления в московскую аспирантуру и дал соответствующую немецкую книгу; пытался закрепить меня при университете. Едва я получил диплом, как Михаил Яковлевич рекомендовал меня филологу для преподавания латинского языка на заочном отделении исторического факультета, и я провел там занятия в летнюю сессию. Куратором моим был В.А.Чернов. После того как я получил распределение в г. Полевской (на юге Свердловской области), Михаил Яковлевич говорил о возможности вести семинарские занятия по древней истории на вечернем отделении. Накануне окончания факультета он как-то усадил меня у своего стола на кафедре и сказал: “В прежние времена мы послали бы вас для совершенствования за границу...”. Во время написания дипломной работы я пользовался личной библиотекой Михаила Яковлевича и дважды был у него дома на Генеральской улице. По всем стенам его кабинета располагались стеллажи с книгами от пола до потолка, а потолки были высокие. Как-то я стал рассматривать рукописную книжечку – это был студенческий доклад Михаила Яковлевича на какую-то тему из римской истории, и обратил внимание на постоянно мелькавшее слово “чернь”. Он заметил это и сказал: “Так тогда писали...”. Библиотекой Михаила Яковлевича я воспользовался еще раз много лет спустя. При написании статьи мне был нужен оригинал «Одиссеи», а в университетской библиотеке он отсутствовал, и я попросил его у него. Видимо, он этим изданием очень дорожил и позволил им пользоваться только на его кафедре, где он читал спецкурс. Так, через много лет я вновь присутствовал на его занятиях. После окончания университета, когда я стал лаборантом социологической лаборатории, а затем преподавателем философского факультета, я нередко встречал Михаила Яковлевича в коридорах университета, а также на его кафедре, куда заходил во время перерывов, так как многие годы читал курс истории философии на историческом факультете. Иногда он со мной заговаривал и на научные, и на житей-

курсы и спецсеминары в эти учебные годы (1957 / 1958–1958 / 1959) у меня были следующие. Я записался на семинар Михаила Яковлевича, и выбрал доклад по “*Expositio totius mundi et gentium*” (этот источник был у меня дома в «Византийском временнике»<sup>38</sup>), но по какой-то причине не подготовил его, и в семинаре не участвовал. Поэтому я снова записался к нему на семинар с докладом по «Василикам», законодательству императоров Македонской династии, кажется, касательно аграрных отношений. Читал я «Василики» по вечерам после работы на кафедре Всеобщей истории за большим столом под большим розовым абажуром. Книги мне выдавала по студенческому билету заведующая кабинетом кафедры Ника Семёновна Печатальщикова<sup>39</sup>. Помню, что мне долго не давалось выражение основной мысли-итога доклада. Удачную формулировку нашёл только к ночи накануне семинара. Высказывал ли что-либо по поводу моего доклада Михаил Яковлевич, того не помню. В одну из летних сессий участвовал в семинаре упомянутой выше Нины Николаевны [Беловой]<sup>40</sup>, для которого подготовил хороший, по собственному ощущению, доклад о коло-

ские темы. Как-то спросил о детях и, выслушав меня, сказал пословицей “маленькие детки – маленькие бедки...”. Когда я начал читать средневековую философию первому набору философского факультета, я попросил Михаила Яковлевича прочитать лекцию по византийской философии. Как раз тогда вышла “История Византии”, в которой была его глава на эту тему. Он не отказался и провел лекцию, хотя в этот день был немного болен: у него была повышенная температура, и в перерыве между 1-м и 2-м часом лекции, отдыхая на нашей кафедре, Михаил Яковлевич пил какую-то микстуру из маленького пузырька. Студенты проводили его аплодисментами, а мне его лекция запомнилась какими-то тонкими намеками на тогдашние времена. Был я свидетелем двух торжественных заседаний в честь юбилеев Михаила Яковлевича. На последнем из них, проходившем в актовом зале, Михаил Яковлевич говорил о своей долгой жизни, которая начиналась на заре авиации, а теперь уже – космическая эпоха. Одна из последних встреч с Михаилом Яковлевичем состоялась тогда, когда он уже постарел, но узнал меня и пожаловался в том смысле, что плохо видит и слышит, но голова работает... На прощании с Михаилом Яковлевичем в конференц-зале меня уполномочили от факультета положить цветы в его гроб».

<sup>38</sup> Имеется в виду анонимный географический трактат «Полное описание вселенной и народов» в переводе С.В. Поляковой и И.В. Феленковской, опубликованный в 1956 г. Том 8 (33). – [https://www.vostlit.info/Texts/rus2/Anonym\\_opsis\\_narodov/frametext.htm](https://www.vostlit.info/Texts/rus2/Anonym_opsis_narodov/frametext.htm) (ноябрь, 2023).

<sup>39</sup> О Н.С. Печатальщиковой, см. публикацию в специальном выпуске газеты «Уральский университет», подготовленном к Международному женскому дню: Шилюк Н.Ф., Сметанин В.А. Наш куратор // Уральский университет. № 8 / 1562 (1973, 5 марта). С. 1. – <https://elar.urfu.ru/bitstream> (ноябрь, 2023).

<sup>40</sup> См. *выше*, примеч. 30.

нате (один сокурсник – военный – попросил его у меня, и не вернул). Последнее, что я прослушал на заочном отделении, был спецкурс Михаила Яковлевича «Историография Средних веков».

В памяти остались ещё и экзамены по логике, психологии, истории советской литературы и семинар по философии. Экзамен по логике принимал О.М. Волосевич<sup>41</sup>. Рассказывая по билету о действии каких-то законов мышления, я, видимо, к месту, привёл ему свой собственный пример с перегретым паром, который ему очень понравился – впоследствии я узнал, что Олег Михайлович был по своему образованию инженером, – и он, как потом мне передали сокурсники, хорошо отозвался о моём ответе на экзамене. На это ему сказали, что Звиревич учится хорошо, потому что не работает. Слышать такое о себе было немного обидно: все годы учёбы на заочном отделении я проработал в конструкторском бюро (КБ) паровых турбин ТМЗ. Экзамен по психологии я сдавал В.С. Матвееву<sup>42</sup>, известному свердловскому психологу, в так называемый консультационный день (в воскресенье, кажется), на который студент мог вызвать преподавателя. Историю советской литературы случилось сдавать женщине, суровой по виду и в обращении (впоследствии я увидел её фото на стенде участников войны). Среди прочего мне был предложен вопрос о фронтовых очерках (или очеркистах?), к которому я совершенно не был готов, потому что, мне кажется, его не было в той программе, по которой я готовился. В итоге я получил свою первую «тройку» из двух.

Начало занятий по философии традиционно открывалось семинаром по книге Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии». Занятие проводила С.Г. Чаплыгина<sup>43</sup>. Оно мне запомнилось тем, что ни один человек из нашего курса не решился выступить: посидели в аудитории и разошлись. Задним числом я объясняю такую ситуацию тем, что историкам-эмпирикам было затруднительно перейти от привычного изложения конкретного материала к абстрактным рассуждениям. (Подобное состояние я испытал в 7-м классе, когда мы стали изучать Конституцию. У меня вызывало недоумение употребление слова «общезитие» в общем смысле, потому что общезитием в моей голове был дом, в котором живут люди, не имеющие своего отдельного жилья). Наконец, замечу, что таким образом в лице Светланы Георгиевны, Олега Михайловича и Валентина

<sup>41</sup> Олег Михайлович Волосевич.

<sup>42</sup> Валентин Степанович Матвеев (1924–2001). О нем см: УрГУ в биографии. – [https://biography.ideafix.co/index5ba7.html?base=mag&id=a\\_0499](https://biography.ideafix.co/index5ba7.html?base=mag&id=a_0499) (11.2023).

<sup>43</sup> Светлана Георгиевна Чаплыгина.



Степановича я впервые встретил преподавателей, которые затем стали моими старшими товарищами по философскому факультету.

На 3-м и 4-м курсах я предпринял попытки перевестись на дневное отделение. Первая попытка была неудачной: тогдашний декан Е.Г. Суров<sup>44</sup> отказал мне из-за отсутствия вакансий (кажется, в тот год, как я понял позднее, произошло слияние истфаков Пединститута и Университета). Вторая попытка удалась. Заместитель декана Галина Александровна Кулагина<sup>45</sup> (деканом тогда была уже Н.Н. Белова<sup>46</sup>) полистала мою зачётку с пятёрками и сказала, что такие студенты нам нужны. Так, с 1959 / 1960-го учебного года я стал студентом 3-го курса дневного отделения.

Этот учебный год начался у меня с того, что я вместе со своими новыми сокурсниками, Володей Гуровым и Володей Неустроевым, носил кровати в какую-то школу, которую оборудовали под общежитие для заочников. Перед началом занятий, когда я просматривал расписание, я познакомился с ещё одним сокурсником, Алексеем Поздеевым, неординарным человеком, который стал моим хорошим приятелем во время учёбы и в последующие годы.

В этот же год самым значительным для меня было начало занятий древнегреческим языком в спецкурсе А.Л. Вознесенского, который был объявлен на нашем (3-м) курсе<sup>47</sup>. Другим столь же значительным делом было то, что я как-то сразу (мотивы теперь не помню) выбрал у М.Я. Сюзюмова<sup>48</sup> курсовую на тему «Никейский собор по данным Сократа Схоластика». Писал её увлечённо. Почему-то занимался даже в библиотеке не то Областного архива, не то Краеведческого музея (может быть, из-за постановлений Вселенских соборов?). Запомнившейся идеей курсовой было превращение церковного  $\kappa\alpha\upsilon\omega\nu$  в правовой lex. Курсовая Михаилу Яковлевичу понравилась; он ее отредактировал – правил красными чернилами мелким чётким почерком – отнес в машинописное бюро университета, затем, наверное, в типолабораторию; и в переплетённом виде отправил на городской (или областной?) конкурс студенческих работ. Потом до меня дошёл слух, что моя работа получила похвальный отзыв, но официально мне никто об этом не говорил. Только

<sup>44</sup> См. *выше*, примеч. 26.

<sup>45</sup> Галина Александровна Кулагина (1913–2008). О ней, см. посвященную ее памяти публикацию: Чевтаев А.Г., Филиппова В.И. «Свидетель века». – <https://clar.urfu.ru/bitstream/10995/22800/1/iurg-2008-59-46.pdf> (ноябрь, 2023).

<sup>46</sup> См. *выше*, примеч. 30.

<sup>47</sup> См. *выше*, примеч. 24.

<sup>48</sup> См. *выше*, примеч. 37.

начинающие в то время преподаватели кафедры М.А. Поляковская<sup>49</sup> (тогда она была Сидорова) и Э.И. Чудиновских, которые, вероятно, курировали студенческую науку, предложили мне выступить с докладом по курсовой на каком-то мероприятии НСО<sup>50</sup>. Но я отнёсся к этому индифферентно. Впоследствии кусочек этой курсовой в редакции Михаила Яковлевича я поместил в своём учебнике по истории философии<sup>51</sup>. Для ликвидации разницы в учебных планах заочного и дневного отделений мне пришлось самостоятельно подготовить курс средневековой истории народов Востока и сдать его (на «хор») Ю.А. Попову<sup>52</sup>, профессиональному востоковеду-синологу, который в это время и затем на 4-м курсе читал нам лекции по истории стран Азии и Африки в Новое и Новейшее время. Все те годы Юрий Александрович был куратором нашего курса, на 5-м курсе он собирал нас на ступеньках Библиотеки Ленина в Москве, где мы были на преддипломной практике; ему же я писал и отчёт о её прохождении.

После окончания 3-го курса я на всё лето оказался в составе Уральской археологической экспедиции в отряде Елизаветы Михайловны Берс<sup>53</sup> (она была, кажется, заведующей кабинетом кафедры Истории СССР), куда меня вместо себя сосватал мой сокурсник Ваня Батуев. В экспедиции я участвовал на всех этапах ее проведения, начиная с подготовки (получение продовольствия и тому подобное). Сначала мы копали у какой-то речушки в безлюдье; затем на окраине какого-то посёлка или города мы раскапывали на холме то ли жилище, то ли стоянку, укреплённую подковообразным валом с одной стороны холма. Елизавета Михайловна поручила мне сделать его топографическую съёмку, с которой я, к своему удивлению, справился. После завершения экспедиции Елизавета Михайловна предлагала мне продолжить сотрудничество в обработке материалов экспедиции, но я как-то от этого отговорился: уральская, да и никакая другая археология меня не занимала.

---

<sup>49</sup> Маргарита Адольфовна Поляковская (род в 1933) – доктор исторических наук, профессор. О ней см.: УрГУ в биографиях. – [https://biography.ideafix.co/indexfbdc.html?base=mag&id=a\\_0299](https://biography.ideafix.co/indexfbdc.html?base=mag&id=a_0299) (ноябрь, 2023).

<sup>50</sup> Научно-студенческое общество.

<sup>51</sup> См.: Звиревич В.Т. Философия древнего мира и средних веков. М., 2002. С. 259-270 (параграф «Никейский собор и его место в истории христианской философии»); Ibidem. 2004: 327-338.

<sup>52</sup> Юрий Александрович Попов (1931–1995) – кандидат исторических наук, доцент. О нем см.: УрГУ в биографиях. – [https://biography.ideafix.co/index4c20.html?base=mag&id=a\\_0301](https://biography.ideafix.co/index4c20.html?base=mag&id=a_0301) (ноябрь, 2023).

<sup>53</sup> Елизавета Михайловна Берс (1906–1981) – советский археолог.

После экспедиции начало 4-го курса я встретил в колхозе, в деревне «Ключики», кажется, Красноуфимского района, куда я приехал позднее факультетского отряда вместе с Алексеем Поздеевым. В «Ключики» однажды, видимо, с какой-то инспекционной целью приезжал Владимир Иванович Шихов<sup>54</sup>, тогда начинающий преподаватель. Вечером он зашёл в избу, где жили мы с Алексеем. Во время разговора мы даже, по-моему, что-то выпивали. Запомнилось то, что, когда речь зашла о М.Я. Сюзюмове<sup>55</sup>, Владимир Иванович сказал, что у таких людей нужно успеть взять как можно больше, и назвал его мастодонтом, разумея, по-видимому, то, что люди со старым классическим образованием и с таким научным кругозором теперь редки и не воспроизводятся. В конце уборки я заболел тяжёлой ангиной и не работал. Но вернулся вместе со всем факультетом.

Наиболее значительным для меня на 4-м курсе было то, что я наконец нашёл тему, которая стала темой и курсовой, и дипломной работы. Случилось это так. Я увидел список тем, предложенный Н.Н. Беловой<sup>56</sup>. Среди них была такая: «Культ римских императоров в Галлии (по данным эпиграфики)». Она привлекла моё внимание некоторого рода актуальностью, так как в эти годы была объявлена борьба с культом личности Сталина. Да и мой уровень знания латинского языка, как я полагал, уже позволял мне работать с надписями. Курсовая работа на 4-м курсе подлежала уже официальной защите. Её я защищал перед комиссией в составе Е.Г. Сурова<sup>57</sup> и Н.Н. Беловой (руководителя). Вместе со мной защищалась Вера Ялина (её руководителем был Е.Г. Суров).

Другим знаменательным событием было то, что Е.Г. Суров прочитал нам спецкурс по монетам городов Северного Причерноморья, после чего он пригласил нас участвовать в археологической экспедиции, которую тогда возглавлял. Это была моя первая и знаковая экспедиция в Херсонес<sup>58</sup>. Знаковая – в том смысле, что в нашем раскопе тогда встречалось очень много ручек амфор с клеймами или мастеров, или астиномов, теперь уже и не помню, и Евгений Георгиевич поручил мне их обработку: чтение имён, мест производства, определение изображений и новизны найденных клейм посредством сличе-

---

<sup>54</sup> Владимир Иванович Шихов (1933–2000) – кандидат исторических наук, доцент. О нем, см.: Там же. – [https://biography.ideafix.co/index6266.html?base=mag&id=a\\_0323](https://biography.ideafix.co/index6266.html?base=mag&id=a_0323) (ноябрь, 2023).

<sup>55</sup> См. *выше*, примеч. 37.

<sup>56</sup> См. *выше*, примеч. 30.

<sup>57</sup> См. *выше*, примеч. 26.

<sup>58</sup> Об этой экспедиции и ее результатах, см.: Там же.

ния их с известной тогда публикацией Р.Б. Ахмерова<sup>59</sup>. На основе этих материалов я через некоторое время написал свою первую и, к сожалению, последнюю – так уж сложилась судьба – статью по керамической эпиграфике, которая была помещена в сборнике кафедры Всеобщей истории, на которой я специализировался<sup>60</sup>. Впоследствии, когда я уже работал на философском факультете, остряки, в частности Володя Куликов, говорили, что свою первую статью Звиревич написал по печатям Херсонесского обкома.

Что ещё вспоминается о занятиях на 3-м и 4-м курсах... На так называемом госэкзамене по английскому языку, который мы сдавали стороннему преподавателю, а не своей Тамаре Николаевне Дербуковой<sup>61</sup>, я схватил свою вторую тройку; с трудом на «хор.», что-то отбило память, сдал экзамен по истории славян Ивану Никаноровичу Чемпалову<sup>62</sup>; на семинаре по Истории СССР у В.В. Адамова<sup>63</sup> сделал доклад о попытке Манштейна пробиться к окружённому Паулюсу по книге Лиддела Гарта «Стратегия не прямых действий»<sup>64</sup>. Уже на 5-м курсе после «последнего звонка» с шампанским пошёл досрочно сдавать экзамен по Новейшей истории доц. Ф. (?). Суринау. Может, из-за выпитого из головы вылетела вся конкретика. Выкрутился (на «отл.») только за счёт общих соображений, да, возможно, и того, что сам экзаменатор тоже был на «последнем звонке». Также на 4-м курсе повторно прослушанные лекции М.Я. Сюзюмова по историографии Средних веков мне показались более насыщенными историческими концепциями философов. Посещал я и его спецкурс по римскому праву. На следующем курсе я ходил на занятия Михаила Яковлевича по исторической хронологии. Это были, видимо, последние мои занятия у него. К экзамену по этому спецкурсу я готовился очень тщательно:

<sup>59</sup> Ахмеров Р.Б. О клеймах керамических мастеров эллинистического Херсонеса // Вестник древней истории. № 3 / 37 (1951). С. 77-84.

<sup>60</sup> Об этой статье было упомянуто *выше*, см. примеч. 26.

<sup>61</sup> Тамара Николаевна Дербукова (1917–1995) – преподаватель английского языка, заведующая кафедрой иностранных языков УрГУ (1957–1969).

<sup>62</sup> Иван Никанорович Чемпалов (1913–2008) – доктор исторических наук, профессор. О нем см.: УрГУ в биографиях. – [https://biography.ideafix.co/indexc50a.html?base=mag&id=a\\_0319](https://biography.ideafix.co/indexc50a.html?base=mag&id=a_0319) (ноябрь, 2023).

<sup>63</sup> См. *выше*, примеч. 19.

<sup>64</sup> См.: Лиддел Гарт Б.Х. Стратегия не прямых действий. М., 1957. Ч. 3. В книге на примере войн, в широком хронологическом диапазоне (с древних времён до XX в.), рассматриваются вопросы, связанные со стратегией не прямых военных действий; показывается, что такие не прямые действия являются наиболее эффективным способом при ведении войны. – [http://militera.lib.ru/science/liddel\\_hart1/index.html](http://militera.lib.ru/science/liddel_hart1/index.html) (ноябрь, 2023).

учился определять даты в разных системах летоисчисления, вычислять наступление Пасхи и т.д. Но, к моему сожалению, Михаил Яковлевич не стал меня спрашивать, а просто поставил зачёт.

Моя приверженность учёбе была явно заметна со стороны, и как-то ко мне подошёл наш факультетский или даже университетский (?) комсомольский деятель Юра Андреев и предложил мне написать заметку о том, как я занимаюсь, как планирую свой день и т.п. Я отделался каким-то шутивным замечанием. Как «ботаника» меня воспринимали и сокурсники. Юра Попов, с которым во время учебы я был в хороших приятельских отношениях, рассказал мне о комсомольском собрании – я на нём почему-то не был; может быть, выбыл уже из комсомола по возрасту – на котором рассматривалось чьё-то персональное дело и зачитывались выдержки из дневника с характеристиками однокурсников. Моя была такая: «Звиревич – скорее учёный, чем муж».

На 4–5-м курсах мы получали философское образование, к которому я нежданно-негаданно вскоре оказался причастен. Лекции по диамату и истмату читал Л.Н. Коган<sup>65</sup>; семинары по диамату вёл О.М. Волосевич, а по истмату – П.П. Чупин. Экзамен по диамату запомнился тем, что у меня возникли какие-то свои соображения по поводу категории необходимости (и судьбы?), но я решил их не высказывать Льву Наумовичу от греха подальше (получив «хор.»). В истмате я чувствовал себя увереннее; один из вопросов на экзамене был о семье (и браке?); так как я употребил слово «промискуитет», экзамен сдал на «отл.». На 5-м курсе нас ждало главное философское испытание – история философии, которая стала моей судьбой. Истории философии мы очень боялись. Ходили рассказы о том, что преподающий её доц. Сульженко очень сурово принимает экзамены. Но случилось невероятное: Сульженко уехал в Москву, и читать нам историю философии был назначен молодой преподаватель, наш ровесник, К.Н. Любутин<sup>66</sup>. Володя Гуров, комсомольский деятель университетского уровня, видимо, знал Константина Николаевича, и успокоил нас: не бойтесь, Костя – наш человек. Но упокоения это не принесло. В ходе занятий нас стал страшить сам предмет. Поэтому, когда дело дошло до экзамена, наш курс выкроил в расписании чуть ли не месяц для

---

<sup>65</sup> Лев Наумович Коган (1923–1997) – доктор философских наук, профессор. О нем см.: УрГУ в биографиях. – [https://biography.ideafix.co/index3957.html?base=mag&id=a\\_0428](https://biography.ideafix.co/index3957.html?base=mag&id=a_0428) (ноябрь, 2023).

<sup>66</sup> Константин Николаевич Любутин (род. 1935) – доктор философских наук, профессор. О нем см.: Там же. – [https://biography.ideafix.co/index181e.html?base=mag&id=a\\_0410](https://biography.ideafix.co/index181e.html?base=mag&id=a_0410) (ноябрь, 2023).

подготовки к истории философии. Я шёл на экзамен в надежде получить хотя бы тройку. Один из вопросов моего билета был по социалистам-утопистам. И надо же: накануне я прочитал о них свежую брошюру, в которой говорилось, что они признавали частную собственность. Всё это я изложил Константину Николаевичу. Он, по всей вероятности, этой книжки ещё не читал, а подобные положения выглядели тогда крамольными: как это – социалисты, да за частную собственность?! Экзамен был прерван; Константин Николаевич куда-то ушёл. Когда вернулся, он задал мне дополнительный вопрос, кажется, не по билету: назвать антиномии Канта. Я понял, что тройка мне обеспечена, и сказал, что не знаю (или: не помню). Однако Константин Николаевич поставил мне «хор».

Из выпускных экзаменов мы сдавали два: один общий обязательный – по истории КПСС, другой – по выбору. Запомнилось, что, отвечая по истории КПСС, я почему-то всё время говорил: «Хрущёв... Хрущёв...», и председатель экзаменационной комиссии – кажется, им был проф. Зуйков (?) (имя и отчество и вовсе не помню) из ВПШ<sup>67</sup> – также всё время поправлял меня словами: «Товарищ Хрущёв... Товарищ Хрущёв...». В качестве второго экзамена я выбрал экзамен по истории Древнего мира (один из всего курса). Моим консультантом и экзаменатором был Е.Г. Суров<sup>68</sup>. Помню, что один вопрос был по Египту, на который я ответил хорошо, начитавшись книги М.Э. Матье о древнеегипетских мифах<sup>69</sup>.

Наконец, состоялось написание дипломной работы, которой я был удовлетворён. Она значительно отличалась от предшествующей ей курсовой. Правда, литературы на английском я использовал мало: только то, что было в Университетской библиотеке, например, том *The Cambridge Ancient History*, но зато обработал немало изданий латинских надписей из *Corpus inscriptionum latinarum* и ряд других, касающихся именно Галлии. Из подборки надписей, в которых были представлены те или иные моменты истории императорского культа, образовалось солидное источниковедческое приложение к тексту диплома. В нём я представил как на латинском языке, так и в собственном переводе на русский те надписи, которые отсутствовали в публикации Е.М. Штаерман<sup>70</sup>. Существенным элементом ра-

<sup>67</sup> Высшая партийная школа.

<sup>68</sup> О нем см. *выше*, примеч. 26.

<sup>69</sup> Имеется в виду книга: Матье М.Э. Мифы древнего Египта. Л., 1940.

<sup>70</sup> Эпиграфический материал по Галлии имеет место в следующих работах: Е.М. Штаерман: *Община в западных провинциях Римской империи* ("Klio". № 38 [1960]: 207-224); *Мораль и религия угнетенных классов Римской империи* (М., 1961: 30-57).

боты был разбор концепции нашего, думаю, значительного эпиграфиста-исследователя М.Н. Крашенинникова<sup>71</sup> об августалах как сакральном магистерстве.

Защита дипломной работы прошла благополучно. Рецензентом был М.Я. Сюзюмов. Мне поставили «отл». Но сам я допустил оплошность в процедуре защиты. По глупости я недооценил её соблюдение: не очень-то отвечал на замечания, и отделался благодарностями в адрес руководителя Н.Н. Беловой и рецензента. Такое моё поведение тут же вернулось ко мне появившимся мнением: «Звиревич зазнался». Правда, в статье по итогам учебного года, опубликованной в «Уральском университете», наш тогдашний декан Николай Васильевич Ефременков<sup>72</sup> отметил мою дипломную работу.

Но моя учёба в университете завершилась тем, что я, едва получив диплом, тут же стал преподавателем латинского языка в период летней сессии у историков-заочников. Получилось это так. По какому-то случаю я болтался в общежитии на улице Чапаева и встретил там Нину Вершинину, которая сказала мне: «Тебя зачем-то ищет Сюзюмов». Я явился к Михаилу Яковлевичу, и он сказал мне, что нужно помочь филологам в преподавании латинского языка у заочников нашего факультета, потому что у них в данный момент нет на это свободного преподавателя. Куратором от филологов мне был определён Валерий Алексеевич Чернов<sup>73</sup>, с которым я впоследствии тесно сотрудничал по профсоюзной линии. Занятия и зачёт я провёл без всяких нареканий со стороны студентов. На всю жизнь запомнил начало учебного текста, который мы читали на занятиях: «*Roma condita est in sinistra ripa fluminis Tiberis in saeculo octavo ante aeram nostram*»<sup>74</sup>. Филологам, видимо, было удивительно, что какой-то вчерашний студент-историк провёл занятия по латинскому языку, и я был удостоен беседы с самим Александром Константиновичем Матвеевым<sup>75</sup>, заведую-

---

<sup>71</sup> Михаил Никитич Крашенинников (1865–1932) – филолог-классик, тема его докторской диссертации, защищенной в 1895 г. «Августалы и сакральное магистерство».

<sup>72</sup> Николай Васильевич Ефременков (1920–1933) – доктор исторических наук, профессор. О нем см.: УрГУ в биографиях. – [https://biography.idealix.co/indexf0f9.html?base=mag&id=a\\_0283](https://biography.idealix.co/indexf0f9.html?base=mag&id=a_0283) (ноябрь, 2023).

<sup>73</sup> Валерий Алексеевич Чернов (1922–1989) – доктор филологических наук, профессор. О нем см.: УрГУ в биографиях. – [https://biography.idealix.co/index4e4c.html?base=mag&id=a\\_0380](https://biography.idealix.co/index4e4c.html?base=mag&id=a_0380) (ноябрь, 2023).

<sup>74</sup> Рим был основан на левом берегу реки Тибр в VIII веке до нашей эры.

<sup>75</sup> Александр Константинович Матвеев (1926–2010) – доктор филологических наук, профессор. О нем см.: УрГУ в биографиях. – [https://biography.idealix.co/indexb49a.html?base=mag&id=a\\_0357](https://biography.idealix.co/indexb49a.html?base=mag&id=a_0357) (ноябрь, 2023).

щим кафедрой языкознания, известным в Союзе топонимистом. Он предложил мне стать преподавателем его кафедры, но я в то время чувствовал себя только историком, да и убоился влезать в неведомую мне филологию и языкознание, представив себе, каких трудов будет стоить приобщение к новой отрасли знаний, и оправданно сомневаясь, будет ли от всего этого какой-нибудь прок. Так что эта беседа закончилась ничем.

На комиссии по распределению я получил направление учителем истории, кажется, в г. Полевской (к стыду своему, точно не помню). Но я оказался там не нужен, и меня направили в распоряжение Свердловского Облоно<sup>76</sup>. Однако события развернулись так, что я стал сотрудником Университета, который только что окончил. Меня приняли на должность лаборанта социологической лаборатории при кафедре философии М.Н. Руткевича<sup>77</sup>. Тем не менее, в первый и во второй год работы я предпринял две попытки вернуться в историческую науку.

В первый год (1963) я подал документы в аспирантуру Института истории АН СССР, и был допущен к вступительным экзаменам. Мой реферат в виде перевода латинских надписей по истории императорского культа (приложение к дипломной работе) получил положительный отзыв Е.М. Штаерман<sup>78</sup>, который сохранился в моих бумагах. При встрече в институте Елена Михайловна спросила меня, чем я хотел бы заниматься. Я ответил, что хотел бы, читать, переводить и публиковать надписи. На это она заметила: «Тогда вам надо к филологам». (Второй раз я встретил Елену Михайловну через очень много лет, когда выступал на конференции ВДИ<sup>79</sup> с сообщением “Humanitas Ciceroniana”. Она председательствовала на заседании. Выступил, кстати, плохо, так как не сформулировал для себя историко-философскую посылку сообщения: конкретизация понятия гуманизм).

Экзаменационная комиссия была весьма представительная: С.Л. Утченко<sup>80</sup> (он был тогда, кажется, заведующим сектором древней истории), Е.М. Штаерман, Я.А. Ленцман<sup>81</sup>, какая-то молодая женщина, которая держала в руках мой реферат, и спросила меня, сам ли

<sup>76</sup> Свердловский областной отдел народного образования.

<sup>77</sup> См. *выше*, примеч. 32.

<sup>78</sup> Елена Михайловна Штаерман (1914–1991) – советский историк-антиковед, специалист по истории Древнего мира.

<sup>79</sup> Вестник древней истории.

<sup>80</sup> Сергей Львович Утченко (1908–1976) – советский историк-антиковед.

<sup>81</sup> Яков Абрамович Ленцман (1908–1967) – советский историк-антиковед, историк религии.



я делал перевод надписей. Видимо, она сомневалась в том, что я, студент, мог самостоятельно, без помощи преподавателей кафедры выполнить такую работу. Какие вопросы были предложены на экзамене, совершенно не помню. Помню только, что в одном случае я рассказывал об илотии, и когда произнёс «илотия», Ленцман меня поправил: «илотия». К стыду своему, я только сейчас посмотрел подлинное греческое написание этого термина:  $\epsilon\iota\lambda\omicron\tau\epsilon\acute{\iota}\alpha$  – хэйлотэ́йя в русской транскрипции – и ещё раз убедился в том, какой вред учащимся наносит реёхлиново чтение, проникшее в наши учебники, при отсутствии культуры приведения терминов на языке оригинала. В другом случае, – видимо, я отвечал на вопрос из римской истории – С.Л. Утченко дополнил мой рассказ словами: “*ius commercii*”. За ответ на экзамене я получил «четыре». Вместе со мной экзамен сдавала ещё какая-то москвичка, которая безбожно списывала. Ей поставили «пять». При оглашении оценок С.Л. Утченко, по-видимому, чтобы ободрить меня, сказал, что они будут просить ещё второе место в аспирантуру, так как было только одно место.

Но тут, возможно, и под влиянием экзамена, и при неясности перспективы поступления, мне что-то очень захотелось домой к молодой жене: я уехал в Москву через день после нашей с Томой свадьбы. В отделе аспирантуры я отказался от дальнейших экзаменов, забрал документы и отправился восвояси.

Во второй год (1964) я с большой надеждой подал документы в Ленинградское отделение Института истории (ЛОИИ) АН СССР, так как там был объявлен приём в аспирантуру по специальности «эпиграфика», которой я и занимался. Но в ЛОИИ меня ждал совсем не такой приём, как в Москве, и дело закончилось для меня полным провалом. Почему-то я не знал дня и часа экзамена, и был вызван на него телеграммой уже во второй половине дня, ближе к вечеру, когда он чуть ли не заканчивался. Кто ещё, кроме меня, сдавал экзамен, я не видел. Но до меня дошло – каким образом, теперь уже не помню, – что это был свой человек для института. Экзамен мне устроили, считаю, скорее как филологу, чем историку. В первой части экзамена давала мне вопросы и спрашивала, кажется, М.Е. Сергеевко<sup>82</sup>. Один вопрос касался содержания поэмы Рутилия<sup>83</sup>, о которой

<sup>82</sup> Мария Ефимовна Сергеевко (1891–1987) – советский филолог, антиковед.

<sup>83</sup> Речь идет о поэме Клавдия Рутилия Намациана О возвращении своем (из Рима в Галлию). Пер. О.Ф. Базинера был опубликован в «Журнале Министерства народного просвещения» (СПб., 1895, № 8, 9. С. 58-93). Новый перевод О.В. Смыки вышел в 1982 г. (см. Рутилий Намациан. Возвращение на родину / Пер. О. Смыки // Поздняя латинская поэзия. М., 1982. С. 281-302); новая редакция – в 2014 г.

я имел лишь самые общие представления. После ответа она меня тут же направили в другую комнату, где мне неожиданно-негаданно предстоял экзамен по латинскому языку, который проводил чуть ли не сам А.И. Доватур<sup>84</sup>. Мне дали какой-то текст – какой, не помню – и предложили читать и сразу, с листа (без словаря!) переводить. К такой форме сдачи экзамена я никак не был готов.

День моего сумеречного во всех отношениях экзамена закончился следующим странноватым эпизодом. В коридоре сотрудник института И.А. Шишова<sup>85</sup> – потом я встречал её книгу по греческому, кажется, законодательству<sup>86</sup> – которая очевидно имела отношение к приёму в аспирантуру, зачем-то представила меня как поступающего в аспирантуру историку Д.П. Каллистову<sup>87</sup>, автору известной в то время книги о греческих городах Северного Причерноморья<sup>88</sup>. При этом было сказано, что товарищ Звиревич нездоров, плохо себя чувствует. Такое мнение о моём состоянии сложилось явно из-за моего позднего появления на экзамене и плохих ответов. По прошествии этого дня я больше в институт не ходил, ни о чём не узнавал, никаких документов не брал, и уехал домой к жене и двухмесячному сыну Игорю и вернулся на своё место работы – в университет.

Таким вот образом в силу этих двух неудач я не состоялся как собственно историк. Но связи с областью исторических исследований, историческим факультетом, который я закончил, кафедрой Древнего мира и Средних веков, на которой специализировался, я сохранил на многие годы. Уже, будучи сотрудником социологической лаборатории, а затем преподавателем философского факультета, я ещё дважды ездил в Херсонес на раскопки: один раз в составе экспедиции Е.Г. Сурова, другой раз – в составе экспедиции В.Н. Даниленко<sup>89</sup> и А.И. Романчук<sup>90</sup>. В тематических сборниках кафедры «Античная древность и средние века» я опубликовал два эпиграфических материала при содействии М.Я. Сюзюмова, Е.Г. Сурова (Клейма на ручках амфор из

<sup>84</sup> Аристид Иванович Доватур (1897–1982) – советский филолог, историк.

<sup>85</sup> Ирина Александровна Шишова (1927–2010) – советский и российский историк-антиковед.

<sup>86</sup> Речь идет о книге «Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции» (Л., 1991).

Шишова (1927–2010) – советский и российский историк-антиковед.

<sup>87</sup> Дмитрий Павлович Каллистов (1904–1973) – советский историк-антиковед.

<sup>88</sup> Каллистов Д.П. Северное Причерноморье в античную эпоху. М., 1952.

<sup>89</sup> Валентин Николаевич Даниленко (1813–1982) – советский археолог.

<sup>90</sup> Алла Ильинична Романчук (род. в 1942 г.) – советский и российский историк, археолог, представитель Уральской школы византиноведения.

Херсонеса<sup>91</sup>) и А.И. Романчук (Надписи из Галлии, касающиеся культа императоров<sup>92</sup>) и один перевод благодаря содействию А.В. Зайкова<sup>93</sup> (Сведения о Диагоре Мелосском, прозванном Атеистом<sup>94</sup>) – я также публиковался в его альманахе «Исседон»<sup>95</sup>. Наконец, преподавание истории древней и средневековой философии и занятия ею в научном и в переводческом плане позволили мне хотя бы таким образом остаться в кругу занимающихся историей Античности. И даже я опубликовал свою дипломную работу о культе римских императоров в Галлии в качестве раздела в одной из моих книг («Обожение человека в Античности»<sup>96</sup>).

Памяти каждого из своих учителей я посвятил книгу<sup>97</sup>. Ведь прежде всего благодаря им в периферийном университете на Урале, наряду с определённым стечением обстоятельств, сложились мои занятия историей Античности (Н.Н. Белова, Е.Г. Сузов) и Средних веков (М.Я. Сюзюмов, Н.А. Бортник). Посему отрадно завершить свои воспоминания подражанием крылатой фразе: *Veni, vidi, vixi...*<sup>98</sup>.

<sup>91</sup> См.: Звиревич В.Т. Древнегреческие керамические клейма из Херсонеса (раскопки 1961 г.) // Античная древность и средние века. Екатеринбург, 1963. Вып. 2. С. 8-13.

<sup>92</sup> См.: Звиревич В.Т. Избранные надписи по истории императорского культа в Галлии // Античная древность и средние века. Екатеринбург, 1998. Вып. 29. С. 45-58. Он же. Обожение человека в Античности. Екатеринбург, 2001. С. 91-107 (Эпиграфическое приложение).

<sup>93</sup> Андрей Викторович Зайков (род в 1963 г.) – российский историк, автор работ по истории древней Спарты.

<sup>94</sup> См.: Свидетельства о жизни и учении Диагора Мелосского и Феодора Киренского / Пер. с древнегреч. и латинского, вступит. ст. и примеч. В.Т. Звиревича // Античная древность и средние века. Екатеринбург, 2000. Вып. 31. С. 370-376.

<sup>95</sup> См.: Звиревич В.Т. Римский образ жизни и его ценности в представлении Цицерона // Исседон. Т. II. 2003. С. 111-124; Макробий. Сатурналии. Книга вторая / Пер. с лат. В.Т. Звиревича // Исседон. Т. III. 2005. С. 226-252; Макробий. Сатурналии. Книга первая, главы 12 – 16 / Пер. с лат. В.Т. Звиревича // Исседон. Т. IV. 2007. С. 135-160.

<sup>96</sup> См.: Звиревич В.Т. Обожение человека в Античности. Екатеринбург, 2001. С. 33-107: гл. 4. Обожествление монархов: культ римских императоров.

<sup>97</sup> А.Л. Вознесенскому – «Хрестоматию по эллинистическо-римской философии» (Свердловск, 1987. 156 с.); Е.Г. Сузову – книгу «Цицерон – философ и историк философии» (Свердловск, 1988. 208 с.); Н.Н. Беловой – «Обожение человека в Античности» (Екатеринбург, 2001. 107 с.); М.Я. Сюзюмову – «Макробий. “Сатурналии”» (Екатеринбург, 2009. 372 с.).

<sup>98</sup> Здесь В.Т. Звиревич поясняет, что в измененную фразу Цезаря он вложил несколько иной, очень простой смысл: *veni* (scilicet: in mundum), *vidi* (eum), *vixi* (in eo) – «пришел в мир, увидел его, пожил...»; хотя, на наш взгляд, оригинальная фраза (*veni, vidi, vici*) подходит больше.

## ЧАСТЬ III. КОНФЛИКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ И ВЛАСТИ В СПЕЦИФИКЕ ЛОКУСА

### 3.1. «САХА АЙМАХ» – «МАНЧААРЫ» – «САХА ОМУК» НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ИНСТИТУЦИИ В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВЛАСТИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

В дореволюционный период стремления русских интеллектуалов преимущественно были направлены на создание религиозно-философских и социально-политических утопий, а усилия интеллигенции национальных окраин – на поиск национально-политической идентичности. В условиях политизации духовно-интеллектуального бытия происходил процесс сублимации национальной культуры в национальную идею. Из-за отсутствия государственного статуса, механизмов институционализации национальных форм образования, науки, литературы, искусства, интеллектуальных и общественных движений культура здесь выступала репрезентантом национальной идеи<sup>1</sup>.

Ситуация изменилась после революции 1917 года, когда среди народов России стали возникать национально-культурные объединения. Так и в Якутии с целью «пробуждения в аборигенах ее культурного самосознания» в июне 1917 года открылось культурно-просветительное общество «Саха аймах» (Якутское племя).

Активными деятелями общества «Саха аймах» были представители национальной интеллигенции: С.А. Новгородов (председатель), В.Н. Леонтьев, В.В. Никифоров, Р.И. Оросин, Т.А. Слепцов, А.И. Софронов, П.Д. Яковлев и др., всего 52 члена. Объединение имело филиалы во всех округах и даже за пределами Якутии – в Иркутске<sup>2</sup>. Средства общества формировались за счет членских взносов, доходов с мероприятий и пожертвований государственных и общественных учреждений, частных лиц<sup>3</sup>. В 1917 / 18 г. доходы общества составили 8651 руб. 11 коп., а расходы – 1073 руб. 20 коп.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Колесник И.И. Интеллектуальное сообщество»: сетевой анализ // Диалог со временем. Вып. № 25–1. 2008. С. 60, 59.

<sup>2</sup> Антонов Е.П. Устав культурно-просветительного общества «Саха аймах» (Публикация документа) // Якутский архив. 2001. № 3. С. 49.

<sup>3</sup> Там же. С. 53.

<sup>4</sup> Яковлев П.Д. Доклад // Якутское земство. 1918. 8 дек.

Общество состояло из секций – театральной, литературной, лекционной, переводческой и секции по сбору памятников старины и фольклора<sup>5</sup>. Наиболее активно работала театральная секция. Так, с июня 1917 г. по октябрь 1918 года были поставлены драма писателя, драматурга, журналиста, издателя В.В. Никифорова «Манчаары», а также «Бедный Яков» и «Споткнувшийся – не выпрямится» А.И. Софронова<sup>6</sup>. Крупным событием в культурной жизни области стала комедия В.В. Никифорова «Албаабыппыт» (Мы ошиблись)<sup>7</sup>. Общество обзавелось собственными декорациями, костюмами, гримами и некоторой бутафорией<sup>8</sup>. Проводились этнографические изыскания и открылся Вилнойский краеведческий музей<sup>9</sup>. В 1917 г. в количестве 4 тыс. экземпляров был напечатан букварь якутского языка С.А. Новгородова. Общество, как писал Семен Андреевич, «положило почин» в создании национальной типографии<sup>10</sup>.

В революционный период проектирование интеллектуалами филологической культуры как дискурса для национально-государственного строительства стало массовым движением, когда произошел всплеск коллективной литературной жизни, активизации деятельности национальных и культурно-просветительных сообществ, предлагавших конкурирующие проекты преобразования общества<sup>11</sup>. Роль букварных изданий становится существенной в условиях этнокультурного возрождения и становления национального самосознания<sup>12</sup>.

При школе общества имелся кружок якутской грамоты<sup>13</sup>. Члены «Саха аймах» создали фонд помощи ученикам и оказали материальную поддержку 24 ученикам-якутянам. Выходил рукописный научно-литературный журнал «Сахалыы санарыах, ураангхайды онолууох» (Поговорим на родном языке), ряд статей из которого вошел в хрестоматию на якутском языке. Как видим, члены «Саха

<sup>5</sup> Рукописный фонд ИГИиПМНС СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 100. Л. 12.

<sup>6</sup> Башарин Г.П. Островский и Якутия. К 150-летию А.Н. Островского. Якутск: Кн. Изд-во, 1973. С. 44.

<sup>7</sup> Антонов Е.П. Устав культурно-просветительного общества... С. 53.

<sup>8</sup> Рукописный фонд ИГИиПМНС СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 100. Л. 12, 13.

<sup>9</sup> Новгородов С.А. Во имя просвещения родного народа... С. 125.

<sup>10</sup> Антонов Е.П. Устав культурно-просветительного общества... С. 53.

<sup>11</sup> Недашковская Н.И. «Писать по-русски»: проект национальной филологической культуры. Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. 1801–1813 гг. // Диалог со временем. 2012. № 39. С. 94.

<sup>12</sup> Сальникова А.А. «Свои» и «другие», взрослые и дети в визуальном ряде татарского национального букваря «Алифба» (конец 1980-х – 1990-е гг.) // Диалог со временем. 2021. № 39. С. 404.

<sup>13</sup> Яковлев П.Д. Доклад // Якутское земство. 1918. 6 дек.

аймах» внесли свой вклад в становление национальной школы<sup>14</sup>. Регулярно устраивались мероприятия – «пятницы», на которых организовывали лекции, театральные постановки, исполнение музыки. Первая «пятница» была устроена в Образцовой школе при Учительской семинарии с участием 30 представителей интеллигенции. Члены общества выступили с лекциями по темам: «Сущность национального движения», «Об обществах и союзах», «О родиноведении» и др. С докладами выступали представители якутской интеллигенции и политссылные А.Е. Кулаковский, М.К. Аммосов, Г.В. Ксенофонов, В.Д. Виленский-Сибиряков, В.Н. Леонтьев и др. Выступали также олонхосуты, шаманы с камланиями, декламаторы художественных произведений на якутском языке<sup>15</sup>.

Общество «Саха аймах» было ликвидировано в августе 1920 года органами Якутгубчека по обвинению в участии в «оросинском» контрреволюционном заговоре. 12 активистов во главе с В.В. Никифоровым и Р.И. Оросиным были арестованы, а имущество передано отделу народного образования. Уже 15 сентября несогласные с этим решением подали заявление в Комитет общества внешкольного и дошкольного образования, с просьбой включить их в свой состав в качестве национальной секции, но это предложение было отвергнуто.

Член Сиббюро ЦК РКП (б) Ем. Ярославский просил председателя Якутского губревкома М.К. Аммосова «смягчить дело о заговорщиках» и для улучшения отношений с национальной интеллигенцией «восстановить культурно-просветительное общество». 13 октября 1920 года Сиббюро ЦК РКП (б) послало в Якутию инструктивное письмо, в котором указывало на недопустимость закрытия общества «Саха аймах», способного работать под руководством отдела народного образования и при включении в его состав коммунистов и комсомольцев из числа якутов<sup>16</sup>.

Под влиянием рекомендации Сиббюро ЦК РКП (б) отдел Якутского губернского образования организовал культурно-просветительное общество «Саха омук» (Якутская нация), первое организационное собрание которого состоялось 7 ноября 1920 года. На нем от имени учредителей общества выступил один из основоположников якутской художественной литературы А.И. Софронов. Начавшаяся на собрании запись в члены нового объединения приобрела массовый характер и всего записалось 127 человек. Было избрано правление

<sup>14</sup> Устав культурно-просветительного общества «Саха аймах... С. 53.

<sup>15</sup> Яковлев П.Д. Доклад // Якутское земство. 1918. 6, 8 дек.; Рукописный фонд ИГиИПМНС СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 100. Л. 13.

<sup>16</sup> Антонов Е.П. Устав культурно-просветительного общества... С. 53.

в составе: В.Н. Леонтьева, П.А. Слепцова, Ф.Г. Корнилова, П. Санникова, П. Габышева и трех кандидатов: А.И. Софронова, Н.И. Гермогенова и В.Д. Борисова. Учитывая мнение Ем. Ярославского, 21 ноября 1920 г. Якутское бюро РКП (б) обязало якутов-коммунистов и комсомольцев вступить в «Саха омук». Целью «Саха омук» являлось пробуждение в якутской нации культурного самосознания, содействие ее духовному и физическому развитию, устройство разумных и полезных развлечений для населения. Общество состояло из пяти отделов: театрального, переводческого, лекционного, родиноведения (краеведения) и распространения грамотности, и эти названия раскрывали основные задачи «Саха омук». Театральный отдел ставил спектакли «Манчаары» В.В. Никифорова и «Бедный Яков» А.И. Софронова. На вечерних «пятницах» лекционный отдел устраивал публичные выступления по следующей тематике: «О восстании якутов при русских» (З.А. Яковлев), «Исторические параллели» (В.Д. Борисов), «Из истории тюрков и монголов» (К.О. Гаврилов). Темы лекций демонстрировали попытки зарождения нового исторического нарратива, имевшего антиколониальный характер, а также стремление искать свои исторические корни в тюрко-монгольском мире. Отдел родиноведения во главе с З.А. Яковлевым систематизировал «Материалы для библиографии Якутской области», собранные вице-губернатором Якутской области В.Л. Приклонским.

Отдел распространения грамотности открыл школу для обучения взрослых, в которую записалось 39 человек. Учителя ставили вопрос об открытии подотдела якутской национальной трудовой школы первой ступени с отделениями в улусах и двумя секциями по дошкольному и внешкольному образованию, составлению учебной литературы на якутском языке. Педагоги разработали программу якутской национальной школы первой ступени. Они открыли две школы для взрослых при Таттинском и Намском филиалах «Саха омук». Переводческий отдел во главе с И.Е. Васильевым занимался переводом статей по географии, истории, политическому устройству монгольского, бурятского и кыргызского народов.

Якутгубчека распустило культурно-просветительное общество «Саха омук» по обвинению в «февральском» контрреволюционном заговоре 1921 года<sup>17</sup>.

23 декабря 1921 года по инициативе Якутской секции при Якутгуббюро РКП (б) с целью привлечения к советской работе якутской интеллигенции было организовано культурно-просветительное общество «Манчаары» (имя народного героя, якутского Робин Гуда). На учредительном собрании 21 и 23 декабря с приветственной речью вы-

ступил председатель Якутгубревкома П.А. Ойунский. В общество записалось 40 человек, а затем это число увеличилось до 107 человек. В состав правления вошли: председателем – А.Ф. Бояров, членами – А.И. Софронов, П.А. Винокуров и кандидатами к ним – К.А. Сокольников и М.А. Константинов<sup>18</sup>.

Боровшаяся за символическое господство над молодежью советская власть взяла на вооружение идею поколений как средства консолидации своих сторонников. Следуя идеям Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева, она провозгласила основным двигателем социального прогресса борьбу поколений как борьбу старого и нового. Отцы были объявлены консервативной силой, будущее признавалось только за новыми / молодыми людьми, «надежды которых еще не обрезаны опытом»<sup>19</sup>. Новое общество «Манчаары» поставило перед собой задачу по «сплочению и объединению всех живых и культурных сил края во имя общей работы среди народных масс» и в «подчинении их трудовой пролетарской дисциплине». При этом провозглашался приоритет «масс якутского рабочего класса – хамначитов и трудовой интеллигенции», что вносило искусственный раскол в эту среду путем выделения из нее «трудовой» части, связанной с якутским «пролетариатом». Следует учитывать, что так называемый якутский «пролетарий» – хамначит – представлял собой зависимого работника в патриархальном хозяйстве тойонов (якутской знати). Подобного рода организация, по мнению местных партийно-советских руководителей, могла способствовать формированию «классового самосознания» и «высоких идеалов» у трудящихся края. Для достижения этой цели в обществе «Манчаары» предусматривались борьба с пережитками «буржуазной идеологии», распространение идей социализма и коммунизма, создание новых общественных форм жизни и взаимодействие с другими пролетарскими культурно-просветительными учреждениями и органами. Объединение состояло из секций: театральной, издательской, лекционно-агитационной, литературно-переводческой, собрания и изучения памятников народного творчества.

Общество «Манчаары» полученные средства от постановок спектаклей в размере 1.750.000 руб. (здесь надо учесть невиданную инфляцию) перечислило в фонд голодающих Поволжья. Национальный хор успешно выступал на всех массовых мероприятиях и поль-

<sup>18</sup> Антонов Е.П. Культурно-просветительное общество «Манчаары». Публикация документа // Якутский архив. 2002. № 2. С. 29.

<sup>19</sup> Родигина Н.Н., Сабурова Т.А. Поколенческое измерение социокультурной истории России XIX в. Преемственность и разрывы // Диалог со временем. 2011. № 34. С. 149.



зовался популярностью в г. Якутске. Издательская секция совместно с Якутским губбюро РКП (б) во главе с Г.И. Лебедевым выпустили по алфавиту немецкого академика О.Н. Бётлингга 13 номеров газеты «Манчаары». В 1922 г. «Манчаары» и Якутгуббюро издали сборник «Ырыа-хоһоон» (Песни и стихотворения) тиражом в 1 тыс. экз., вырученные средства от продажи которого были также отправлены на борьбу с голодом<sup>20</sup>. Общество оказывало материальную помощь студентам-якутянам, обучающимся в Иркутске<sup>21</sup>.

Местное партийно-советское руководство создавало «Манчаары» с целью сблизиться с национальной интеллигенцией, но выполнить эту задачу так и не смогло. По этому поводу секретарь Якутского областного бюро РКП (б) М.К. Аммосов 10 августа 1922 года писал в ЦК РКП (б), что общество «Манчаары» имело «слишком... политическую, коммунистическую окраску» и являлось фактически «филиалом компартии». В связи с этим Якутская городская конференция работников политико- и культурно-просветительных организаций приняла постановление о реорганизации «общества «Манчаары» в сторону культурно-просветительной работы». На общем собрании членов общества 5 сентября 1922 года оно вновь было переименовано в «Саха омук». Собравшиеся устранили из устава общества три пункта, провозглашавшие коммунистические цели деятельности, что стало уступкой местных властей национальной интеллигенции, отказавшейся сотрудничать с «Манчаары»<sup>22</sup>. По именному списку 1922 года культурно-просветительное общество «Саха омук» насчитывало в своих рядах 318 чел. с учетом членов улусных филиалов и состояло в основном из беспартийных якутов. По данным НКВД, в разные годы число членов общества составило 1124 чел., некоторые из них ранее состояли членами различных политических объединений. К примеру, В.Н. Леонтьев состоял в партии кадетов, А.Ф. Бояров – эсеров, А.И. Софронов – союзе федералистов и т.д.<sup>23</sup>

Общество внесло огромный вклад в культурное строительство Якутии: в развитие просвещения, театра, искусства, научных исследований и физической культуры. Члены общества переводили с русского на якутский язык произведения многих авторов, приобщая якутский народ к мировой культуре и цивилизации. При обществе действовали философский, правовой, шахматно-шашечный, писа-

---

<sup>20</sup> Антонов Е.П. Культурно-просветительное общество «Манчаары». С. 29, 39.  
<sup>21</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 1. Л. 14.

<sup>22</sup> Антонов Е.П. Культурно-просветительное общество «Манчаары». С. 29, 30.

<sup>23</sup> Антонов Е.П. Культурно-просветительное общество «Саха омук» (1920–1928) / Отв. ред. Г.Г. Макаров. Новосибирск: Наука, 1998. С. 19, 20.

тельский и другие кружки. Филиалы «Саха омук» к 1924 г. распространили свою деятельность практически на всю Якутию, а также имели филиалы в г. Москве и г. Охотске. Работа в филиалах велась в контакте с ячейками РКП (б) и ЛКСМ (комсомолом) и зачастую они были единственными очагами культуры в отдаленных улусах<sup>24</sup>.

«Саха омук» активно способствовал мирной ликвидации повстанческого движения 1921–1922 гг., пепеляевщины в 1923 г., тунгусского мятежа 1924–1925 гг., движения конфедералистов 1927–1928 гг. Члены общества активно участвовали в общественно-политических кампаниях, входили в состав «беспартийной фракции», избирались делегатами съездов Советов. Заслуга писателей и любителей-актеров из «Саха омук» заключалась в закладке основы якутской советской прозы, поэзии и театрального искусства<sup>25</sup>.

Партийно-советские органы жестко регламентировали деятельность культурно-просветительного общества «Саха омук», о чем, в частности, свидетельствовало письмо I секретаря Якутского обкома РКП (б) Е.Г. Пестуна от 21 января 1924 года в Сиббюро ЦК РКП (б) о том, что национальная интеллигенция «изжила внутри себя течение, претендовавшее на роль гегемона в автономном строительстве», и теперь «Саха омук» сосредоточило свое внимание на культурно-просветительных вопросах в качестве вспомогательного органа Политпросвета и Наркомата просвещения ЯАССР<sup>26</sup>.

Согласно постановления Президиума ВЦИК от 12 июня 1922 года и постановления ВЦИК и СНК Советской России от 3 августа 1922 года «ни одно общество, союз или объединение» не могло функционировать «без регистрации его в НКВД». Причем на все печатные публикации этих сообществ распространялись общие правила о цензуре<sup>27</sup>. В ноябре 1922 – начале 1923 г. комиссия ГПУ – НКВД произвела перерегистрацию и «фильтрацию» руководящего состава научных, религиозных, академических объединений по стране<sup>28</sup>. 2 ноября 1922 года зав. административным отделом НКВД С.Ф. Гоголев потребовал от общества «Саха омук» представить все необходимые сведения, включая устав, и в противном случае пригрозил его ликвидировать. Только после получения всей

<sup>24</sup> Там же. С. 80.

<sup>25</sup> Там же.

<sup>26</sup> ГАНО. Ф. 1. Оп. 2. Д. 381. Л. 24.

<sup>27</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 7. Л. 20.

<sup>28</sup> Пыстина Л.И. Буржуазные специалисты в Сибири в 1920-е – начале 1930-х годов (социально-правовое положение и условия труда). Новосибирск, 1999. С. 40.

документации административный отдел НКВД сообщил обществу о регистрации его устава 24 января 1923 года<sup>29</sup>. 26 октября 1923 года начальник Якутского отдела Емельянов и начальник секретно-оперативной части отдела политконтроля ОГПУ Майоров поставили на вид председателю общества «Саха омук» Г.Ф. Сивцеву организацию разных вечеров «без разрешения», что в корне подрывало цензуру зрелищных мероприятий. Во избежание продолжения подобной практики предлагалось заблаговременно заручаться письменными разрешениями ОГПУ на постановку всех спектаклей, концертов, лекций и увеселительных мероприятий<sup>30</sup>.

5 декабря 1925 года «Саха омук» получил от Якутского областного инспектора по делам печати и зрелищ анкету, без заполнения и представления которой в Облит и Главлит Наркомата просвещения РСФСР запрещалась публикация журнала общества<sup>31</sup>. Но, как выяснилось, благодаря гуманной военно-политической линии в период нэпа в Якутии отсутствовал предварительный просмотр рукописных журналов, ответственность за содержание которых возлагалась на редколлегии. Об этом шла речь в информационном отчете местного Облита за январь–март 1926 года. Поэтому для ознакомления со сценарными текстами якутских пьес была создана особая комиссия, которая за один квартал 1926 года из десяти пьес запретила к постановке две. Но с учетом специфики национальной республики Якутский Облит «счёл необходимым под свою личную ответственность разрешить все якутские постановки», так как многие представители интеллигенции сочиняли на якутском языке сценарии пьес, стихотворения, рассказы и др.<sup>32</sup>

25 ноября 1926 г. состоялось закрытое заседание бюро Якутского обкома ВКП (б) с участием: М.К. Аммосова, И.Н. Барахова, М.В. Мегежекского и др., где обсуждались характеристики на ответственных работников, в том числе и членов «Саха омук», составленные врид начальника Якутского отдела ОГПУ Н.А. Барковым и отправленные председателю комиссии ВЦИК А.Л. Борчанинову, приехавшему с проверкой в г. Якутск<sup>33</sup>. В частности, говорилось, что председатель «Саха омук», выпускник Якутской Духовной семинарии, член кадетской партии В.Н. Леонтьев старался проводить линию отчуждения от Компартии, что выразилось в препятствовании

---

<sup>29</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 7. Л. 21, 23.

<sup>30</sup> Там же. Д. 24. Л. 65.

<sup>31</sup> Там же. Д. 150. Л. 1.

<sup>32</sup> Там же. Ф. 621. Оп. 1. Д. 1. Л. 2, 3.

<sup>33</sup> НА РС (Я). Ф. р. 3. Оп. 20. Д. 30. Л. 24.

вступлению коммунистов и комсомольцев в состав общества и массовом наборе беспартийных кадров<sup>34</sup>. Член общества А.И. Софронов преподносился, как «солиднейший антисоветский деятель», автор националистического гимна якутских повстанцев, о «советизации» которого «не может быть и речи»<sup>35</sup>. Подобного рода политические ярлыки были навешаны и на других членов общества. Якутский обком ВКП (б) констатировал тенденциозное и в отдельных случаях ложное освещение деятельности ответственных партийно-советских работников и членов «Саха омука». Выдача этих характеристик без согласия партийного руководства ЯАССР была расценена как проявление недоверия со стороны ОГПУ к Якутскому обкому и областной Контрольной комиссии. В связи с этим Якутский обком ВКП (б) поручил секретарю И.Н. Барахову и председателю Областной Контрольной комиссии Н.С. Варфоломееву совместно с начальником Якутского отдела ОГПУ Н.В. Петровым ознакомиться с материалами, на основе которых были составлены эти характеристики; выяснить наличие аналогичных документов на других лиц; уволить с работы и привлечь к партийной ответственности сотрудников ОГПУ – авторов этих характеристик; поручить заведующему орготделом обкома А.Г. Габышеву в опровержение составить и выслать в центр объективные документы на опороченных лиц<sup>36</sup>.

В целом советская власть последовательно культивировала национальную идентичность и самосознание нерусских народов, что выражалось в образовании национальных территорий, обслуживаемых собственными элитами, а также в стимулировании символических маркеров национальной идентичности: национального фольклора, музеев, одежды, еды, костюмов, оперы, культа прогрессивных исторических событий и классических произведений литературы. В долгосрочной перспективе предусматривалось вытеснение национальных культур общесоюзной социалистической культурой. Коммунистическая партия оказала позитивное воздействие на формирование наций по форме, но не по содержанию<sup>37</sup>. Одной из форм литературно-интеллектуальной деятельности были «вечера» с публичными чтениями. Интеллектуальные коммуникации посредством соз-

<sup>34</sup> Там же. Д. 35. Л. 2. 36.

<sup>35</sup> Там же. Л. 3.

<sup>36</sup> Там же. Д. 30. Л. 22–23.

<sup>37</sup> Мартин Т. Империя позитивного действия: Советский Союз как высшая форма империализма? // *Ab imperio*. 2002. № 2. С. 72, 80.

дания и обмена текстами, мыслями, идеями, дискуссии и лекции, издательская деятельность происходили в обществах и кружках<sup>38</sup>.

В период нэпа интеллигенция пыталась конструировать национальную идентичность с помощью традиционных религиозных ценностей якутского народа, о чем свидетельствовала просьба В.Н. Леонтьева к учителю Таттинского улуса Якутского округа А.Я. Игнатьеву пригласить в клуб «Саха омук» с камланием шамана Ботурусского улуса Якутского округа Н.Н. Протасова и оказать помощь в сборе материалов о якутских религиозных верованиях. Василий Никанорович планировал организовать «этнографический вечер» с целью научного изучения этого духовного феномена<sup>39</sup>. В.Н. Леонтьев отметил высокое научное значение записи шаманского камлания, несмотря на наличие в ней многих бранных слов, и подготовку к ней комментариев исследователей. По просьбе председателя театральной секции А.И. Софронова А.Я. Игнатьев записал тойук – медитативное и возвышенное пение шамана в Верхнем мире, которые выслал в «Саха омук»<sup>40</sup>.

Однако интерес к шаманизму встретил реакцию со стороны начальника секретного отдела ЯОГПУ Н.А. Баркова, указавшего, что Протасов, который «отрекся от деятельности по шаманизму в 1924 г.» вновь был замечен в камлании у некоего гражданина Мегинского улуса в 1926 г. По словам чекиста, популярность шаманов и целителей среди населения была выше, чем врачей<sup>41</sup>. 10 ноября 1924 года врио уполномоченного Якутского отдела ОГПУ Майоров потребовал от «Саха омук» заполнить анкету видных деятелей национально-религиозного движения с указанием: ФИО, местожительства, даты и места рождения, происхождения, имущественного и семейного положения и др.<sup>42</sup> В связи с этим 17 октября 1924 года председатель «Саха омук» Г.Ф. Сивцев настоятельно просил ЯЦИК разъяснить карательному органу, что общество не является национально-религиозным<sup>43</sup>. Позже в информационной сводке заместителя начальника ОГПУ Сверчкова и начальника секретной особой части Н.В. Петрова, направленной секретарю Якутского обкома ВКП (б) Е.Г. Пестуну, отмечалось, что якутская интеллигенция «относится к религии вполне равнодушно»<sup>44</sup>.

<sup>38</sup> Колесник И.И. Интеллектуальное сообщество... С. 70, 63.

<sup>39</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 13. Л. 6.

<sup>40</sup> Там же. Л. 5, 6.

<sup>41</sup> Васильева Н.Д. Якутское шаманство. 1920–1930 гг. / Отв. ред. В.Н. Иванов. Якутск: ИГИ АН РС (Я), 2000. С. 60.

<sup>42</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 24. Л. 64, 64об.

<sup>43</sup> Там же. Л. 64об.

<sup>44</sup> Там же. Ф. р. 3. Оп. 20. Д. 23. Л. 34.

Подобного рода досужие вымыслы прозвучали и со стороны местных газет, в частности, о том, что в «Саха омук» принимаются лишь богатые лица, на которое вышло опровержение, что основным критерием при приеме новых членов является склонность к деятельности в сфере культуры, и, в частности, музыкальные данные<sup>45</sup>. Появление в этот период хорового пения с европейским разделением голосов на партии, ранее совершенно неизвестного якутам, имело огромное значение, поскольку свидетельствовало о зарождении сферы профессиональной культуры<sup>46</sup>. Важным культурным событием стала одна из «пятниц» «Саха омук» – «Пушкинский вечер», на который все участники хора пришли в национальных костюмах<sup>47</sup>.

Культура России до установления власти большевиков была «литературной насквозь», что предполагало активность обществ и кружков в культурной, общественной жизни и литературном процессе не только Санкт-Петербурга и Москвы, но также и провинции. В этих сетевых объединениях устанавливались контакты между автором и читателем, между литераторами, заказывались рецензии, читались и обсуждались художественные новинки, распространялись книги. С дореволюционного периода кружки проводили свои мероприятия – «четверги» Н.И. Греча, «пятницы» В.А. Жуковского, «субботы» С.Т. Аксакова и др.<sup>48</sup>

Литературный кружок «Саха омук», возникший в 1926 г., возглавляли И. Мартынов (председатель), Л. Давыдова (секретарь), В. Слепцов, Ф. Николаев и М. Романова (члены правления)<sup>49</sup>. Общее число членов кружка в 1926 г. составляло 72 чел.<sup>50</sup> Литературная секция состояла из двух кружков: писательского, изучавшего изящную литературу и анализировавшего оригинальные произведения якутских литераторов<sup>51</sup>, и кружка изучения литературы, анализировавшего русскую и зарубежную классику, устраивавшего доклады, дискуссии и выпускавшего рукописный журнал «Сырдык суол» (Светлый путь)<sup>52</sup>.

Важной формой письменной и устной коммуникации были журналы, переписка и литературные образцы. Свой рукописный научно-литературный журнал «Сахалыы санарыах, ураанхайды оно-

<sup>45</sup> Там же. Ф. 459. Оп. 1. Д. 140. Л. 23.

<sup>46</sup> Там же. Д. 179. Л. 40об., 73об.

<sup>47</sup> Там же. Ф. 459. Оп. 1. Д. 43. Л. 16.

<sup>48</sup> Колесник И.И. Интеллектуальное сообщество... С. 68, 69, 71.

<sup>49</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 164. Л. 6.

<sup>50</sup> Там же. Д. 147. Л. 1–3.

<sup>51</sup> Там же. Д. 179. Л. 40 об.

<sup>52</sup> Антонов Е.П. Культурно-просветительное общество «Саха омук»... С. 75.

луйуох» (Поговорим на родном языке) издавало еще в 1917 г. общество «Саха аймах»<sup>54</sup>. Журналом «Саха омук» в 1926–1929 гг. являлся «Чолбон» (Утренняя звезда), публикуемый на якутском языке совместно с Наркоматом просвещения и здравоохранения. Инициатором издания и редактором был драматург и поэт А.И. Софронов, членами редколлегии А.Ф. Бояров, В.Н. Леонтьев. Журнал был создан для публикации материалов о жизни, быте, культуре якутов; художественных произведений, стихотворений; песен; литературных, просветительных статей и т.д. В нем не печатались статьи по общественно-политической тематике, приоритет отдавался сюжетам о природе, птицах, животных, рыбах и др., переводам произведений русских писателей<sup>55</sup>. От 80 до 90% объема материалов «Чолбона» были подготовлены и представлены членами «Саха омук»<sup>56</sup>, т.е. журнал стал своеобразной школой мастерства<sup>57</sup>. В 1927 г. литературная секция обсудила такие проблемы, как литературные жанры, якутское стихосложение, поэтическая лексика, разбор якутских произведений, форма и содержание художественных произведений и др.<sup>58</sup>

При «Саха омук» была создана издательская секция, в задачи которой входила публикация оригинальных и переводных произведений в виде книг, журналов, сборников и периодических изданий<sup>59</sup>. 15 января 1924 года «Саха омук» получил информацию об издании Якутской секцией Восточного издательства трудов членов общества «Саха омук»: К.О. Гаврилова «Кооперация», «Кустарная промышленность»; Г.Г. Колесова «Улучшение породы скота» и «Улучшение системы земледельческого хозяйства»; П.А. Ойунского «Красный шаман» и др.<sup>60</sup> Ограничение и / или запрещение тех или иных книг было связано с идеологизацией культурной жизни, когда на общероссийском уровне активно проводилась цензура всех текстов. В июне 1922 года было создано Главное управление по делам литературы и издательств, а затем открылись его отделения в регионах.

<sup>54</sup> Башарин Г.П. А.И. Софронов в годы революции и Советской власти (1917–1927 гг.) // Полярная звезда. 1966. № 6. С. 127.

<sup>55</sup> Антонов Е.П. «Чолбон» сурунаал 1926–1929 сс. уонна саха литературатын сайдыыта // Чолбон. 1993. № 1. С. 180–187; Башарин Г.П. А.И. Софронов в годы революции и Советской власти... С. 127.

<sup>56</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 179. Л. 40 об.

<sup>57</sup> Антонов Е.П. «Чолбон» сурунаал... С. 180–187.

<sup>58</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 179. Л. 22об.

<sup>59</sup> Там же. Д. 22. Л. 4.

<sup>60</sup> Там же. Д. 24. Л. 45.

Несомненно, изъятие книг было направлено не только против авторов, но и против читателей<sup>61</sup>.

При «Саха омук» работала библиотека, где в 1924 г. имелось 1570 единиц книг, журналов и газет<sup>62</sup> и работала комиссия по изъятию запрещенных книг, которая одновременно комплектовала фонд трудами В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина<sup>63</sup>. После ликвидации «Саха омук» 23 сентября 1928 года в Политпросвет была передана 1081 книга<sup>64</sup>. Судьба же 489 книг осталась неизвестной, возможно, часть осталась в спецхране.

Участники культурно-просветительных обществ также занимались изучением элитарной литературы, что составляло важнейший компонент формирующегося в Сибири социокультурного пространства<sup>65</sup>. Так, 28 февраля 1926 года В.Н. Леонтьев в своем докладе «Символизм в прошлом и настоящем» раскрыл последовательную смену материализма, идеализма и мистицизма, когда за ложным классицизмом последовательно следуют реализм, сентиментализм, романтизм и символизм. Душа без участия внешних органов чувств связана с мистической стороной, имеет особую мораль – этику и подпитывается красотой. Задача писателей-символистов заключалась в выявлении тех сторон жизни, которые не воспринимались человеческими органами чувств. Проникновение символизма в Россию связывалось с творчеством поэта и религиозного философа Д.С. Мережковского<sup>66</sup>, проповедовавшего одновременное возрождение христианства и язычества, что ассоциировалось с преодолением христианского аскетизма и реабилитацией «святой плоти», что способствовало созданию «Царствия Божьего на Земле»<sup>67</sup>. Когда в прениях доклад В.Н. Леонтьева обвинили в несвоевременности, то он парировал вопросом, а почему своевременность лекции должна зависеть не от лектора, а от президиума собрания<sup>68</sup>.

<sup>61</sup> Бернгард Т.В., Корзун В.П. Историческая библиография как форма трансляции интеллектуальной культуры. Меняющиеся функции дисциплины в первой трети XX в. (На материале Сибири) // Диалог со временем. 2013. № 44. С. 198-200.

<sup>62</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 24. Л. 75.

<sup>63</sup> Там же. Д. 140. Л. 24; Д. 98. Л. 1, 1об., 12.

<sup>64</sup> Там же. Д. 183. Л. 11.

<sup>65</sup> Попов Д.И. Культурно-просветительные общества в Сибири в конце XIX – начале XX вв. Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. С. 507.

<sup>66</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 160. Л. 7, 7об., 8об.

<sup>67</sup> Кульюс С. Д.С. Мережковский Д.С. // Мережковский Д.С., Гиппиус З.Н. Стихотворения. Таллинн: Александра, 1992. С. 6, 7.

<sup>68</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 160. Л. 8об.



Член литературного кружка М.А. Константинов в своем докладе «О символизме» первым символистом назвал французского поэта Шарля Бодлера, подчеркнувшего в сборнике стихов «Цветы зла», что поэтом может стать только нездоровый человек – пессимист<sup>69</sup>. Действительно после растраты наследства и употребления наркотиков поэт написал наиболее мрачные стихотворения, а после выхода в свет в 1857 г. книги «Цветы зла», куда вошли стихотворения «Альбатрос», «Лебедь», «Парижский сон» и «Плавание», ныне составляющие всемирную славу поэта, Бодлер был оштрафован трибуналом департамента Сена «за оскорбление общественной морали»<sup>70</sup>. Что касается якутской литературы, то единственным символическим произведением докладчик признал поэму П.А. Ойунского «Красный шаман»<sup>71</sup>.

Член «Саха омук» П.С. Андросов в своем выступлении «Реализм в русской литературе» назвал первым реалистом в России баснописца И.А. Крылова. В первой же главе поэмы А.С. Пушкина «Евгений Онегин» им отмечался переход от романтизма в духе Байрона к реализму, и это произведение представлялось переплетением юмора и элегии, романтизма и реализма, правды и мечты. Докладчик выделил пушкинскую и гоголевскую эпохи, отличавшиеся не только по содержанию, но и по способу чувствования. В пушкинской художник только наблюдал действительность, а в гоголевской пытался экспериментировать над нею. Здесь же содержалась острая критика пролетарской литературы, имевшей «большой частью агитационный характер» и отличавшейся отсутствием человеческих типов характерных для русской классики<sup>72</sup>.

Член «Саха омук» Лебедев в своем докладе «Футуризм» назвал его основателем итальянского поэта Филиппа Маринетти, автора «Манифеста футуризма» (1909), призывавшего молодежь к разрушению: «Давайте же, поджигайте библиотечные полки! Поверните каналы, чтобы они затопили музеи!» В качестве важной черты футуризма называлось ожидание войны, олицетворявшей собой символ разрушения отживших идей<sup>73</sup>. Первый российский футурист Игорь Северянин

<sup>69</sup> Там же. Д. 159. Л. 26.

<sup>70</sup> Витковский Е. Наследие Бодлера // Бодлер Ш. Цветы зла. Стихотворения. М.: Эксмо, 2014. С. 18-21, 24.

<sup>71</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 159. Л. 26, 27, 27об.

<sup>72</sup> Там же. Д. 139. Л. 25, 26.

<sup>73</sup> Там же. Д. 159. Л. 28, 29, 29об.; Наумова В.С. «Манифест футуризма» Ф.Т. Маринетти и стихотворение «Конец мира» Я. ван Ходдиса как ключевые тексты эпохи литературного экспрессионизма // Уральский филологический вестник. Серия: Germanistische Studien: актуальные проблемы германистики. 2016. № 1. С. 96-98.

был представлен как революционер, сумевший предсказать Октябрьскую революцию, голод и Гражданскую войну, но поэзию В.В. Маяковского член «Саха омук» оценил как монотонную<sup>74</sup>. Игорь Северянин представлялся полной противоположностью Маринетти, поскольку его жизненное кредо заключалось в наблюдении и созерцании из-за невозможности изменить исторический ход событий и творить свою судьбу. Поэтому в основу житнетворчества Северянина легла эстетическая идея возможности преобразования мира посредством художественного творчества и выбора кредо: «жить ради Красоты и наслаждаться Красотой»<sup>75</sup>.

С самого начала творческая деятельность «Саха омук» вызвала недоверие органов ОГПУ, которые еще в 1923 г. потребовали от председателя правления Г.Ф. Сивцева заблаговременно заручаться письменным разрешением цензуры на проведение в клубе «Саха омук» всех вечеров, спектаклей, концертов, лекций и других зрелищных мероприятий<sup>76</sup>. В годы нэпа под влиянием борьбы с «буржуазной» культурой активизировалось левацкое пролеткультовское течение. К примеру, поэт С.Р. Кулачиков-Элляй назвал А.Е. Кулаковского проповедником мальтузианства, а журналист С.Г. Потапов обвинял В.Н. Леонтьева и общество «Саха омук» в попытке «лишить якутскую художественную литературу ее политического скелета», а журнал «Чолбон» счел «дверью за семью печатями» для революционных литераторов<sup>77</sup>. Но В.Н. Леонтьев, полемизируя с С.Г. Потаповым, подчеркивал, что якутская дооктябрьская художественная литература была крестьянской и революционной. Поэтому художественный метод ориентировал на изображение человека со всеми его психологическими и идеологическими особенностями, что подразумевало постепенный переход крестьянских писателей на пролетарские «рельсы», который не должен был привести к отказу от создания типов якутских крестьян<sup>78</sup>.

В 1923 г. при «Саха омук» открылся философский кружок под руководством все того же Леонтьева. Его целью было «беспристраст-

<sup>74</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 159. Л. 29, 29об.

<sup>75</sup> Викторова С.А. Игорь Северянин, Оскар Уайльд и феномен эстетизма в мировой культуре конца XIX – начала XX века // Ярославский педагогический вестник. 2004. № 4. С. 7, 8, 10.

<sup>76</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 24. Л. 65.

<sup>77</sup> Кулачиков С.Р. Два якутских поэта // Автономная Якутия. 1928. 9 дек.; Потапов С.Г. Якутская художественная литература и комсомол // Автономная Якутия. 1927. 4 июня.

<sup>78</sup> Леонтьев В.Н. Вопросы литературные // Автономная Якутия. 1927. 16, 17 июля.

ное изучение философии», что, несомненно, противоречило марксистско-ленинским идеологическим постулатам. Кружковцы изучали «Введение в философию» Г.И. Челпанова, «Введение в философию» О. Кюльпе и «Введение в философию» Кудрявцева. В.Н. Леонтьев выступил с докладом «О философской системе Фалеса»<sup>79</sup>.

С укреплением советской власти ужесточалась политика регламентации деятельности сетевых сообществ. Так, 12 января 1924 года бюро Якутского обкома РКП (б) обязало сформированную внутри общества фракцию коммунистов еженедельно отчитываться перед партийным органом, что явилось сдвигом к усилению партийного контроля над общественной деятельностью беспартийной интеллигенции<sup>80</sup>. Свою оценку роли «Саха омук» дал первый секретарь Якутского обкома РКП (б) Е.Г. Пестун, доложив 21 января 1924 года в Сиббюро, что общество перестало быть политической организацией национальной интеллигенции и выступает теперь в качестве придатка Наркомата просвещения ЯАССР и Политпросвета, ограничиваясь лишь культурно-просветительной деятельностью<sup>81</sup>.

В тот же период в якутской печати развернулась дискуссия об объединении культурно-просветительных обществ «Саха омук» и «Аннях» (Ааньяах или Аайньаах – название местности в Олекминском округе; Ааньяах или Ааянх куората – город Олекминск), функционировавшее в Олекминском округе Якутской АССР. 30 мая 1923 года председатель «Саха омук» В.Н. Леонтьев сетовал, что олекминское сообщество «категорически отвергло» предложение работать в виде филиала общества<sup>82</sup>. Однако 16 февраля 1924 года правление «Аннях» направило уполномоченному торгпрома в г. Олекминске Кузьмину письмо с просьбой содействовать объединению двух сообществ с однородными задачами, и главным фактором здесь выступало распределение средств «Саха омук» по своим филиалам, а не по другим обществам<sup>83</sup>. 23 марта 1924 года Областное партийное совещание обсудило предложение первого секретаря Якутского обкома РКП (б) Е.Г. Пестуна о слиянии культурно-просветительных обществ «Аннях» и «Саха омук». Ефим Григорьевич открыто выразил свое несогласие с мнением части олекминских коммунистов и комсомольцев, отказавшихся работать в «Саха омук», но при этом высказался за предоставление округам самостоятельности в работе.

<sup>79</sup> Антонов Е.П. Культурно-просветительное общество «Саха омук»... С. 30.

<sup>80</sup> НА РС (Я). Ф. р. 3. Оп. 3. Д. 237. Л. 2.

<sup>81</sup> ГАНУ. Ф. р. 1. Оп. 2. Д. 381. Л. 24.

<sup>82</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 42. Л. 41.

<sup>83</sup> Там же. Д. 121. Л. 4, 6, 6об.

В результате голосования предложение Е.Г. Пестуна было принято 13 голосами, при трех – против<sup>84</sup>. 25 марта 1924 года на пленуме Якутского обкома РКП (б) первый секретарь обкома заявил, что попытки сохранить самостоятельность «Аннях» вызывались преобладанием в его составе радикально настроенных партийцев, развернувших свою деятельность исключительно среди бедноты и бывших красных партизан<sup>85</sup>.

28 марта 1924 года на пленуме Якутского обкома РКП (б) с участием Пестуна, И.Н. Барахова, И.Н. Винокурова и др. А.Ф. Бояров заявил, что устав «Аннях» больше отвечает «духу советской власти», нежели аналогичный документ «Саха омук». Выступавший привел данные об активной деятельности олекминцев, организовавших семь филиалов, три съезда, открывших национальный клуб, составлявших рукописи на якутском языке, устраивавших спектакли, выступавших с лекциями и т.д. Пленум оценил «Саха омук» как вполне советское культурно-просветительное общество, вовлекающее нацинтеллигенцию в крайне полезную работу по распространению просвещения на якутском языке. Нигилистические настроения среди части коммунистов к обществу были осуждены как вредный пережиток Гражданской войны, всех членов РКП (б) и комсомола, владеющих якутским языком, обязали войти в члены «Саха омук» и решительно осудили взгляды левацки настроенных лиц<sup>86</sup>.

Председатель «Саха омук» В.Н. Леонтьев предложил объединиться, но созванный по этому поводу окружной съезд отказался от этой идеи после двухдневных дебатов. К тому же выяснилось, что из 600 членов «Саха омук» лишь 9 чел. были коммунистами. Причиной неучастия партийцев являлось их предвзятое мнение о контрреволюционности «Саха омук»<sup>87</sup>. Пестун докладывал в ЦК РКП (б) и Сибкрайком РКП (б), что в ходе обсуждения вопроса о слиянии «Саха омук» и «Аннях» возникла дилемма, когда с одной стороны, если этот слой интеллектуалов должен послужить «отчасти мостом между партией, советской властью и середняцкой массой», то слияние двух обществ «покончит с противопоставлением «красных и белых». С другой стороны, если национальная интеллигенция «не может пользоваться нашим доверием» из-за своего контрреволюционного прошлого, то тогда ставка будет сделана на бедняка и красного партизана<sup>88</sup>.

<sup>84</sup> ГАНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 700. Л. 79–82.

<sup>85</sup> НА РС (Я). Ф. р. 3. Оп. 3. Д. 230. Л. 31.

<sup>86</sup> Там же. Л. 4–5.

<sup>87</sup> Там же. Л. 4.

<sup>88</sup> ГАНО. Ф. р. 2. Оп. 2. Д. 32. Л. 51.

2 мая 1924 года бюро Олекминского окружного комитета РКП (б) приняло решение о необходимости слияния «Аннях» и «Саха омук»<sup>89</sup>, а 3 мая «Аннях» принял решение о своем слиянии с «Саха омук» как с функционирующим в общереспубликанском масштабе<sup>90</sup>. 28 декабря 1924 года состоялся окружной съезд, избравший правление Олекминского филиала, в составе которого работали Абагинский, Кыллахский, Кятчинский и Нерюктяйский отделы<sup>91</sup>.

В 1925 г. возникла дискуссия в связи с вопросом о реорганизации общества «Саха омук» в научно-исследовательское общество «Саха Кэскилэ» (Будущее якутов). Здесь Е.Г. Пестун выступил с инициативой превратить «Саха омук» в зародыш будущей Якутской Академии наук. В состав реорганизованного научно-исследовательского объединения предполагалось также включить городской музей, республиканский архив и Совет по якутской письменности<sup>92</sup>. Такой вариант реорганизации в целом совпадал с видением беспартийным руководством общества своих перспектив. Так, ещё в 1923 г. общество «Саха омук» наметило пути и способы изучения Якутского края. Секция изучения Якутского края разработала план работ на 1923/24 г., где планировалось собирать письменные, литературные и вещественные материалы, выступать на «пятницах» с докладами, публиковать статьи в газетах и формировать кадры краеведов. Планировалось под руководством Географического общества осуществлять научные изыскания<sup>93</sup>. 24 декабря 1924 года пленарное заседание правления «Саха омук» признало «вполне своевременной и правильной постановку вопроса об организации Якутского научного общества».

Выступление Пестуна о реорганизации общества путем слияния с Географическим обществом было воспринято, как необходимое, целесообразное и правильное<sup>95</sup>. Однако руководители «Саха омук» выразили особое мнение, заключавшееся в сохранении в новой организации культурно-просветительных и общественно-политических функций. Поэтому в январе 1925 года Е.Г. Пестун направил в Секретариат ЦК ВКП (б) закрытое письмо о начале Якутским обкомом массовой кампании по ликвидации «Саха омук» и созданию научно-исследовательского общества. Пестун констатировал, что «все твор-

<sup>89</sup> Там же. Ф. 2. Оп. 2-1. Д. 116. Л. 114.

<sup>90</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 121. Л. 7, 8.

<sup>91</sup> Там же. Д. 136. Л. 12, 12об.

<sup>92</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 18. Л. 52; Пестун Е. «Саха омук» и якутская нацинтеллигенция // По заветам Ильича. 1925. март. С. 45.

<sup>93</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 23. Л. 5, 6.

<sup>95</sup> Там же. Д. 69. Л. 16.

ческие силы выпотрошены» из «Саха омук» и закрытие его городского клуба неминуемо, поскольку для членов общества «буфет и танцулька, подкрашенная мелкобуржуазным националистическим налётом», важнее, чем все культурные задачи якутской нации<sup>96</sup>.

В свою очередь, представители национальной интеллигенции А.И. Софронов, Г.Г. Колесов, Г.Ф. Сивцев, В.Г. Николаев, А.Д. Пинигин обосновывали сохранение «Саха омук» тем, что оно является символом внешнего проявления национального самосознания и культурной автономии якутского народа<sup>97</sup>. Член «Саха омук» П.А. Слепцов аргументировал идею сохранения общества тем, что оно является массовой общественной организацией якутского народа, а ее реорганизация в исследовательское общество негативно отразится на задачах культурного строительства. М.Н. Тимофеев-Терешкин напомнил, что в республике очень мало коммунистов, поскольку отсутствовал пролетариат, преобладали мелкие и средние собственники, которых и предстояло советизировать посредством «Саха омук»<sup>98</sup>.

В ходе диспута отдельные партийцы допускали необоснованные выпады в адрес беспартийной интеллигенции. Так, председатель ЯЦИК П.А. Ойунский говорил о наличии в «Саха омук» богачей и бедняков, большевиков и бандитов и представил их, как «организацию политиканствующих националов». В его трактовке члены общества рассматривали себя, как основную политическую силу, а свою организацию считали национально-политическим объединением. Он предупреждал, что под вывеской «Саха омук» окажется «гнездо антисоветских лиц», которые вовлекут новых членов и развернут борьбу против Компартии<sup>99</sup>. Необоснованные обвинения национальной интеллигенции со стороны отдельных представителей руководства Якутии вызвали многочисленные нарекания общественности. Поэтому 22 февраля 1925 года было созвано совещание ряда партийных и беспартийных деятелей, где Пестун высказал своё несогласие с позицией М.Н. Тимофеева-Терешкина, увлѣкшегося политической значимостью «Саха омук» как единственного представителя народа саха. Вместе с тем совещание вынесло постановление о том, что вы-

<sup>96</sup> НА РС (Я). Ф. р. 3. Оп. 20. Д. 46. Л. 13; Пестун Е. «Саха омук» и якутская нацинтеллигенция // По заветам Ильича. 1925. март. С. 39.

<sup>97</sup> Нужно ли культурно-просветительное общество «Саха омук»? // Автономная Якутия. 1925. 15 янв.; Леонтьев В. Еще о задачах «Саха омук» // Там же. 1925. 25 янв.

<sup>98</sup> Слепцов П.А. Еще раз о «Саха омук» // Автономная Якутия. 1925. 14 фев.; НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 18. Л. 53.

<sup>99</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 140. Л. 6–7; Ф. р. 1. Оп. 1. Д. 89. Л. 13.

сказывания П.А. Ойунского порочат советскую национальную интеллигенцию, и осудило такой подход<sup>100</sup>. 15 марта восемь членов «Саха омук» выступили в печати в защиту общества, доказывая, что через него осуществляется самодеятельность якутского народа<sup>101</sup>.

Органы ОГПУ со своей стороны также оказывали влияние на ход дискуссии. Об этом, в частности, свидетельствует информационная сводка от 15 мая 1925 года за подписью заместителя начальника Якутского отдела ОГПУ Сверчкова и начальника секретной особой части ОГПУ Н.В. Петрова, адресованная секретарю Якутского обкома ВКП (б) Е.Г. Пестуну. В ней говорилось, что руководство «Саха омук» принадлежит группе «видных шовинистов – националистов», выступающих против открытия центра подготовки научных кадров и озабоченных лишь «танцульками и саха-омуковским буфетом»<sup>102</sup>.

22 июня 1925 года бюро Якутского обкома ВКП (б) с участием П.А. Ойунского, С.М. Аржакова и других утвердило «твердый список» добровольных обществ в составе: Авиахима, МОПРа, общества «Долой неграмотность!», пролетарской студии, «Саха омук» и «шефских комиссий» и поручило Агитационно-политическому отделу Якутского обкома «установить постоянное и систематическое руководство работой» правлений добровольных обществ Якутии<sup>103</sup>.

26-28 января 1926 года на пленуме Якутского обкома и Областной контрольной комиссии встал вопрос об усилении партийного руководства обществом «Саха омук»<sup>104</sup>. Необходимость его существования была признана большинством партийно-советских работников<sup>105</sup>. 1 ноября 1926 года состоялось совещание коммунистов-якутов (71 чел.), которое постановило оставить у «Саха омук» только культурно-просветительные функции<sup>106</sup>. В госсводке ОГПУ сообщалось, что руководитель философского кружка при обществе Леонтьев проводил антисоветскую пропаганду, выступая перед молодёжью с критикой диамата и проповедью идеализма и анархизма. С.Г. Потапов обвинил членов философского кружка во главе с Леонтьевым в участии в «ксенофонттовском» заговоре. Однако первый секретарь Якутского обкома И.Н. Барахов заявил, что о философском кружке левац-

---

<sup>100</sup> НА РС (Я). Ф. р. 3. Оп. 3. Д. 362. Л. 1–3.

<sup>101</sup> К дискуссии о «Саха омук» // Автономная Якутия. 1925. 15 марта.

<sup>102</sup> НА РС (Я). Ф. р. 1. Оп. 3. Д. 265. Л. 78, 83.

<sup>103</sup> Там же. Оп. 3. Д. 392. Л. 91.

<sup>104</sup> Там же. Д. 535. Л. 20.

<sup>105</sup> НА РС (Я). Ф. р. 1. Оп. 3. Д. 535. Л. 48.

<sup>106</sup> Там же. Д. 540а. Л. 87; Д. 562. Л. 9.

ки настроенные партийцы вспоминают при всяком удобном случае, но никаких данных об антисоветской деятельности не приводят<sup>107</sup>.

25 октября 1927 года бюро Якутского обкома ВКП (б) обсудило вопрос о статье С.Г. Потапова «Алхимия тов. Леонтьева в вопросах литературных», где были высказаны резкие нападки против «Саха омук», что позволило общественности оценить ее в качестве программной статьи, направленной против национальной интеллигенции. Поэтому бюро обкома расценило ее как противоречащую постановлениям Якутского обкома и V областной партийной конференции, выказавшихся за сохранение «Саха омук». Партийное руководство официально отмежевалось от этой статьи как выражающей точку зрения не редакции газеты, а лично автора публикации<sup>108</sup>.

Дискуссия вокруг культурно-просветительного общества «Саха омук» выявила позиции интеллигенции, направленные на сохранение самостоятельной национальной организации с приданием ей научно-исследовательских функций. Напротив, партийно-советские органы апеллировали к идее преобразования данного объединения в научное, с исключением из его деятельности общественно-политических и культурно-просветительских функций. К тому же 27 ноября 1927 года общее собрание «Саха омук» обсудило предлагаемые Прокуратурой изменения устава общества и вынесло постановление, где говорилось, что поскольку «Саха омук» является общественной организацией трудящихся-якутов, то имеет право организовывать митинги по общественно-политическим вопросам, согласно, статьи 6 Конституции РСФСР<sup>109</sup>.

Тем не менее, 6 мая 1928 года правление «Саха омук» в составе председателя К.О. Гаврилова, членов: И.А. Баланова, Ф. Говорова, С.Н. Донского, Ф.М. Егорова, А.А. Иванова-Кюндэ, И. Мартынова, Н.И. Слепцова приняло решение о ликвидации культурно-просветительного общества «Саха омук» и организации Якутского национального клуба<sup>110</sup>. Вследствие этого, 2 июня 1928 года Якутский обком постановил, что в «Саха омук» тон задавали люди, воспитывавшие молодежь в националистическом духе, в то время как культурное строительство в Якутской АССР осуществляли Наркомат просвещения и здравоохранения республики, комсомол, профсоюзы, школы, избы-читальни и др. Исходя из этого решено было

<sup>107</sup> Там же. Ф. 459. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.

<sup>108</sup> Там же. Ф. р. 3. Оп. 3. Д. 648. Л. 147.

<sup>109</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 176. Л. 27.

<sup>110</sup> Там же. Д. 182. Л. 9, 9об.



ликвидировать общество. Против выступил М.К. Аммосов, голосовавший за сохранение «Саха омук»<sup>111</sup>.

17 июня 1928 года собрание «Саха омук» с участием 25 членов постановило ликвидировать общество и ходатайствовать перед НКПЗ об организации Якутского клуба<sup>112</sup>.

24 октября 1928 года начальник ЯО ОГПУ Пуйкан от наркома просвещения и здравоохранения П.А. Ойунского затребовал информацию об открытии/закрытии клубов в г. Якутске. 5 ноября 1928 года Ойунский ответил, что вместо клуба «Саха омук» открылся Национальный клуб<sup>113</sup>. Подлинной же причиной роспуска «Саха омук» явились события 1927–1928 гг., известные нам как движение конфедералистов. В 1937 г. «Саха омук», по распоряжению самого наркома внутренних дел СССР Н.И. Ежова, объявили буржуазно-националистической организацией. В 1956 г. Военная коллегия Верховного суда СССР своими определениями за №44-04049/56, №44-01405, №44-020224/56 официально подтвердила, что «Саха омук» был культурно-просветительным, а не антисоветским обществом. Это определение можно считать юридической реабилитацией этого общества.

\*\*\*

Таким образом, в революционный период были заложены интеллектуальные традиции использования национальных символических маркеров в наименовании культурно-просветительных сообществ: «Саха аймах», «Манчаары», «Аннях», «Саха омук», «Саха Кескиле». Впервые вокруг «Саха омук» произошла консолидация практически всей якутской интеллигенции, а филиалы «Саха омук» распространились на территорию Якутской автономной республики. Деятельность «Саха омук» контролировалась советскими спецслужбами и Главлитом, но, одновременно, находило поддержку среди местного руководства ЯАССР.

В 1920-е годы руководство «Саха омук» предприняло попытку реконструкции национальной идентичности с помощью создания историко-этнографического нарратива, изучения и практики традиционных религиозных ценностей саха, просветительской деятельности. Литературная секция общества с аполитичным журналом «Чолбон» (Утренняя звезда) способствовала культивированию образцов элитарной мировой литературы, познанию не только материалисти-

---

<sup>111</sup> Антонов Е.П. Культурно-просветительное общество «Саха омук» (1920–1928). С. 76, 77.

<sup>112</sup> НА РС (Я). Ф. 459. Оп. 1. Д. 203. Л. 1, 4; Д. 209. Л. 1.

<sup>113</sup> Там же. Оп. 8. Д. 8. Л. 27, 28.

ческой, но и идеалистической философии, а также проводила критику пролеткультовских выступлений. В таких письменных коммуникациях, как журналы «Чолбон» и «Якутские зарницы», а также в рукописных журналах предметом дискуссий стали литературные жанры, якутское стихосложение, форма и содержание литературных произведений и т.д.

В 1924–1925 гг. состоялась бурная дискуссия между партийно-советским руководством и «Саха омук» о статусе последнего, когда беспартийные интеллектуалы пытались сохранить самостоятельность национальной организации расширением ее функций. Но Якутский обком РКП (б) настаивал на преобразовании общества «Саха омук» в научно-исследовательское, с ликвидацией его общественно-политической и культурно-просветительской деятельности.

На страницах местной прессы и в ходе полемики лидерам национальной интеллигенции удалось обосновать самостоятельный статус общества «Саха омук». В ответ власть вывела из его состава якутских коммунистов и комсомольцев и закрыла филиалы в улусах. Выступление отдельных коммунистов по обвинению общества в национализме и контрреволюционности не нашло поддержки среди местной организации ВКП (б).

Закрытие «Саха омук» было связано с подавлением движения конфедералистов, свертыванием политики нэпа и огосударствлением национальных организаций с общественными функциями.

### **3.2. КАВКАЗСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ 1930-х ГОДОВ**

#### **ТРАВМА КАК СЛЕДСТВИЕ ПЕРЕЖИТОГО КОНФЛИКТА В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ**

Воспоминания и публицистика участников событий Российской революции и гражданской войны являются источником реконструкции исторической памяти об этих событиях. Для писавших свои воспоминания вне родины травма пережитых после 1917 года событий усугублялась положением эмигрантов. Травматизация прошлого как индивидуального, так и коллективного, процесс естественный, так как история предполагает разрушение одного образа жизни и построение нового уклада, что не может происходить безболезненно. Воспроизводство травмирующего события в исторической памяти зависит от интерпретации событий субъектами исторического процесса. Это в полной мере относится и к Кавказу.

Кавказский регион имеет не только сложное историческое прошлое, но довольно противоречивое влияние этого прошлого на настоящее через репрезентацию в исторической памяти. Речь идет об одном из регионов, для которого характерны войны исторической памяти и историографические войны, плотно встроенные в современные неурегулированные конфликты. В этих конфликтах актуализируются те или иные эпизоды неудобного прошлого, которые становятся аргументом в военно-политическом противостоянии, и здесь имеются в виду не отрывочные сведения, а скорее целые дискурсы, которые конструируются несколькими поколениями, начиная с участников и свидетелей самих событий. Именно в их свидетельствах стороны конфликта ищут аргументы для подтверждения своей правоты. Наряду с этим присутствует понимание региональной общности и существования общекавказской идентичности. Сложный опыт кавказской эмиграции, сформировавшейся после полной победы большевизма в России и на Кавказе, демонстрирует как осознание интеллигенцией своей принадлежности общему кавказскому дому, так и наличие внутренних противоречий в среде эмигрантов, что подтверждают попытки осмыслить прошлое и увидеть через него перспективы будущего. Их опыт и свидетельства оказываются востребованными до сих пор в кавказской политической и культурной жизни.

Немецкий теоретик исторической науки Рейнхард Козеллек утверждал, что коллективных воспоминаний нет, но есть коллективные условия для них. Условия создает социальная группа, которая также формируется в определенном контексте. Так, в группе всех эмигрантов из России после революции 1917 года и гражданской войны кавказцы сформировали отдельное сообщество<sup>1</sup>. Оно сложилось под влиянием общей судьбы изгнанников, под которую они пытались подогнать историю. Кавказская эмиграция представляет собой такой микросоциум, который начал становление в экстремальных исторических условиях революции и гражданской войны, а затем прошел период становления и даже институализации, через создание организаций и учреждение печатных органов в совершенно новом социокультурном европейском пространстве. Само кавказское сообщество в Европе отличалось неоднородностью и внутри делилось в соответствии с этнической, религиозной и даже субрегиональной принадлежностью. Так, например, представители Северного Кавказа осознавали свою особую идентичность и необычность этнорелигиозной ситуации в сравнении с Закавказьем. Как отмечает признанный российский специалист в области изучения судеб, биографии и общей истории кавказских эмигрантов Ирина Бабич, в эмиграции 1920–1930-х гг. сформировалось представление о северокавказской нации, как минимум о наличии условий для ее формирования<sup>2</sup>. Кавказцы искали основу для укрепления общекавказской солидарности, которая осложнялась множеством этнорелигиозных границ и накопившихся исторических претензий друг к другу. Опыт утраты родины, виктимизация и одновременная героизация собственной истории становились общим пространством для диалога представителей различных этносов, религий и частей кавказского макрорегиона.

С 1921 года<sup>3</sup>, после полной советизации Кавказа начались дискуссии кавказских политических и интеллектуальных элит о путях свержения большевизма и создания общекавказского блока. В 1924 г. в Стамбуле был образован Кавказский освободительный комитет. Из-за армяно-азербайджанского противостояния участие армянских представителей в работе общекавказских структур и изданий осложнялось.

---

<sup>1</sup> Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 16-18.

<sup>2</sup> Бабич И.Л. Северокавказская нация в европейской эмиграции (1917–1930-е годы): мифы или реальность // Общество как объект и субъект власти. Очерки политической антропологии Кавказа / Отв. ред. Ю.Ю. Карпов. СПб: Петербургское востоковедение, 2012. С. 376-401.

<sup>3</sup> Последней из всех кавказских республик была советизирована Грузия.

Территориальные претензии армян и планы объединенной Армении приводили к дистанцированию их от общекавказских проектов, в том числе и потому, что они там не находили поддержки<sup>4</sup>.

В столицах Европы кавказские деятели основали много периодических изданий, такие как «Мусульманин» (Париж), «Кавказский горец» (Прага), «Горцы Кавказа» (Париж) и др. Одной из общекавказских практик стало издание журнала «Кавказ. Орган независимой национальной мысли», который печатался в Париже с 1934 по 1939 гг. кумыком Гайдаром Бамматом на средства чеченского представителя Абдул-Меджида Чермоева. Оба общественных деятеля были в 1917 г. руководителями Союза горцев Северного Кавказа, а затем членами провозглашенного этим Союзом северокавказского правительства, которое добивалось сперва автономии, а с 1918 г. – независимости для Горской республики<sup>5</sup>. Журнал выходил на русском языке для того, чтобы быть понятным всем участникам эмигрантского сообщества кавказцев. Для анализа выбраны публицистические материалы именно «Кавказа», так как они представляет собой попытку поиска общей платформы для консолидации эмигрантских сил с целью будущего освобождения Кавказа от Советской России. Любопытно то, что одним из оснований общности становился русский язык и общее прошлое в составе России. В течение нескольких лет (журнал выходил в свет с 1934 по 1939 г.) публиковались материалы, в той или иной степени касавшиеся прошлого, настоящего и будущего Кавказа, с учетом реалий политической и международной жизни 1930-х гг. Интересен сам круг публикуемых авторов. Среди них практически нет тех кавказских политиков, которые пытались определить судьбу региона после падения Российской империи и встали у власти в новообразованных республиках, за исключением северокавказцев или таких фигур как Михаил Церетели или Зураб Авалишвили (Авалов). Последний представлял Грузию на мирной конференции в Париже в 1919 г.

Декларативное заявление в первом номере Г. Баммата о том, что горцы видят себя частью Кавказа как единого политического целого<sup>6</sup>, наводит на мысль о двух моментах. Во-первых, просматривается ситуативность общекавказского партнерства в эмиграции, так как этого требовал исторический момент и международная обстановка,

---

<sup>4</sup> Абрамян Э.А. Армянский вопрос в политической повестке антисоветской эмигрантской организации «Кавказ» (1920–30-е гг.) // Вестник Гуманитарные и общественные науки. 2011. 1 (10). С. 4-5.

<sup>5</sup> Не следует путать с Горской Автономной Социалистической Советской Республикой.

<sup>6</sup> Кавказ. Орган независимой национальной мысли. 1934. № 1. С. 1.

приближавшая Вторую мировую войну. Во-вторых, в условиях удаленности от родных краев в чужом социокультурном пространстве возникала особая потребность в консолидации, и в сознании кавказской интеллигенции формировались определенные представления о прошлом, а виктимизация своей истории и отношений с Россией становилась результатом фактического изгнания и вынужденного пребывания в Европе. Но прежде, чем говорить об исторических травмах кавказских интеллектуалов, следует сделать несколько пояснений.

Феномен исторической памяти является предметом многочисленных исследований. Морис Хальбвакс, доказывая социальную детерминированность памяти, писал, что воспоминания могут выстраиваться двумя способами: вокруг конкретного человека или распределяться по большой или малой группе. Таким образом, индивид обладает двумя типами памяти, с одной стороны, есть его личные воспоминания, с другой стороны, он способен вести себя как член группы и быть носителем безличных воспоминаний. Эти две памяти существуют независимо, но не изолированно друг от друга. Коллективная память не тождественна истории, более того сам термин «историческая память» соединяет в себе противоречивые явления. История – это то, что сконструировано тогда, когда ушли свидетели, сохраняющие воспоминания о том или ином периоде, а коллективная память – это непрерывный ход мысли определенной группы, которая сохраняет только то, что ей необходимо<sup>7</sup>. Той же позиции придерживался Пьер Нора, рассматривая память как феномен, связанный с настоящим, а историю – как репрезентацию прошлого<sup>8</sup>.

Селективность исторической памяти – свойство определяемое текущими культурными, социальными и экономическими процессами. Это качество является общим для коллективной и индивидуальной памяти, кроме того, в обоих случаях возможна некритичность и эмоциональная окрашенность. Избирательность коллективной памяти связана с другим важным для нашего исследования свойством – конвенциональностью, что предполагает сохранение версии событий, которая приемлема для большинства<sup>9</sup>. Анализируемые ниже

---

<sup>7</sup> Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2. – <https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/kollektivnaya-istoricheskaya-pamyat.html> (ноябрь, 2023).

<sup>8</sup> Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок / Пер. с фр. Д. Хапаевой: науч. конс. пер. Н. Копосов. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. С. 17-50.

<sup>9</sup> Корнюшенко-Ермолаева Н.С. Особенности трансляции коллективной исторической памяти // Tempus et Memoria. 2022. Т. 3. № 2. С. 30-36. DOI 10.15826/tetm.2022.2.035

нарративы кавказских авторов журнала «Кавказ» являются как раз примером поиска подобных событий, которые смогли бы стать общими местами исторической памяти.

Репрезентация прошлого не является процессом стихийным, на него, в том числе, влияет политика. Однако степень влияния политики неравнозначна, особенно сильно она возрастает, если предметом истории являются политические события, а контекстом – национальная история<sup>10</sup>. Устремленность в прошлое имеет различные периоды и его развитие соответствует синусоиде, когда в памяти актуализируются и деактуализируются разные события. Время некоторых мест памяти наступает в момент преобладания партикуляризма над универсализмом. Партикулярность дает возможность построить свою идентичность новому или старому человеческому коллективу<sup>11</sup>. В данном случае под партикулярностью понимается стремление к обособлению в пределах кавказского мира, хотя бы в эмигрантской среде. В этой связи травматичный опыт выполняет определенную социальную функцию консолидации. Обращение к конкретному историческому опыту кавказской эмиграции уточняет это положение. Попытка такой апелляции к прошлому и виктимизация себя в его контексте не всегда обречена на успех, травматичный опыт может стать и местом конфликта внутри коллектива, особенно если партикулярность не является абсолютной и предполагает гетерогенность, что и наблюдалось среди кавказцев в Европе. Множественная идентичность кавказского жителя предполагала соотнесение себя как с регионом, так и с более мелкими коллективами, такими как этническая группа, вплоть до локального сообщества. Застарелые споры, в том числе политические, не позволяют говорить о консолидации даже через общие места исторической памяти. Помимо таких противоречий, как грузино-абхазские или армяно-азербайджанские, возникали противоречия идеологические.

Случалось, что этнические различия накладывались на идейные расхождения, которые усиливались территориальными претензиями. Азербайджанский политик и дипломат Халил-бек Хасмамедов полагал, что «здоровая кавказская политика» невозможна из-за позиции грузинских меньшевиков, к которым присоединял грузинских националистов. Будучи турецко-ориентированным и проживая в Стамбуле, он полагал, что кавказцам следует отказаться от претензий к Турции и Ирану. К тому же, Х. Хасмамедов признавал подпи-

---

<sup>10</sup> Копосов Н. Память строгого режима: История и политика в России. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 40.

<sup>11</sup> Там же. С. 51.

санный в 1921 г. советизированными Арменией, Грузией и Азербайджаном Карский договор. Позиция грузин о принадлежности Карса, Артвина и Ардагана Кавказу им категорически отвергалась<sup>12</sup>. Однако реальные отношения в грузинских эмигрантских кругах были намного сложнее, и единство националистов и меньшевиков Хасмамедовым было преувеличено. Представитель грузинской Национал-демократической партии Шалва Амиреджиби считал неразрешенным вопрос, отчего погибла независимая Грузия, от «внешнего большевизма» или «внутреннего меньшевизма». Его статья стала реакцией на публикацию работы польского историка Ольгерда Гурки, где тот высоко оценивал возможности грузинской государственности в 1918–1921 гг., но полагал их неиспользованными в полной мере. Грузинские националисты и меньшевики продолжали спорить. Генерал Георгий Квинитадзе также обвинял меньшевистское правительство в нерешительности<sup>13</sup>.

Масштабные разрушения могут быть сколь угодно значимыми, однако они не обязательно оказываются травмирующими для членов затронутых ими сообществ. Американский социолог Джеффри Александер полагает, что травматизация происходит при условии культурного кризиса. Он отделяет сами события от их репрезентации. Травма – это результат дискомфорта в ощущении собственной идентичности<sup>14</sup>. В случае с кавказской эмиграцией травматизация не только опыта революции 1917 года и ее последствий, но и отношений с Россией в целом, стала практикой, о которой Д. Александер пишет, как о стремлении коллективных акторов представить «социальную боль» как угрозу пониманию того, кто они, откуда и куда идут<sup>15</sup>. В связи с этим для северокавказской и отдельных групп южнокавказской эмиграции травматичный опыт утраты связи с родиной стал основой для самоопределения себя в новой исторической ситуации и определения перспектив по ее обретению.

Алейда Ассман, развивая учение о коллективной и индивидуальной памяти, констатирует, что воспоминания обладают следующими признаками. Во-первых, они связаны с воспоминаниями других людей, взаимоналожения и взаимные подхваты способны формиро-

---

<sup>12</sup> Халил-Хас-Мамед. Большевицкий сепаратизм // Кавказ. Орган независимой национальной мысли. 1938. № 2. С. 10-11.

<sup>13</sup> Амиреджиби Ш. Роль людей и условий в истории // Кавказ. Орган независимой национальной мысли. 1937. № 3. С. 7.

<sup>14</sup> Александер Д. Культурная травма и коллективная идентичность // Социологический журнал. 2012. № 3. С. 18.

<sup>15</sup> Там же.



вать сообщества. Во-вторых, они незаменимы и непередаваемы другому субъекту, то есть коррелируются личным опытом. В-третьих, воспоминания сами по себе фрагментарны, то есть ограничены и не оформлены. Каждый из кавказских представителей сохранял идентичность и ощущение принадлежности к своему народу, отдельно оформилось сообщество северокавказских эмигрантов. Однако оторваться от южнокавказцев они не могли, и один из лидеров Горской республики Г. Баммат опыт прошлого проецировал на возможное будущее с искомой всекавказской солидарностью.

Вспышка воспоминания приобретает смысл только в контексте повествования. Так при сложности армяно-грузинских отношений в связи с конфликтом 1918 года, Г. Диасамидзе ностальгически описал планы по основанию «Лиги защиты прав наций Кавказа» и издания печатного органа «Братство», который спонсировал бакинский нефтепромышленник Ф. Мелик-Дадаян. На этом фоне болезненно расценивались события грузино-армянского конфликта: «...нам было стыдно за наших правителей, доведших свои народы до этого, – народы, которые в прошлом почти никогда не сталкивались»<sup>16</sup>. В-четвертых, воспоминания эфемерны и лабильны. Они могут меняться вместе с личностью и ее жизненными обстоятельствами. Особенно подвержены изменениям критерии важности и актуальности, многое, что в текущем моменте преуменьшено, в воспоминаниях становится важным. В особый подвид памяти А. Ассман выделяет политическую память. Важное место в политической коллективной памяти занимают мифы. Этот вид памяти имеет более упрощенную структуру и четкое оформление. Формируемые ею нарративы имеют мощное аффективное воздействие<sup>17</sup>.

Обращение к выступлениям северокавказских лидеров после февраля 1917 г. подтверждает их реакцию воодушевления на свержение монархии и ожидание от Временного правительства автономии. Среди участников съездов северокавказских горцев 1917 года был Гайдар Баммат, затем ставший участником горского правительства. В 1930-х гг., описывая провозглашение Горской республики в мае 1918 года, он упирал на естественность и безусловность желания горцев отделиться от России: «Акт 11 мая был для них естест-

---

<sup>16</sup> Диасамидзе Г. Откровенные беседы. К выходу органа наших единомышленников-армян // Кавказ. Орган независимой национальной мысли. 1934. № 5. С. 4.

<sup>17</sup> Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / Пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 19-38.

ненным возвратом к насильственно прерванной в 1859 и 1864 гг. национальной традиции. Никакой иной ориентации, как ориентации на самих себя, никакой иной ставки на Кавказ, у них не было и не могло быть»<sup>18</sup>. В реальности в мае 1917 г. об отделении Кавказа от России речь не шла, только когда не получили автономию и поддержку большинства населения Кавказа, заговорили о «безусловности». Автор явно выдавал желаемое за действительное, так как северокавказская государственность, в отличие от, пусть и кратковременной, южнокавказской, была скорее идеей, а не реальностью.

А. Ассман полагает, что М. Хальбвакс упустил травматическое воздействие Первой мировой войны на общество, при том, что писал свою работу в 1920-х гг. Она утверждает, что как раз травма представляет собой сочетание истории и памяти, и это разрешает противоречие, обозначенное Хальбваксом. Индийский историк Дипеш Чакрабартти видит источником концепции исторических травм мультикультурную практику признания, давшую право голоса этническим идентичностям и учитывающую их коллективный опыт<sup>19</sup>. К историческим травмам сейчас относят множество проблем, в том числе поражения в войне и резкие социокультурные изменения, к которым можно причислить и революцию 1917 года с ее трагическими последствиями. Коллективная память кавказской эмиграции включает в себя травму, связанную не только с утратой исторической родины, но и с поражением в борьбе с большевизмом, что тоже может рассматриваться как культурный кризис. Негативный опыт сформировал особый темпоральный режим кавказцев, видевших будущее Кавказа через призму исторического прошлого.

И.Л. Бабич в одной из своих работ обратилась к представлениям о будущем Кавказа, которое конструировали бывшие политические лидеры кавказских народов, проживая в Европе и создавая свои партии и общественные движения<sup>20</sup>. Находясь во Франции, северокавказцы стали разрабатывать теории государственности, которые в Российской империи они не смогли бы обнародовать. Все политические перспективы, выработанные кавказцами, можно разделить на

---

<sup>18</sup> Бамматов Г. Не юбилейные размышления // Кавказ. Орган независимой национальной мысли. 1939. № 5.

<sup>19</sup> Ассман А. Непрошедшее прошлое: исторические травмы и концепт не-обратимого времени. – <https://theoryandpractice.ru/posts/16023-neproshedsheeproshloe-pochemu-istoricheskie-travmy-podryvayut-doverie-k-budushchemu> (11.2023).

<sup>20</sup> Бабич И.Л. Представления о будущем: кавказские эмигранты Франции – о государственном строительстве на Кавказе (1920–1930-е гг.) // Вестник АГУ. 2017. Вып. 2. С. 16.

две группы: Кавказ в составе России и независимый Кавказ. Однако, следует понимать, что в поисках оптимальной модели будущего они отталкивались от коллективного и индивидуального опыта прошлого. Причем через воображаемое будущее предпринималась попытка преодолеть травму прошлого. Преодоление травматического опыта осуществляется через его переживание и повторение, в том числе через постоянное переосмысление.

В первом номере издания, опубликованном в 1934 г., Г. Баммат описал Кавказ как единое политическое целое: «...нет и не может быть спасения для Кавказских народов вне единого Кавказского государства»<sup>21</sup>. Период 1917–1918 гг. он видел через призму неудачного опыта, когда была возможность создать кавказскую конфедерацию. Текущий момент 1930-х гг., в котором намечались очертания грядущей мировой войны, порождал надежды на повторение условий послереволюционного хаоса, когда кавказская интеллигенция предприняла беспрецедентную попытку преодолеть распад и объединиться, но уже без сильной руки российской монархии. Будучи горцем, Баммат смотрел на события с позиций северокавказцев, говоря о них как о политической силе, которая в период русской революции обращала внимание лидеров Закавказья на насущность политического объединения всего региона<sup>22</sup>. По мере удаления от событий революции и короткого периода постреволюционной независимости, эмигрантами, взиравшими на родные края со стороны, идее Кавказской конфедерации придавался все больший смысл. Внешние препятствия, связанные с непоследовательной политикой Антанты или же факторы победы большевиков, имели меньшее значение, вину за провал Баммат возлагал на кавказских лидеров и их «политическую близорукость»<sup>23</sup>. Поиски общей истории и образа единого Кавказа в прошлом являлись средством противопоставления своей политической значимости Советской России. Следует обратить внимание на то, что среди авторов издания мы не обнаруживаем представителей армянской эмиграции, что символично. «Армянский вопрос» Баммат оценивал как самый болезненный, и его нерешенность стояла на пути создания Кавказской конфедерации. Только в 1939 г. в одном из номеров сообщалось о создании армянского «Кавказа», и автор заметки, грузинский эмигрант Г. Диасамидзе, с воодушевлением встречал это событие<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> Баммат Г. Наши задачи // Кавказ. 1934. № 1. С. 3.

<sup>22</sup> Там же. С. 9.

<sup>23</sup> Там же.

<sup>24</sup> Диасамидзе Г. Указ соч. 1939. № 5. С. 18.

Опыт прошлого, не общекавказского, а именно опыт непосредственного соседства стал основой для травматизации воспоминаний данного автора. Диасамидзе вспоминал о грузино-армянских совещаниях по «культурным вопросам с целью сближения народностей»<sup>25</sup>. Свой образ родины он конструировал, исходя из личных связей с конкретными деятелями, с которыми осуществлял совместную общественно-политическую деятельность. Травматизм утраты независимости детализируется, а с другой стороны – отступает на второй план, за счет личных воспоминаний о мирном сотрудничестве. Исторический фон этих воспоминаний симптоматичен. Г. Диасамидзе возможность мирного сосуществования кавказских народов аргументировал не только личным опытом грузинско-кавказского сотрудничества, ЗСФСР (Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику) он описал как институцию, в которой кавказские народы снова смогли прорасти друг в друга<sup>26</sup>. К тому моменту ЗСФСР была упразднена и за этим политическим решением автор заметки видел страх советской власти перед кавказским содружеством. Грузинский историк и дипломат З. Авалишвили видел в армяно-грузинских территориальных спорах доказательство политической зрелости, так как смежные административные единицы не стали бы драться из-за границ<sup>27</sup>.

Снова апеллируя к Д. Александру, оговорим, что само по себе событие не создает коллективной травмы, общество придает ему такой смысл. Травма становится новым доминирующим нарративом в связи с насущными потребностями момента текущего. Смыслы травмы связаны с ответом на вопрос, что случилось, и кто жертва<sup>28</sup>. В среде кавказской эмиграции, которая оказалась оторвана от исторических корней, не произошло рутинизации травмы – и по прошествии более 10 лет, ощущение упущенной возможности не покидало бывших лидеров кавказских республик. В период политических событий в Европе 1930-х гг. Г. Баммат больше уповал на Иран и Турцию, от которых ожидал лояльности в создании буферного государственного образования в пределах Кавказа. Влияние исторического контекста просматривается в нарративе грузинского писателя и политика Тито Маргвелашвили. Идеино он был противником больше-

<sup>25</sup> Там же. С. 20.

<sup>26</sup> Там же. С. 18-19.

<sup>27</sup> Авалишвили З. Политические арабески // Кавказ. Орган независимой национальной мысли. 1937. № 41. С. 6.

<sup>28</sup> Шнирельман В.А. Травматическое прошлое: память и нарратив // Сибирские исторические исследования. 2021. № 2. С. 11-12.

визма и принадлежал к Национал-демократической партии Грузии. Он приветствовал идею национал-социализма и считал, что она дала надежду народам Европы. В этом русле Т. Маргвелашвили рассматривал Кавказ как авангард освободительного движения для народов Востока. Важную роль играла его культурно-историческая обособленность от России. Большевизм только вскрыл цивилизационные различия и показал, что Кавказ – не что иное как преемник древних культур, например, Вавилонии<sup>29</sup>. Данный текст для нас важен и как иллюстрация тезиса Д. Александра о травматизации при условии культурного кризиса, который имел разные проявления. Маргвелашвили волновала не только политическая включенность Кавказа в состав России. Свой образ утраченной родины он конструировал, исходя из культурной ее уникальности, усиливая эффект отчужденности не только от большевистской России, но цивилизационно чуждого «севера»<sup>30</sup>. А с точки зрения Баммата, вопрос о культурной и цивилизационной принадлежности Кавказа оставался открытым. Он обвинял Москву в том, что она пыталась вбить клин между кавказскими народами и Турцией. Кавказско-турецкие отношения требовали ясности для понимания будущей независимости. Проблема региона заключалась в его расположении между турецким и русским полюсами влияния. Гибель независимых республик и торжество «красных оккупантов» Баммат рассматривал как следствие отсутствия точности в определении места и роли Кавказа между двумя могущественными соседями<sup>31</sup>. Но, как и Маргвелашвили, он видел перспективу кавказской независимости в ориентации на Восток и в полагании на турецкое покровительство: «здоровая кавказская политика, ставящая своей целью политическое объединение народов Кавказа в создании независимого кавказского государства, не может не быть “туркофильской”»<sup>32</sup>.

Динамика травмы предполагает отделение индивидуального переживания прошлого от социальных механизмов, которые должны оформить и передать травматический опыт другим поколениям или иным социальным общностям<sup>33</sup>. Однако личное участие и индивидуальные воспоминания о событиях, если и не являются условием трав-

---

<sup>29</sup> Маргвелашвили Т.Т. Кавказский национализм // Кавказ. Орган независимой национальной мысли. 1937. № 3. С. 12-13.

<sup>30</sup> Там же. С. 13.

<sup>31</sup> Баммат Г. Турция и Кавказ // Кавказ. Орган независимой национальной мысли. 1935. № 4. С. 3-9.

<sup>32</sup> Там же. С. 5.

<sup>33</sup> Аникин Д.А., Головашина О.В. Травмы культурной памяти: концептуальный анализ и методологические основания исследования // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 425. С. 81.

матизации и виктимизации прошлого, то усиливают весомость за счет авторитета самой личности и уникальности переживаемого опыта, который подсвечивает разные его стороны. Материал грузинского генерала Г. Квинитадзе редакция «Кавказа» сочла необходимым сопроводить характеристикой, сделанной «врагом», свидетельствами, собранными советским агентом генералом П.П. Сытиным. Квинитадзе в них представлен как профессиональный военный, умный, порывистый, храбрый, а также человек с «большой инициативой»<sup>34</sup>. Трагедия упущенных возможностей в деле борьбы с советской властью в его нарративе сочетает политический и военный контексты. С одной стороны, констатируются военные успехи, с другой – подчеркиваются провалы политического руководства, сопровождаемые пожеланиями избежать подобных совпадений в будущем: «И мы, победители, отвели войска назад за свою государственную границу, где и дождались, как милости, заключения мирного договора с разгромленным нами же противником... Между тем положение вещей вовсе не требовало этого, и общая обстановка для большевиков создалась весьма и весьма катастрофическая. Не вина судьбы, если мы не сумели воспользоваться благоприятной обстановкой. Надо надеяться, что в будущем мы будем счастливее в выборе своих руководителей»<sup>35</sup>.

Взоры кавказских политиков в эмиграции обращались к еще более далекому прошлому в поисках аргументов в пользу конфедерации, которая не состоялась, но была возможной, если бы не завоевания, случившиеся начиная с монгольского нашествия. Грузинский историк и политик Михаил Церетели потенциал кавказского единства находил в XI–XIII вв., начиная с момента, когда грузинский царь Давид IV Строитель смог взять под контроль значительную часть Кавказа: «В эпоху царицы Тамары кавказские горцы и армяне защищали наряду с самими грузинами границы Кавказа и это кавказское государство было важным фактором в политике Ближнего Востока»<sup>36</sup>. Политику Давида IV Строителя он определял, как создание государства и объединение, хотя и силой оружия. Все остальные акты наднационального объединения квалифицировались как завоевание и разобщение. Роль России сводилась к оккупации Кавказа и политике русификации. Образ Кавказа в нарративе Церетели противоречив. С одной стороны, он видел гипотетическую возможность

<sup>34</sup> Квинитадзе Г. Упущенный случай // Кавказ. Орган независимой национальной мысли. 1935. № 2-2. С. 10.

<sup>35</sup> Там же. С. 9-10.

<sup>36</sup> Церетели М. Открытое письмо Г. Баммату // Кавказ. Орган независимой национальной мысли. 1934. № 1. С. 10-11.

консолидации наподобие Швейцарии, с другой – признавал конфликтность и внутренние межэтнические противоречия, которые усиливались внешним вмешательством: «Когда растерзанная Грузия в течение четырех веков (XIII–XVIII) боролась с Персией и с Турцией, многие кавказские мусульмане были ей не союзниками, а врагами, и наоборот – в борьбе мусульман с Россией грузины были в русском лагере»<sup>37</sup>. В этой связи образ конфедерации будущего несколько мерк за счет реализма М. Церетели, осознававшего условность декларируемой общности: «Сближение наше требует осторожности, такта и взаимного уважения. Не будем настаивать на чрезмерных уступках, потому что никакая излишняя уступчивость в пользу какой-нибудь одной нации не улучшит ее действительного положения, а только осложнит отношения с соседями»<sup>38</sup>. Идеализм конфедерации не отменял права идеи на существование, но с осознанием уникальности каждого кавказского народа, входящего в неё<sup>39</sup>.

Логику рассуждений М. Церетели оспаривал представитель абхазской эмиграции В. Эмухвари, который видел в идее Кавказской конфедерации не идеологические основания, а насущную необходимость. «Филистерская болтовня» М. Церетели трактовалась как излишнее осложнение конфедеративной идеи. В. Эмухвари критиковал тезис об ориентации грузин и армян на Запад, а горцев и азербайджанцев на Восток и считал, что абсолютизация этого деления вредна общекавказскому делу, лучше опереться на «расчеты и рациональные факторы»<sup>40</sup>. Данный автор, в отличие от многих других, наоборот, стремился оторваться от прошлого и призывал не преувеличивать непримлемость идеи конфедерации для восточной культуры.

На страницах «Кавказа» наблюдается попытка коммеморации провозглашения независимости кавказских республик в 1918 г. Коммеморация предполагает сохранение в общественном сознании памяти о значимых событиях прошлого, а также совокупность публичных актов их «вспоминания» и (пере)осмысления в современном контексте. Посредством коммеморации человек вводит прошлое в культуру настоящего и как бы протягивает связующую нить между двумя историческими периодами. И здесь мы находим способ оформления исторической травмы, когда события для сугубо кавказской

---

<sup>37</sup> Там же.

<sup>38</sup> Церетели М. Честь и права нации // Кавказ. Орган независимой национальной мысли. 1934. № 5. С. 7.

<sup>39</sup> Там же.

<sup>40</sup> Эмухвари Вл. Идея Кавказской конфедерации перед судом грузинского профессора // Кавказ. Орган независимой национальной мысли. 1939. № 3. С. 24-25.

эмиграции становилось знаковым, и травме придавалась публичность. Ежегодно в пятом майском номере издания «Кавказ» публиковались материалы, посвященные годовщине момента отделения от России, провозглашение независимости произошло именно в мае 1918 года, после фактического поражения единой закавказской делегации на Батумской конференции. Это событие 1918 года Г. Баммат трактовал как «естественный возврат к насильственно прерванной в 1859 и 1864 гг. национальной традиции»<sup>41</sup>. Для Армении и Грузии разрыв с Россией трактовался как катастрофический, Баммат писал, что местные элиты были к этому не готовы. В этом есть определенная доля лукавства, так как горцы до определенного момента видели связь с Россией и стремились к автономии, а не полному политическому разрыву. Все большее вовлечение Советской России в международные дела пугало кавказских политических эмигрантов и влияло на восприятие прошлого. Знаковым событием стал франко-советский пакт о взаимопомощи, подписанный в мае 1935 года. Напомним, что анализируемое издание издавалось именно в Франции. Усиление позиций советского правительства обостряло и ряд моментов коллективной памяти кавказцев. Текст Г. Баммата «Май 1918 – май 1935» наполнен тревогой, краткая независимость кавказских народов воспевалась еще больше, советизация рисовалась в максимально зловещих тонах, более настойчиво звучали надежды на освобождение кавказских народов от Советской России: «Изгнанные из родной страны нашествием иноземного врага, мы не знаем той моральной пропасти, которую рождает между согражданами исход из Родины в результате гражданской войны, вследствие торжества одной политической группы над другой... С неоспоримым правом выражаем мы на чужбине сокровенные мысли и заветные чувства не какой-либо одной политической группы, не какой-либо одной, хотя бы и значительной, части кавказского населения, а совокупную волю всех народов Кавказа, объединенных в непреклонном решении вернуть их былую свободу и независимость»<sup>42</sup>.

Двадцатая годовщина событий 1918 года отмечалась в атмосфере, наполненной предчувствием войны. Грузинский общественный деятель Ш. Амиреджиби в одном из юбилейных текстов практически не обращается к Кавказу как к таковому, только упоминает кавказские народы, запертые от мира социализмом. Не предполагая, какой катастрофой обернется Вторая мировая война, он призывал к борьбе с коммунизмом и считал, что Кавказу выпадет такой же

<sup>41</sup> Баммат Г. Не юбилейные размышления... С. 2.

<sup>42</sup> Баммат Г. Май 1918 – май 1935 // Кавказ. 1935. № 5. С. 5.



шанс, как и в период Первой мировой войны. Отталкиваясь от мая 1918 года, Амиреджиби писал, скорее, не текст о независимости Кавказа, а антикоммунистический манифест. Для этого представителя грузинской эмиграции было принципиально важным отделить идею кавказской независимости от идеи социализма, с которой связан краткий период независимости южно-кавказских республик, в том числе Грузии с ее меньшевистским правительством: «Как дата восстановления нашей независимости, он [май 1918 года] больше связан со старыми историями наших народов, чем ныне с грузинским “меньшевизмом”, с азербайджанским “муссаватизмом”, с армянским “дашнакизмом” и “халиловщиной” горского правительства»<sup>43</sup>.

З. Авалишвили политическую организацию советского Кавказа справедливо ставил на фундамент краткого периода независимости 1918–1921 гг. Союзные советские республики и их автономность явились заслугой периода, предшествующего советизации. З. Авалишвили – один из тех кавказцев, кто пытался максимально взвешенно подойти к событиям на Кавказе в революционный и постреволюционный периоды, а также не идеализировал текущий момент: «Ясно, однако, и то, что на одном лишь трехчленном символе веры: внешняя война – разложение Советского Союза – восстановление независимости кавказских республик, все же далеко не уедешь. Что раз произошло – вовсе не самоочевидно, что в другой раз, даже при сходных обстоятельствах, произойдет точь-в-точь то же самое»<sup>44</sup>. Его понимание ситуации прошлого и современного ему настоящего, а также грядущего будущего оказались максимально точными. Кавказ в 1918 г. и в 1939 г. – разные явления. Авалишвили надеялся, но не уповал только на наработанный в годы независимости опыт. К тому же он призывал соратников не заблуждаться относительно позиций держав, которые подвели идею кавказской независимости в прошлом, а в ситуации грядущей войны были более благосклонны по отношению к СССР, что не играло на пользу реализации идеи Кавказской конфедерации. В отличие от многих, он не видел Кавказ отделенным от России даже в среднесрочной перспективе, и он откровенно писал о том, что «лозунги и поднятые в 1918 г. флаги» увенчают в будущем «более скромное здание», а путь к этой перспективе «далекий и тернистый»<sup>45</sup>. Тернистость этого пути и его незавершенность как никогда очевидна в наши дни.

---

<sup>43</sup> Амиреджиби Ш. Годовщина независимости кавказских народов // Кавказ. Орган независимой национальной мысли. 1939. № 5. С.7-8.

<sup>44</sup> Авалишвили З. Спустя двадцать лет // Кавказ. 1939. № 5. С. 3.

<sup>45</sup> Там же. С. 8.

В целом, вряд ли можно говорить об успехе предпринятой попытки коммеморации в 1930-е гг. среди кавказской эмиграции. Полноправной частью публичного научного, общественного и политического дискурсов независимость кавказских республик стала все-таки в постсоветский период.

Рефлексии о прошлом и настоящем на страницах журнала «Кавказ» отражали особенности самоидентификации кавказцев. Воспроизведение в эмигрантском нарративе утраченной родины могло осуществляться не только через историческую травму, но и через воспоминания об утраченном соседстве. Часть кавказского населения составляло казачество, поэтому рефлексия об отношениях с горами была частью кавказского эмигрантского дискурса. Тамбий Елекхонти, осетинский общественный деятель и публицист, писал о близких отношениях казаков и горцев. Конфликты прошлого уходили на второй план, а доминантой становилось мирное взаимодействие. Он проводил различия между терцами и кубанцами. Если с первыми отношения были напряженными, то на Кубани «еще задолго до революции сделались настолько нормальными и добрососедскими, что не оставляли желать лучшего»<sup>46</sup>. То, что постулирует сейчас новая локальная история, а именно изучение многонационального региона не только через конфликт, но и через мирное взаимодействие, мы находим у Елекхонти. Он подчеркивал близость кубанцев и терцев северокавказским народам, у которых казаки переняли костюм, многое из семейного уклада и народной культуры. По прошествии лет и в удалении от родины Елекхонти поставил историческую горско-казачью общность выше прежних распрей. Во время Первой мировой войны он служил в «Дикой дивизии». Вот как он вспоминал то время: «Я видел в строю и на войне терца, кубанца, забайкальца и уральца, и в то время как терец и кубанец мне были более чем хорошо понятны, общего у них с уральцем и забайкальцем я не подметил»<sup>47</sup>. Другой пример добрососедства – это договор 1919 года между Кубанской и Горской республиками. Елекхонти полагал, что он мог бы быть юридической основой горско-казачьих отношений.

\*\*\*

Таким образом, в эмигрантской среде периоду кавказской независимости по мере удаления от него во времени придавалось все большее значение, и утрата независимости в результате советизации принимала форму исторической травмы, которая накладывала отпе-

<sup>46</sup> Елекхонти Т. Горцы и казаки // Кавказ. 1934. № 3. С. 17.

<sup>47</sup> Там же. С. 17-18.

чаток как на образы будущего Кавказа, так и на его прошлое. Мысленно Кавказ изымался из государственного тела России и виделся как самостоятельное геополитическое и социокультурное пространство. Травматизация стала одним из факторов формирования образа единого Кавказа в эмигрантском нарративе. Доказательства и аргументы в пользу будущего единства искали в прошлом, и период 1918–1921 гг. рассматривался как время возможной, но не реализованной консолидации.

История кавказской эмиграции показывает скорее неудачный опыт травматизации и виктимизации как средства единения. Публицистика журнала «Кавказ» доказывает, что в конечном итоге множественная идентичность кавказских жителей была настолько сложна, что набросить на нее сетку общекавказской исторической травмы не удавалось. Более того разобщение только усиливалось за счет виктимизации историй отдельных народов, которые не укладывались в конструируемое единое прошлое и тем более будущее. Опыт кавказской эмиграции показал, что историческая травма может быть использована для консолидации, даже относительной или ситуативной, общности разного уровня, однако, только на виктимизированном прошлом сложно строить будущее.

### 3.3. “VIVOS VOCO, MORTUOS PLANGO”

#### ПРАКТИКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ МЕМОРИАЛИЗАЦИИ В ПРОСТРАНСТВЕ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

14 марта 2023 года Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о подготовке и проведении в 2024 г. празднования 220-летия Казанского (Приволжского) федерального университета. Это постановление вновь подтвердило закрепившееся в общественном сознании представление о Казанском университете как одном из ведущих вузов России, имеющем не только богатую историю, но и выступавшем зачастую в качестве полигона для внедрения новых организационных и образовательных технологий, призванных обратиться к новым университетским традициям. Когда-то это получалось, а когда-то нет, но в любом случае университетская история не могла быть, да никогда и не была, безликой – ее творили университетские люди. Другое дело, что образы одних оказались закреплены в мраморе и бронзе, превратились в «места памяти» об университетском прошлом, а образы других, подчас не менее ярких, талантливых и значимых представителей университетского сообщества, со временем потускнели, размылись и растворились в памяти потомков.

Естественно, возникает вопрос: по какому принципу происходила персональная мемориализация университетариев? Кого и за что помнил университет, а кто из этой памяти выпадал? Каково было соотношение конструируемого и спонтанного в университетской памяти, составлявшей вне всякого сомнения базовую основу корпоративной идентичности? Как и почему происходило вдруг «вспоминание» об одних и «забывание» других?

Дать ответ на эти вопросы мы попытались, обратившись к специфической группе источников – «материализованным» мемуарным свидетельствам, отложившимся в университетском пространстве. Таковыми явились памятники и бюсты, мемориальные доски и адресные таблички (фиксированные урбанонимы), портреты и фотографии, находящиеся в границах университетского кампуса. Безусловно, такие памятные нарративы можно обнаружить и за пределами университетского городка, ведь университетские интеллектуалы внесли немалую

лепту в развитие самого города. Но нам хотелось бы проследить, как именно университет хранил память о своих людях, насколько силен был императивный характер стимулирования коллективной памяти об университетских персоналиях и каковым оказался его результат.

Сюжет о подобных «материализованных» местах памяти в той или иной степени присутствовал в каждой из современных юбилейных «историй» российских университетов, поскольку устоявшаяся в университетологии на рубеже XX–XXI вв. тенденция тяготеет, как известно, «к рассмотрению университета как целого» с его структурно-функциональной, культурно-антропологической и социокультурной составляющими<sup>1</sup>. Такой тотальный нарратив требует и тотального охвата разнотипных источников. Присутствовавшее в этих текстах описание университетского городка с его структурой и входящими в него объектами изначально предусматривало пусть и не всегда прямо прописанную, но неизбежно предполагаемую их фиксацию именно как мест памяти, как пространств, освоенных и присвоенных университетскими людьми в прошлом и востребованных ими в прежнем или в новом качестве ныне. Как говаривал о казанском университетском городке профессор-медик Я.Ю. Попелянский (1917–2003), обращаясь к студентам-первокурсникам: «Вы счастливые, по этим кварталам прошло столько великих, что вы через подметки должны впитать их мудрость и достоинство»<sup>2</sup>. Сегодня встречаются и специальные исследования, в которых через историю университетских памятников, памятных досок и прочей мемориальной атрибутики рассматривается процесс формирования «локальной» университетской памяти, механизмы ее фиксации путем устойчивой визуализации<sup>3</sup>. Отчасти сюжет об университетских местах памяти был затронут и нами в статье, предлагавшей один из возможных путей реконструкции истории памяти казанской университетской корпорации через два наиболее значимых для нее «мнемонических места» – фигуры ректора Н.И. Лобачевского и студента Владимира Ульянова-Ленина<sup>4</sup>. Нельзя не упо-

---

<sup>1</sup> Репина Л.П. Юбилейные истории университетов как жанр современной российской историографии // Диалог со временем. Вып. 60. М., 2017. С. 143.

<sup>2</sup> Цит. по: Подольская М. С Пушкиным в генах // Казань. 1999. № 12. С. 11.

<sup>3</sup> См., в частности: Посохов С.И. О памяти и памятниках в университетской истории // История и историческая память. 2012. № 6. С. 117–131; Романова А., Сенич С. Университет – место памяти: мемориальные доски как источник познания alma mater // Актуальные проблемы культуры и арт-педагогика. Сб. ст. Всероссийской студенческой научно-практической конференции. Курск: Курский гос. ун-т, 2020. С. 172–178 и др.

<sup>4</sup> Вишленкова Е.А., Малышева С.Ю., Сальникова А.А. История университета как история памяти корпорации? // Ab Imperio. 2004. № 3. С. 292–307.

мянуть и изданный в 2007 г. мартиролог Казанского университета, точно фиксирующий места захоронения более четырехсот университетских профессоров, погребенных на одном из старейших казанских кладбищ – Арском (Куртинском) кладбище в течение последних полутора веков (наиболее ранние из сохранившихся захоронений – могилы Н.И. Лобачевского и строителя университетского городка, архитектора Н.П. Коринфского относятся к 50-м гг. XIX в.)<sup>5</sup> Захоронения носят разрозненный характер, и территория кладбища не относится к категории университетских пространств, хотя в 2017 г. и шли разговоры о создании некоего «университетского некрополя»<sup>6</sup>, но это весьма значимые университетские «места памяти» в пространстве города. В целом же сюжет об университетской «коммеморативной индустрии» заслуживает дальнейшего изучения.

\*\*\*

Проходившая довольно болезненно в 1918 – начале 1920-х гг. советизация Казанского университета сопровождалась переосмыслением и переозначиванием университетского пространства, в котором старательно стирались приметы «имперскости», и, соответственно, формировалась целенаправленная тенденция на слом «старой» университетской памяти. Например, в первый же год советской власти со стен университетского Актового зала были убраны традиционно висевшие здесь портреты российских императоров, в том числе и портрет основателя университета Александра I. Вместо них на стенах зала появились портреты «вождей социализма» и плакат «Высшие учебные заведения – для рабочих и крестьян». Советский университет фактически отказался и от части своего мемориального наследия, которым гордился прежде. Так, установленный в 1847 г. стараниями университета на площади во внутреннем университетском дворе и его же стараниями перенесенный в 1870 г. на одну из главных площадей города памятник Г.Р. Державину в 1931 г. был снесен и уничтожен как памятник «вельможе» и «льстивому царедворцу», «помещику-крепостнику, усмирителю пугачевского бун-

<sup>5</sup> Университетский мартиролог. 1804–2007 / Сост. В.С. Королев. Казань: Изд-во Казанского гос. ун-та, 2008.

<sup>6</sup> В сентябре 2017 г. в казанские СМИ просочилась информация о том, что руководство Казанского университета планирует создать «обособленный некрополь» для КФУ, куда, возможно, будет «перенесен прах всех ученых вуза» (Васильева Н. Потревожит ли Ильшат Гафуров прах выдающихся ученых КФУ? // Вечерняя Казань. 2017. 22 сентября). Эти планы встретили неодобрение со стороны Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и со стороны общественности города и не были претворены в жизнь.

та»<sup>7</sup>, а комплекс мемориальных вещей Г.Р. Державина, хранившийся в библиотеке Казанского университета, был в 1934 г. передан в Центральный музей Татарской республики<sup>8</sup>. Зато активно насаждались визуальные маркеры «советскости». Главным таким маркером стал, разумеется, образ В.И. Ленина, имя которого Казанский университет получил вскоре после кончины вождя<sup>9</sup>. В Актовом зале Казанского университета в 1925 г. центральное место занял большой портрет В.И. Ленина кисти П.П. Бенькова.

Поскольку университет позиционировался теперь не как храм науки и знаний, а как советское учреждение, задачей которого стала массовая подготовка специалистов для молодой советской республики, то и ученые и преподаватели воспринимались как обычные служащие. А неприятие советской власти и ее действий многими из них явилось причиной того, что эти люди надолго исчезли из «оперативной памяти» университета, не почтившего их заслуг ни мемориальными досками, ни портретами в университетской галерее, ни даже упоминаниями в университетской истории. Скажем, образы руководителей знаменитой «забастовки» казанской профессуры 1922 года – А.А. Овчинникова, Г.Я. Трошина и И.А. Стратонова, высланных из страны на «философских пароходах», были стерты из истории университета столь основательно, что при подготовке нашей монографии о казанских историках первых советских десятилетий<sup>10</sup> единственное изображение бывшего декана историко-филологического факультета И.А. Стратонова мы обнаружили лишь на одном из эмигрантских «многоголовых портретов» 1923 г., а портрет ректора А.А. Овчинникова, помещенный в ректорской галерее Казанского университета, был написан только к 200-летию юбилею вуза по студенческой фотографии Овчинникова-абитуриента, сохранившейся в его студенческом деле.

Впрочем, это *damnatio memoriae* коснулось и представителей вполне преданного советской власти поколения «красных» профессоров и доцентов, ставших жертвами политических репрессий 1930-х гг.

---

<sup>7</sup> Ефремов С. С пьедестала на мостовую // Красная Татария. 1931. 7 июня.

<sup>8</sup> Измайлова С.Ю. Мемориальный комплекс Г.Р. Державина в Национальном музее Республики Татарстан // Г.Р. Державин и его время. Сб. науч. ст. Вып. 7. СПб.: Всероссийский музей А.С. Пушкина, 2011. С. 116.

<sup>9</sup> См.: Малышева С.Ю., Сальникова А.А. «Ленинский миф» в исторической памяти и корпоративной культуре Казанского университета // Диалог со временем. 2021. Вып. 74. С. 104.

<sup>10</sup> Литвин А.А., Малышева С.Ю., Сальникова А.А. Бремя выбора. Историки Казанского университета в первые советские десятилетия. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2021.

Имена профессора биологии В.Н. Слепкова, заместителя декана биофака С.А. Комарова, профессора истории Н.Н. Эльвова, расстрелянных в 1937 г., имена умершего в лагере доцента-математика Д.М. Крутова, репрессированных обществоведов Е.С. Гинзбург, Д.М. Пронина, Т.С. Ищенко, заместителя директора КГУ С.П. Сингалевича и многих других не увековечены в университетском пространстве вообще<sup>11</sup>. Они появились на стендах Музея Казанского университета (и то лишь выборочно) только в 1990-х гг., став известными благодаря публикациям историков и журналистов. Тогда же ректорскую галерею украсили портреты подвергшихся репрессиям (ди)ректоров Казанского университета – Г.Б. Богаутдинова, исполнявшего обязанности (ди)ректора КГУ в 1930–1931 гг. и расстрелянного в 1938 г., Н.Б.З. Векслина, (ди)ректора КГУ в 1931–1935 гг., приговоренного к десяти годам лишения свободы в январе 1937 г. и умершего в Норильском исправительно-трудовом лагере ГУЛАГа в 1942 г., Г.Х. Камая, исполнявшего обязанности (ди)ректора университета в 1935–1937 гг., арестованного в сентябре 1937 г. и проведенного два года в подвалах казанской тюрьмы НКВД на Черном озере, но освобожденного за недоказанностью состава преступления в мае 1939 года<sup>12</sup>. Отсутствует в ректорской галерее и назначенный директором КГУ 10 апреля 1930 года после снятия с должности председателя Коминтерна так не доживший до Казани в свою «почетную ссылку» Г.Е. Зиновьев.

Первым советским ректором, увековеченным в скульптуре и стоящим в скверике напротив главного здания университета, на улице, носящей его имя, стал М.Т. Нужин. Бюст был установлен в 2004 г., тогда же и улица получила его имя<sup>13</sup>. М.Т. Нужин – действительно легендарная личность в истории университета, чье четверть-вековое ректорство в 1954–1979 гг. запечатлелось в университетской памяти и университетской истории как «эпоха Нужина». Этой чести ознаменовать собой целую эпоху в истории университета

<sup>11</sup> О репрессированных в 1930-е гг. преподавателях и сотрудниках Казанского университета см.: История казанского университета / Под ред. И.П. Ермолаева. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2004. С. 354-363.

<sup>12</sup> Ректоры Казанского университета, 1804–2004 гг.: Очерки жизни и деятельности. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2004. С. 280, 291, 297-298. В 1937 г. процесс репрессий в Татарии, как, впрочем, и по всей стране, набирал все большие темпы. По данным историка Б.Ф. Султанбекова, в 1937 г. по Татарской республике предполагалось посадить четыре-пять тысяч человек (Султанбеков Б. Сталин и «татарский след». Казань: Таткнигоиздат, 1995. С. 218).

<sup>13</sup> День памяти легендарному ректору // Республика Татарстан. 2004. 18 ноября. – <https://rt-online.ru/p-rubr-obsh-4978/> (ноябрь, 2023).



удостаивался до него лишь один его дореволюционный предшественник – Н.И. Лобачевский, бывший ректором на протяжении 19 лет – с 1827 по 1846 г., которому еще до революции был установлен памятник-бюст в университетском пространстве. В 1893 г. в Казани широко отмечалось 100-летие со дня рождения Н.И. Лобачевского как великого русского математика – создателя неевклидовой геометрии. Во время этих юбилейных торжеств и было принято решение об увековечивании памяти ученого. Его имя получила улица, непосредственно примыкавшая к главному корпусу Казанского университета. На ней был разбит сквер его имени, а в 1896 г. в нем был установлен бюст Лобачевского, выполненный скульптором Марией Диллон на деньги, собранные по подписке членами Казанского физико-математического общества при финансовой поддержке крупнейших казанских меценатов – промышленников и купцов Е.А. Зайцева, Алафузовых, Никитиных, Александровых и др.<sup>14</sup>

Н.И. Лобачевский был, пожалуй, главной – бесспорной и беспроблемной – фигурой дореволюционного научного пантеона для творцов советской официальной памяти университета о себе самом. Недаром в начале 2000-х гг. предложение присвоить университету имя Лобачевского взамен В.И. Ульянова-Ленина получило серьезную поддержку в университетских кругах<sup>15</sup>. Однако, с учетом того, что еще в 1956 г. имя Н.И. Лобачевского было присвоено Нижегородскому (тогда Горьковскому) государственному университету, переименования не произошло. В 2011 г. имя Н.И. Лобачевского получил Институт математики и механики Казанского федерального университета.

Бронзовый памятник другому ректору Казанского университета – А.М. Бутлерову, исполнявшему эту должность в 1860–1863 гг. (памятник представляет собой фигуру ученого, сидящего в кресле), был установлен уже в советское время, в 1978 г., в год 150-летия со дня рождения великого химика, у входа в так называемый Ленинский садик, образованный в 1924 г. путем слияния Николаевского сквера и бывшего Клинического сада университета, в непосредственной близости от основных университетских корпусов. Что касается увековечения памяти еще одного ректора, много сделавшего для университета и для всего города, врача и первого исследователя быта казанских

---

<sup>14</sup> См.: Васильев А. В. Значение Н. И. Лобачевского для Императорского Казанского университета. Речь, произнесённая в день открытия памятника Н.И. Лобачевского 1 сентября 1896 г. проф. А. Васильевым. Казань, 1896.

<sup>15</sup> Казанский университет: имени Лобачевского или имени «мыслителей Востока»? // ИА Regnum. 2012. 18 января. – <https://regnum.ru/news/1489544.html?ysclid=lg25dsgkgw35309745> (ноябрь, 2023).

татар К.Ф. Фукса (годы ректорства 1823–1827), то это произошло лишь спустя полвека после его смерти: в 1896 г. по инициативе Общества археологии, истории и этнографии Казанского университета вне границ университетского городка – на высоком берегу реки Казанки был заложен сад, получивший его имя. В советское время название «Фуксовский сад» практически исчезло из обихода, возродившись лишь спустя сто лет по инициативе немецкой общины Казани. В том же 1996 г., в год 150-летия со дня смерти К.Ф. Фукса, в Фуксовском саду ему был поставлен бронзовый памятник.

С определенными «потерями» мемориального характера было сопряжено и происходившее в начале 1930-х создание в городе новых вузов на базе бывших факультетов Казанского университета (Казанский медицинский институт, Казанский авиационный институт, Казанский химико-технологический институт и др.). Этот процесс фактически разделил бывшее прежде единым мемориальное пространство университета. Так, главным хранителем памяти о медицинских традициях и медиках Казанского университета отныне оказался Казанский медицинский институт (ныне университет). В частности, клинике Казанского медицинского института, входившей прежде в состав комплекса клинических зданий Казанского университета, в 1936 г. было присвоено имя всемирно известного хирурга, профессора Казанского университета А.В. Вишневского. В столетнего юбилея Вишневского (1973), перед входом в клинику ему был установлен памятник – бюст на гранитном постаменте. Бюст выдающемуся русскому психиатру, заведующему кафедрой психиатрии Казанского университета В.М. Бехтереву был установлен в 2007 г. в дни празднования его 150-летия в сквере напротив Республиканской психоневрологической больницы – бывшей лечебницы Казанского округа, на базе которой он организовал госпитальную психиатрическую клинику<sup>16</sup>. Университетское пространство отчасти разделяет эту память с медиками, поскольку в центре кампуса КФУ расположен Анатомический театр медицинского университета, на здании которого мемориальные доски напоминают о заслугах ученых, работавших там как до революции (П.Ф. Лесгафт, В.Н. Тонков), так и в советское время (В.Н. Терновский).

Период Великой Отечественной войны – время, когда в стенах Казанского университета жили и трудились находившиеся в эвакуации ученые из институтов и других подразделений АН СССР наиболее обстоятельно зафиксирован в университетском мемориальном

<sup>16</sup> Якупов Э.З., Исмагилов М.Ф., Гадиева Р.А., Ягунова К., Казанцев А.Ю. Казанский период деятельности В.М. Бехтерева // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2018. Т. 118. № 6. С. 77-81.

пространстве. В самом центре этого пространства – между ректорской зоной с портретной галереей ректоров и входом в Музей истории Казанского университета вмонтированы в стены две большие мемориальные плиты: на одной из них указано, что в годы Великой Отечественной войны в Казанском университете работали Президиум и Институты АН СССР и перечислены эти подразделения, на другой – «Они сражались за Родину» – помещены 170 имен университетариев – участников Великой Отечественной войны (список далеко не полный, на что указывают два имени, набитых позже остальных). В главном здании университета установлен также «Камень Славы» с именами 91 студента, преподавателя и сотрудника КГУ, не вернувшихся с войны. Однако достойно удивления, что не удостоился даже скромной таблички в университетском пространстве героический труд студентов и преподавателей университета, участвовавших осенью-зимой 1941 / 1942 гг. в строительстве Казанского обвода – системы волжских оборонительных сооружений. Этот факт истории университета сохранился в основном в воспоминаниях. А в 2010-е гг., ознаменовавшиеся сломом прежней университетской структуры, объединением университета с другими вузами, бесконечным реформированием факультетов и в связи с этим подчас неоднократными их переездами из одного здания в другое, были, к сожалению, утрачены и «места памяти» факультетов об участниках и павших в годы Великой Отечественной войны преподавателях и студентах. Это были небольшие импровизированные музеи и комнаты с фотографиями и документами, которые поддерживали память об этих людях внутри профессиональных корпораций и служили важным визуальным средством ее передачи succeeding поколениям. Такого зала памяти лишился и бывший исторический факультет, дважды переезжавший в 2011–2013 гг. из одного здания в другое. Вряд ли кто-то из нынешнего поколения студентов-историков опознает теперь по фотографии первого декана исторического факультета А.П. Плакатина, ушедшего добровольцем на фронт в августе 1941 года и погибшего под Вязмой в апреле 1943 года.

К 70-летию Победы в «ректорском садике» была открыта Аллея славы, где на мемориальных плитах были начертаны имена 458 преподавателей, сотрудников и студентов Казанского университета – участников Великой Отечественной войны. Тогда же там была торжественно открыта памятная стела, представляющая собой вереницу белых журавлей, уносящих в небо георгиевскую ленту<sup>17</sup>. 8 мая 2020 го-

---

<sup>17</sup> Ректор КФУ возложил цветы к новому памятному знаку на Аллее славы и к бюсту Мусы Джалиля // Медиалпортал КФУ. 2020. 9 мая 2020 г. – <https://media.kpfu.ru/news/vozlozhenie> (ноябрь, 2023).

да, в канун празднования 75-летия Победы, на Аллее славы были установлены дополнительные мемориальные плиты с именами 103 участников Великой Отечественной войны – студентов и сотрудников вузов, присоединенных к университету после 2010 г.<sup>18</sup>

Вторая половина XX в., особенно периоды подготовки к 150-летнему и 175-летнему юбилеям университета (1954 и 1979 гг.), 100-летнему юбилею В.И. Ленина в 1970 г. и юбилею 90-летия схода с его участием (1977 г.), стали временем активной мемориализации, демонстрации университетом памяти о себе и своих людях. Разумеется, в центр этого процесса в те годы была помещена фигура Ленина и всего, с ним связанного<sup>19</sup>. Однако именно в эти последние советские десятилетия в университетском пространстве создавались и оформлялись «места памяти» о преподавателях и студентах – участниках Великой Отечественной войны. В это время университетом был концептуально выстроен официальный вариант памяти о своей истории и ее значимых персонах, закреплённый и материализованный в экспозиции Музея истории университета, в монографических юбилейных изданиях. Именно в это время – в 1970-е гг. – в университетском (или бывшем университетском) и городском пространстве появляются памятники выдающимся ученым университета, нередко – к их юбилеям: памятники А.М. Бутлерову и А.В. Вишневскому, памятник химику А.Е. Арбузову перед зданием Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова Казанского Научного центра РАН (1977). В 1971 г. был открыт музей Арбузова в его доме в Школьном (ныне Катановском) переулке.

Период истории Казанского университета с начала 2010-х гг., ознаменовавшийся насаждением новой модели университета, процессами бюрократизации всей университетской жизни, жесткой и болезненной реструктуризацией факультетов и утратой элементов университетской автономии, гонкой за рейтингами и финансированием, – не мог не отразиться на процессах забывания / вспоминания. Сильное воздействие на последние оказывали прагматические соображения новых университетских менеджеров, весьма далеких от понимания сути и специфики университетской культуры и ее истории. Так, в новой политической ситуации отодвигались на задний план фигуры и события, находившиеся в центре мемориального тезауруса

<sup>18</sup> На Аллее славы КФУ появятся 103 новых имени // Медиалпортал КФУ. 2020. 8 мая 2020 г. – <https://media.kpfu.ru/news/na-allee-slavy-kfu-poyavyatsya-103-novykh-imeni> (ноябрь, 2023).

<sup>19</sup> См.: Малышева С.Ю., Сальникова А.А. «Ленинский миф» в исторической памяти и корпоративной культуре Казанского университета. С. 106-109.

советского периода. Востребованной оказалась тяга к имперскому прошлому, воплотившаяся не только в возвращение портретов императора Александра I в публичные пространства (что логично, поскольку он был основателем Казанского университета), но и в такие нелогичные и не обоснованные с исторической точки зрения действия, как, например, переименование исторического Актового зала – места главных университетских праздников XIX – начала XX в. – университетских Актов, в Императорский зал.

На облик мемориального пространства университета серьезное воздействие оказывает картина мира новых университетских менеджеров, в «анамнезе» которых часто присутствует прошлое российского управленца и восприятие университета как еще одного предприятия, учреждения, холдинга, ведомства в чиновничьей биографии и соответствующее понимание корпоративной культуры. Возможно, этим объясняется избыточная политизация университетского визуального пространства, акцентирование функции вуза как, в первую очередь, государственной образовательной институции, а не «храма науки и культуры»: центральное место в главном здании университета, а также в зданиях институтов, наряду с портретом Президента страны, занимают портреты Председателя Правительства РФ, раиса Республики Татарстан, как вариант или дополнение к ним – портреты министров образования РФ и РТ, государственные флаги РФ и РТ. В отдельных институтах – например, в зданиях Института международных отношений, – этот ряд логично продолжен за счет состава директората и руководства высших школ института.

Вместе с тем 2000-е гг. стали временем, когда на фоне острой конкуренции университетов, состязания за финансирование и статус, а также звучавших упреков в недостаточной научной эффективности современного университета, возникла острая потребность «инвентаризировать» славные имена прошлого и их заслуги и инвестировать этот символический капитал в будущее университета. Эти обстоятельства явились предпосылкой появления в пространстве университетского кампуса памятников и мемориальных досок, посвященных выдающимся ученым дореволюционного и советского периодов и установленных в том числе к юбилеям университета и указанных персон. Так, еще к 200-летию университета перед университетскими зданиями появились памятник открывателю явления электронного парамагнитного резонанса Е.К. Завойскому<sup>20</sup> и упомянутый памятник

---

<sup>20</sup> В Казани открыт памятник Евгению Завойскому // Tatcenter. 2004. 11 ноября. – <https://tatcenter.ru/news/v-kazani-otkryt-pamyatnik-evgeniyu-zavojskomu/> (ноябрь, 2023).

ректору М.Т. Нужиному. На зданиях университета были установлены мемориальные доски видным математикам А.П. Нордену, Б.Л. Лаптеву, основателю Казанской геометрической школы П.А. Широкову, астрономам А.Д. Дубяго и Д.А. Дубяго и другим<sup>21</sup>.

В середине 2010-х – начале 2020-х гг. инициативу по увековечиванию в пространстве университета памяти выдающихся ученых и деятелей культуры, учившихся или служивших в нем, проявляли, наряду с университетом, общественные и культурные организации, компании и холдинги. Так, в 2015 г. по предложению Министерства культуры РТ и азербайджанской национально-культурной автономии РТ на здании Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского в кампусе КФУ была установлена мемориальная доска ученому-востоковеду А.К. Казем-беку<sup>22</sup>, а в 2022 г. по инициативе Национально-культурной автономии бурят города Казани – первому бурятскому ученому, востоковеду Доржи Банзарову<sup>23</sup>. В 2018 г., в Год Льва Толстого, в университетском дворе появился его бюст. Инициатором установки бюста стал тогдашний ректор КФУ И.Р. Гафуров, бюст был подарен университету проектом М.Л. Сердюкова «Аллея Российской Славы», в открытии памятника участвовал праправнук писателя, советник Президента РФ по вопросам культуры В.И. Толстой<sup>24</sup>. В 2021 г. в том же университетском дворе рядом с бюстом Л.Н. Толстого по инициативе Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан и КФУ, при поддержке Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова и акционерного общества «Связьинвестнефтехим» (председателем совета директоров которого является Минниханов), был установлен бюст С.Т. Аксакова<sup>25</sup>.

<sup>21</sup> На зданиях КГУ появятся мемориальные доски крупнейшим ученым университета // Tatcenter. 2004. 2 сентября. – <https://tatcenter.ru/news/na-zdaniyah-kgu-poyavyatsya-memorialnye-doski-krupnejshim-uchenyim-universiteta/> (ноябрь, 2023).

<sup>22</sup> На главном здании КФУ появится мемориальная доска азербайджанского ученого Александра Казем-бека // Kazanfirst. 2015. 12 февраля. – <https://kazanfirst.ru/news/47856> (ноябрь, 2023).

<sup>23</sup> На здании КФУ установлена мемориальная доска Доржи Банзарову // Медиапортал КФУ. 2020. 24 октября. – <https://media.kpfu.ru/news/na-zdanii-kfu-ustanovljena-memorialnaya-doska-dorzhi-banزارov/> (ноябрь, 2023).

<sup>24</sup> На территории КФУ появился памятник Льву Толстому // Татаринформ. 2018. 1 декабря. – <https://www.tatar-inform.ru/news/na-territorii-kfu-poyavilsya-pamyatnik-lvu-tolstomu> (ноябрь, 2023).

<sup>25</sup> В КФУ открыли бюст Сергея Аксакова // Медиапортал КФУ. 2021. 17 декабря. – <https://media.kpfu.ru/news/otkrytie-byusta-aksakova> (ноябрь, 2023).

Очевидно, что процессы увековечивания в практике университета все более и более становились не только актами мемориализации, но и механизмами инструментализации, выступая средствами коммуникации между университетом и его управленческим звеном и государственными, республиканскими, городскими организациями и ведомствами, отдельными чиновниками, общественными и культурными организациями.

\*\*\*

Таким образом, если обратиться к университетским практикам коммеморации, то в целом, как мы видим, они были подчинены и продолжают подчиняться тем же закономерностям формирования и бытования, что присущи любой корпоративной общности. Каждая из этих общностей стремится, в первую очередь, через места памяти не просто репрезентировать свою идентичность, но целенаправленно и сознательно подтвердить свое право на существование и позиционировать себя как важную и значимую часть социума. Если таковых «мест памяти» университетского единения недостаточно, они конструируются искусственным путем. В этой ситуации спонтанно возникшие «места памяти» подчас перекодируются, акценты смещаются и реальное заменяется мифологизированным. Таким образом в «местах памяти» прошлого и посредством «мест памяти» прошлого происходит «оправдание настоящего» (П. Нора).

Стоит, однако, отметить, что спонтанная и сконструированная «сверху» мемориализация «знаковых» университетских людей далеко не всегда совпадает, а может и откровенно противоречить друг другу. Не следует забывать о роли идеологии и власти в провоцировании запоминания и забвения, склонной сознательно идеализировать одних и демонизировать, а чаще – просто игнорировать – других и отдавать память о них на откуп безжалостному времени. Целенаправленная амнезия бывает обусловлена не только сознательной политической конъюнктурой и властными установками, но зачастую и травмирующим опытом, когда прежние кумиры оказываются «неправильными» или совершившими «неправильные» поступки людьми. В таком случае существовавшие «места памяти» о таких университетских людях обычно деконструируются для того, чтобы их «не помнить», а впоследствии – и ничего о них «не знать». Так произошло, например, с ректором И.Р. Гафуровым, стоявшим во главе Казанского университета более десяти лет – в 2010–2021 гг. – и уволенным с должности ректора КФУ в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Портрет И.Р. Гафурова был убран из портретной галереи ректоров Казанского университета. Однако, не-

смотря на это, не стоит сомневаться, что в спонтанной памяти университетариев этот человек закрепился прочно и останется надолго.

Понятно, что университетский мнемонический пантеон не является неизменным и стабильным. Он терял одних и восполнялся другими. «Забывание» нередко было не спонтанным, а инициировалось «сверху» руководством университета из политических соображений безопасности для корпорации или в качестве терапевтического средства для пережившего травму негативного опыта университетского сообщества.

Соотношение конструируемого и спонтанного в официальной и «катакомбной» памяти корпорации не всегда легко увидеть в пространстве университета: последняя в нем нередко не представлена. Однако немногие консенсусные элементы университетской памяти, в том числе визуально воплощенные в пространстве кампуса, выполняют важную функцию консолидации сложного, разнородного и ныне нередко разобщенного сообщества казанских университетариев.



### 3.4. РАСКОЛЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ В СТРАНАХ БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ СЛУЧАЙ ВТОРОЙ СЕРБИИ

Поляризация лидеров общественного мнения является общей особенностью публичного поля в поствоенных странах бывшей Югославии. Отчасти она представляет собой наследие периода военного противостояния, однако контуры расхождений пережили несколько этапов преобразований (как и стратегии легитимации общественных позиций), а персональный состав противостоящих «отрядов» интеллектуалов изменился как в процессе идейного дрейфа их представителей, так и в результате естественной смены поколений. Линии разграничений по политическим или идейным мотивам не стоит абсолютизировать, поскольку рядом с ними сосуществуют сети лояльности, построенные на личных, клановых и иных связях, хуже заметные внешнему наблюдателю. Размежевания интеллектуалов происходили в инкубаторе неофициальной и полуофициальной культуры СФРЮ, по крайней мере, с конца 1960-х годов<sup>1</sup>, а затем они ускорились в процессе нарастания дезинтеграционных процессов второй половины 1980-х годов. Однако радикальное отмежевание стало результатом brutального разрушения Югославии и войн за ее наследство в начале 1990-х годов, когда определенная часть интеллектуалов заняла позиции национальной обороны, а другая пыталась встать над схваткой, протестуя против братоубийственного безумия.

Манифестация такой позиции в 1992 г. привела в дальнейшем к закреплению в общественных дебатах феномена Второй или Другой Сербии<sup>2</sup>. Но похожее разделение можно обнаружить и в Хорватии<sup>3</sup>,

---

<sup>1</sup> Dragović-Soso J. 'Spasioci nacije': Intelctualna opozicija Srbije i oživljavanje nacionalizma / S engleskog prevela Ljiljana Nikolić. Beograd: Fabrika knjiga, 2004. Английский оригинал книги вышел в 2002 г.

<sup>2</sup> Друга Srbija / Ur. I. Čolović, A. Mimica. Beograd: Plato, 1992. Друга Srbija deset godina posle: 1992–2002 / Ur. A. Mimica. Beograd: Helsinški odbor za ljudski prava u Srbije, 2002.

<sup>3</sup> Jansen S. Antinacionalizam. Etnografija otpora u Beogradu i Zagrebu / S engleskog prevela A. Bajazetov-Vučen. Beograd: Biblioteka XX vek, 2005. Следуя за другими авторами во введении Янсен указывает на различия между националистиче-

где так же ситуативно для критиков национализма и традиционализма используется клеймо «другого»<sup>4</sup>, хотя чаще говорят о разделении на правых и левых. Здесь линией расхождений стало отношение к фигуре первого хорватского президента Ф. Туджмана (1922–1999), провозгласившего политику примирения («помирбь») между наследниками коммунистов-партизан и усташей, чей пронацистский режим в период Второй мировой войны основывался на истребительном терроре. Перспективы «детуджманизации» Хорватии, под которой в крайнем случае ее противники подразумевают отказ от национального суверенитета, часто становятся яблоком раздора.

В свою очередь в расколотой на этнитеты Боснии и Герцеговине (БиГ) подобное внутриобщинное разделение менее заметно, поскольку его перекрывает противоборство этноцентричных интеллектуалов<sup>5</sup>. Продолжительность, сложность и тяжесть боснийской войны, бегство из страны представителей той части активного общест-

---

скими проектами в Сербии и Хорватии, первый из которых был ирредентистским (объединение этнических сербов в рамках одного государства), а второй – сепаратистским (отделение от Югославии как реализация «тысячелетней мечты» хорватского народа). Кроме того, Янсен подчеркивает двойственность позиции режима С. Милошевича, который, с одной стороны, репрезентировал себя как защитника «всего сербского народа», а с другой – эксплуатировал иллюзии сохранения Югославии, выдавая себя за ее главного приверженца.

<sup>4</sup> Ср.: Marković M. *Susret Druge Hrvatske i Druge Srbije (Posle skupa u Tuheljskim Toplicima)* // Marković M. *Srpsko pitanje između mita i stvarnosti*. Beograd: Izdanje Beogradskog kruga, 1997. S. 218-221. Встреча антивоенных активистов из Сербии и Хорватии состоялась в Тухельских Топлицах в августе 1993 г. С сербской стороны в ней участвовали представители Гражданского союза Сербии (Небойша Попов, Новак Прибичевич, Ратомир Танич), независимые синдикаты (Бранислав Чанак, Раде Радованович) и участники «Белградского кружка» (Миладин Животиц, Слободан Инич, Милош Николич и Миленко Маркович).

<sup>5</sup> Этноцентричное профилирование интеллектуалов в БиГ хорошо иллюстрирует полемика в белградском журнале *Токови историје*, начатая статьей профессора Баян-Лукского университета Д. Васича. В спор с ним на страницах журнала вступили профессор Белградского университета Д. Стоянович и бывший директор сараевского Института истории, профессор Х. Камберович. Одной из важнейших в этой полемике стала фигура М. Бешлина, приглашенного в 2019 г. провести круглый стол в Баян-Луке об «историческом ревизионизме». Критик националистической переделки истории Бешлин одновременно является одним из лидеров оппозиционной Лиги социал-демократов Воеводины и ярким противником режима Милорада Додика, превратившегося в бессменного лидера боснийских сербов. В итоге попытка выстроить наднациональный диалог историков разбилась о скалу этнической лояльности. Подробнее об этом см.: Белов М.В. Дебаты историков из стран бывшей Югославии о декларации «Защитим историю» 2020 года // *Славяноведение*. 2022. № 3. С. 81-86.

ва, которая отказалась от этнической мобилизации, а также утверждение территориального раскола в Дейтонских соглашениях 1995 года привели к закреплению этногражданской разобщенности БиГ. Интеллектуалы Республики Сербской, по большей части, придерживаются национально-традиционалистской ориентации, а среди боснийских хорватов преобладает парадигма «помирбы». В этой ситуации бошняцким сторонникам транснациональной ориентации затруднительно занимать устойчивую позицию, тем более, что их собственная ресурсная база мала.

В странах-наследницах Югославии, не испытавших военных трагедий после ее распада, конечно, также присутствуют различия в ценностной или политико-идеологической ориентации интеллектуалов, однако, закономерно, они не так разительны.

Дискурсивное конструирование Первой и Второй Сербии стало сравнительно недавно предметом особого изучения в работах А. Рассел-Омалев<sup>6</sup>. Как показывает исследование этой схватки, противостояние патриотов (традиционалистов или националистов, с точки зрения их противников) из Первой Сербии и интернационалистов (космополитов или предателей нации, по определению оппонентов) из Второй Сербии, занимающих проевропейскую позицию, стало взаимозависимым механизмом конструирования национальной идентичности. Каждая сторона выстраивала мифологические и утопические модели «правильного» и «неправильного» (варварства / цивилизации, традиции / современности, подлинности / лицемерия).

В центре внимания неизменно оказывались итоги конфликтных 1990-х годов, отношение к Международному трибуналу по бывшей Югославии и возможность интеграции Сербии в евроатлантические структуры (и принятия соответствующей ценностной модели). Ресурсом обвинений для сторонников Первой Сербии являлась живая память о спорной роли европейских и международных организаций в процессе дезинтеграции СФРЮ, бомбежках странами-членами НАТО в 1995 г. позиций боснийских сербов и в 1999 г. территории Союзной Республики Югославии (СРЮ), а также о режиме санкций и о демонизации сербов в мировых СМИ в 1990-е гг.

---

<sup>6</sup> Omaljev A. Constructing the Other/s: Discourses on Europe and Identity in the 'First' and the 'Other' Serbia // *Us and Them: Symbolic Divisions in Western Balkan Societies* / Ed. by I. Spasić and P. Cvetičanin. Belgrade: The Institute for Philosophy and Social Theory of the University of Belgrade, 2013. P. 199-218; Russell-Omaljev A. *Discourses on Identity in 'First' and 'Other' Serbia: Social Construction of Self and Other*. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2016. 269 p.

Первая Сербия исключала Вторую из национального тела как чуждых «европейцев»<sup>7</sup>, тогда как Вторая стигматизировала представителей Первой как источник неустранимой угрозы Европе / цивилизации в виде религиозного фанатизма и brutального насилия, столь свойственного «воображаемым Балканам», картографированных в свое время М. Тодоровой. Парадокс заключается в том, что толерантность в качестве ключевой европейской ценности в данном случае утрачивала работоспособность.

Сербский рецензент А. Павлович, сотрудник белградского Института философии и социальной теории, соглашаясь во многом с наблюдениями автора монографии и отмечая ее «трезвое» отношение к социальному конфликту в Сербии после распада Югославии, в то же время указал на ограниченность идеологического деления всего спектра общественной активности на две противоположные позиции. «Все же остается впечатление, что ее широкая и амбициозная цель – пролить свет на властные структуры и превзойти эту дуалистическую логику в созидании идентичностей – остается нереализованной. Это в первую очередь следствие ее методологии, поскольку коренящийся в лингвистике дискурс-анализ, проводимый автором, позволяет выявить дискурсивные стратегии, используемые обеими группами, но не может дать полного представления о структурах власти, не прибегая к бурдьеанскому анализу интеллектуального, культурного и политического полей, охватывающего средства массовой информации, влияния [двух групп], занимаемое ими положение в обществе и т.п.»<sup>8</sup>. Действительно, «теория полей» П. Бурдье в этом случае может быть весьма полезна. Данное упущение в свою очередь и приводит к неоправданному, по мнению рецензента, выводу о «двух главных политических фракциях» в Сербии. Поскольку «первая» Сербия занимает доминирующие позиции в политическом и академическом полях, она менее зависима от конкурентного конструирования собственной идентичности и склонна отождествлять себя с «самой Сербией», без оглядки на оппонентов. Можно, однако, добавить, что построение доминирующей идентичности все же не исключает ее негативной проекции, «использования Другого» и созидания «образов врага». Другое дело, что в позиции «национального большинств-

---

<sup>7</sup> Обвинения часто подкрепляются указаниями на получение организациями, в которых сотрудничают представители Второй Сербии, финансовой поддержки от европейских и американских фондов.

<sup>8</sup> Pavlović A. Ana Russell-Omaljev, *Divided we Stand: Discourses on Identity in 'First' and 'Other' Serbia*, Ibidem Verlag, Stuttgart, 2016 // *Filozofija i društvo*. 2017. Br. XXVIII (4). S. 1212-1214.

ва» их репертуар гораздо обширнее и может быть связан с конкурирующими соседними национализмами или иными внешними силами, кроме прочего.

Термин Вторая / Другая Сербия, напоминает Павлович, стал самоназванием группы интеллигенции, выступавшей с антивоенных позиций между 1991 и 1995 г., а его дальнейшее использование было, прежде всего, символическим и даже пейоративным со стороны оппонентов. «Проще говоря, сегодня в Сербии было бы трудно найти кого-либо, склонного идентифицировать себя как “другосербианец”. В общем и целом, эти интеллектуалы были и отчасти остались маргинальны...», если не считать краткого периода возросшей популярности Гражданского союза Сербии после падения режима С. Милошевича. В результате абсолютизации бинарной оппозиции, как отмечает А. Павлович, Рассел-Омалев ошибочно приписывает равное значение одним и тем же вопросам в повестке двух идеологических фракций, пускай и с противоположными ответами на них. И поскольку авторы Второй Сербии выстраивают свою позицию с опорой на гражданские ценности и на отрицании национализма, как справедливо подчеркивается в монографии, следует ожидать, по мнению рецензента, что «...исследовательский вопрос о создании национальной идентичности [у них] занимает второстепенное место и что они касаются его лишь постольку-поскольку и косвенно»<sup>9</sup>.

Впрочем, общий итог оценки рецензента снисходительно-положителен. Ведь и сама автор монографии часто напоминает о текучем и изменчивом состоянии дискурсивных позиций Первой и Второй Сербии, при том что последняя изначально характеризовала себя как ассоциацию свободных, слабо связанных в остальном, помимо морального противостояния большинству, интеллектуалов. «Если читатель помнит об этом и рассматривает две Сербии как концептуальные метафоры, а не как эмпирическое свидетельство по-манихейски дуалистического состояния сербского общества, и не надеется найти здесь окончательное решение вопроса о современной сербской идентичности, данная книга – это полезное и приятное чтение, особенно для иностранных студентов и читателей, не имеющих глубоких знаний о современном сербском обществе»<sup>10</sup>.

Другой рецензент, сотрудница Института международных и региональных исследований Принстонского университета Т. Павасович-Трошт, также отметила ограничения дискурс-анализа, совмещенного

---

<sup>9</sup> Ibid. S. 1213.

<sup>10</sup> Ibid. S. 1214.

в диссертации и монографии Рассел-Омалев с бинарной парадигмой конструирования идентичностей, хотя была более щедра на похвалы<sup>11</sup>. Помимо недостаточной структурированности рецензируемого исследования и не всегда очевидную связь между дискурсивными опциями и их авторами, она указала на некоторые лакуны, которые следовало бы восполнить в дальнейшей работе над темой. Хотя в монографии признается, что взгляды на сербскую идентичность не существуют в политическом вакууме, а находятся «в активном диалоге между различными акторами и их аудиторией» (здесь цитируется с. 49 из рецензируемой монографии), анализ ограничивается высказываниями элитарных спикеров, но игнорирует реакцию широкой публики на них<sup>12</sup>. «Точно так же, хотя автор признает, что ни один из аргументов, выдвигаемых элитой, не основан на пустом месте, “ссылаясь на уже глубоко укоренившиеся и исторически богатые образы, мифы, предрассудки и сюжеты” из прошлого (р. 50), книга не углубляется в исторические объяснения или происхождение сербского национализма, и дает ограниченный анализ того, как эпоха социализма, войны или конфликт в Косово повлияли на развитие сербского национализма (исторический обзор в главе 2 начинается с 1987 г.)».

Самоопределение Вторая Сербия берет начало от одноименного сборника, составленного из выступлений на встречах, организованных недавно созданным сообществом интеллектуалов «Белградский кружок» в апреле-мае 1992 года, когда после временной «заморозки» войны в Хорватии быстро разгорался еще более сложный, трехсторонний конфликт в Боснии и Герцеговине (БиГ). Встречи происходили в Студенческом культурном центре по субботам, большой зал которой каждый раз был заполнен битком. Помимо ученых (историков, социологов, антропологов), на них выступали известные писатели, художники, журналисты, режиссеры театра и кино, архитекторы, переводчики, актеры. Второй цикл выступлений (октябрь 1992 – февраль 1993 г.) был опубликован под заголовком «Интеллектуалы и война». Всего же в них представлено около сотни участников<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Pavasović Trošt T. Divided we stand: discourses on identity in 'First' and 'Other' Serbia. Social construction of the Self and the Other // Southeast European and Black Sea Studies. Vol. 17. No 3. P. 505-507. Published online: 18 Nov. 2016. DOI: 10.1080/14683857.2016.1260793

<sup>12</sup> Анализ отношения сербского и хорватского общества к национализму и войне во второй половине 1990-х годов на основе данных полевой антропологии представлен в выше упомянутой книге С. Янсена и других его коллег.

<sup>13</sup> Сжатый, но содержательный обзор этих выступлений с точки зрения самоопределения Второй Сербии в условиях продолжающейся кровопролитной войны в БиГ см.: Russell-Omaljev A. Op. cit. P. 107-120.

Обе книги вместе с сопутствующими им откликами и материалами в 2002 г. – в серии «Свидетельства» Хельсинского комитета за права человека в Сербии. Поясняя мотивы переиздания, редактор А. Мимица сетовал: «Этих старых книг уже давно нет в продаже, даже в антикварных магазинах, а публичные библиотеки – что вполне понятно – не прилагали особых усилий для приобретения материалов, не пользовавшихся особой популярностью в то время. Вот, по крайней мере, одна веская причина предать гласности тексты, произнесенные и опубликованные как периферийные по отношению к преобладающему тогда общественному мнению»<sup>14</sup>.

Стоит, однако, добавить, что выход двоянного сборника спустя 10 лет после появления первого из них (1992 г.) происходил уже в совершенно иных условиях. Вместе с кровопролитными 90-ми завершился период правления авторитарного социалиста С. Милошевича, свергнутого в результате «бульдозерной революции» в октябре 2000 года. Оппозиция, объединенная ранее против него, раскололась по отношению к наследию ушедшей эпохи, в выборе проектов будущего и в поиске приемлемых отправных точек в более удаленном прошлом. Моральное противостояние вооруженному насилию, националистическому безумию и бессмысленным жертвам уходило в прошлое, тогда как общество встало перед сложной проблемой оценки и проработки тяжелого наследия 1990-х гг. Надежды на обновление встречались с застоявшимися трудностями на пути послевоенного развития, а разбирательство с недавним прошлым плохо увязывалось с тяготами повседневной жизни, гарантируя дополнительное обременение выяснением виновности за произошедшее<sup>15</sup>.

Издание 2002 года, будучи публикацией памятников морального сопротивления ранних 1990-х<sup>16</sup>, оказывалось в новых условиях,

---

<sup>14</sup> *Druga Srbija deset godina posle*. S. 7-8. Алёша Мимица (1948–2011) – сербский социолог и общественный деятель хорватского происхождения – специализировался на истории западной социологии, преимущественно французской (А. Токвиле и Э. Дюркгейме), а в своих убеждениях эволюционировал от официальной идеологии (как редактор журнала «Марксизм в мире») через «гуманистический марксизм» журнала и группы *Praxis* (неомарксизм) к леволиберальным взглядам.

<sup>15</sup> Вступление в новую политическую ситуацию после 2000 г. как важный момент для выстраивания идентичностей Первой и Второй Сербии отмечен и в монографии Рассел-Омалев: Russell-Omaljev A. *Op. cit.* P. 72-84 (общая характеристика политической динамики), 122–128 (эволюция Второй Сербии).

<sup>16</sup> «Сборник, находящийся перед нами, объединил две давно изданные книги, а также тексты, так или иначе связанные с ними – ныне несколько забы-

с одной стороны, удостоверением права на обладание символическим капиталом, а с другой – проблематичной почвой для актуальных общественных дискуссий, занявших важное место в монографии Рассел-Омалев<sup>17</sup>.

Это, во-первых, дискуссия, состоявшаяся на страницах журнала *Време* в 2002 г. и получившая наименование «Пункт расхождения». В центре тогда находились вопросы о вине и ответственности за военные преступления (преступления против человечности), о сотрудничестве с Международным трибуналом по бывшей Югославии, а также о приоритетности жертв с каждой из сторон (военных и гражданских). Дискуссия продемонстрировала явный раскол в прежнем оппозиционном блоке и реактуализировала обсуждение совместимости европейских ценностей (индивидуальной автономии, гражданской свободы, демократии, правового государства и т.д.) с сербской политической культурой и исторической традицией.

Вторая дискуссия наследовала первой в 2003 г., когда тот же журнал опубликовал статью Слободана Антонича, социолога и политолога, одного из основателей (1994) и редактора журнала *Новая сербская политическая мысль*, под заголовком «Миссионерская интеллигенция»<sup>18</sup>. В ней, помимо прочего, указывалось на опасный соблазн в выборе позиции морального превосходства, чреватого высокомерным пренебрежением или даже презрением интеллектуального меньшинства в отношении косного большинства.

Сталкиваясь с сопротивлением сообщества, оказываемым новым и лучшим, по их мнению, ценностям, как пояснял Антонич, местные миссионеры «... бывает могут сильно разозлиться и перестать вести себя рационально. Скажем так, они начинают ругать своих соплеменников и отстаивать свои идеи все более горячо и нервно. А поскольку любое рвение или нервозность приводит к преувеличе-

---

тыми – свидетельствами о недобром времени», – так начинается предисловие редактора А. Мимицы: *Druga Srbija deset godina posle*. S. 7.

<sup>17</sup> Russell-Omaljev A. Op. cit. Ch. 5.

<sup>18</sup> Текст статьи доступен на старом сайте Новой сербской политической мысли. См.: Antonić M. Misionarska inteligencija u današnjoj Srbiji. – <http://starisajt.nspm.rs/Komentari/komentarilantmisionarskantelig.htm> (ноябрь, 2023). Осуждение Второй Сербии с национально-демократических позиций, представленное в этой статье, со временем превратилось в мейнстрим, поскольку Антоничу удалось нащупать по-настоящему уязвимое место оппонентов. См., например, язвительную критику морального превосходства, проходящую красной линией в публицистических статьях, собранных в книгах: Vučinić M.M. *Druga Srbija – na mrtvoj straži političke korektnosti*. Beograd: Službeni glasnik, 2012. 406 s. Idem. *Anatomija Druge Srbije*. Beograd: Catena Mundi, 2016. 207 s.



ниям и грубости, новые ценности начинают преподноситься сообществу во все более негативном свете. <...>

В конце концов, миссионерам слишком часто приходится сталкиваться с полным отвержением сообщества. Когда это происходит, они переживают своего рода личностный удар, надлом. Они начинают верить, что с их соплеменниками на самом деле что-то не так, что вся община в чем-то неполноценна. Они возмущаются окружающими, презируют их и, в конце концов, ненавидят все сообщество. Они заканчивают свою жизнь постоянными, утомительными и совершенно бесплодными оскорблениями в адрес людей из своего народа (региона, города...), а то и откровенно призывая к оккупации “цивилизованными иностранцами”. А если такая оккупация случится, и если им дадут возможность принять участие в управлении, то, к сожалению, никто не правит сообществом более авторитарно и жестоко, чем именно они, никто не “круче” в насилии, навязывании, запретах, преследованиях, исключительности...».

Разумеется, последнее утверждение легко оспорить (тем более, что оно слишком смахивает на донос), памятуя об опыте жестоких диктатур минувшего столетия, заручившихся при этом горячей поддержкой большинства. Однако критика пагубного самообольщения в попытках прогрессивного меньшинства навязать (а не привить в процессе упорной работы) свои идеалы отчасти справедлива и имеет уже давнюю историю<sup>19</sup>.

Стоит обратить внимание на настойчивое использование С. Антоничем понятия «сообщество» (серб.: заједница), которое расшифровывается вариативно как «народ» («соплеменники»), «регион» (серб.: крај) или «город», но не «нация» (последнее понятие употребляется в статье лишь дважды и относится к суждениям предполагаемых оппонентов). Автор, очевидно, намеревался придать своей критике феноменологическое звучание и предохранялся от стандартных обвинений по адресу «патриотов» из Первой Сербии в том, что они узурпируют право выступать «от имени нации». Вместе с тем такая терминологическая уклончивость только камуфлировала сущностный конфликт представительства, развернувшийся после 2000 года, пользуясь терминологией П. Бурдьё, уже в политическом поле. Стигматизируя «миссионерскую интеллигенцию», Антонич опирался на презумпцию большинства, которое в его построениях выглядит не более чем пус-

---

<sup>19</sup> См., напр.: Давыдов Ю.Н. Что такое «прогрессивное человечество»? // История теоретической социологии. Т. 1. От Платона до Канта. (Предыстория социологии и первые программы науки об обществе.). М.: Наука, 1995. С. 210-214. Ионин Л.Г. Восстание меньшинств. М.: СПб.: Университетская книга, 2013.

той идеологической конструкции. «Сочувствующий» читатель мог произвольно наполнить ее своим привлекательным содержанием.

Разоблачение подобных уловок, вместе с тем, не устраняет реальную проблематику парадоксов при превращении морального капитала в политический, опасности его фетишизации и дефицита в предложении конкретных путей общественного переустройства, которые не совпадают с простым заимствованием «европейских ценностей» (еще одной идеологической конструкции).

Отзвук новой политической ситуации зафиксирован в одном из предисловий к изданию 2002 года. В нем Радомир Константинович<sup>20</sup> отмежевывает участников «Белградского кружка» от участвовавших в антимилошевичевской оппозиции сторонников «демократического национализма» и одного из лидеров этого направления в новой власти – Воислава Коштуницы, тогдашнего президента Союзной Республики Югославия (СРЮ)<sup>21</sup>. Константинович не может принять выбор исторического образца, который Коштуница и национальные демократы

---

<sup>20</sup> Druga Srbija deset godina posle. S. 15-17. Текст этого предисловия, как указано в примечании, основан на беседе Р. Константиновича с Бранкой Михайлович для Радио Свободная Европа, опубликованной в *Danas* 16-17 марта 2002 года Радомир Константинович (1928–2011) – сербский югославский писатель, драматург, философ, литературный критик и публицист, автор знаменитой «Философии паланки» (1969), изобличающей убожество и опасности ограниченного мышления. Проявляя по-своему уважение к этой фигуре, противники Второй Сербии называют Константиновича ее «идейным гуру». Vučinić M. Anatomija Druge Srbije. S. 17-18. С этим определением солидарна и Рассел-Омалев: Russell-Omaljev A. Op. cit. P. 111.

<sup>21</sup> Юрист и политический социолог Коштуница (1944 г. р.) сам принадлежал к кругу либеральных интеллектуалов, сформировавшемуся в конце 1960-х – начале 1970-х гг. В результате идеологических чисток 1974 года он вынужден был покинуть Белградский университет и затем участвовал в правозащитном движении 1980-х. Основанная им в 1992 г. Демократическая партия Сербии стремилась к сочетанию национальных интересов с общедемократической повесткой. Как депутат Скупщины в 1990-х Коштуница выступал с критикой правящего режима, но одновременно оппонировал действиям «мирового сообщества» по урегулированию югославского кризиса. Он участвовал в деятельности объединенной оппозиции во второй половине десятилетия и оказался на посту президента в 2000 г., будучи главным соперником Милошевича на сентябрьских выборах, выдвинутым от оппозиционного блока (после бунта «обманутых избирателей», вошедшем в историю как «бульдозерная революция»). Когда в 2001 г. тогдашний премьер Сербии Зоран Джинджич организовал выдачу Милошевича Гаагскому трибуналу, Коштуница, противник такого решения, не смог ему воспрепятствовать. После преобразования СРЮ в Государственный союз Сербии и Черногории он лишился президентского кресла и в 2004–2008 гг. занимал пост премьер-министра Сербии.

увидели в Равногорском движении, возглавлявшимся полковником Драголюбом (Дражей) Михайловичем. Последний подчинился королевскому правительству в лондонском изгнании, был осужден и казнен в 1946 г. за тактический коллаборационизм и борьбу с коммунистическими партизанами во время Второй мировой войны. Константинович несправедливо ставит Михайловича, представлявшего легитимистское крыло в движении Сопротивления, на одну доску с идеологом сербского фашизма Д. Лётичем<sup>22</sup>. Но важнее то, что, по его предположению, «...сербский национализм не признает Гаагский трибунал, так же как не хочет признавать свои преступления»<sup>23</sup>.

Вообще же предисловия, написанные ко второму изданию удивительным образом сочетают черты полемической заостренности и лирической исповедальности, настойчиво возвращая читателя в смутную обстановку ранних 1990-х. В частности, одна из участниц «Белградского кружка», историк Латинка Перович (1933–2022) в своем предисловии<sup>24</sup> обильно цитирует писательский дневник Добрицы Чосича, духовного лидера сербских националистов конца 1970–1980-х и президента СРЮ (1992–1993), только что вышедший из печати<sup>25</sup>. Латинка Перович моделирует «свой круг» как противоположный позиции Чосича, чей «национал-большевизм», в ее определении, на рубеже 1980–1990-х гг. (после грандиозного и остро политизированного властями празднования 600-летнего юбилея Косовской битвы 1389 года) охватил уже широкие сербские массы: «Мы снова в XIX веке. Снова должны создать свою Сербию. Должны создать такую Сербию, в которой все сербы на планете видели бы свою отчизну. <...> Историзм больше не просто идейная, философская концепция в литературоведении и общественных науках, историзм

<sup>22</sup> Milosavljević O. Savremenici fašizma. 1. Percepcija fašizma u beogradskoj javnosti 1933–1941. (Ogledi. Br. 14). Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava, 2010; Гавриловић Д. Мит о непријатељу. Антисемитизам Димитрија Љотића. Белград, Службени гласник, 2018; Зорић В. Филозофија историје Димитрија Љотића // Годишњак за друштвену историју. 2020. Бр. 3. С. 55-79; Драгосављевић В. Друга Европа и Краљевина Југославија – ЈНП Збор (1934–1941). Београд: Прометеј, 2021.

<sup>23</sup> Друга Србија десет година после. С. 17.

<sup>24</sup> Ibid. С. 9-14.

<sup>25</sup> Ćosić D. Piščevi zapisi: 1981–1991. Beograd: Filip Višnjić, 2002. О Д. Чосиче и его круге см.: Dragović-Soso J. Op. cit. Городецкая Н.Б. Идеологическое оформление интеллектуальной оппозиции в Сербии в 60 – сер 80-х гг. XX века. Дисс. к.и.н. Екатеринбург, 2015. С. 76-91. Энциклопедия диссидентства Восточная Европа, 1956–1989: Албания, Болгария, Венгрия, Восточная Германия, Польша, Румыния, Чехословакия, Югославия / Под общ. ред. А.Ю. Даниэля. М.: Новое литературное обозрение, 2022. С. 820-822, 881-882, 896-899.

проник в повседневность, подчинил себе мнения и рассуждения об обществе и народе, занял дома, рестораны, межчеловеческие отношения»<sup>26</sup>. В то время как *первые* были объяты пафосом территориального расширения любой ценой, пускай и обращением в варварство, чтобы стереть следы современности и «начать с нуля», отталкиваясь от средневекового величия, *другие* испытывали ужас и чувствовали ответственность за происходящую катастрофу с ее кровью, насилием и безумием. «Осознавая то, что они абсолютное меньшинство, неспособное воспрепятствовать солнечному затмению, как последствия поворота назад, они обращались не к современникам, а к потомкам». В то время как «Белградский кружок» отстаивал ценности, противоположные примату коллектива над индивидом, свойственного тоталитарному сознанию, в условиях агрессии большинства приверженные этим ценностям интеллектуалы испытывали сильную потребность в сплочении и коллективном высказывании.

При этом, по оценке Перович, субботние встречи, на которых звучали выступления противников национализма и военного насилия, имели, по преимуществу, именно моральное значение. Но это еще был и «узкий проход» для симпатий мировой общественности к Сербии и сербам, поскольку как в «игольное ушко» через «Белградский кружок» в сербское общество проходила мысль о «коллективной вине»<sup>27</sup>. Поэтому активность интеллектуалов превосходила простое удовлетворение их личной моральной ответственности. Диалог с западными интеллектуалами был необходим не только для Балкан, но для Европы и мира. И в то же время диалог стимулировал обсуждение ключевых вопросов современной истории Сербии. А матрица, определяющая режим обсуждения, «...уходит своими корнями в тонкую и прерывистую историю либеральной мысли в Сербии»<sup>28</sup>.

Единство в принятии моральной ответственности за военное безумство, которое «смывало позор с лица Сербии» (Р. Матвеевич), не означало полного единомыслия по другим вопросам. Напротив, с исторической ретроспективы, именно различия внутри «Белградского кружка» Перович оценивает как особенно важные для эмансипации плюралистического общества.

---

<sup>26</sup> Перович цитирует Чосича, не указывая страницы и даты записей: *Druga Srbija deset godina posle*. S. 9. При цитировании участников републикованных сборников их имена указываются Перович в скобках.

<sup>27</sup> Перович в предисловии сининимизирует понятия вины и ответственности, придавая и тому и другому коллективное измерение. *Druga Srbija deset godina posle*. S. 10-11.

<sup>28</sup> *Ibid.* S. 12.

Дискуссии начинались уже с вопроса о существовании Второй Сербии. Для одних она была реальностью, для других – иллюзией, для третьих – программой. Но камнем преткновения для многих оставалось отсутствие в сербской истории религиозной реформы и слабость либеральной почвы в условиях долгого господства полутрадиционных общественных отношений. «Белградский кружок оставался безопасным, – констатирует Перович, – до тех пор, пока, находясь в карантине, поддерживал свои “спиритические сеансы”». Выход книги стал поворотным моментом – выходом из гетто. И главный урок, актуальный, по мнению Перович, и через десять лет: «Сознавать свою ответственность, чувствовать опасности для себя, рассматривать все возможности уменьшить риск и защитить свои интересы – это продукт зрелости. Ни народы, ни отдельные личности не могут ни передать зрелость другому, ни заимствовать ее у другого»<sup>29</sup>.

Р. Константинович, вспоминая об обстоятельствах появления «Белградского кружка», упоминает, что его проект (появившийся взамен первоначальной идеи создать новое писательское сообщество) отталкивался от образа Сербской академии наук и искусств. В замысле Константиновича фигурировала «Новая Академия, анти-академическая во всяком отношении». «Было совершенно невозможно, глубоко унижительно, молча терпеть национальный террор. Поэтому я бы не назвал это “общественным делом”. Это было сопротивление. И это сопротивление одиночек. Очень нужное и очень опасное: против нас была власть кровавого режима, но и большинство оппозиции, погрязшее в национализме. И даже больше: соседи, родственники, даже вчерашние друзья, многие из которых перестали здороваться со мной на улице. Наши имена были запрещены. Наше публичное существование сводилось к существованию в “Борбе”. Она регулярно публиковала речи, произнесенные в рамках цикла “Вторая Сербия”, с которого началась работа “Белградского кружка”, и так каждый день»<sup>30</sup>.

Константинович далее усугубляет тезис о героической маргинальности, в которой, по его мнению, заключена «душа истории», поэтому какой бы маргинальной ни была Вторая Сербия – в ней единственное возможное будущее Сербии. Встречи единомышленников, оказавшихся в меньшинстве, рисуются Константиновичем как своего рода заговор – «заговор против террора предубеждений», «рациональности меньшинства против иррациональности большинства». И с этой господствующей точки зрения – рациональность была предательством. Писатель Филип Давид на одной из встреч пари-

---

<sup>29</sup> Ibid. S. 13.

<sup>30</sup> Ibid. S. 15.

рвал эти обвинения: «Нам остается только стать предателями. Предатели системы, призывающей к войне и голоду, где народы живут в лихорадке, питаются ненавистью и обманом, больны манией преследования и манией величия одновременно. Быть предателем в такой стране, при таком строе, это меньшее, что может и должен сделать любой порядочный и честный человек». Это всего лишь моральная позиция, признается Константинович, и «...это последнее, что остается обездоленным»<sup>31</sup>.

Возможно, несколько идеализируя происходившее в линзе воспоминаний, Константинович подчеркивает важность опубликования альтернативной точки зрения в зале Студенческого культурного центра: «Это было своеобразное приобщение к публичности, единственное место, где весной 1992 года можно было выступить. Это было великое посвящение. Что-то вроде рождения речи. Это было очень показательно, прослушивание того, что уже было известно, что известно и что становится, если это повторяется (и под угрозой наказания в полицейской атмосфере), своего рода ритуалом, чем-то, что вовлекает в ритуал. Мы, конечно, не могли этого спланировать. Это зависело от каждого выступающего. Что-то непредсказуемое и что-то неодолимое. Потому что то, что непредсказуемо, неодолимо»<sup>32</sup>.

Подчеркивая силу морального сопротивления как суть «Белградского кружка», Константинович в то же время отвергает снисходительные обвинения в «прекраснодушии» его участников и вспоминает о героических эпизодах участия в протестных выступлениях многих из них. Он так же решительно отмежевывается, как уже показано выше, от отождествления «Белградского кружка» с национал-демократами, оказавшимися у власти после падения Милошевича<sup>33</sup>, поскольку как значится в сформулированной им максиме, вынесенной в заголовок: «Вторая Сербия – это Сербия, которая не мирится со злодеяниями». Впоследствии она постоянно повторялась.

Недавно своими воспоминаниями о зарождении «Белградского кружка» поделился еще один его инициатор, антрополог, исследователь политической мифологии Иван Чолович<sup>34</sup>. Автор сетует на

<sup>31</sup> Ibid. S. 15-16. Текст выступления Ф. Давида назван провокационно: «Быть предателем». Ibid. S. 28-29.

<sup>32</sup> Ibid. S. 16.

<sup>33</sup> Ibid. S. 17.

<sup>34</sup> Čolović I. Radanje Beogradskog kruga. Beleške jednog od osnivača // Peščanik 19.10.2022. – <https://pescanik.net/radanje-beogradskog-kruga/> (ноябрь, 2023). По-видимому, к ним он обращался к таким воспоминаниям и ранее. См.: Russell-Omaljev A. Op. cit. P. 108. Note 315. Этой ссылки (Ivan Colovic. Belgrade

то, что помимо разрозненных газетных публикаций осталось слишком мало живых воспоминаний о начале «Белградского кружка», и приветствует инициативу неназванных им историков по сбору материалов об антивоенном движении 90-х, в котором «Белградская ассоциация независимых интеллектуалов, основанная 25 января 1992 г., сыграла важную роль». Как и другие участники объединения, Чолович свидетельствует о различиях в их представлениях о будущем, ставке на индивидуальность и общем стремлении защитить моральные принципы: «Вместо одной общей идеи, общего видения “другой Сербии” мы предложили несколько идей, несколько видений, которые были связаны между собой только желанием людей, выразивших эти идеи и видения, публично выступить против политики Милошевича, против войны и национализма. На самом деле мы договорились о той Сербии, которую не хотели, но не о той, которую хотели. Вот почему правильнее сказать, что в лоне Белградского круга родилось несколько Вторых Сербий, а не одна».

Замечание Чоловича наводит мост между заявлениями организаторов «сессий» 1992–1993 гг. (а также редакторов соответствующих им сборников выступлений) и критикой дискурсивной биполярности как характеристики публичного поля современной Сербии в рецензии А. Павлович. «Белградский кружок» был намеренно ослабленной организационной формой, ассоциацией противников режима С. Милошевича (национализма и войны), как и свидетельствует в очередной раз Чолович. Уже в первой половине 1990-х гг. возникла сеть альтернативных правящему режиму объединений и движений, так или иначе связанных с «Белградским кружком»<sup>35</sup>. В дальнейшем они заняли ведущие позиции в секторе неправительственных и неправительственных организаций.

Поскольку создатели кружка сознательно отказались от написания общей программы действий или превращения ассоциации в

---

Circle Journal On-line) в сети более не обнаруживается. Уже в январе 2023 года Чолович опубликовал критический разбор двух французских диссертаций, посвященных ситуации в интеллектуальных кругах и общественных науках периода распада Югославии: Čolović I. *Ustali protiv Miloševića, jer ga nisu razumeli* // Peščanik 12.01.2023. – <https://pescanik.net/ustali-protiv-milosevica-jer-ga-nisu-razumeli/> (ноябрь, 2023). В центре обсуждения: Delamare L. *La Bipolarité de la société serbe: Héritage, essence ou illusion? Les manifestations belgradoises 1991–2008*. Paris: EHESS, 2016; Cosovschi A. *Les sciences sociales face à la crise. Une histoire intellectuelle de la dissolution yougoslave (1988–1995)*. Paris: Karthala, 2022.

<sup>35</sup> Šušak B. *Alternativa ratu // Srpska strana rata: Trauma i katarza u istorijskom pamćenju / Priredio N. Popov*. Beograd: Republika, 1996. S. 531–537.

политическое движение, усиление расхождений в лагере оппозиции после падения режима С. Милошевича в 2000 г. являлось очевидной закономерностью. В условиях политической трансформации символический (моральный) капитал участников раннего этапа протестного движения был так же закономерно подвергнут ревизии.

Полемика о Первой и Второй Сербии в ранних нулевых быстро превратилась в бесконечно повторяющуюся риторическую игру, описанную А. Рассел-Омалев. Почувствовав усталость публики от этих дебатов, некоторые авторы предложили сделать выбор в пользу некоей Третьей Сербии, нацеленной на более реалистичное видение настоящего и будущего, способной «перевернуть страницу» и оставить тяжелое прошлое позади. Но эти попытки нельзя признать удачными<sup>36</sup>. Скептические наблюдатели иронически прогнозировали возникновение четвертой, пятой и последующих «номерных» Сербий. Таким образом в прямом и позитивном смысле подобные обозначения утратили всякий смысл. Однако вопросы, поставленные на первых встречах «Белградского кружка», конечно, сохраняют значение.

---

<sup>36</sup> Petrović T. Varieties of “Third Serbia” // Us and Them. P. 240-241.



## INTELLECTUALS AND POWER IN CONFLICTS OF TURNING EPOCHS

This book is devoted to problems that occupy a central place in modern intellectual history. Today, it seems important, taking into account the changing trends in historical and broader social and humanitarian knowledge, to clarify the existing prospects of intellectual history after a number of “turns” it has experienced, primarily about the turn from the traditional history of the ideas of great thinkers to the “history of intellectuals” and “social history of ideas”, which emphasized the role of social context. The social history of ideas played a decisive role in radically expanding the field of intellectual history beyond the “great ideas” to include all the ideas current in a particular period or society. Unfortunately, the “history of intellectuals”, which received formalization in the mid-1980s, in the interdisciplinary “Group for the Study of the History of Intellectuals” created in France (it included historians, sociologists, literary scholars), preferred to distance itself from the history of ideas, and from cultural history<sup>1</sup>. However, subsequently, already in an anthropologically oriented direction, the study of the role of intellectuals in the construction of national identity and the problem of symbolic self-realization of an intellectual in the political field took center stage. In connection with this background, the advancement of intellectual history to the forefront of the historiography of the current century may seem unexpected.

Meanwhile, intellectual history began to gain strength more than a quarter of a century ago, in the process of that deep internal transformation that the entire historical science experienced in the last decade of the twentieth century. On the one hand, the revival of intellectual history occurred largely due to precisely that “linguistic turn” that plunged historiography into another crisis. The most heated scientific debates about the “postmodern challenge” had direct access to the discussion of pressing problems of intellectual history, even if it was about the formation of “another kind of intellectual history,” a history that studies non-dead authors, but living books, not by immersing past writers in their historical contexts, but by reading old works in new and unexpected contexts<sup>2</sup>. As for the “living authors” of these “living books,” their human stories were registered under the department of historical anthropology.

---

<sup>1</sup> Trebitsch M. Le Groupe de Recherche sur l'Histoire des Intellectuels // Intellectual News. 1997. № 2. P. 55-59.

<sup>2</sup> Toews J. Intellectual History after the Linguistic Turn // American Historical Review. 1987. Vol. 92. № 4. P. 879-907.

Among the proponents of the “new intellectual history,” the name “intellectual history,” which was originally defined mainly by the name of the problem field chosen for study, acquired a new meaning: it came to mean a general approach based on the recognition of the active role of language, text, and narratives structures in the construction of historical reality, and, accordingly, to the analysis of discursive practice. In general, the emphasis on reading and perceiving texts turned out to be very productive, significantly expanding the field of research. Although the process of developing a new paradigm of history turned out to be contradictory, its orientation already at an early stage became obvious – at the forefront in all areas of social and humanitarian knowledge, the integrating category of culture was placed in its anthropological understanding.

The “cultural turn” created the necessary conditions for a comprehensive transformation of intellectual history. Thus, the “renaissance” of intellectual history at the turn of the 20th – 21st cc. turned out to be associated with the general processes of updating historical knowledge, which led to a rethinking of the subject of research on the epistemological and methodological principles of the modern sociocultural approach, which had learned the lessons of postmodern criticism, however, in a longer term, the development of its theoretical foundations required significant efforts. Opportunities for implementing a program for studying the movement of ideas in connection with changes in the historical conditions of their generation and existence opened up in the project of “new cultural-intellectual history”, which proposed consideration of “great ideas and texts” and intellectual activity, as well as all mental processes of the past, in their specific historical sociocultural contexts.

The basic integral setting of the new approach was clearly identified already in its self-name, stimulating proposals for corresponding concepts of intellectual history among its leading representatives in the late 1990s. This concept found its maximalist expression in the definition of the tasks of modern intellectual history, which was proposed by the famous American historian Donald Kelly (at that time he was editor-in-chief of the *Journal of the History of Ideas*) His interpretation of the research field of intellectual history actually extends its scope of competence to the entire historical domain<sup>3</sup>. More moderate versions presented in a debate on the subject organized by the International Society for Intellectual History in 1996 emphasized that intellectual history should retain its specificity in its orientation towards the study of human intelligence and intellectual

---

<sup>3</sup> Kelley D.R. Prolegomena to the Study of Intellectual History // *Intellectual News*. 1996. № 1. P. 13-14.

activity, as well as in special attention to the outstanding minds of the past and to the texts of “high culture”. Among the most important tasks of intellectual history were noted such as analysis of discursive practice, the role of language and narrative structures; revealing the intellectual context from which the “great texts” grew and to the transformation of which they contributed; identification of historical changes in fundamental principles, categories, methods and content of cognition, style of thinking. At the same time, the need was emphasized to combine the biographical approach, which plays an important role in various areas of intellectual history (primarily in the genre of intellectual biographies of outstanding thinkers), with the perspective of historical and anthropological research that studies the multi-level intellectual landscape of a particular historical period (they are sometimes called “intellectual history from below”).

In the 1990s, the issue of the subject of intellectual history was resolved in a completely new interdisciplinary context, and in 1994 institutional self-determination took place – the International Society for Intellectual History (ISIH) was organized with its own journal and annual conferences. Over the past three decades, regular, detailed reviews have provided assessments of the state of research and prospects for further developments in current optics. The very frequency of summing up indicates both the intensity of this reflection and its polemical nature. We will limit ourselves here to characterizing some important stages.

It is no coincidence that it was in 2002 that an important detailed review was published, in which all methodological positions that were competitive at that time were analyzed<sup>4</sup>. The convergence of new cultural history and the history of thought was noted and the question of their upcoming merger was raised, although such a program and the very formulation of “new cultural-intellectual history” were proposed by Roger Chartier back in the early 1980s.<sup>5</sup> However, there was no unity in the implementation of the intended program, and observers continued to note two lines in the development of intellectual history: a) through the study of language and discourse and b) through the concept of representations, or the multiplicity of ways in which people represent their world and yourself in this world. The fundamental problem remained defining and modeling the relationships between text and context, between words and actions. The dilemma between “internal” and “external”, “content (text)” and context is

---

<sup>4</sup> Brett, Annabel. *What is intellectual history? // What is Intellectual History now?* / Ed. by D. Cannadine. L.: Palgrave Macmillan, 2002. P. 113-131.

<sup>5</sup> Chartier R. *Intellectual History or Sociocultural History? The French Trajectories // Modern European Intellectual History. Reappraisals and New Perspectives.* Ithaca; L., 1982. См. также: *The New Cultural History* / Ed. L. Hunt. Berkeley, 1989.

not only a key, but a truly eternal question for theorists of the history of ideas and intellectual history. More than half a century ago, in his famous critical article, Quentin Skinner identified this problem as central to the history of ideas, devoting several dozen pages to an analysis of the errors that result from concentrating on the text without insufficient study of the context. In turn, the opposite practice – contextual research, addressed only to the “background” of thought – sins of turning the random into the natural. Skinner's conclusion was disappointing: both strategies lead to blunders, and the solution is to learn to understand their limitations. However, Skinner, recognizing the need to restore what he called the “linguistic” context, left outside the scope of his reasoning what concerns the specific circumstances of the creation of the text, the life situation of its author, which needs careful reconstruction<sup>6</sup>.

In the early 2000s during discussions unfolded on the place and tasks of intellectual history and the history of ideas in the era of globalization the main idea was that in conditions of radical acceleration of communications and the divergence between technological processes and the ideas that move people, it was necessary to rethink the theoretical, critical and axiological foundations of intellectual history. At the same time, a tendency emerged towards emphasizing the integrative function of intellectual history and the ultimate expansion of its research space, and in an article by the American historian Joseph Levine, the expansion of the subject field of intellectual history received a detailed justification (and implementation on the material of a specific event and text) as “history in general”<sup>7</sup>.

This line of thought could be continued, because the discussion, in essence, was about understanding the social context of intellectual activity as a cultural-historical situation, which sets not only the conditions, but also acute (existential) problems that require resolution, which means about the birth of an idea as a thinker's reaction to the challenge of the context. If the researcher is aware that his work must not simply present the phenomena of intellectual communication at the level of concepts or ideas, but also give them various meanings in order to answer the questions that he believes arise precisely in this context, then, ideally, intellectual history will integrate the internal and external aspects of research and integrate content and context. However, when a new review of the state of research appears in 2006, we do not see progress in the direction that was predicted. Experts,

---

<sup>6</sup> Skinner Q. Meaning and Understanding in the History of Ideas // *History and Theory*. 1969. Vol. 8. № 1. P. 48-53.

<sup>7</sup> Ливайн Дж.М. Интеллектуальная история как история // *Диалог со временем*. Вып. 14. М., 2005. С. 37-51.

describing the current practice of intellectual history, systematized it in their own logic under the headings: literary and intellectual history; intellectual history and art history; intellectual history and medieval studies; intellectual history and history of political thought; intellectual history and history of science; medicine and intellectual history; intellectual history and sociocultural history; feminism and intellectual history<sup>8</sup>. That is, private areas of research were simply placed side by side and examined chapter by chapter. The apparent paradox was that, along with this, an ironic forecast was made about the possible transformation of “intellectual historians” into “cultural historians”<sup>9</sup>.

In 2009, members of the International Society for Intellectual History, still debating whether intellectual history could be considered a subdiscipline but reiterating its interdisciplinary nature, preferred to present their community as an “umbrella organization” uniting historians of philosophy, science, theology, education, universities, etc., thus demonstrating the same fragmented approach<sup>10</sup>. And, in 2012, it was once again emphasized that intellectual history is a discipline eclectic in both method and subject matter, and historians disagree about the most fundamental premises of what they do<sup>11</sup>. New motives emerged in 2015: the goal of intellectual history was proclaimed to understand how past thoughts arose, and why different solutions to historical problems make sense, as well as to recognize the limitations of human activity not only by social conditions, but also by ideological framework within which it was carried out. Optimistic forecasts were associated with liberation from the dominance of the history of political thought and with greater openness to interdisciplinary contacts<sup>12</sup>.

Finally, in 2017–2018, a “global intellectual history” appeared (with a special journal of the same name), although the desired consensus has not

---

<sup>8</sup> CM.: Palgrave Advances in Intellectual History / Ed. by R. Whatmore and B. Young. Houndmills: Palgrave, 2006; Kelley, Donald. What is Happening to the History of Ideas? // *Journal of the History of Ideas*. 1990. Vol. 51. No. 1. P. 11.

<sup>9</sup> Cowan, Brian. Ideas in Context: From the Social to the Cultural History of Ideas // Palgrave Advances in Intellectual History... P. 183.

<sup>10</sup> Bavaj, Riccardo. Intellectual History, Version 1.0 // *Docupedia-Zeitgeschichte: Begriffe, Methoden und Debatten der zeithistorischen Forschung*. 13.9.2010. URL: [http://docupedia.de/zg/Intellectual\\_History](http://docupedia.de/zg/Intellectual_History).

<sup>11</sup> Gordon P. What is Intellectual History? A frankly partisan introduction to a frequently misunderstood field // The Harvard Colloquium, March 2012. URL: [https://scholar.harvard.edu/files/pgordon/files/what\\_is\\_intell\\_history\\_pgordon\\_pdf](https://scholar.harvard.edu/files/pgordon/files/what_is_intell_history_pgordon_pdf).

<sup>12</sup> Collini, Stefan. The Identity of Intellectual History // *A Companion to Intellectual History* / Ed. by R. Whatmore and B. Young. N.Y.: Wiley-Blackwell, 2015. P. 7-17; Whatmore, Richard. What is Intellectual History? *Polity*, 2015. 160 p.

emerged. The experts' verdict was unequivocal: we have to "consider intellectual history as an internally heterogeneous discipline." However, "heterogeneous discipline" is just an oxymoron. Intellectual history is, by its very essence, a multidisciplinary field<sup>13</sup>. As we see, the reluctance to limit the range of possible perspectives is a stable and conscious position, despite the obvious discrepancy between the practice of specific research and the proclaimed theoretical programs.

At the same time, some options for defining the subject of intellectual history turn out to be too narrow (like "the history of intellectuals"), others are too vague. Some versions reveal a simplified idea of the possibility of constructing an intellectual history, like putting together a mosaic: from the history of science, the history of political thought, the history of philosophy, literature, etc., with the projection of the structure of modern intellectual space into the past. There is a clear dissonance between the state that the history of science acquired long ago (it had just abandoned projecting into the past the structure of modern scientific knowledge) and the formulation of the subject of intellectual history, which seemed acceptable at that time.

The specificity of the subject field of intellectual history lies not in its constant expansion, but in the integrative nature of the conceptualization of this field. What happens here is not the increment of ever new areas, but variations in the perspective, level, scale of research, and a change in the joining points of multidirectional lines of analysis. Russian historians followed this path, placing paramount importance on the analysis of the phenomena of the intellectual sphere in the broad context of social experience, general processes of the spiritual life of society and changes in value guidelines, the most prominent exponents of which, as a rule, are major thinkers. Considering the development of intellectual history in modern Russia, it is worth paying attention to the integrative potential of the concept of cultural-intellectual history in its interpretation by researchers who are grouped around the journal "Dialogue with Time". The main idea of their research program is development of intellectual history as a history of all types of human creative activity, its conditions, forms and products. The theoretical model is based on the integral concept of intellectual culture. The intellectual culture of each era is multi-layered: it is both the elite / professional culture of intellectuals and the ideas diffused in society (at its most different levels). The study of the history of intellectual

---

<sup>13</sup> Mulso, Martin. *New Perspectives on Global Intellectual History // Global Intellectual History*. 2017. Vol. 2. № 1. P. 1-2. See also, Thompson, Ann. *Global Intellectual History: Some Reflections on Recent Publications // Cromohs (Cyber Review of Modern Historiography)*. Vol. 21. 2017–2018. P. 134-138.

culture includes both an analysis of texts, thinking skills, and the subjectivity of “intellectuals” at different levels, as well as forms, means, institutions (formal and informal) of intellectual communication in their socio-cultural context and increasingly complex relationships with power and “external” world of culture. Intellectual communication, with the help of a corpus of texts circulating within it, in the form of correspondence, books and articles, public speeches or private conversations, not only transmits information, but also supports a certain intellectual community, forming a generally accepted language, type of behavior, value system, organizing a network structure. Intellectuals and intellectual communities (regardless of their specific form or type) act as creators, guardians, interpreters and translators of a particular intellectual tradition. Among the conditions of intellectual creativity, the structure and functioning of formal and informal communities of intellectuals occupy a central place, since we are talking about different aspects of interaction between subjects: contacts based on common interests, exchange of information and cultural capital, use of organizational and cognitive resources, discussion, borrowing and disseminating ideas, mutual support, creating intellectual reputations, etc. Essentially, historical reconstructions of intellectual culture combine the perspectives of “history in general,” the history of mentalities and historical anthropology, historical cognitive science, social history and sociology of science, “autonomous” disciplinary histories, and historical biography.

The most productive cognitive potential of the chosen model is realized in projects focused on the study of intellectual communities of various types, on studying the role of intellectuals in the formation of public consciousness, new values and new collective stereotypes, as well as on the historical analysis of all forms, means and institutions of intellectual communication, including relations between intellectuals and authorities.

The team of authors of this book focused their efforts on research in which the problems of interaction between intellectuals and authorities in conflicts of critical eras are intertwined with a complex of key issues in the history of intellectual culture. The authors sought to develop the most important aspects of the topic based on the history of Russia (in different periods and at different levels) and individual European countries with significantly different trajectories of development, the formation of public consciousness and political culture, in the context of competition between different models of historical projection of the future and different forms of collective identity (regional, ethnic, confessional, party, etc.). The plots developed by the authors are grouped into three parts of this monograph.

The first part, “Phenomenology of Conflicts in Historical Perspective,” examines the theoretical aspects of the topic, analyzes behavioral patterns, the roles of intellectuals in the situation of conflict

formation and their influence on the dynamics of confrontation in the conflict. Special attention is paid to the historical contexts of the actualization of conflicts, including the question of the conditions for the formation and development of the public sphere. As for the stage of maturation of the conflict, the leading social role for the intellectual manifests itself in criticism and its transmission. The following behavioral models of an intellectual in a pre-conflict situation are identified: commentator, anarchist, Fabian, revolutionary, translator. It was also concluded that the range of behavioral patterns has a direct impact on the radicalism and dynamics of confrontation in a social conflict, and expands the understanding of the role of the intellectual as an actor in the socio-political process.

This part also specifically examines the topic of perception of the conflict in a historical dimension – literally through centuries – in the context of a turning point in history, a period of changing cultural landscapes, a time of voluntary or forced emigration. The meanings and roles of the conflict in personal biographies and in the subjects of research of intellectuals are analyzed, through the prism of the conflict of interpretations, the gap between the depicted and the image in the historical picture, the moments of formation of the image of the Other.

The second part, “Individual Strategies of Intellectuals in Conflict,” presents the public positions, creative and critical activities of intellectuals from different countries, their models of relationships with authorities and experiences of socio-political conflicts of turning points using the example of the personal destinies of a British socialist and historian Richard Tawney, French Thomist philosopher Etienne Gilson, German conservative thinker and writer Ernst Junger, Yakut ethnographer, folklorist, historian Gavriil V. Ksenofontov and the representative of the provincial intelligentsia, priest Feodor G. Sivtsev in the context and consequences of revolutionary events and the Civil War, as well as the life vicissitudes of the outstanding Russian and Soviet historian Robert Yu. Vipper and the understanding of personal experience in the autobiohistoriographical narrative of the Soviet intellectual Vitold T. Zvirevich.

The authors analyzed various models of behavior of intellectuals at different stages of the development of various political crises and social conflicts of the Early Modern, Modern and, mainly, Contemporary epochs of history, including strategies aimed at preserving internal freedom of life and creativity in unfavorable conditions – not only in a position of critique in public sphere or open rejection to the authorities, but also in an effort to distance themselves from cooperation with authorities in any type of social and political activity.



Special attention was paid to Tawney's journalistic legacy, which became an integral part of Labor ideology, to his activity during the Second World War, to Tawney's assessment of the reforms of the Labor governments of 1945–1951 and the Soviet model of socialism. The study of political articles and journalism of the famous philosopher Etienne Gilson made it possible to present him also as an engaged intellectual who comprehended the problems of a critical era and proposed his solutions. Important stage of Gilson's biography was his participation in the world of politics, but the attempt to adapt Christian philosophy to solve urgent problems was met with misunderstanding on the part of the French political community and eventually led to Gilson's alienation from politics and conflict with the authorities, which ended with his forced departure from France and immersion in philosophy. The model of relationships between intellectuals and authorities under political dictatorship has been considered on the example of the life and work of the German conservative thinker and writer Ernst Jünger. The study on the basis of diary entries of the priest F.G. Sivtsev examines behavioral characteristics and survival strategies of the extraordinary personality of the Yakut priest, his desire to be in demand under any government and the impossibility of self-realization in the changed historical conditions. The other models of relations with different levels of authorities were demonstrated in research and social activities of the leading figures and cultural associations of Yakut national intelligentsia in the 1920–1930s.

The third part, "The Conflict of Intellectuals and Authorities in the Specifics of the Locus," deals with the active educational activities of intellectual communities and the practice of forming collective memory, reflecting the desire of the intelligentsia to defend their independence before the authorities in the local functional space (using the example Yakut national-cultural societies of the 1920s and the centuries-old history of Kazan University). Using the example of the Caucasian emigration, which formed after the complete victory of Bolshevism in Russia, the unsuccessful experience of using a common historical trauma for consolidation in conditions of victimization of the past of individual peoples is shown. The insufficiency for consolidating the experience of collective trauma is also revealed in the lines of demarcation of the political-ideological orientation of intellectuals in the successor countries of the former Yugoslavia and in the models of discursive construction of the positions of the "First" and "Second Serbia".

In this book we present only some of the results of research conducted in recent years. A full-scale comparative study of the historical strategies of interaction between intellectuals and power in various contexts of time and place will require the efforts of a much wider range of specialists.

## ОБ АВТОРАХ

АМБАРЦУМЯН Каринэ Размиковна, кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений, Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь) – *раздел 3.2*

АНТОНОВ Егор Петрович, кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела истории и арктических исследований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН – *раздел 3.1*

АРТАМОШИН Сергей Викторович, доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории и международных отношений Брянского государственного университета имени акад. И.Г. Петровского – *раздел 2.3*

БАШКИРОВ Михаил Борисович, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела археологии и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН – *раздел 2.5*

БЕЛОВ Михаил Валерьевич, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой новой и новейшей истории Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского – *раздел 3.4*

МАЛЫШЕВА Светлана Юрьевна, доктор исторических наук, профессор Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета – *раздел 3.3*

ПЕТРОВА Майя Станиславовна, доктор исторических наук, доцент, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН; – *раздел 2.7*

РЕПИНА Лорина Петровна, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН; профессор Института филологии и истории РГГУ – *Введение*

РОМАНОВА Екатерина Назаровна, доктор исторических наук, доцент, главный научный сотрудник отдела истории и археологии Института гуманитарных исследований и проблем ма-

- лчисленных народов Севера Сибирского отделения РАН –  
*раздел 2.5*
- САЛЬНИКОВА Алла Аркадьевна, доктор исторических наук, профессор Института международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета –  
*раздел 3.3*
- СЕЛУНСКАЯ Надежда Андреевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН – *раздел 1.4*
- СТЕПАНОВА Лена Борисовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории и археологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН – *раздел 2.5*
- СУСЛОПАРОВА Елена Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова – *раздел 2.1*
- ЧЕКАНЦЕВА Зинаида Алексеевна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН – *раздел 1.1*
- ШАБУНИНА Анастасия Константиновна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН – *раздел 1.2*
- ШАРОВА Антонина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент факультета гуманитарных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» – *раздел 2.6*
- ШМЕЛЕВ Дмитрий Викторович, доктор исторических наук, профессор кафедры археологии и всеобщей истории Казанского федерального университета – *раздел 2.2*
- ШНЕЙДЕР Константин Ильич, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории и археологии Пермского государственного национального исследовательского университета – *раздел 1.3*
- ЮРГАНОВА Инна Игоревна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН и Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН – *раздел 2.4*

# CONTENTS

INTRODUCTION.....	5
-------------------	---

## PART I

### PHENOMENOLOGY OF CONFLICTS IN HISTORICAL RETROSPECT

1.1. Conflict and the “idea of history” in the twenty-first-century intellectual discourse.....	15
1.2. The intellectual in pre-conflict The role and models of social practice.....	36
1.3. Intellectuals and power in Russia at the end of the 18 <sup>th</sup> – first half of the 19 <sup>th</sup> centuries Conflicts in the process of formation of the “public sphere”.....	54
1.4. Actualization of the conflict in a historical context Historians P.M. Bicilli, V.N. Zabugin and their heroes.....	66

## PART II

### INDIVIDUAL AND SOCIAL STRATEGIES OF INTELLECTUALS IN CONFLICT

2.1. Richard Henry Tawney – the fate of a British intellectual in the era of wars and revolutions.....	94
2.2. Etienne Gilson: a Catholic and politics in turning point.....	119
2.3. E. Jünger in Nazi Germany The strategy of survival of an intellectual under dictatorship.....	139
2.4. Intellectuals and Power at the Turning Point of Epochs Survival strategies in the fate of a provincial priest.....	158
2.5. Intellectual on the outskirts of the Russian empire and the formation of a new discourse Scientific strategy of the ethnographer G.V. Ksenofontov.....	171
2.6. Soviet years of Robert Yu. Whipper.....	193
2.7. How it was... V.T. Zvirevich and his stories about history.....	227

PART III

CONFLICT OF INTELLECTUALS AND POWER  
IN THE SPECIFICITY OF LOCUS

3.1. Yakut national and cultural institutions «Saha Aimakh» – «Manchaary» – «Saha Omuk» in the context of relations of authorities and intellectuals.....	252
3.2. The Caucasian intellectuals in the European emigration of the 1930s Trauma as a consequence of the conflict experienced in the 1917 Revolution and the Civil War.....	275
3.3. “Vivos voco, mortuos plango” Practices of personal memorialization in the Kazan University space.....	292
3.4. Splits of intellectuals in the countries of the former Yugoslavia Case of the Second Serbia.....	305
SUMMARY.....	321
CONTRIBUTORS.....	330

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Интеллектуальная история как история интеллектуалов или как история вообще? (ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ).....	5
---	---

### ЧАСТЬ I

#### ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КОНФЛИКТОВ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

1.1. Конфликт и «идея истории» в интеллектуальном дискурсе XXI века.....	15
1.2. Интеллектуал в предконflikте: роль и модели социальных практик.....	36
1.3. Интеллектуалы и власть в России в конце XVIII – первой половине XIX веков: конфликты процесса формирования “публичной сферы”.....	54
1.4. Актуализация конфликта в историческом контексте: П.М. Бицилли, В.Н. Забугин и их герои.....	66

### ЧАСТЬ II

#### ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ В КОНФЛИКТЕ

2.1. Ричард Генри Тоуни – судьба британского интеллектуала в эпоху войн и революций.....	94
2.2. Этьен Жильсон: католик и политика в переломную эпоху....	119
2.3. Э. Юнгер в нацистской Германии: стратегия выживания интеллектуала в условиях диктатур....	139
2.4. Интеллектуалы и власть на переломе эпох: стратегии выживания в судьбе провинциального священника.....	158
2.5. Интеллектуал на окраине Российской империи и становление нового дискурса: научная стратегия этнографа Г.В. Ксенофонтова.....	171
2.6. Советские годы Р.Ю. Виппера.....	193
2.7. Как это было... О В.Т. Звиревиче и его истории об истории.....	227

ЧАСТЬ III

КОНФЛИКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ И ВЛАСТИ  
В СПЕЦИФИКЕ ЛОКУСА

3.1. «Саха аймах» – «Манчаары» – «Саха омук»: национально-культурные институции в контексте взаимоотношений власти и интеллектуалов.....	252
3.2. Кавказская интеллигенция в европейской эмиграции 1930-х годов: травма как следствие пережитого конфликта в годы Революции 1917 г. и Гражданской войны.....	275
3.3. “Vivos voco, mortuos plango”: практики персональной мемориализации в пространстве Казанского университета.....	292
3.4. Расколы интеллектуалов в странах бывшей Югославии: случай Второй Сербии.....	305
SUMMARY.....	321
ОБ АВТОРАХ.....	330
CONTENTS.....	332

# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И ВЛАСТЬ В КОНФЛИКТАХ ПЕРЕЛОМНЫХ ЭПОХ

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ

•  
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ  
ЛОРИНЫ ПЕТРОВНЫ РЕПИНОЙ

*Рецензенты*

доктор исторических наук, профессор Герман Пантелеймонович Мягков  
профессор Казанского федерального университета

доктор исторических наук Андрей Аркадьевич Щелчков  
главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН (Москва)

*Утверждено к печати Ученым советом 18 декабря 2023 г.  
Института всеобщей истории РАН*

Дизайн обложки *И.Н. Граве*  
Корректор *М.М. Горелов*

Подписано к печати 19. 12. 2023  
Формат 60 x 90/16

---

Гарнитура Times. Печать цифровая  
Усл. печ. л. 25. Тираж 600 экз.

Издательство «Аквилон»  
Электронная почта: [aquilopress@gmail.com](mailto:aquilopress@gmail.com)  
Сайт: [aquilopress.ru](http://aquilopress.ru)

Отпечатано в типографии  
Onebook-ru ООО «САМ ПОЛИГРАФИСТ»  
Москва, 109316, Волгоградский пр., дом 42, Технополис МОСКВА  
Тел. +7 (495) 545-37-10. Электронная почта: [info@onebook.ru](mailto:info@onebook.ru)  
Сайт: [www.onebook.ru](http://www.onebook.ru)

ISBN 978-5-6050283-3-8



9 785605 028338 >